ISSN 0130–6545

12.1984

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Цыганка».

Цветные иллюстрации номера — произведения итальянского художника Амедео Модильяни

(К 100-летию со дня рождения)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

12 декабрь 1984

Содержание

АНАНТА МУРТИ — Самскара *(Повесть. Перевод с английского М. Салганик. Вступление Чингиза Айтматова)* 3

Из французской поэзии

ИВ БРУССАР. БЕРНАР ДЕЛЬВАЙ. МАТЬЕ БЕНЕЗЕ *(Переводы с французского Э. Ананиашвили, А. Жигулина, А. Ревича, И. Кузнецовой. Вступление Т. Б.)* 80

КРИСТИНЕ НЁСТЛИНГЕР — Дуйбол-привет! *(Повесть. Перевод с немецкого Павла Френкеля)* 91

Литературное наследие

ЭДИТ УОРТОН — Слишком ранний рассвет *(Рассказ. Перевод с английского и вступление А. Старцева)* 152

Критика

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Прерванный диалог *(К творческому портрету Павла Вежинова)* 186

М. КОРЕНЕВА — «...Выиграть будущее» *(О творчестве Денизы Левертов)* 198

Р. ХЛОДОВСКИЙ — Рим в мире Гоголя 203

Культура и современность

В. ИВАНОВ — Правда жизни и правда искусства 211

Публицистика

ИРИНА МЛЕЧИНА — В противоборстве идей *(Заметки о духовной ситуации на Западе)* 214

Документальная проза

АНДРАШ ШИМОНФИ — Солдаты страны-Парома *(Фрагменты книги. Вступление В. Ельцова-Васильева. Перевод с венгерского С. Фадеева)* 223

К нашим иллюстрациям

Е. ХЕРСОНСКАЯ— Амедео Модильяни *(К 100-летию со дня рождения)* 235

Среди книг

Издано в СССР

А. ЗВЕРЕВ — «Писать — значит стать богом...» *(Хуан Карлос Онетти. Короткая жизнь. Верфь. Повести и рассказы)* ✦ КАТАРИНА МУРАДЯН — Борген-новеллист *(Юхан Борген. Избранные новеллы)* 236

Издано за рубежом

Е. КАЦЕВА — В тенетах «экономического чуда» *(Дитер Веллерсхоф. Победитель забирает все)* ✦ Ю. КАГРАМАНОВ — Еще о «бесах» *(Карло Кастелланета. Тени)* 240

Из месяца в месяц

244

Авторы этого номера

249

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1984 год 251

На 1-й и 4-й страницах обложки — произведения итальянского художника АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ «Дама с черным галстуком» и «Женский портрет».

© «Иностранная литература», 1984

АНАНТА МУРТИ

Самскара

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского М. САЛГАНИК

Когда читаешь «Самскару» Ананты Мурти, сначала кажется, что это произведение локального характера, что самой своей национальной, отдаленной от нас культурной обусловленностью оно замкнуто в круг чисто индийских проблем. Но, видно, повесть индийского писателя предназначена для чтения неторопливого, внимательного, потому что тогда постепенно за чужим бытом начинают вырисовываться проблемы общечеловеческого значения.

Герой повести брахмин Пранешачария говорит, что человек творит себя сам, принимая самостоятельные решения и делая самостоятельный выбор. Это он преподносит как непременное условие существования личности.

Вот это и есть вечная проблема человека во все времена, которая всегда стояла и будет стоять перед нами. Если вдуматься, то вся история человечества, особенно ее выдающихся личностей, заключает в себе неизбежное альтернативное соотношение личности и государства, религии, общины, клана и даже семьи. Решая эти проблемы, человек развивается как личность, но они же являются причиной бесчисленных драм и трагедий. В конечном счете так или иначе каждый из нас сталкивается с выбором на протяжении всей своей жизни.

Человеческое «я» все время борется за себя, желая утвердить свои прерогативы, найти себя и понять. Возможно, в этом и заключается смысл индивидуальности: неутомимое, неутолимое стремление найти себя и быть самим собой. Но собственное «я» растворено в людях, окружающих нас, во множественности наших связей с миром, в историческом периоде, совпадающем с нашей жизнью, в системе, с которой мы соотносим себя.

В число вечных проблем входит и эта проблема постоянной необходимости выбора, а вернее, способности совершать свободный выбор. В условиях, когда есть внешний источник несвободы, подавления, порабощения, человеку легко понять, что его усилия должны быть направлены на то, чтобы освободиться. В условиях экстремальных ситуаций, таких, например, как война, возможности выбора сужены и человек знает, что его выбор, сколь бы он ни был драматичен, продиктован обстоятельствами. Или же человек может себе сказать, что он поступил таким, а не другим образом по воле обстоятельств.

Но освободившись от внешних факторов подавления или от диктата обстоятельств, человек с новой силой ощущает новую несвободу, потому что, будучи, казалось бы, предоставлен самому себе, он на самом деле крепко увязан с современной ему структурой, которая добивается подчинения себе личности по всем важнейшим параметрам.

И хотя каждому ясно, что абсолютной свободы не существует, человек нуждается в постоянном приближении к ней, к расширению сферы свободы.

Наш герой соотнесен с религиозной структурой, которая по сути является и социальной структурой. Надо отдать должное мастерству писателя, построившего очень емкий сюжет, каждая деталь которого сосредоточивает внимание читателя на центральной теме: на борении человеческого духа, в муках высвобождающего себя из пут.

Перед нами человек, воспитанный в духе подчинения авторитетам и беспомощный без опоры на них. Его драма — это драма многих, и, раскрывая ее, писатель подходит к другой проблеме общемирового значения: к проблеме соотношения авторитетов и самостоятельного подхода к миру.

Сейчас большая литература в своем обращении к проблемам современного человека должна интересоваться этой темой все больше и больше — в разных вариантах и ситуациях, на различном национальном и социальном материале.

© Oxford University Press, 1978.

Расширению сферы свободы человеческого духа противостоят стереотипы мышления и поведения, предрассудки, унаследованные от прошлого и создаваемые сейчас, инертный конформизм. Общеизвестно, каким запасом прочности они обладают и какого труда стоит их преодоление. В наше время эта альтернатива становится все более острой — в силу неимоверно возросшего объема информации, которая стала основным фактором современной мировой цивилизации. С одной стороны, нам стали доступны политические, культурные, научные сведения, раздвигающие горизонты познания и по горизонтали и по вертикали — в глубь веков. И это великое благо. С другой стороны, все больше мы попадаем под воздействие заранее истолкованных фактов — фактов, упакованных в концепции, и можем легко стать жертвой новых стереотипов, если не выработаем в себе самостоятельное, личностное отношение к миру с его сложными проблемами.

Буддистский философ однажды сказал:

Если ты встретишь учителя — убей его,
если ты встретишь Будду — убей его.

В форме традиционной для Востока парадоксальной логики философ выразил мысль, чрезвычайно значительную для всех времен и, возможно, особенно нужную для нашего времени: безоговорочное следование догмам, сколь бы высоки они ни были, ограничивает потенциал духовного развития человека, ведет к нравственной вялости души.

Главный персонаж повести Ананты Мурти Пранешачария на собственном опыте убеждается, как трудно перестать быть тем, кем быть тебе предписано традициями общества, и как трудно поступать самостоятельно, по собственной воле и установкам.

Нас же повесть писателя убеждает в том, что, какими бы непривычными и сложными для восприятия ни были ситуации, развивающиеся в брахминском поселении где-то на юге Индии, в их основе лежат все те же искания человеческой души, все тот же извечный страстный поиск правды в себе и вне себя.

Читателю, который обратится к «Самскаре», мне хочется напомнить, что мы вступили в пору пересмотра былых представлений о мировой культуре. Сейчас в наш духовный обиход входят новые плоскости поэтики, новые грани художественного мышления, делающие богаче и шире и наш арсенал духовных ценностей.

Наступила эпоха, которая сверх привычного и понятного — или кажущегося нам понятным — вовлекает нас в многообразное взаимодействие с непривычными для нашей культуры формами духовного и социального опыта народов. Современность вовлекает и эти народы в осмысление нашего опыта, который во многом может оказаться труден для их восприятия. Однако этот процесс, процесс создания общечеловеческого духовного сообщества необходим и благотворен, ибо он, расширяя наше знание других культур, углубляет и осмысление культуры собственной.

На этом пути уже сделано множество открытий, и нас ожидают новые.

Наши собственные национальные литературы, исходя каждая из своих традиций и своих возможностей, создали многоцветие, имя которому — советская литература, черпающая силы из многих корней.

Еще одним, весьма наглядным примером может служить вулканический взрыв латиноамериканского романа, без которого сегодня мы уже не представляем себе мировую культуру. А между тем совсем недавно могло показаться, что Латинская Америка — континент, в литературном отношении интересный только для специалистов.

Малознакомый материк и современная индийская литература, тем более что открытие Индии с ее тьмой языков, с ее неимоверно долгой культурной традицией, которая жива и посейчас, дело большой трудности.

И мне кажется правильным, что «Самскару» первый публикует именно журнал «Иностранная литература», выполняя свою миссию — открывать, приобщать, находить пути сближения. Стратегия журнала мне видится в том, чтобы предлагать читателю, пользуясь своим авторитетом, серьезные вещи, будоражащие мысль, чтобы суметь не обеднить мозаику мировой литературы. Заботься журнал только о своей популярности — ему вполне хватило бы для его объема модных «Мертвых зон» или, скажем, «Челюстей». Это очень большой соблазн, и надо иметь мужество и мудрость последовательно год за годом раскрывать перед читателем многообразие художественной мысли человечества. К чести журнала, его популярность зиждется именно на этом.

Человеческое «я» включает в себя всю вселенную. Никто не может представить себе вселенную вне себя, тем более вселенную людей. Чем больше человек познает, преодолевая трудности непонимания, тем больше на своем веку удастся ему реализовать себя.

Видимо, задача настоящей литературы всегда в том, чтобы заставить человека задуматься о себе и сделать выводы о своей жизни и ее цели.

Где бы ни была написана книга и на какую тему — все равно литература должна учить человека каждый раз заново становиться человеком.

Иначе в ней нет смысла.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

Sām-s-kara. 1. Изготовлять что-либо хорошо, тщательно, искать совершенства, совершенствовать: обработка, отделка, окончательная выделка, завершенность, совершенство.
2. Создание образа в мыслях, концепция, идея, представление: способность помнить, память, восстановление восприятия былых существований.
3. Подготовка, приготовление, приготовление пищи и проч., стряпня, одевание.
4. Освящение, посвящение, посвящение в религиозный сан, коронация.
5. Очищение, чистота.
6. Освящающий или очищающий обряд или ритуал (обязательный для трех высших каст).
7. Любой обряд или ритуал.
8. Обряд, совершаемый при похоронах.

Из «Каннада-английского словаря», составленного преподобным Киттелем, Мангалор, 1894, с. 1479.

Часть первая

I

Он омыл тело Бхагирати, сморщенное, как подсохший стручок, обернул жену чистым сари, потом, как всегда по утрам, разложил еду и цветы перед изображениями богов, воткнул цветок в волосы Бхагирати, подал ей святой воды. Только после этого он принес из кухни мисочку пшеничной каши.

— Позавтракал бы сначала сам,— прошелестела Бхагирати.

— Сначала ты.

Уже двадцать лет эти слова были частью утреннего ритуала. Жизнь начиналась на заре — омовение, молитва в предутренней мгле, завтрак, лекарство для жены. Потом — в храм Марути на другом берегу. Заведенный порядок никогда не нарушался.

Ко времени его возвращения в аграхару брахмины тоже успевали позавтракать и начинали сходиться к его дому — послушать священные древние притчи, вечно новые, неизменно дорогие и его и их сердцам. Вечером он опять совершит омовение, прочитает молитвы в вечерней мгле, приготовит ужин, накормит жену, поест сам. На веранде опять соберутся брахмины и опять будут слушать священные притчи.

Иногда Бхагирати говорила:

— Нет радости тебе в семейной жизни. Что за дом без ребенка? Почему ты не возьмешь вторую жену?

— Куда мне, старику! — отшучивался Пранешачария.

— Какой же ты старик? Тебе еще и сорока нет. За тебя с охотой выдадут любую девушку, а ее отец благословит вас святой водой. Ты известный человек, учил санскрит в Бенаресе... Семья тогда семья, когда в ней есть ребенок, а твой дом пуст.

Пранешачария не отвечал; он придерживал жену за плечи, если она пыталась приподняться, уговаривал ее лежать спокойно. Разве не сказал бог Кришна: делай что должно, не ожидая награды за сделанное. Бог явно желал испытать его, удостовериться, готов ли он к освобождению от новых рождений и смертей,— поэтому бог дал ему родиться на этот раз брахмином и послал ему бесплодную калеку в жены.

Ачария исполнялся ощущением своего избранничества, сладким, как нектар из пяти медов, предлагаемый богам и раздаваемый пастве в храме по праздникам; Ачария исполнялся сострадания к больной жене и со скромной гордостью думал: женатый на калеке, я зрею для освобождения из круговорота жизни и смерти.

Прежде чем усесться за еду, он сложил на широкий банановый лист корм для коровы и понес его Гаури, которая пощипывала травку на заднем дворе. Он молитвенно поглаживал коровий бок, чувствуя, как Гаури млеет от удовольствия. Ачария с почтением коснулся собственных глаз рукой, ласкавшей священное животное.

Едва он переступил порог, во дворе раздался женский голос:

— Ачария! Ачария!

Ему показалось, будто зовет Чандри, любовница Наранаппы. Разговор с такой женщиной осквернит его: придется еще раз совершать омовение, перед тем как коснуться еды. Но кусок ведь в горло не полезет, пока он не спросит, что случилось.

Ачария снова вышел во двор. Чандри поспешно закрыла лицо краем сари и пугливо подалась назад.

— В чем дело?

— Он... он...

Чандри била дрожь; она не могла выговорить ни слова, только судорожно хваталась за столбик калитки.

— Кто «он»? Наранаппа? Что с ним?

— Умер...

Чандри закрыла лицо руками.

— Великий боже. Нараяна, Нараяна! Когда?

— Только что...

Чандри зарыдала в голос.

Когда она попробовала говорить, Пранешачария насилу разобрал слова:

— Приехал из Шивамоги... слег... лихорадка... четыре дня в лихорадке... и все... на боку волдырь вскочил... болел сильно... как от лихорадки бывает...

— О Нараяна! О боже!

Пранешачария, как был, не сняв обрядовый шарф, бросился через улицу к дому Гаруды.

— Гаруда! Гаруда! — звал он, направляясь прямо на кухню.

Покойный Наранаппа приходился Гаруде родней: бабка прадеда Наранаппы и бабка прадеда Гаруды были сестрами.

Потный, запыхавшийся Пранешачария шагнул через кухонный порог в тот миг, когда Гаруда подносил ко рту катышек риса, обмакнутый в горячий соус.

— Не ешь! — выдохнул Пранешачария.— Не ешь, Гаруда. Наранаппа умер.

Гаруда в ужасе отшвырнул рис на банановый лист, расстеленный перед ним, быстро ополоснул рот и поднялся на ноги. Хотя Гаруда давно рассорился с Наранаппой, не поддерживал с ним никаких отношений и даже родственником отказывался признавать, ему нельзя было принимать пищу. Жена Гаруды, Ситадеви, застыла как изваяние, крепко стиснув ручку половника.

— Детям можно,— сказал ей Гаруда.— Только детям можно есть. А нам, взрослым, нельзя, пока не похороним.

Он поспешил из дому вместе с Пранешачарией, торопясь оповестить аграхару о смерти, чтоб кто-нибудь не принялся по неведению за еду.

Они побежали из дома в дом: Пранешачария — к Лакшману, Гаруда — к полоумной Лакшмидевамме, оттуда — Дургабхатте, в самый конец улицы.

Новость пожаром распространилась по всем десяти домам аграхары.

В домах позакрывали окна и двери, заперли детей. Слава богу, ни один брахмин не дотронулся до пищи. Никто — даже женщины и дети — не жалел умершего Наранаппу, но в сердце каждого вошел смутный страх, опасение осквернить. Живой Наранаппа отравлял им жизнь, мертвый — он оставил их голодными, и даже труп его

неизбежно должен был стать источником тревоги. Скоро все мужчины аграхары столпились перед домом Ачарии. Жены успели шепнуть мужьям на ухо:

— Не торопись. Пускай Ачария решает. Не спеши браться за похороны — а вдруг сделаешь не то? А потом гуру рассердится и запретит тебе отправлять обряды!

Брахмины собрались, как собирались каждый день слушать чтение священных книг, тесно сгрудившись на веранде. Но сейчас они выглядели обеспокоенными. Пранешачария потрогал кончиками пальцев четки, свисавшие с шеи, и заговорил, будто размышляя вслух:

— Нужно похоронить Наранаппу — это первое. Детей у него нет, хоронить придется кому-то из нас — это второе.

Чандри прильнула к дальнему столбу веранды, напряженно ожидая решения брахминов. Брахминские жены, не в силах совладать с любопытством, одна за другой проскользнули через заднюю дверь и заполнили среднюю комнату. Каждая опасалась, как бы ее муж не сделал опрометчивого шага.

Гаруда потер ладонями пухлые плечи и по привычке протяжно поддакнул:

— Верно... святые слова...

— Никто не коснется пищи, пока тело не будет предано огню,— сказал Дасачария, брахмин победнее, тощий, похожий на хилого телка.

— Верно... справедливые слова,— отозвался Лакшман, гладя себя по животу, подергивая шеей и часто моргая. Вздутый от малярии живот нелепо торчал из-под обтянутых кожей ребер. Впалые щеки, пожелтелые белки, да еще сухая нога — Лакшман не ходил, а ковылял, отклячив худые ягодицы, и брахмины из Париджатапуры любили передразнивать его походку.

Никто не говорил о деле.

— Нужно решить, кто совершит обряд,— напомнил Пранешачария.— В Книгах сказано: любой родственник. Если нет родственников — любой брахмин.

При слове «родственник» все взгляды обратились на Гаруду и Лакшмана. Лакшман закрыл глаза, давая понять, что его это не касается. Гаруда же, которому много раз доводилось судиться на своем веку, понимал, что необходимо что-то сказать.

Он поднес к носу щепотку табаку, прочистил горло и начал:

— Истинно было сказано, что поступать должно по древнему закону. По Книгам. Ачария — ученейший из всех нас, и слово его как слово Вед. Пусть он решит, а мы исполним. Верно, мы с Наранаппой считаемся родней, но, как известно всем вам, отец Наранаппы и я поссорились из-за этой делянки. До суда дошло. После кончины отца Наранаппы я воззвал к мудрости гуру из Дхармастхалы, и гуру решил дело в мою пользу. А Наранаппа ослушался — ну что тут говорить, если и божье слово ему не указ? Тогда мы дали обет, что ни мы сами, ни дети, ни внуки наши никогда не будем поддерживать с ним никаких отношений. Совсем никаких — ни слов, ни свадеб, ни обрядов, ни пищи, ни приюта. Раз мы такой обет дали — ну что тут говорить?

Чуть гнусавый голос Гаруды, все время повторяющий его любимое присловье «Ну что тут говорить?», вдруг смолк. Гаруда понюхал табаку, потом продолжил. Он заметил Чандри и заговорил увереннее:

— И гуру тоже нас поддержит — ну что тут говорить? Не в том дело, мне ли совершать обряд, оставим это. Дело в другом: можно ли считать Наранаппу брахмином? Ну что тут говорить? Наранаппа жил с женщиной из низкой касты...

Аграхару населяли брахмины из секты мадхва, считавшие Вишну превыше других богов. Один только Дургабхатта был смарта по

секте — он молился богине Дурге и весьма подозрительно относился к благочестию других, постоянно проверяя их. Сейчас он покосился на Чандри и тихонько хихикнул.

— Уж очень ты торопишься, друг. Зачем так говорить? Брахмин не теряет касту оттого, что берет в дом низкорожденную проститутку. Наши предки родом с Севера — Пранешачарию спроси, если не веришь,— и мы знаем из истории, что они сожительствовали с южанками. Что же, выходит, и они касту потеряли? А как же брахмины, которые ходят в публичные дома в Басруре?

Гаруда разозлился — не может без подковырок!

— Сам не торопись, Дургабхатта! Тут дело не просто в плотском желании. А великому нашему Пранешачарии подсказывать не надо. Он все знает, с кем можно сожительствовать, с кем нельзя, он все это в Бенаресе изучал, он все священные книги назубок знает, звание получил — Алмаз Учености. Что тут говорить? С самыми учеными пандитами состязался наш Ачария — и твоей секты пандитами, и нашей — и всякий раз победителем выходил. Где только ученые люди ни собирались, по всей Южной Индии, всюду нашему Ачарии оказывали почести, он пятнадцать шелковых шарфов имеет, блюда из серебра... Все Ачарии за ученость подносили, нашему Ачарии... что тут говорить!

Обескураженный тем, что обсуждение насущного дела обращается славословием ему, Пранешачария спросил:

— А ты что скажешь, Лакшман? Наранаппа ведь был женат на сестре твоей жены.

Лакшман опять зажмурился:

— Твое слово, Ачария, твоя власть. Что мы знаем об истинном благочестии? Сказал вот Гаруда, что Наранаппа связался с низкородной...— Лакшман открыл глаза, вытер нос краем накидки и выпалил: — Если бы просто спал с ней!.. А он даже пищу ел, ее руками приготовленную!

Падманабха, живший в доме напротив Наранаппы, добавил:

— И вино пил.

— Не только. Мясо употреблял.

Гаруда повернулся к Дургабхатте.

— Может, для вашей секты такие мелочи не имеют значения. Санкара, великий учитель ваш, так сильно хотел все в жизни испробовать, что вместо мертвого раджи переспал с его женой. Не так, что ли?

Кто стал бы спорить? Всякому известно, что Санкара блюл обет безбрачия, пока повздорившая с ним женщина не обвинила его в том, что лишь с одной стороны знает он жизнь. Тогда призвал Санкара на помощь высшие силы, вошел в тело только что умершего раджи, познал его жену, вернулся и посрамил крикунью.

Но уместно ли было припоминать сейчас эту историю?

Пранешачария почувствовал, что разговор опять уходит в сторону, и поднял руку:

— Гаруда, помолчи немного.

Но тут забубнил Лакшман, опять зажмуривший глаза:

— Законную жену оставил, с дурными женщинами связался — это тоже ничего? Жены моей сестра так убивалась, что умерла от горя, а Наранаппа даже на похоронах не был. Ну хорошо, пусть и это не имеет значения, а что он годовщины смерти отца и матери не соблюдал? Ничего я не хочу скрывать, потому что Наранаппа мне близкой родней доводился — сын дяди моей жены. Мы, сколько могли, терпели, хотелось, чтобы все в семье осталось. А он чем отплатил нам? На глазах у всех брахминов подошел к реке, взял священный камень, которому со стародавних времен вся аграхара поклонялась, и — раз! В воду бросил! Да еще плюнул вслед! — Лакшман перевел дух.— Конечно, все можно простить, но он же средь бела дня при-

водил в дом мусульман, они и мясо ели, и вино пили — прямо на веранде, у всех на виду! А заговоришь с ним о благочестии, он тебя такими словами обложит! Пока жил, мы все в страхе от него хоронились!

Жена Лакшмана, Анасуйя, с гордостью слушала из соседней комнаты, как ее муж выкладывает всю правду. Анасуйя посматривала на Чандри, съежившуюся у столба, и праведный гнев закипал в ее сердце: чтоб ее тигр в полночь схватил, чтоб ее змеи искусали, шлюху, совратительницу, ведьму! Не опои она Наранаппу приворотным зельем, разве бы он, сын ее собственного дяди с материнской стороны, разве бросил бы он женщину своей же касты, стал бы срамить ее, что она уродка, промотал бы все имущество, надел бы фамильные украшения на грязную тварь? Анасуйя видела золотую цепочку, четыре раза обвитую вокруг шеи Чандри, видела широкий золотой браслет на ее запястье и чувствовала, что готова сойти с ума. Слезы так и полились из ее глаз. Была бы жива ее сестра, цепочка была бы на сестриной шее и уж не лежало бы неухоженным тело кровного родственника. И всему виной эта паскуда мерзкая — да что же никто глаза ей не выцарапает?!

Анасуйя зарыдала в голос.

Единственным пропитанием Дасачарии были обрядовые угощения на похоронах и годовщинах смерти. Дасачария мог десять миль протопать ради такого случая.

— Мы все знаем,— пожаловался он,— что целых два года нас никуда не приглашали из-за того, что в нашей аграхаре такой Наранаппа. Если мы, хорошенько все не обдумав, совершим похоронный обряд по отступнику, так, может, нас вообще больше никогда не будут приглашать. И несожженный труп оставлять тоже нельзя, сколько ж можно просидеть не евши? Как же нам быть теперь? Пранешачария пускай решает. Против его слова кто пойдет? Из нашей секты никто.

Дургабхатта слушал его вполуха — он был занят тем, что разглядывал Чандри. В первый раз глазу ценителя женских прелестей открылась эта дорогая забава, обычно прятавшаяся в доме, редкостная штучка, которую Наранаппа привез себе из Кундапуры. Удивительная красавица, все у нее совсем такое, как описано Ватсайяной в древнем «Трактате о любви». Подумать только — большие пальцы ног короче других, как и должно быть по «Кама-сутре». А груди, груди! Такая женщина мужчину досуха высасывает. Глаза у нее должны играть, это просто сейчас они затуманены слезами, а впрочем, ее даже слезы не портят. Похожа на рыбачку Матсьяганди с литографии Рави Вармы, которая висит у Дургабхатты в спальне, и, как на той картине, груди так и торчат из-под тонкого сари. Глаза, нос — все прямо с картины, ничего удивительного, что ради такой Наранаппа и священный камень в реку сбросил, и запретное мясо ел, и вино пил. Восхищаться нужно его отвагой. Да что тут, разве один Наранаппа не устоял! Можно вспомнить и Джаганнатха, поэта-брахмина, который мусульманку в жены взял и уж так воспел груди иноверки! Не было бы тут Пранешачарии, не лежал бы рядом мертвый Наранаппа, с каким бы наслаждением процитировал Дургабхатта эти стихи, как истолковал бы их тайный смысл, чтоб даже эти евнухи злосчастные поняли! Истинно ведь сказано о подобных Наранаппе: невольник страсти свободен от стыда и страха...

Дургабхатта спохватился — брахмины молча смотрели на него — и заговорил:

— Мы уже сказали все, что сказать нам надлежало. Нет пользы пересчитывать пороки покойного. Пусть скажет слово Пранешачария. Он для меня такой же гуру, как для вас, что бы Гаруда ни говорил в ослеплении чувств. Послушаем Пранешачарию.

Пранешачария заговорил медленно, с расстановкой, взвешивая каждое слово, ибо от него одного зависело теперь благополучие аграхары.

— Гаруда напомнил нам, что дал обет и отрекся от Наранаппы. Закон, однако, допускает освобождение от обета: обрядом очищения, приношением коровы или паломничеством к святым местам. Каждый из путей стоит немало денег, и я не вправе никого вводить в расход. Что же до того, о чем сказали здесь Лакшман и Дасачария: не так жил Наранаппа, как подобает брахмину, позорил он доброе имя аграхары — это вопрос непростой, я не знаю, как на него ответить. Даже если он сам отрекся от своего брахминства, значит ли это, что он утратил касту и перестал быть брахмином? Из касты он не был изгнан, умер в касте, а не вне ее, следовательно, он умер брахмином. А мы все знаем: только брахмину позволено коснуться мертвого тела другого брахмина. Допустив к его телу других, мы сами осквернимся. И все-таки сомнения не оставляют меня. Я не смею объявить вам: Закон предписывает совершить сожжение. Я в сомнении, ибо мы все видели, как он жил. Как поступить нам? Чего требует от нас истинное благочестие, есть ли искупление для тех, кто так попирал Закон?..

Вдруг Чандри решительно шагнула вперед и встала перед оцепеневшими брахминами. Они не могли поверить собственным глазам: Чандри сняла с шеи золотую цепь, сорвала браслеты с рук и сложила все к ногам Пранешачарии. Невнятно пробормотав что-то о плате за похоронные расходы, она скользнула обратно к столбу.

Женщины мгновенно сосчитали — украшения должны были стоить не меньше двух тысяч. Каждая впилась взглядом в лицо своего мужа. Брахмины, как по команде, низко опустили головы в страхе, чтобы корыстолюбие, жажда золота не омрачили чистоту их помыслов. А в душе каждого из них мелькнуло одно и то же видение: другой соглашается совершить последний обряд по Наранаппе и жена этого другого надевает золотые украшения на себя. У Гаруды и Лакшмана появилась еще одна причина для завистливой ненависти друг к другу.

«А что, если он заграбастает все золото, отделается приношением полудохлой коровки — и чистоту соблюдет, и при деньгах останется?» — думал каждый из них.

«Если эти мерзавцы не устоят перед искушением и сожгут Наранаппу по обряду, то я их на всю округу ославлю, всем буду рассказывать, что они за брахмины!»,— пообещал себе Дургабхатта.

Брахмины победнее, такие, как Дасачария, чуть не плакали, глотая слюни,— разве Гаруда или Лакшман дадут им совершить обряд?

Пранешачария не мог совладать с тревогой. Зачем Чандри вмешалась? Хотела помочь делу, а получилось, что все испортила.

Брахмины шумели, все говорили разом, никто никого не слушал. Боясь, что вот-вот кто-то из них может дать согласие на обряд, они наперебой припоминали ужасные выходки Наранаппы — каждый рассказывал о бедах, которые причинил Наранаппа не ему, другому.

— А кто сманил сына Гаруды из дому и уговорил мальчишку уйти в армию? Наранаппа, кто еще! Пранешачария читал с мальчиком Веды, учил его, а Наранаппе стоило только пальцем поманить... Он вообще развращал молодежь...

— Смотрите, что стало с зятем Лакшмана! Лакшман подбирает сироту, кормит его, поит, растит, дочку свою выдает за него — потом является Наранаппа, морочит парню голову, и пожалуйста: парень в аграхаре появляется, может, в месяц один раз!

— А рыбы, рыбы из храмового пруда? Они же с давних времен были священными — собственность бога Ганеши. Старики говорили: кто выловит хоть одну священную рыбу — кровавой рвотой изойдет. Так этому поганцу, отступнику этому, ему же на все наплевать!

Явился с целой бандой мусульман и давай божью рыбу динамитом глушить! А теперь что? Теперь все — люди низких каст ходят рыбу удить в пруду. Ему, негодяю, что нужно было — чтобы никто с брахминами не считался. Мало ему было, что он нашу аграхару сгубил, он и в Париджатапуре молодых брахминов развратил, научил их по представлениям разным таскаться!

— Изгнать его из касты нужно было, что тут говорить!

— Как его было изгнать, Гаруда? Он же все время грозился в ислам перейти! Ты что, забыл? В одиннадцатый день луны, когда вся аграхара постилась, он целую толпу мусульман к нам привел, гулянку устроил. И еще орал: «Давайте изгоняйте меня, а я в мусульмане подамся! Вот свяжем каждого брахмина и в рот говядину запихнем! А я посмотрю, что тогда от вашей брахминской святости останется!» Говорил он это? Говорил! А принял бы ислам, нам бы власти не позволили выселить его из брахминской аграхары. Самим пришлось бы убираться отсюда. Пранешачария и тот молчал, понимал, что это не выход.

Последнее слово осталось за Дасачарией. Ему сильно хотелось есть — жена сварила рис с манго, а он и попробовать не успел.

— Как умер отец Наранаппы, ни одному брахмину ни единого плода не досталось с хлебного дерева на его заднем дворе, а фрукты были сладкие, прямо мед!

Женщины, которые глаз не сводили с горки золота, были все как одна недовольны поведением своих мужей. Жена Гаруды, Ситадеви, пришла в ярость, когда Лакшман расшумелся насчет того, что сын ее ушел в армию. Да по какому праву он обсуждает чужого сына? Жену Лакшмана, Анасуйю, возмутило, что Гаруда начал рассказывать, как сбили с пути ее зятя,— какое Гаруде дело до их семьи?

Пранешачария начал опасаться, что брахмины могут так далеко зайти, что ему их оттуда не вывести.

— Где же все-таки выход? — воззвал он.— Мы не можем сидеть сложа руки, когда в аграхаре покойник. По Закону, пока мертвое тело не удалено должным образом, нельзя ни молиться, ни мыться, ни принимать пищу — ничего нельзя. А поскольку Наранаппа не был изгнан из касты, только брахмину позволено касаться его тела.

— Выгнали бы его вовремя, не было бы такой мороки сейчас,— мрачно сказал Гаруда, годами требовавший изгнания Наранаппы, а теперь жаждущий мести: — Я вам говорил, а вы меня не слушали.

Брахмины как один ополчились против него:

— Ну да, а принял бы он ислам, как грозился, так нам пришлось бы ноги уносить из осквернённой аграхары! Не было у нас выхода!

Дасачарию, которого мучила мысль о том, что придется и весь завтрашний день ходить голодным, вдруг осенило — он даже привскочил:

— А я слышал, Наранаппа с париджатапурскими брахминами дружбу водил, и ел с ними, и братался. Так, может, их попросить? Они и благочестие блюдут меньше нашего.

В Париджатапуре жили только брахмины из секты смарта, с которыми не совсем все было ладно, потому что ходили слухи, будто кровь в той аграхаре подпорчена. Будто в давние времена какой-то распутник соблазнил тамошнюю вдову, она понесла, а вся аграхара старалась замять скандал. Будто слухи все-таки дошли до гуру из Шрингери и тот объявил париджатапурцев осквернёнными. Как бы там ни было на самом деле, но брахмины эти не отказывали себе в мирских удовольствиях, не забывая и о благочестии, конечно. Они выращивали арековые пальмы, продавали орехи и жили зажиточно. Дургабхатте нравилась жизнь Париджатапуры, тем более что и сам он был из этой секты. Он втайне ел их рисовые лепешки, пил с ними кофе. Открыто делить с ними трапезу Дургабхатта не решался, а когда не было посторонних...

Дургабхатта заглядывался и на вдовушек из Париджатапуры, которых после смерти их мужей не обривали наголо, а позволяли ходить с длинными волосами. Им даже позволяли жевать бетель и подкрашивать губы.

Поэтому предложение Дасачарии разозлило Дургабхатту — голодранец, позавтракать не на что, а умничает!

— Вот что,— сказал он вслух,— это вы уже гадости говорите. Вы их можете считать ниже себя, сомневаться в чистоте их крови, но они сами так ведь не думают. Если вас осквернит прикосновение к вашему собственному покойнику, значит, других это еще больше осквернит. У кого хватит наглости, тот пускай и обратится к ним с просьбой — и выслушает все, что они скажут в ответ. Вам известно, что у одного только Манджайи из Париджатапуры хватит денег, чтобы купить всех ваших сыновей?

Пранешачария попытался утихомирить Дургабхатту:

— Ты верные слова сказал. Не должно брахмину перекладывать на чужие плечи то, что не делает он сам. Но и узы дружбы прочны, как узы крови, так ведь? Если Наранаппа дружил с брахминами из Париджатапуры, так разве не следует их известить о его кончине?

— Не спорю, Ачария,— согласился Дургабхатта.— В твоих руках благочестие всей общины, и бремя твое велико. Кто посмел бы пойти против того, что решишь ты?

Дургабхатта уже высказал все, что ему хотелось, и теперь мог помолчать.

Между тем брахмины опять вспомнили о золотых украшениях. Если париджатапурцы согласятся совершить обряд, выходит, золото уплывет в их руки?

Мысль, что драгоценности, законно принадлежавшие ее сестре, могут оказаться в другой деревне, у каких-то полукровок-брахминов, была непереносима для Анасуйи. Она и так долго сдерживалась, но тут вдруг брякнула:

— При чем здесь эта шлюха? Украшения моя сестра должна была б носить! — И разрыдалась.

Лакшман не сомневался в правоте жены, но своей выходкой она прилюдно унизила его, главу семьи. Лакшман рявкнул:

— Заткнулась бы! Мужчины говорят, а ты чего рот открываешь?

Гаруда вышел из себя.

— Да что это вообще за разговор? Гуру из Дхармастхалы решил спор в мою пользу, значит, и украшения мои!

Пранешачария устало поднял руку:

— Терпение. Нам должно думать о мертвом, тело которого ожидает сожжения. А золото — я решу, как поступить с ним. Пусть прежде всего сходят в Париджатапуру с известием о смерти Наранаппы. Если тамошние брахмины возьмутся совершить обряд, так и будет.

Пранешачария поднялся с места.

— Теперь вы можете идти. Я посмотрю, что сказано в законах Ману, в других священных текстах, и, может быть, найдется выход.

Чандри бросила умоляющий взгляд на Ачарию из-под края сари, с подобающей скромностью опущенного на ее лицо.

II

На полках, куда ставили горшки с простоквашей, водились тараканы, в кладовках жили жирные крысы. Через среднюю комнату была протянута веревка, на нее вешали чистые сари, постиранную одежду. Веранды застилали циновками, на них сушились свежие лепешки из рисовой муки, хрупкие, как горячая бумага, прожаренные овощи, маринованный красный перец. За каждым домом росло священное растение тулси. Дома в аграхаре были все на один лад и раз-

нились только цветами в садиках: у Бхимачарии росла париджата, у Падманабхачарии — огромный куст жасмина, у Лакшмана — ярко-желтый чампак, у Гаруды — алая рандела, у Даси — белая мандара. Дургабхатта еще посадил у себя билву, листья этого дерева считались священными — их клали перед изображениями Шивы и его супруги Дурги. Брахмины ходили по утрам друг к другу за цветами для молебствий, справлялись друг у друга о здоровье, соблюдая приличия.

А цветы, росшие у дома Наранаппы, предназначались только для кос Чандри и для большой вазы в спальне. И будто мало было этого вызова, брошенного всей деревне, Наранаппа посадил перед самым домом куст ночной красавицы, любимицы змей, цветка, непригодного для приношения ни одному из богов. В ночной темноте раскрывались цветы, усыпавшие куст, наполняли аграхару густым и темным запахом, вызывавшим мысли о необузданных страстях... Обитатели аграхары ерзали во сне, извивались, как змеи под властью заклинаний. Люди с тонким обонянием жаловались на головные боли, проходя мимо ночной красавицы, затыкали носы подолами. Кое-кто даже говорил, будто Наранаппа вырастил куст, чтобы змеи помогали ему охранять золото, которого в доме полным-полно. Добродетельные брахминские жены с куцыми жиденькими косичками, с личиками сморщенными и увядшими, украшали себя жасмином и мандарой. Чандри сворачивала черные волосы толстенной змеей на затылке и вкалывала в них ярко-желтый чампак или одуряюще душистый панданус. Дневные запахи были нежными, чуть заметными — пахло сандаловой пастой от брахминов, пахло мелкими цветочками париджаты. Но стоило стемнеть, как в аграхаре воцарялся дух ночной красавицы.

Хлебное дерево и манго, которые росли у каждого дома, давали разные по вкусу плоды. И цветами, и фруктами было принято делиться, ибо сказано же: раздели плоды, чтобы все ели, раздели цветы, чтобы все носили. Один только Лакшман потихоньку вывозил половину урожая и продавал перекупщикам из Гоа. Но он и славился как скупердяй. Когда к ним приезжала погостить родня жены, он как беркут следил за каждым движением жениных рук — кто ее знает, что она вздумает передать в дом своей матери. В жару в каждом доме готовили салат-косамбари, делали фруктовые напитки и посылали угощение соседям. Соседи ходили друг к другу в гости. Наранаппа опять-таки жил сам по себе. Десять домов было в аграхаре; дом Наранаппы, самый большой, стоял в конце улицы. Задние дворы домов по одну сторону улицы выходили на речку Тунгу, к речке вели ступени, давным-давно сложенные какой-то благочестивой душой. В сезон дождей вода в речке поднималась и несколько дней угрожающе ворчала, делая вид, будто готова залить аграхару; дети томились на берегу, смотрели на кипение волн, слушали их рокот, но потом вода спадала. К середине лета речка пересыхала, от нее оставались три тоненькие струйки, еле слышно шуршавшие по дну. Брахмины выращивали в речном русле зеленые и желтые огурцы, полосатые арбузы. Потом чуть не весь год огурцы, обернутые сухими листьями бананов, будут свисать с потолочных балок. В сезон дождей огурцы ели во всех видах — готовили кари с огурцами, тушили их, из семян получался суп. Объевшись пресными огурцами, брахмины с нетерпением беременных женщин ожидали возможности попробовать острые зеленые манго. Жизнь брахминов текла размеренно: их приглашали на обрядовые угощения по случаю похорон, свадеб и других событий. По большим праздникам, как, например, ежегодный храмовый праздник или годовщина смерти святого Тикачарии, устраивались большие угощения для брахминов в монастыре милях в тридцати от аграхары.

Аграхара звалась Дурвасапура. Посреди течения Тунги торчал

островок, на котором росло с полдесятка деревьев. Брахмины верили, что там по сей день живет мудрец Дурваса. Во времена «Махабхараты» пятеро братьев-пандавов поселились ненадолго в Каимаре, милях в десяти отсюда. Однажды царица Драупади пожелала искупаться в реке. Бхима, всегда готовый исполнить любую прихоть жены, запрудил Тунгу. Наутро, когда мудрецу потребовалась вода для омовения и молитвы, он спустился к реке и увидел сухое русло. Мудрец разгневался. Но Дхармараджа, старший из братьев, наделенный даром всевидения, поспешил сказать Бхиме, что и Дурвасе нужна вода. Бхима бросился к запруде и впопыхах проломил ее в трех местах — вот почему река в засуху начинает течь тремя тоненькими струйками. Брахмины Дурвасапуры рассказывают жителям соседних аграхар, что ранним утром двенадцатого дня луны всякий подлинно благочестивый человек может услышать, как мудрец Дурваса дует в молитвенную раковину. Но брахмины никогда не опускались до утверждений, будто сами слышали звуки раковины.

В десяти концах света прославлена была аграхара — и легендой о мудреце, и тем, что жил в ней великий аскет, Алмаз Учености Пранешачария, и уж конечно делами поганца Наранаппы. По большим праздникам, таким, как рождение Рамы, толпы народу стекались в аграхару послушать повествование Пранешачарии о жизни Рамы. И пусть никто не мог сладить с Наранаппой — зато был Ачария, который заботливо ухаживал за калекой женой во славу милосердия бога, терпел выходки Наранаппы, разгонял понемногу тьму в брахминских головах, набитых молитвами, смысла которых они не понимали. Ачария исполнял свой долг, и долг его в этом мире день ото дня становился все сладостней и благоуханней, как сандал, растираемый о камень.

Улица аграхары накалилась так, что кукурузу можно было поджаривать. По улице брели ослабевшие от голода брахмины, прикрывая головы от солнца краем одежды. Они перебрались через три ручейка в речном русле, вступили в тенистую рощу, откуда час ходьбы до Париджатапуры. Зелень арековой рощи вздымала земную прохладу к жарким небесам. Пальмовые ветви замерли в безветрии. Горячая пыль жгла брахминам ноги.

С именем бога Нараяны на устах переступали брахмины порог дома Манджайи, куда никогда раньше не входил ни один из них. Богатый человек Манджайя, понаторевший в мирских делах, приводил в порядок счета. При виде гостей он встал и громким голосом почтительно приветствовал брахминов:

— Какая честь, все брахмины пожаловали к нам, входите, входите, позвольте усадить вас, отдохните, может быть, пожелаете ноги омыть? Жена, подай гостям бананов!

Жена Манджайи выскочила со спелыми бананами на блюде, низко поклонилась.

Брахмины вежливо поблагодарили женщину.

Гаруда глубоко вздохнул и сообщил о смерти Наранаппы.

— О боже! Что же случилось? Он был тут по делам дней восемь, может, девять назад. Сказал, что едет в Шивамогу. Спрашивал, не нужно ли мне там чего. Я еще попросил узнать, почем идут арековые орехи в городе... Шива, Шива. Говорил, к четвергу вернется. Он что, болел? Чем болел?

— Четыре дня был в горячке. И волдырь какой-то вспух,— ответил Дасачария.

— Шива, Шива,— заохал Манджайя, прикрывая глаза и обмахиваясь веером.

Он поддерживал постоянные связи с городом... Вдруг он вспомнил разговор о городе и короткое название страшной болезни, кото-

рое было произнесено, такой страшной болезни, что Манджайя даже про себя не смел повторить это слово.

— Шива, Шива! — бормотал он.

Очень скоро ненадежные брахмины Париджатапуры столпились на мощеной дороге.

— Вам известно,— обратился к ним Гаруда, как самый обходительный,— что люди нашей аграхары поссорились с Наранаппой, мы даже воду и рис не делили с ним. А с вами он дружил, что тут говорить. Теперь он умер и нужно совершить похоронный обряд. Нужно. Что тут говорить?

Париджатапурцы опечалились, узнав о смерти друга, но обрадовались возможности принять участие в похоронах высокорожденного брахмина. К тому же Наранаппа не брезговал есть вместе с ними и вообще кастовую гордыню никогда не проявлял.

Первым заговорил Санкарайя, париджатапурский жрец:

— Истинно считают брахмины: и змея рождается дважды. Ибо вначале появляется яйцо, а из него — змея. Поэтому наткнувшийся на мертвую змею должен схоронить ее по обряду, до завершения которого нельзя принимать пищу. А раз так, то непозволительно сидеть, сложив ладони вместе, когда умирает дважды рожденный брахмин. Разве не прав я?

Больше всего Санкарайе хотелось блеснуть знанием священных книг, показать этим заносчивым мадхвам, что в Париджатапуре люди ничем не хуже, чем они.

Дургабхатта забеспокоился.

«Глупому брахмину только дай поговорить!— думал он.— Навлечет бесчестье на всю аграхару!»

Вслух же он повел речь ловко и тонко:

— Истинные слова, понятные всем. Именно так подошел к делу и Пранешачария. Вопрос в другом: Наранаппа пил вино и ел мясо, Наранаппа сбросил в реку священный камень — так брахмин он или не брахмин? Скажите мне, кто из вас пойдет на риск осквернения? Но я совершенно согласен с тем, что непозволительно оставлять без сожжения тело умершего брахмина.

Санкарайя переменился в лице. Их и без того считают не совсем брахминами, кому же хочется пасть еще ниже, совершив нечто для брахмина недопустимое?

— Если так обстоит дело,— прознес он,— то нам не должно проявлять поспешность. Вся Южная Индия знает и чтит вашего Пранешачарию. Пусть же он подумает и решит, как следует поступить. Он может рассудить, где добро и где зло.

А Манджайя добавил:

— И не беспокойтесь о расходах. Разве Наранаппа не был мне другом? Я позабочусь обо всем.

Это был выпад в сторону мадхвов, славившихся скупостью.

Отправив брахминов в Париджатапуру, Пранешачария велел Чандри ждать, а сам пошел к больной жене. Он подробно рассказал ей о том, как чиста сердцем Чандри, как сложила она к его ногам золотые украшения и как ее щедрость осложнила дело.

Потом он разложил перед собой связки пальмовых листьев со священными текстами и стал перебирать их в поисках верного решения.

III

Сколько Пранешачария помнил себя, Наранаппа вечно мешал всем жить. И даже не в самом Наранаппе была беда, а в том, чья возьмет в аграхаре: его, Пранешачарии, праведный образ жизни и приверженность обычаям старины или разнузданность Наранаппы. Пранеша-

чария очень старался понять, что толкнуло Наранаппу на этот путь, молился за него, прося бога послать ему прозрение.

Дважды в неделю Ачария постился во искупление вины Наранаппы. Пранешачария знал, что его мучает и память об обещании, которое он дал умирающей матери Наранаппы. Ачария сказал тогда ей в утешение:

— Я не брошу твоего сына, верну его на путь благочестия, не тревожься так за него!

Но по пути благочестия Наранаппа идти отказался и ничьих добрых советов выслушивать не пожелал.

Он еще и другим показал пример: буквально из-под носа Пранешачарии увел и Шьяма, сына Гаруды, и Шрипати, зятя Лакшмана, которых Ачария учил санскриту. Шьяма Наранаппа подбил бросить дом и уйти в армию.

Устав от жалоб на Наранаппу, Ачария решился наконец поговорить с ним. Когда он вошел в дом, Наранаппа валялся на мягком матрасе. Уважение он проявил, поднявшись на ноги, но слушать Ачарию так и не стал. Хуже того, не постеснялся сказать без всяких обиняков, что он думает о брахминах и об их долге.

— Ваши священные Книги, ваши обряды — никому они больше не нужны. Национальный конгресс забирает власть, и скоро вас заставят открыть двери храмов для неприкасаемых,— богохульствовал Наранаппа.

— Остановись!— вынужден был прервать его Ачария.— Произнося злые слова, ты собственной душе ущерб причиняешь... И не отвращай Шрипати от его жены.

Громкий хохот был ему ответом.

— О Ачария, ну кому же охота спать с женщиной, не доставляющей удовольствия! Разве что брахмину, который все равно не знает, что с женщиной делают! Ах вы, брахмины, святоши иссохшие, вы и меня хотели бы на цепь посадить при какой-нибудь кликуше — лишь бы из моей касты была! Да захлебнуться бы вам всем в вашем благочестии — одна жизнь у человека, одна, ясно? Все остальное — сказки! Правильно говорил Чарвака: мир материален, жизнь одна, ей нужно радоваться и жить в свое удовольствие. Хоть в долг, а жить!

— Живи как хочешь, твое право,— взмолился Ачария,— но об одном прошу — молодежь не развращай!

Наранаппа только фыркнул.

— Ты знаешь, кто молодежь развращает? Вы сами! Гаруда слывет благочестивым брахмином, так ведь? А Гаруда грабит бритоголовых вдов, Гаруда с деревенскими колдунами якшается — хорош брахмин! Ладно, Ачария. Жизнь покажет, кто прав: я или ты. Увидим, долго ли еще продержатся все эти брахминские штучки. Высшая каста, дважды рожденные, всеми почитаемые — да я с радостью все это отдам за часик с горячей девкой в постели! И уходи, Ачария. Говорить нам не о чем, а обижать тебя я не хочу.

И Ачария ушел ни с чем.

Почему же он все-таки противился изгнанию отступника из касты? Из-за чего — из страха или из жалости? А может быть, из упрямства, из-за того, что очень уж хотелось сломить Наранаппу? Что бы там ни было, но сейчас мертвый Наранаппа бросает вызов благочестию Ачарии, как делал это при жизни.

В последний раз Ачария виделся с Наранаппой три месяца назад. Вечером четырнадцатого дня луны Гаруда ворвался к нему с криками, требуя, чтобы он что-то предпринял: утром того дня Наранаппа с целой компанией мусульман явился к храмовому пруду, у всех на глазах выловил священных рыб и унес. Громадные откормленные рыбины

сами подплывали к берегам и брали рис из рук — любой, кто вздумал бы их тронуть, должен бы захаркать кровью и умереть. Во всяком случае, брахмины в этом не сомневались. А Наранаппа презрел запрет и хоть бы что.

Ачарию напугал не сам поступок Наранаппы — плохой пример людям. Если рухнут запреты, на чем будут держаться благочестие и справедлизый порядок вещей? В эти черные времена, когда все приходит в упадок, один лишь страх направляет простолюдинов по правильному пути, не будет страха — какие силы помогут нам удержать мир от гибели?

Пранешачария не мог не вмешаться.

Он быстрым шагом подошел к дому Наранаппы и на веранде увидел его самого.

Наранаппа был явно пьян: глаза налиты кровью, волосы растрепаны. Но, как бы пьян он ни был, разве не прикрыл он поспешно рот краем дхоти, едва завидев Ачарию?

Жест почтения и страха внушил Ачарии некоторую надежду. Ачарии часто казалось, что душа Наранаппы — запутанный лабиринт, в который ему никак не удается проникнуть. А в этом жесте Пранешачарии увиделась щелка, трещинка в демонической гордыне заблудшего — может быть, кончик путеводной нити.

Ачария ощутил прилив сил от собственной добродетели. Он понимал, что словами здесь ничего не сделать. Он понимал, что Наранаппа откроется, только если в него рекой хлынет добродетель Ачарии. Но в самом Ачарии закипало острое желание, могучее, как похоть, желание орлом святости налететь на Наранаппу, вцепиться в него и когтить его душу до тех пор, пока не прольется она божественной сутью, родник которой таится в каждом из людей.

Ачария вперил гневный взгляд в Наранаппу. Простой отступник пал бы ниц и извивался в ужасе под этим взглядом. Две покаянные слезинки, и больше ничего не нужно; он бы, как брата, заключил отступника в объятия — Ачария желал этого всем существом, он старался заглянуть в самую душу Наранаппы.

Наранаппа повесил голову: казалось, будто хищная птица святости и впрямь упала на него с небес и ухватила его когтями; будто он чувствует себя ничтожным червяком; будто внезапно распахнулась дверь во мрак его души и свет истины слепит его.

Но Наранаппа отвел руку от лица, отбросил на циновку тряпицу, которой прикрылся было, и выкрикнул со смехом:

— Чандри! Где бутылка? Сам Ачария явился! Поднесем Ачарии нашей святой воды!

— Закрой рот!

Пранешачарию затрясло от ярости — Наранаппа не дался ему в руки, увернулся, и Пранешачария чувствовал себя как человек, который, спускаясь с лестницы, промахнул ступеньку.

— Ого! Ачария тоже умеет сердиться! А я думал, только обыкновенные люди, как мы, поддаются страстям и гневу. Хотя не зря же говорится: кто подавляет в себе страсти, у того злоба до самого носа достает! Дурваса, Парашара, Бхригу, Брихаспати, Кашьяпа — все великие мудрецы были людьми горячими. Чандри, бутылка где, я тебя спрашиваю? Так верно говорю или нет, Ачария? Великие мудрецы — святые люди, примеру которых нам должно стремиться следовать. Блудливая была компания! Как этого звали, который прямо в лодке повалил рыбачку, когда она его через реку перевозила, и чтоб от нее рыбой не перло, одарил ее тело вечным благоуханием, а? Умели жить! А теперь? Что сталось с жалкими брахминами, потомками таких мужей!

— Закрой рот, Наранаппа!

Озлившись на медлительность Чандри, Наранаппа сам шумно за-

топал наверх за бутылкой, возвратился и наполнил стакан. Чандри, выскочив из кухни, пыталась удержать его. Но Наранаппа ее оттолкнул.

Пранешачария закрыл глаза. Опять ничего не вышло. Нужно было уходить.

— Постой, не уходи, Ачария!— потребовал Наранаппа.

Пранешачария остановился: если сейчас уйти, Наранаппа решит, что он струсил.

Его мутило от запаха спиртного.

— Слушай меня,— властно сказал Наранаппа. Он глотнул из стакана и со смехом замотал головой.— Посмотрим, кто победит: ты или я. Я ненавижу брахминство и изведу вас, не сомневайся. Беда в том, что здесь и воевать-то не с кем, один ты здесь настоящий. Гаруда, Лакшман, Дургабхатта — да какие они брахмины! Был бы я, как раньше, брахмином, Гаруда бы меня на завтрак скушал и святой водичкой запил бы. А Лакшман так деньги любит, что медяк с кучи дерьма языком слизнет. Этот бы мне свою очередную дряблую свояченицу в жены подсунул, чтоб наследство после меня получить. А я бы ходил с длинным клоком на макушке,— как положено, а как же?— рожу пеплом бы натирал и сидел бы у тебя на веранде, слушал бы святые байки.

Наранаппа сделал еще глоток и рыгнул. Чандри, затаившись в сторонке, испуганно следила за всем происходящим. Она умоляюще сложила руки и взглядом показала, что Ачарии лучше уйти.

Пранешачария повернулся к выходу — что с пьяным разговаривать? Но может быть, это он сам вызвал Наранаппу на кощунственные разговоры?

— Стой, Ачария, слушай меня! Откуда такое высокомерие, почему вся аграхара должна всегда одного тебя слушать? Послушай разок, что я тебе скажу. Я тоже знаю святые байки, вот слушай: жил да был в одной аграхаре один сильно святой Ачария. Жена его вечно болела, и он не знал, что это такое — спать с женщиной. Зато слава об учености его всю страну осветила. Другие брахмины из этой аграхары погрязли в мерзости, прямо-таки купались во всем, что оскверняет брахминскую душу: в чревоугодии, корыстолюбии, в искреннейшей любви к золоту. Но неслыханные добродетели Ачарии покрывали их мерзости, поэтому они спокойно пакостили дальше. Ачария все укреплялся в добродетели, а аграхара — в скверне. Пока в один прекрасный день не приключилась странная вещь.Ты меня слушаешь, достопочтенный Ачария? В моем рассказе есть урок — всякий поступок имеет своим последствием не желаемое, а обратное тому, чего хотелось достичь. Выслушай историю, Ачария, и тебе будет что рассказывать твоим брахминам.

Так что же приключилось? Жил в той же аграхаре молодой здоровый парень. Ни разу он не переспал толком со своей законной супругой, потому что она не желала спать с ним — ей мамаша ее не велела. Молодой брахмин исправно приходил по вечерам к дому этого Ачарии и слушал святые легенды — ни одного вечера не пропускал. Были у него на то причины. Верно, Ачарии был неизвестен вкус любви и жизни он не знал, зато в знании любовной поэзии ему не было равных. Как-то раз Ачария уж очень подробно описывал прекрасную Шакунталу из пьесы Калидасы. Он говорил, а парень слушал. Молодому брахмину уже вконец опротивела его жена, дура жаловалась своей матери, что муж пытался ущипнуть ее в постели. Описания Ачарии огнем жгли тело молодого человека, он прямо-таки чувствовал женскую плоть — ты понимаешь, о чем я говорю, Ачария? Огонь так палил, что молодой брахмин не смог совладать с собой, сорвался с веранды и помчался сам не зная куда. Ему хотелось одного — остудить этот жар в холодной речной воде. На его счастье, в реке под лунным светом купалась неприкасаемая девушка. Опять-таки на его счастье,

на неи было мало что надето и луна освещала все те выпуклости и изгибы, которых так жаждал бедняга. Красотка была соблазнительна, не хуже той рыбачки, которая святого распалила. Молодой брахмин возьми и вообрази себе, что она и есть Шакунтала, которую живописал Ачария. Благочестивый юноша тут же с ней и совокупился — одна луна видела. Теперь разъясни мне, достопочтеннейший Ачария, не сам ли добродетельный ученый подорвал брахминские устои аграхары? Он это сделал или не он? Вот почему старики всегда внушали: читай Веды,читай Пураны, но старайся не вникать. Достопочтеннейший Ачария, ты в самом Бенаресе учился, ответь на мой вопрос: кто подорвал устои нравственности в благочестивой аграхаре?

Пранешачария оцепенел в безмолвии.

Он молча слушал Наранаппу, и его душу охватывало сомнение: что это, пьяная болтовня или действительно он сам и был причиной, породившей порок?

— Порок красноречив,— сказал он со вздохом,— добродетель безмолвна. Пусть будет бог милосерд к тебе — вот все, что я могу сказать.

— Ты прочитал все Пураны, все описания любовной страсти, а проповедуешь воздержание. А в моих словах нет потайного смысла. Когда я говорю: «спи с женщиной», это значит: спи с женщиной. «Ешь рыбу» означает: ешь рыбу. Можно, я дам совет вам, брахминам, Ачария? Соберите ваших иссохших жен и утопите их в реке. Живите как жили ваши святые — со здоровыми красивыми рыбачками, пускай они вам варят рыбу, а потом спят с вами в обнимку. И если, проснувшись, вы не познаете бога — не Наранаппа мое имя.

Он подмигнул Ачарии, допил, что оставалось в стакане, и громко, с наслаждением, рыгнул.

Больней всего задели Ачарию издевки над его женой-калекой. Он отчитал Наранаппу, назвал его низкорожденным негодяем и ушел.

В тот вечер, готовясь к молитвам, он никак не мог «утишить волны мысли».

Что же это?— спрашивал он себя в недоумении и тоске.

С того дня Ачария перестал повествовать по вечерам истории о любовных похождениях богов и святых и перешел на рассказы о нравственном совершенствовании. И что же? Он почувствовал, как меркнет, как гаснет и его интерес к Пуранам. Перестали ходить на веранду молодые брахмины, которые раньше радовали его сердце горящими глазами и прерывающимся дыханием. Теперь Ачарию больше слушали женщины, желающие приобрести заслугу для следующей жизни, посреди повествования они начинали скрывать зевки бормотанием имени бога; слушали старики, то задремывая, то пробуждаясь...

Пранешачария все перебирал пальмовые листья старых рукописей, когда в соседней комнате застонала жена. Он вспомнил, что не дал ей лекарство на ночь. Налил отвар в чашечку и, поддерживая голову жены у своей груди, осторожно поднес лекарство к ее рту.

— А теперь поспи,— посоветовал он.

Пранешачария вернулся к чтению, упрямо бормоча себе под нос:

— Как может быть, чтобы в Книгах не нашлось ответа?

IV

Брахмины возвращались из Париджатапуры, со стоном выдыхая имя бога: «Харе... Харе... Харе...»

Голодные, плелись они по жаре, мечтая о послеполуденном отдыхе. Но жены, особенно жена Гаруды с женой Лакшмана, ждали их на суд.

В аграхаре разное болтали о том, почему убежал из дому и ушел в армию Шьям — единственный сын и наследник Гаруды. Недруги Га-

руды утверждали, что сын не вынес побоев отца, недруги Наранаппы не сомневались, что это он подговорил дурачка. Лакшман, тот вообще считал, что против Гаруды обратилось колдовство, к которому тот когда-то прибег, чтоб извести отца Наранаппы. А иначе с чего было Шьяму сбиться с пути и удрать из дому, когда его сам Пранешачария пестовал? Известно ведь: кто ввяжется в колдовство, уподобит себя демону Бхашмасуре. Бог Шива даровал демону свойство испепелять всякого, чью голову он накроет своей ладонью. Обнаглевший демон попытался самого Шиву обратить в пепел. Тогда боги наказали Бхашмасуру, подстроили так, что он простер ладонь над собственной же головой — и рассыпался прахом. Всякий знает, чем кончаются такие дела.

Анасуйя, жена Лакшмана, ненавидя Наранаппу за то, что он опозорил семью ее матери, винила во всем Гаруду: не воспользовался бы Гаруда колдовством, так Наранаппа, сын достойных родителей, никогда не преступил бы кастовые запреты.

Ситадеви, жена Гаруды, не ела, не пила, чахла на глазах после того, как мерзавец Наранаппа сманил ее сына из дому. Три месяца проплакала она, день и ночь ожидая возвращения сына, а потом пришло письмо от Шьяма — он в Пуне, служит в армии. Поставил подпись под государственной бумагой, так что теперь его не отпустят, разве только если за него внесут шесть сотен рупий неустойки.

Ситадеви прямо на улице набросилась на Наранаппу, бранилась и рыдала, волосы рвала на себе. Письмо сыну продиктовала: «Мяса не касайся, омовения совершай и не пропускай вечерние молитвы». Ситадеви постилась по пятницам, чтоб чистота и добро вошли в сердце ее сына.

Гаруда ярился, как разгневанный Дурваса, метался, будто его красные муравьи заели, и вопил на всю аграхару:

— Нет у меня сына! Умер! Больше его нет! Пусть только попробует домой сунуться, я ему голову проломлю!

Ситадеви дала обет богине, умоляла ее:

— Ниспошли мир душе моего мужа, сохрани его любовь к сыну!

Ради этого Ситадеви начала и по субботам тоже блюсти пост.

Дургабхатта из ненависти ко всем мадхвам подливал масла в бушевавший огонь.

— Смирись,— нашептывал он Гаруде.— Теперь уж делать нечего. Сын в армии, какие там молитвы, какие омовения, а мясо он наверняка каждый день ест.

Сейчас Ситадеви почувствовала себя почти счастливой: попади им в руки украшения этой Чандри, может, и впрямь удастся выкупить Шьяма из армии... В какой-нибудь священной Книге уж конечно написано, что ее муж имеет право совершить обряд по Наранаппе. Но на душе у нее кошки скребли. А вдруг Лакшман опередит ее мужа и возмется за обряд? Или людишки эти из Париджатапуры? Они и не подумают бояться осквернения, им что чисто, что нечисто — все равно. Ситадеви поклялась отнести фрукты и кокосы в храм Марути.

— Вишну,— молилась она,— сделай так, чтобы моему мужу вышло совершить обряд, помоги, всевышний!

Теперь и мясоедение Наранаппы не казалось ей таким уж преступным. Вернется ее сын из армии — что будут говорить о нем беспощадные языки аграхары? Начнут вопить, что солдаты мясо едят, что его тоже нужно лишить касты? Ситадеви громче всех поносила Пранешачарию, когда он колебался и не изгонял Наранаппу. Сейчас она почти молитвенно думала о Пранешачарии: воистину душа, исполненная любви и доброты, нет сомнения, Пранешачария поможет ее сыну искупить отступничество, защитит его от поношения, обязательно защитит.

Едва Гаруда переступил порог и приготовился опуститься на циновку, как Ситадеви с плачем взялась за него.

— Он умер для меня!— рявкнул Гаруда.— Я слышать не хочу об этом негодяе!

Однако идея Ситадеви клещом впилась в его мозг. Пусть все сгорит, пусть сын сгорит, он не намерен терять касту. Вот если бы сам Пранешачария сказал «да», тогда другое дело. Тогда он вне опасности. Тогда он даже мог бы выкупить из армии своего единственного сына и наследника. Кто как не сын упокоит душу отца после его смерти?

— Замолчи, не будет этого,— огрызнулся он на приставания жены, но снова вышел на жару и воровски прокрался в дом Пранешачарии.

Стараясь не замечать Чандри, сидевшую у столба веранды, Гаруда прошел к Пранешачарии.

— Садись, Гаруда. Говорят, брахмины Париджатапуры решили поступить в согласии с Законом. Они, бесспорно, правы.

Пранешачария снова углубился в чтение.

Гаруда почтительно откашлялся.

— Что гласят законы Ману, Ачария? — спросил он. Пранешачария только качнул головой.— Светоч мудрости, разве может отыскаться в книгах то, что неизвестно было бы тебе? Об этом даже спрашивать не нужно. Я слышал, как ты спорил с великими пандитами, что тут говорить? Я же помню тот день и пандитов из Вьясарайя и помню, как они растерялись, когда ты попросил их истолковать слова: «Ты есть подлинность, я есть отражение». Что тут говорить? В тот день брахминов кормили не меньше четырех часов. Так что ты не пойми меня неправильно — не с тем я пришел к тебе, чтобы помочь. Рядом с тобой я ничтожнейший, неотесаннейший из невежд.

Ачария ощутил, как поднимается в нем отвращение к Гаруде с его льстивостью и заискиваниями. Этого человека совсем не занимало, что сказано в священных Книгах, как идти по пути праведности. Он хотел услышать только одно: «Ты можешь совершить обряд». Сейчас Гаруда до небес возносит его, Ачарию, ради короткого «да», потому что «да» обезопасит его от обвинений в нечистоте помыслов. А помысел его — золото. Нужно поступать, как велит долг, не ожидать плодов поступка, иначе желаемое может обернуться своей противоположностью. Именно так говорил и Наранаппа. Великодушие тоже может породить зло. Ачария не должен позволить себе размягчиться от жалости, ему следует проявить твердость, свериться с Законом и поступить согласно.

— Что тут говорить, мудрецам древности было открыто прошлое, настоящее и будущее. Разве может такое быть, чтоб не подумали они о случае, подобном нашему, а?— Пранешачария не отрывался от чтения.— Достопочтенный наш Ачария, ты однажды объяснил, что наша философия называется веданта, что «вед» — это знание, а «анта» — конец, предел. Предел возможности познать, ты говорил. Раз это окончательное знание, как же можно думать, будто не найдется в Книгах ответа на наш вопрос? Сейчас — что тут говорить? — тело умершего брахмина лежит в аграхаре и никто из нас не может исправлять свои повседневные обязанности. Что тут говорить? Поесть не можем, пока здесь труп. Не в этом дело, конечно...

Пранешачария не отвечал. Он сам учил их всех веданте, Пуранам, логике, а теперь Гаруда пускал в ход все это — во имя чего? Золото, золото. Скорбна жизнь человеческая.

— И больше того, ты сам, Ачария, сказал слово истины. Наранаппа отверг брахминство, но перестал ли он быть брахмином? Мы ж не изгнали его! Что тут говорить? Если бы мы его изгнали, а он бы перешел в ислам, так нам пришлось бы бросить осквернённую аграхару, верно?

Пранешачария поднял глаза.

— Гаруда, я уже решил, я поступлю в согласии с Законом.

Он придвинул к себе новую связку пальмовых листов, надеясь, что теперь Гаруда оставит его в покое.

— Ну ладно, допустим, что нет в Книгах ничего на этот случай. Я не хочу сказать, что вообще нет. Ну предположим, что мы так ничего и не нашли. Ты сам же говорил, что бывают случаи, когда нужно действовать в духе высшего Закона. Вот один раз ты рассказывал, я ж помню, ты рассказывал, что можно даже накормить человека говядиной, если от этого зависит жить ему или умереть. Что тут говорить? И ты нам говорил про великого святого Вишвамитру, что, когда на всей земле был страшный голод, святой не выдержал, он ел собачье мясо, потому что высший Закон предписывает сохранять жизнь. Так что тут говорить?

— Я понимаю, Гаруда. Почему ты прямо не скажешь, что у тебя на уме? — спросил Пранешачария, утомленно складывая рукопись.

— Нет у меня на уме ничего потаенного,— пробормотал Гаруда, уставясь в пол. Неожиданно он простерся у ног Ачарии, потом поднялся на ноги и спросил: — Кто спасет моего Шьяма от армии, достопочтенный Ачария? И скажи мне, кто как не сын должен совершать обряд по мне, когда я умру? Так если ты позволил бы, я...

И в этот самый миг в комнату вошел Лакшман и стал рядом с Гарудой.

Жена Лакшмана, Анасуйя, вернулась в этот день домой в слезах: украшения ее родной сестры теперь в чужих руках, сестра и погибла из-за этой проклятой шлюхи Чандри. Она оплакивала и Наранаппу — он же, в конце концов, был сыном ее дяди по матери. Был бы жив дядя, была бы жива сестра, не навел бы Гаруда колдовство на Наранаппу, от которого он, бедный, ума лишился, да разве он бы выбросил на ветер такие ценности? И не умер бы он как бездомный бродяга, нет! А сейчас лежит без погребения и некому совершить обряд. От этих мыслей Анасуйя зарыдала в голос:

— Великий боже, что бы ни натворил он при жизни, как можем оборвать мы узы крови между ним и нами?

Но тут она заметила Лилавати, свою дочь, коротконогую толстуху с золотым кольцом в ноздре и жирным красным кружком на лбу. Сердце Анасуйи сразу отвердело.

— Шрипати сказал, когда вернется? — в десятый раз вопросила она дочь.

— Я не знаю,— тупо пробурчала Лилавати.

Анасуйя пристроила дочь замуж за сироту Шрипати, а кровный родственничек Наранаппа сбил зятя с толку, развратил его. Как змея, что пожирает свои же яйца. И что он там напел в уши ее зятю? Шрипати вообще перестал появляться в аграхаре, в месяц раза два домой заглянет, и все. Таскается из города в город за труппой бродячих актеров, водит дружбу с юнцами из Париджатапуры. А тут Анасуйя узнала через жену Дургабхатты, что он еще и с проститутками связался. Анасуйя давно говорила, что Шрипати добром не кончит, а когда она вызнала, что он потихоньку к Наранаппе бегает, ей стало ясно: по плохому пути пошел. Кто знает, какие ужасные вещи ему давали есть и пить в том доме? И кто может устоять перед Чандри, перед этой сучкой? И Анасуйя решила, что дочери пора проучить блудного зятя.

— Когда он захочет — ты ему не разрешай,— внушала она Лилавати,— завяжи сари потуже между ног, вот так, и спи в сторонке. Так он быстрее поймет, что к чему.

Лилавати во всем послушалась матери.

Когда муж ночью обнимал ее, она поднимала крик на весь дом, бежала к матери жаловаться, что он укусил или ущипнул ее, а потом вообще перешла спать в материнскую комнату.

Шрипати не понял, что к чему. Приемы Анасуйи на него не подействовали, хотя в свое время она с успехом применила их к собственному мужу и обломала его.

Шрипати срезал с макушки ритуальный брахминский клок длинных волос и коротко остригся, как Наранаппа. Накопил денег, купил карманный фонарик. Завел привычку шататься ночами вокруг аграхары, насвистывая что-то неприлично веселенькое.

Лакшман вернулся домой и сразу повалился на постель, изнеможденный голодом и жарой. Он выглядел вконец замученным: тощее тело, истрепанное малярией, ввалившиеся глаза — человек, дни которого сочтены.

Анасуйя не дала ему даже отдышаться.

— Разве Наранаппа не сын моего дяди по матери? Пускай он отступник. Но если до его мертвого тела дотронется человек низкой касты, я этого позора не переживу. У Пранешачарии чересчур уж доброе сердце. А Гаруда способен всю аграхару слопать, он всех перехитрит, он не такая тряпка, как ты. Получит разрешение на похоронный обряд и все драгоценности захапает. Сита их носить будет, она и сейчас ходит с задранным носом. Бог уже один раз покарал их за корыстолюбие, а иначе почему бы это их Шьям удрал из дому и в армию пошел? И эти люди еще поносят Наранаппу, моего родственника, сына дяди моего,— а откуда известно, что их собственный сынок не потерял касту в этих казармах, а? Пока ты тут лежишь, Гаруда сбегает к Пранешачарии и уговорит его. Ты должен пойти к Пранешачарии тоже. Вот валяешься как бревно, а этот пролаза уже там, я ли не знаю?

Анасуйя подозрительно оглядела веранду и задний двор дома Гаруды и вытолкнула мужа на улицу.

Гаруда пришел в неописуемую ярость при виде тощей фигуры, неожиданно появившейся рядом с ним, нелепой, как дикий медведь, влезающий в храм, когда идет богослужение Шиве. Лакшман, задыхаясь, плюхнулся на пол. Одной рукой он прижимал свой торчащий живот, другой упирался в пол, чтоб не свалиться. Гаруда смотрел на него уничтожающим взглядом. Побирушка из побирушек, из скупердяев скупердяй, собственную мать обворует не моргнув, слизняк ненавистный — но Гаруда молчал из-за того, что перед ним сидел Пранешачария. Скупей Лакшмана нет брахмина в аграхаре, кулак каменеет, если в нем медяк зажат, ложку масла не купит волосы смазать. Кто ж этого не знает? Когда жена доймет его вконец, он встает пораньше и топает четыре мили в лавку к Камату-гоанцу.

— Что, Камат, свежее масло из сезама есть у тебя? Ничего масло? Почем? А не прогорклое оно? Дай-ка попробовать!

За болтовней он сложит руки лодочкой, зачерпнет масла, делает вид, будто нюхает, и говорит:

— Масло ничего, да вот очищено неважно. Ты дай мне знать, когда получишь свежее, нам банку масла нужно в дом.

А сам мажет маслом голову.

Потом запускает свои лапы в мешок с красным перцем, спрашивает цену, а потихоньку целую пригоршню в сумку пересыпает.

От Камата целую милю тащится в лавку к Шеною. Там он начинает ругать Каматовы товары и тоже прихватывает немножко масла, чуть-чуть того, чуть-чуть сего. Или рыщет по чужим садам, подбирает банановые листья, дома сушит их и плетет корзиночки на продажу — на пару медяков продаст и доволен. Угощения выжидает, как стервятник, и все боится что-то прозевать. Теперь он, конечно, только и думает что о золоте. Ну, как дело ни повернется, а золота Лакшману не видать.

— Нараяна, Нараяна,— отдувался Лакшман.

Он обтер потную грудь и брякнул без долгих приготовлений:

— Ачария, почтеннейший. Если это не против Закона, я тоже не против. Наранаппа был женат на сестре моей жены, верно? Значит, по праву я и должен совершать обряд. И никто другой.

Лакшман открыл глаза.

Гаруда просто ошалел от неожиданности. Что ж ему-то делать?

— Если в том вопрос, кто вправе совершать обряд — что ж тут говорить? Ты и совершай. Для того мы рождаемся брахминами, чтобы брать на себя скверну других. А вот золото, золото придется передать в суд. Или, как решено в Дхармастхале, мне вручить.

Пранешачария встревожился. Значит, если даже решится дело с похоронами Наранаппы, возникнет новое осложнение — золотые украшения, с которыми все будет куда хуже. Пранешачария чувствовал, как с каждой минутой все тяжелеет бремя его ответственности. Вызов, брошенный ему Наранаппой, раскрывался перед ним в нарастающей огромности. Тривикрама, подумалось ему, Тривикрама...

Бог Вишну некогда явился в обличье карлика Ваманы к надменному демону Бали со скромной просьбой — даровать ему три шажка земли. Демон согласился, но карлик стал на его глазах расти и одним шагом перемахнул всю землю, другим — всю твердь небесную, а третьим — столкнул демона Бали в мир мертвых. Тривикрама — три шага; куда и к чему они могут привести?

На веранде послышались шаги, и в комнату толпой ввалились бедные брахмины.

Первым вошел Дасачария. Он погладил себя по животу с нежностью, с которой мать ласкает младенца, и заговорил:

— Ачария, ты знаешь, я человек больной. Я умереть могу, если буду долго поститься. Ты должен найти выход. Тут положение особое, и может быть, и правила особые на этот счет. Разреши нам принимать пищу до похорон. Мертвое тело все лежит в аграхаре, а через денек начнет разлагаться. Запах будет. А я живу совсем рядом. Да и другим плохо придется. Решай, Ачария. Пускай Гаруда или Лакшман берутся за обряд...

Он смолк и огляделся. Для Дасачарии голод был тем же, что похоть для Наранаппы. Сейчас голод делал его великодушным...

— Тебе стоит лишь сказать слово, Ачария. Твое слово для нас как Веды. Не нужно нам никакого золота. Скажи слово. Четверка брахминов сейчас же перенесет тело, и мы сожжем его. А золото возьми себе, отдай отлить корону из него и возложи на статую бога Марути. От нас от всех.

— Пусть наш Ачария поступает, как Закон ему предписывает. Кое-кому это не нравится. Когда достопочтенный наш Ачария найдет решение, что тут говорить? Сам гуру будет на нашей стороне. А иначе нас знаешь что ждет? Мы должны и доброе имя нашего Ачарии беречь. Что тут говорить? Не можем мы уподобляться людям из Париджатапуры, которые и брахминами зваться неизвестно имеют ли право...

Гаруда говорил с улыбкой и будто во всем соглашался с Дасачарией. Так показалось даже Лакшману, который не умел плести словесные узоры.

— Идите все,— устало произнес Пранешачария.— Я найду ответ, даже если мне придется заново перечитать все Книги. Идите. Я буду бодрствовать всю ночь.

Совсем стемнело. Пранешачария еще не молился и ничего не ел. Он неспокойно расхаживал по дому, выходил на веранду, возвращался в комнаты. Увидев на веранде съежившуюся Чандри, он велел ей войти в дом. Обеими руками, как ребенка, поднял жену, вынес ее на задний дворик, чтобы она помочилась, снова уложил, дал ей лекарство на ночь.

Теперь он мог зажечь керосиновую лампочку и засесть за чтение.

V

Вечером предшествовавшего дня Шрипати ходил в Шринали смотреть «Женитьбу Джамбавати», которую играли актеры из Кепура. Шрипати ничего не знал о возвращении Наранаппы из Шивамоги, не знал о его болезни и смерти. Если бы знал, он был бы убит горем — Наранаппа был его единственным другом во всей аграхаре, да и эту дружбу приходилось хранить в тайне.

Но Шрипати ничего не знал. Он уже неделю не был дома — свел знакомство с актером из Кепура, который выступал рассказчиком во время представлений. Шрипати был с ним неразлучен. Он проводил с актерами все время, ел вместе с ними, не пропускал ни единого представления, ложился спать под утро, а днем отсыпался или мотался по окрестным деревням, договаривался о представлениях. Это была неделя счастья — новые знакомства, увлекательные беседы, наполненная жизнь.

Сейчас он шел в аграхару, посвечивая себе карманным фонариком, и громко распевал в страшноватой темноте леса. Давно нестриженные волосы Шрипати были зачесаны назад, он не стригся, потому что его новый приятель посоветовал отращивать волосы, пообещав ему женскую роль в новом представлении. Не напрасно давал ему Пранешачария уроки элоквенции — актер восхищался прекрасным голосом Шрипати и четкостью его выговора. Занятия с Ачарией обогатили Шрипати достаточным знанием санскрита и старинных эпических сказаний, так что он мог свободно играть в классических пьесах. Получить бы только роль, и он избавится навеки от тягучего брахминского житья, от вечных похоронных угощений и поминального риса, от выклянчивания подношений.

Надежды наполняли Шрипати ликованием и теснили страхи перед ночным лесом. К тому же он выпил пальмового вина, которое сразу стало забирать его, а пение заглушало пугающее лесное безмолвие. Пара бутылок тодди, фонарик, который, к изумлению деревенских жителей, вспыхивал ярчайшим светом от легкого нажатия на кнопку,— какие духи, какие призраки посмеют напасть на путника, вооружившегося так?

Шрипати приближался к Дурвасапуре, и тело его горячилось от предвкушаемого наслаждения. Пускай жена любое тряпье напихивает между ног, ему-то что? У него есть Белли. Белли из неприкасаемых — какая разница? Как Наранаппа говорит, что богиня, что наголо обритая вдова, какая разница? А Белли... Кто из брахминских девиц — чахлых, безгрудых, изо рта чечевицей несет — может сравниться с Белли! У Белли такие округлые бедра, и когда она с ним, она обхватывает его ногами, извивается, как змея. Она, наверно, нагрела воду в глиняном горшке перед своей хижиной, старательно вымылась с головы до ног, глотнула тодди из отцовской бутылки и теперь ждет — горячая, готовая, как разогретый тамбурин. Белли не очень черная, но и не светлая, у нее кожа цвета земли, плодородной земли, облитой ранним солнцем и ждущей семени. Шрипати так хорошо представил себе Белли, что даже остановился. Он несколько раз с удовольствием нажал на кнопку, включая и выключая фонарик, повернулся кругом, освещая лес, попробовал протанцевать, как актеры, игравшие демонов, низко приседая, как они, но ушиб коленку и распрямился.

Лес был пуст, только птицы, разбуженные светом, хлопали крыльями, устраиваясь поудобней. Шрипати еще больше опьянел. Он крикнул, спугивая птиц. Как настоящий актер, стал он одно за другим разыгрывать девять состояний души, которые искусство должно вызывать в зрителе: ярость, отвращение, ужас, нежность, любовь и прочее.

Шрипати воображал себя в разных ролях. Вот он играет богиню Лакшми: рано утром она пробуждает нежной песней бога Вишну, спящего в кольцах огромного змея.

О, пробудись, Нараяна.
Проснись, мой повелитель.
Уж утро засияло...

Глаза Шрипати пощипывало от нежных слез. А вот приближается божественная птица Гаруда, на которой летает Вишну, и тоже призывает бога пробудиться:

Нараяна, проснись, проснись...

Появляется мудрец Нарада, перебирая струны, он поет:

Пора вставать, о повелитель Лакшми.

Ему отвечает хор птиц, зверей и небожителей:

Уже сияет утро...

Шрипати перешел на танец, стараясь подобрать дхоти на манер женского сари. Голову он кокетливо склонил набок. Отличная штука пальмовое вино! Зайти к Наранаппе, добавить, а? Сколько есть прекрасных женских ролей! Менака-соблазнительница, которая помешала покаянию святого Вишвамитры. Вот, наверно, хороша была! Может быть, даже лучше Чандри. Как это никто не разглядел Белли, глаз на нее не положил; она повсюду ходит оборванкой, собирает навоз. Кто на нее смотрит? А с другой стороны, кто здесь мог разглядеть ее красоту, если брахминский глаз ничего, кроме даровой еды, не видит!

Пранешачария, когда описывает женские чары, вдалбливает им, как малым детям: «Святой был потрясен красотой богини зари, и бог вложил в его уста слова: взошла, как бедра расцветшей женщины, свежей после месячного очищения... Какая смелость воображения, какая красота слога, вслушайтесь!» Но для отупелых брахминов это был просто набор санскритских слов, которые можно ввернуть в проповедь при удобном случае. А Нагаппа из Кундапуры, актер, играющий королей,— с какой силой и страстью умеет он произносить такие слова! Как он говорит: «Гудением пчел, благоуханием жасмина полон этот сад... О кто же ты, красавица, гуляющая в одиночестве, со взором, долу опущенным? Ты точно тайною печалью тяготишься, о кто же ты?»

Шрипати шагал, улыбаясь во тьме.

Только два человека во всей аграхаре понимают, что такое красота: Наранаппа и Чандри. Чандри сама так прекрасна, ее не с кем сравнить. Пусть кто-нибудь найдет вторую такую красавицу хоть за сто миль, и я скажу, что он мужчина. Дургабхатта знает в этом толк, но он до того труслив, что может только решиться смазливую мусорщицу полапать. Конечно, настоящий ценитель красоты — это Пранешачария, вот он действительно один на миллион. Когда он читает по вечерам Пураны или разъясняет смысл отдельных стихов, самый лучший актер может умереть от зависти к изяществу его речи и звучности голоса. Пранешачария прекрасно говорит и сам бывает так красив в эти минуты. Ему все идет: и длинная прядь волос на макушке, и кастовый знак на лбу — кружок и черточка. Никто не может так элегантно набросить на себя золототканый шарф, как он. Говорят, у него их пятнадцать штук, преподнесенных в награду за победы в ученых спорах с самыми искушенными пандитами Южной Индии. Но сам он никогда не выставляет свою ученость напоказ. Бедняга, жена у него калека, у них не может быть детей. Пранешачария с такой любовью описывает героинь Калидасы, что же он сам-то чувствует при этом? Сам-то он знает, что такое желание? Ведь Шрипати в пер-

вый раз приник к Белли на берегу реки, когда он наслушался стихов Ачарии, пока в нем вся кровь не вскипела. Белли шла с кувшином воды на голове, ее отрепья распахнулись, и в лунном свете упруго подрагивали груди цвета земли. Белли показалась ему Шакунталой, и плоть Шрипати отозвалась на поэзию Ачарии.

Шрипати свернул на тропинку, сокращавшую путь, и вышел прямо к хижинам неприкасаемых под склоном холма. В безлунной ночи пылал огонь — горела одна из хижин. Огонь освещал движение чернильно-черных фигур. Шрипати остановился поодаль, прислушался. Все было тихо, никто не причитал и не старался потушить пожар. Шрипати скрылся за толстым стволом и в недоумении смотрел, что происходит. Бамбуковые подпорки, крытые циновками и пальмовыми листьями, ярко пылали в безветренной духоте летней ночи и очень скоро сгорели дотла. Черные фигуры разбрелись, все успокоилось. Шрипати подкрался поближе к жилищу Белли и негромко хлопнул в ладоши. Белли вышла в одной набедренной повязке, с голой грудью, с распущенными, свежевымытыми волосами, закрывавшими лицо и плечи, и скользнула в кусты. Шрипати огляделся по сторонам, убедился, что поблизости нет никого, и пробрался к Белли. Он пощелкал кнопкой фонарика и обнял Белли.

— Нет, пожалуйста, нет. Сегодня не надо.

Белли никогда раньше так не говорила, и Шрипати изумился, но молча сдернул с нее набедренную повязку.

— Не знаю, что это: Пелла и его женщина оба умерли. Их, может, злые духи извели, а может, что другое...

Шрипати не вслушивался в слова Белли. Она была голая, и он потянул ее на землю.

— Оба умерли, так и не открыли глаз. Какая-то лихорадка. Мы все испугались, оставили их в хижине и подожгли ее.

Шрипати сгорал от нетерпения. Белли что-то там болтала, она была не с ним. Он шел к ней с таким желанием, а она вздумала рассказывать про покойников, про лихорадку. Раньше она молчала в эти минуты, трепетала, как налитой колос под хлещущим дождем.

Потом Белли затянула узлом свою набедренную повязку и опять заговорила:

— Я хочу тебе рассказать. Я такого никогда еще не видела. С чего это мышам и крысам бегать по нашим хижинам? У нас не бывает еды. Это же не брахминские дома. Крысы являются как родственники в гости. Ужас! Падают с крыш, кружатся, кружатся на месте и подыхают. А другие мчатся в лес, прямо как люди от пожара. Я никогда такого не видела. Наши говорят, нужно привести колдуна, который с духами якшается, чтоб духов спросил. С чего это крысы прибегают к неприкасаемым и подыхают? Раз — и сдохла! Раз — и нет! Будто сучок сломали... Духи должны знать...

Шрипати расправил дхоти, надел рубашку, достал из кармашка гребенку, причесался и зашагал домой, светя себе фонариком. Спать с Белли хорошо, а говорить с ней не о чем. Как раскроет рот, так сразу злые духи, демоны, колдуны.

Скорее к Наранаппе. Шрипати подобрал дхоти до колен и побежал вниз по склону. Хотелось пить. Попьет воды у Наранаппы, заночует у него, а утром отправится в Париджатапуру к Нагарадже. Перед домом Наранаппы Шрипати перевел дух. Легонько толкнул дверь. Она открылась. «Не спит еще»,— обрадовался Шрипати и весело защелкал фонариком.

— Наранаппа!

Тишина. В доме невыносимо воняло дохлятиной.

Шрипати решил подняться наверх и постучаться в комнату Наранаппы. Не зажигая фонарика, он ощупью стал двигаться к хорошо знакомой лестнице и уже обогнул угол, как вдруг наступил босой ступней на что-то мягкое и холодное. Отпрянув, он включил фонарик.

Дохлая крыса. Лежит на спине, задрав лапки. Спугнутые мухи зажужжали в луче света. Шрипати бросился вверх по лестнице, ступеньки трещали под его ногами. Почему Наранаппа спит на полу, накрывшись с головой? Упился, наверно, так, что из ушей закапало. Шрипати усмехнулся, откинул одеяло, потряс Наранаппу за плечо. Плечо было холодным, как крыса. Шрипати отдернул руку и зажег фонарик. Открытые, незрячие глаза, навеки устремленные вверх. Копошение мелких насекомых в углах глазниц.

И зловоние.

VI

Лакшмидеванма, которой шестьдесят исполнилось добрый десяток лет назад, самая старая обитательница аграхары, с громким стоном толкнула дверь и звучно икнула. Она выбралась на улицу, постояла, налегая на палку, и снова звучно икнула. Когда ее одолевала бессонница или когда ее разум бывал помутнен, она выходила по ночам из дому и тащилась по улице сначала вверх, потом вниз, вверх, вниз. В конце концов она останавливалась перед домом Гаруды, кляла его предков и потомков, осыпала проклятиями его самого, призывала богов и богинь в свидетели своей правоты. Дойдя до изнеможения, Лакшмидеванма ковыляла обратно, с душераздирающим скрипом закрывала дощатую дверь и засыпала. Припадки безумия усиливались в новолуние и полнолуние, и тогда вся аграхара слышала ночами скрип ее двери, икание и проклятия. Лакшмидеванма была известна всей округе. Она овдовела еще маленькой девочкой и получила за это кличку Лакшми Беда. Она замахивалась палкой на мальчишек, носившихся по улице, и громко ругалась на них и взрослых брахминов, которые, завидев Лакшми, всегда пятились, чтоб избежать сглаза. Но вообще-то никто не обращал внимания на ее выходки. У нее были и другие прозвища: Икотка и Полудурь Лакшми.

О ее судьбе книгу можно было написать. В восемь лет ее выдали замуж, в десять она овдовела. Ей было пятнадцать, когда в один год умерли и свекор, и свекровь. Аграхара зашушукалась: Лакшми всем несла беду. Ей не исполнилось и двадцати, когда умерли ее родители. И тогда отец Гаруды взял на себя опеку над ее небольшим имуществом. Он поселил Лакшми в своем доме — это было похоже на него. Точно так же он распоряжался имуществом отца Наранаппы да еще рассказывал всем, что дурачку не справиться без его помощи. Двадцать пять лет прожила Лакшмидеванма под крышей этого дома — после смерти отца Гаруды ее опекуном стал сам Гаруда. Жена Гаруды, всю семью державшая впроголодь, меньше всего желала тратиться на Лакшми. Женщины беспрестанно ссорились, доходило даже до драк. Кончилось тем, что Лакшми выгнали вон и она ютилась в развалившемся доме покойного мужа. Жила она совсем одна. Ходила с жалобой к Пранешачарии, тот призвал Гаруду и сделал ему внушение. Гаруда объявил, что будет выдавать Лакшми деньги на пропитание — и бросал ей рупию в месяц. Время от времени Пранешачария обходил брахминские дома, собирал доброхотные даяния для Лакшми. Она старела, и ненависть к людям ядом пропитывала все ее существо.

Сейчас она стояла перед домом Гаруды, громко икала и сыпала проклятиями.

— Чтоб твой дом злые духи одолели, чтоб у тебя бельма на глазах выросли. Кровосос, вдову обобрал, на отца Наранаппы колдовством порчу напустил. Выйди, выйди, если ты мужчина, докажи, что я вру! Сожрал деньги нищей обритой вдовы, старуху обездолил, думаешь, тебе краденое впрок пойдет? Не надейся, не пойдет, подавишься ты моим добром! С того света буду являться, детей твоих терзать, я такая, я смогу, вот увидишь!

Лакшми не хватило воздуха, она икнула и снова взялась за свое:

— Как еще земля тебя носит, из злодеев ты злодей! Наранаппа,

золотой человек, касту из-за тебя презрел, с базарной шлюхой слюбился! Брахминами себя зовете, а сами попрятались по домам, и каждый боится покойника схоронить! Какие вы брахмины, вы и не люди даже! Сдохнете сами, в низший из адов попадете вместе с неприкасаемыми, и не выйти вам оттуда! Да я, сколько на свете живу, не видела, чтобы почтенные люди мертвое тело на ночь оставляли! Где ж это так делается? Рама, о Рама, последние времена настали, нет больше брахминов! Что ж вы себе головы не побреете, в мусульмане не кинетесь, что ж вы брахминов из себя строите!

— У-уу! — Шрипати с воем вылетел из дома Наранаппы, одним прыжком перемахнул веранду и помчался по улице.

— Дух! — взвизгнула Лакшмидевамма.— Наранаппы дух! Дух!

Полудурь Лакшми заковыляла от дома к дому, изо всех сил лупя клюкой по дверям.

Шрипати с размаху сиганул в речку, переплыл на другой берег и со всех ног побежал в Париджатапуру.

Чандри прикорнула на полу веранды Пранешачарии. Одна она опознала в бегущем Шрипати. Чандри не спалось от голода. К посту она не была приучена ни в этой, ни в прошлых своих жизнях, да и спать одной ей было непривычно. С того самого дня, как Чандри уехала из Кундапуры с Наранаппой, она всегда спала на мягком матрасе, зажигала в своей комнате пахучие курительные палочки. Когда голод вконец донял Чандри, она встала и пробралась задним двором к банановым деревьям. Нащупав гроздь бананов, оставленную дозревать на дереве, Чандри с удовольствием поела, потом спустилась к речке и запила бананы водой. Идти домой она боялась — в жизни своей не видела покойника. Если бы тело Наранаппы сожгли как положено, Чандри изошла бы слезами, оплакивая свою любовь. А так она не испытывала ничего, кроме страха. Страх и тревога — вот и все. Если Наранаппу не похоронят по обряду, он превратится в злого духа и вполне может начать ее преследовать. Чандри так хорошо прожила с ним целых десять лет, ну как она может допустить, чтоб его не схоронили подобающим образом? Все ее естество противилось этой мысли. Все правда — Наранаппа отказался от своей высокой касты. С мусульманами трапезу делил. И Чандри тоже ела с ними. Но ей-то это не могло повредить. Проститутка по касте, она родилась свободной от кастовых запретов — всегда благословенная, вечно новобрачная, не знающая вдовства. Разве может пристать грязь к проточной воде? Проточная вода всегда желанна для жаждущего, сладостна для нуждающегося в омовении, пригодна для погружения в нее статуй богов, вода всему говорит «да!», не зная слова «нет». Так и Чандри. Не высыхает, не устает. Не высыхает, не устает река Тунга.

Эти брахминки, едва успев родить второго ребенка, уже ходят с запавшими глазами, ввалившимися щеками, обвисшими грудями — Чандри совсем другая. Предвечная Тунга, неиссушимая, неутомимая река. Наранаппа припадал к ее телу как набегавшийся мальчишка, всасывался, как медведь в медвяные соты, выпрыгивал, как полосатый тигр из джунглей. А теперь он ждет достойных похорон. После обряда она сможет уехать в Кундапуру и там оплакать его. Только брахминские руки имеют право касаться его тела. Наранаппа, конечно, плевать хотел на брахминские обряды, но они все равно полагаются ему. Сильный человек, горячий, своевольный, прыгал себе, кувыркался как хотел, кричал: «В ислам перейду, если они меня изгонят!» — а кто знает, что у него на уме было? Чандри не знает. Чего бы он себе ни позволял, а Пранешачарию никогда не трогал. Хоть и шумел он, хоть и мог всякое наговорить под горячую руку, но в глубине его души жил страх. И отходчивым он был, не во всем правда. Она знала, что такое его ревность, но силу его ненависти ей было не уразуметь. Когда они только начали жить вместе, как она умоляла его:

— Не ешь, до чего мои руки дотронулись, не ешь мясо, не ешь, что вам, брахминам, есть запрещено! Давай лучше и я от мяса откажусь, а если уж станет невтерпеж, поем в городе, а в аграхаре не буду!

Даже слушать не захотел. Разве он кого-нибудь слушал? Упрямый, как черт, был! Жена его плаксивая, конечно, не могла с ним сладить — перебралась к матери и там проклинала Наранаппу, пока на тот свет не отправилась. А теперь Наранаппа тоже умер и все так трудно. Кому нужны эти трудности? Скорей бы все уладилось, Чандри низко поклонилась бы аграхаре и уехала бы к себе.

Но пока что на душе у Чандри было неспокойно. Странно как! Наранаппа, который ни перед одним богом не склонялся, говорил такие странные вещи в бреду, все бормотал: «Рама, Рама! Боже, Рамачандра милостивый, Нараяна!» Или выкрикивал: «Рама! Рама!» Святые имена. Разве может называть их человек, для которого нет ни богов, ни каст? Непонятно, что там творилось в его душе... Если не будет он погребен, как требуется по Закону, обязательно станет злым духом. А она, Чандри, ела его соль...

Теперь все зависит от Пранешачарии. Добрый, милосердный человек. Прямо как бог Кришна из той пьесы, где Драупади призвала его с верой, и — пожалуйста! — улыбающийся бог предстал перед ней. Сидит сейчас Пранешачария и хмурит лоб. Бедный он, бедный, так, наверно, и живет, не зная, что такое наслаждение, жена его лежит гнилым бревном. Добрая тоже женщина. А он так терпеливо ухаживает за женой — что значит чистая душа. На Чандри даже не взглянул ни разу, хоть бы глаза поднял, нет. Мать всегда говорила Чандри — большое счастье для проститутки понести от святого человека. Ачария и есть святой человек: и красивый, и добродетельный, весь так и светится. Но чтобы благословение Ачарии получить, нужна удача.

Чандри наелась бананов, и теперь ей хотелось спать. Веки отяжелели, сон то смаривал ее, то отпускал. Сквозь дремоту Чандри слышала звуки шагов: Пранешачария не спал, он ходил взад-вперед по комнате, иногда вслух читая свои мантры. Как она может спать, если Ачария бодрствует? Чандри попыталась отогнать сон.

Погруженная в тревожные думы, Чандри лежала на веранде, подложив руку под голову, застенчиво подогнув колени к животу, свернувшись изящным клубочком. Потом она уснула, натянув на голову сари.

Перевернут последний пальмовый листок. Все просмотрено, от начала до конца. А выхода нет, нет выхода, который не мучил бы совесть Пранешачарии. Ему было страшновато убедиться, что бывают обстоятельства, не предусмотренные нигде во всем Законе. И еще пугала его мысль, а вдруг другие знатоки Закона пренебрежительно удивятся: и это все, чему ты выучился? Как он должен держаться, если они выставят его на смех, если скажут: учился-учился, и вот все, что он знает? Ответа не нашел!

«Страшнее всех утрат утрата доброго имени, ибо она невосполнима»,— подумал Пранешачария и устыдился поворота своих мыслей. Неужели даже в такую минуту он способен тревожиться о своей славе! Как бы хотел он огнем выжечь эту сосредоточенность на самом себе. Он прочитал про себя мантру, снова взялся за рукопись и, закрыв глаза, ткнул наугад пальцем. Прочитал. Нет. Не помогло. Снова закрыл глаза, вынул другую. Прочитал. Опять не то. За стеной застонала жена. Пранешачария поднялся, пошел к жене и, приподняв ее голову, влил ей в рот немного лимонного сока.

— Почему Наранаппа умер, а не я? — заплакала жена.— Почему меня смерть не берет? Умерла бы как добродетельная жена.

Пранешачария заставил ее взять эти слова обратно, заставил ее произнести: «Пускай все будет хорошо», чтобы снялось проклятие,

невольно вырвавшееся у нее, успокоил жену и вернулся к чтению. Он долго сидел перед зажженной лампой, не зная, как поступить. Раз в священных Книгах нет ответа, значит, воистину Наранаппа победил, а он, Ачария, потерпел поражение. Но изначальный вопрос заключается в другом: почему он все эти годы противился изгнанию Наранаппы? Потому, что Наранаппа грозился перейти в ислам. Сама эта угроза была поношением священных Книг. В былые времена брахмины налагали на себя строгое покаяние за малейшее отступление от пути добродетелей, и так сильны они делались духом, что дух брахмина мог властвовать над миром. В те времена брахмин бы не испугался угрозы. Пришли плохие времена, и это видно из того, над чем задумываются брахмины... Так что же он, Ачария, не соглашался изгнать Наранаппу только потому, что боялся его угроз и осквернения аграхары? Нет. Не только. Было еще сострадание. Безмерная сострадательность его сердца.

«Нет! Нет! — спохватился Пранешачария.— Неправда. Я обманываю себя. Себя хочу перехитрить. Под жалостью пряталось упрямство».

Он из упрямства не мог уступить Наранаппе. Он же говорил себе: «Я любой ценой должен вернуть его на истинный путь. Я добьюсь своего — силой моей добродетели, суровостью моего покаяния, двумя постами в неделю. Я наставлю его. Заставлю его».

Упрямство взяло верх надо всем.

И упрямство одолело его, повлекло за собой. Он принял решение действовать любовью, состраданием, изнурять себя постом и молитвами, чтобы вынудить Наранаппу ни на шаг не отступать от предписанного пути. Что было от доброты, а что от упрямства в этом решении? Ему всегда казалось, что он добрый по природе человек. Когда наступает старость, иссушая тело, желание покидает его, а способность к состраданию остается. Значит, эта способность глубже сидит в человеке, чем страсть. Он, конечно же, умеет сострадать. Если бы не было это так, где взял бы он силы годами безропотно ходить за калекой женой, ни разу не пожелав другую женщину? Нет, нет, одна лишь сострадательность помогла ему быть человеком и брахмином.

Сострадание, праведный образ жизни, человечность — брахминство. Они переплетаются, перепутываются, запутываются в узлы, и это терзает его. Изначальный вопрос заключался вот в чем: почему все-таки Наранаппа свернул с пути, что наполнило его такой ненавистью? В Книгах сказано: лишь прожив великое множество жизней и приобретя множество заслуг в каждой жизни, может человек родиться брахмином. Так как же мог Наранаппа собственными руками выбросить свое брахминство на помойку? Удивительно, как от начала до самого конца довлеет над человеком его природа... Пранешачария вспомнил историю из Ригведы...

Жил когда-то брахмин, и был он неисправимым игроком. Сколько ни старался, а преодолеть свою природу не мог. Благочестивые брахмины запретили игроку появляться в местах жертвоприношений, отовсюду прогоняли его, как собаку. Бедняга вопрошал богов и небожителей:

— Зачем вы сотворили меня игроком? Зачем вложили вы в меня неодолимую тягу к пороку? Ответьте мне! Ответьте, хранители восьми сторон света! Индра, повелитель дождей! Яма, бог смерти! Варуна, властитель морей! Спускайтесь на землю и дайте мне ответ!

Другие брахмины приносили богам жертвы и молили Индру, Яму, Варуну оказать милость, принять.

Но боги не снизошли до их жертв, а приняли дерзкий вызов игрока, и пришлось брахминам, смирив свою брахминскую гордыню, идти на поклон к недостойному. Трудно понять, в чем истинный смысл праведности. Жил человек недостойно, неправедно, а последним ды-

ханием восславил бога — и все, сразу достиг освобождения от цепи рождений и смертей. Спросил однажды всевышний своих привратников Джаю и Виджаю, что бы они предпочли: соединиться ли с ним через семь жизней покорности его воле или через три жизни спора с небесами. Оба выбрали второй путь. Значит, противоборство быстрей приводит к освобождению. Таким, как мы, кто каждодневными молитвами и обрядами очищает свою карму от накопившегося зла, будто кусок сандала оттирает, нужно прожить множество жизней, чтобы освободиться. Невозможно проникнуть в истинный смысл праведности. Кто знает, какие бури бушевали в душе Наранаппы? Играло, бушевало в нем пламя жизни, потом угасло.

Если бы умудрил его господь, дал бы ему силу понять! Неожиданная мысль пронзила Пранешачарию, как знамение свыше, и он затрепетал: завтра на рассвете после омовения он отправится в храм Марути и спросит бога, как же ему быть.

— О сын бога ветра,— скажет он,— укажи мне правильный путь!

Пранешачария встал с легким сердцем и прошелся по комнате.

— Как же так? — вдруг вспомнилось ему.— Эта молодая женщина спит на голом полу, даже без циновки!

Пранешачария сложил циновку, одеяло и подушку. Вышел на веранду.

— Чандри!

Чандри, раздумывавшая над тем, что ей когда-то говорила мать, вздрогнула и торопливо покрыла волосы.

Пранешачария почувствовал неловкость от того, что подошел в темноте к лежащей женщине.

— Возьми постель,— коротко сказал он и ушел в дом.

Чандри будто дара речи лишилась.

Пранешачария остановился на пороге. Свет из комнаты падал на женскую фигуру, замершую в неловкой позе, сжавшуюся от смущения, как бутон.

Пранешачария шагнул было в комнату, но тут еще одна мысль пришла ему в голову. Он подобрал украшения, которые Чандри сорвала с себя, и снова вышел на веранду.

— Чандри.

Чандри быстро, ожидающе приподнялась с циновки.

— Послушай, Чандри. Твоя щедрость только запутала дело. Брахмин должен следовать истинному пути, назначенному Законом. Возьми украшения обратно. Наранаппа умер. А тебе еще жить.

Пранешачария стоял рядом с Чандри, высоко подняв лампу. Он склонился к ней, сочувственно заглянул в ее громадные черные глаза, робко встретившие его взгляд, опустил украшения в подставленные ладони. Потом вернулся в дом и закрыл дверь.

VII

Дасачария изнывал от голода. Он ворочался с боку на бок, мял ладонями живот, громко вздыхал: «Нараяна, Нараяна...»

Проснулся его сынишка и разбудил мать.

— Воняет, мамочка, воняет! — жаловался он.

Истерзанный муками голода, Дасачария не чуял никаких запахов, но жена принюхалась и сказала:

— И впрямь откуда-то воняет...

Она потормошила мужа.

— Послушай,— зашептала женщина.— Запах этот... Сейчас жарко, это мертвец гниет... По всей аграхаре вонь...

И в этот самый миг с улицы донесся вопль помешанной Лакшми:

— Дух! Дух Наранаппы!

Жена Дасачарии пронзительно завизжала и забилась в судорогах — по аграхаре бродил мертвец, распространяя зловоние!

Белли тоже не спалось. Она привстала с циновки. В хижине стояла кромешная тьма. Белли выбралась на воздух. Лачуга, в которой умерли муж и жена, сгорела дотла. Ветерок, налетая, ворошил пепел, выдувая из него последние искорки. В лесу мерцали светлячки. Белли тихонько подошла к деревьям, сняла с себя набедренную повязку, с наслаждением подставила голое тело теплому ветру. Белли наловила светлячков, собирая их в тряпку, снятую с бедер. Прибежав домой со светлячками, она высыпала их на пол. Они летали по хижине, неровно освещая ее своим то разгорающимся, то меркнущим светом. Белли шарила по полу.

— Что тут творится? — со стоном спросил спросонья ее отец, когда Белли неосторожным движением коснулась его.

— Крыса! — вскрикнула Белли, натолкнувшись рукой на леденяще-холодную шкурку.— Дохлая крыса! Вот откуда вонь!

Она ухватила крысу за хвост и вышвырнула ее.

— Откуда они только берутся, проклятые! — злилась Белли.— Прибегают и сдыхают одна за другой, конца-краю нет!

Белли обернулась куском ткани, устроилась поудобней на циновке и заснула.

Голод колотил в животы, как в барабаны, отгоняя сон, заставляя брахминов бродить словно тени, с налитыми кровью глазами.

Они встали утром, ополоснули лица и потянулись на деревенскую площадь, понося Наранаппу за то, что он натворил в аграхаре. Дети выскакивали на веранды и во дворы, потому что в домах нечем было дышать. Женщины боялись, как бы дух Наранаппы, разгуливая по улицам, не тронул их детей, и загоняли их обратно в комнаты. Дети ревели, им раздавали шлепки и подзатыльники, затаскивали домой и запирали на ключ. Впервые деревенские двери запирались среди бела дня. Не выкладывались узоры из крашеных рисинок перед порогами, не сбрызгивались кизячной водой дворы. Казалось, будто в аграхару так и не пришел день. Все выглядело опустелым и заброшенным — как если бы в каждом доме в темном чулане было спрятано по трупу. Брахмины сидели на площади, опустив головы на руки, не зная, что им дальше делать.

Только шкодливые дети Венкатарамана удрали из-под присмотра матери и торчали за домом, считая крыс, которые выбирались из кладовки во двор. Дети хлопали в ладоши и притопывали в такт счету, а считали они крыс, как взрослые считают мерки риса:

Раз — и — раз,
два — и — два,
три — и — три,
че-е-ты-ре,
пять — и — пять,
шесть — и — шесть,
и еще...

Мать отыскала их за домом и, размахивая метелкой, велела сейчас же идти на веранду, но дети вошли в раж.

— Смотри, мама, смотри! Восемь! Девять, десять! Десять крыс, смотри, мама!

— Налопались с утра, когда все вокруг от голода умирают, и теперь с ума сходите! Что это еще за выдумки — поганых крыс считать! А ну, домой, пока до синяков не излупила! Домой, кому говорят! Считают крыс! Они кишмя кишат в кладовке, что рис, что чечевица, везде полно крысиного помета!

Ругаясь на чем свет стоит, мать прогнала детей в дом и заперла дверь. Но и в доме откуда ни возьмись вдруг появилась здоровенная крыса, завертелась на месте, будто ловя собственный хвост, и упала замертво, опрокинувшись на спину. Дети радостно заверещали.

Брахмины, зажимая носы, медленно продвигались к веранде дома Пранешачарии. Дургабхатта останавливал одного, другого, допытываясь:

— Это же неправда, что чокнутая бабка болтает? Враки, верно же?

Не желая выказывать гложущий их страх, брахмины отвечали:

— Поживем — увидим.

И медленно приближались к дому Наранаппы. Вид большой широко распахнутой двери заставил их замереть в ужасе: труп, несомненно, обратился в призрак и шатается по аграхаре... Если не совершить соответствующие обряды, он станет демоном и уж тогда здесь никому не жить.

Дасачария плачущим голосом укорял всех остальных:

— Жадностью своей вы всех нас погубили! Не говорил ли я? Брахмин ведь умер, брахмин. А без обряда он станет демоном! Но кто послушает бедного человека? Разве не ясно, что в такую жару труп начнет разлагаться и мы все подохнем от вони? И сколько можно поститься и не умереть с голоду? Хватит с нас и одного покойника...

Его поддержал сильно оголодавший Дургабхатта:

— Мадхвы называется! Что же это у вас за вера, если вы не можете найти выход из тупика!

— Я не против,— примирительно заявил Гаруда,— если только Пранешачария скажет «да!». Что тут говорить. Забудем о золоте, об украшениях этих. Верно говорю? Покойника нужно перенести к месту сожжения. Что тут говорить. Пускай только Пранешачария подтвердит, что мы касты не лишимся.

После этих слов все решительно направились к Пранешачарии и смиренно выстроились в передней комнате.

Пранешачария на руках вынес жену на задний двор, помог ей привести себя в порядок, подал ей лекарство и только потом вышел в переднюю комнату, где ждали брахмины.

Пранешачария объявил о решении, которое он принял ночью. Брахмины вежливо помолчали, Гаруда за всех ответил:

— Наше доброе имя в твоих руках. Ты должен уберечь нас от осуждения и от дурной славы. А осудить нас могут и за то, что сожжем мы труп, и за то, что откажемся. Что тут говорить. Будем ждать веления свыше.

— Вы все знаете, что детей можно накормить, это не запрещено,— напомнил Ачария.

Пранешачария наполнил плетеную корзинку свежесорванными цветами белого и желтого жасмина. Он набрал и листьев священного растения тулси. Совершив омовение в реке, он обернулся мокрой набедренной повязкой и сменил брахминский шнур на себе, готовясь к встрече с богом.

Он перебрался на другой берег и вышел через лес к храму Марути, осененному неподвижными древесными кронами.

Пранешачария достал воды из храмового колодца и вылил на себя целых два кувшина, чтобы очиститься от грязи, которая могла случайно пристать к его телу. Третий кувшин он отнес к большой, в человеческий рост, статуе Марути. Не спеша обобрав со статуи высохшие цветочные лепестки и увядшие листья тулси, он старательно вымыл ее. Он сел перед Марути в позу лотоса и целый час читал мантры, потом потер сандаловую щепку о грубую поверхность мокрого камня и приготовил сандаловую пасту. Сначала он смазал пастой изображение

бога, затем убрал статую свежими цветами и листьями тулси. Погрузившись в транс, он безмолвно посвятил Марути в суть дела.

— Если ты согласен, даруй мне цветок справа. Если не желаешь ты совершения обряда — урони цветок слева. Я не в силах понять, как быть. Я жду твоего решения, о Марути.

Пранешачария замер, исполненный трепетной веры, не сводя глаз с бога-обезьяны, озаренного огоньком масляного светильника.

Еще не было десяти, а день уже разгорелся, и жара делалась невыносимой. Даже в затененном храме нечем было дышать. Пранешачария исходил потом. Он вылил на себя еще кувшин воды и, не вытираясь, опять сел в позу лотоса.

— Не встану, пока не дашь мне ответ,— проговорил он.

...После ухода Пранешачарии Чандри стало страшно оставаться одной на веранде под взглядами осатанелых брахминов, и она тихонько пробралась за банановые деревья. Старательно вымывшись в реке, Чандри набрала спелых бананов в край сари и пошла в лес. Блестящие распущенные волосы сохли под ветерком, влажное сари приятно холодило тело. Она расположилась под деревом недалеко от храма Марути, слушала колокольчики, в которые звонил Ачария, начиная новую молитву. Звон храмовых колокольчиков вызывал мысли о странном ночном совпадении. Стоило ей вспомнить слова матери — и тут же к ней вышел Ачария с циновкой и подушкой. Лампа в его руке рассеяла темноту. Он позвал: «Чандри!» — так нежно позвал. Вдруг Чандри пожалела, что ей уже за тридцать. Десять лет прожила она с Наранаппой, а детей у них не было. Родился бы сын, он мог бы стать великим музыкантом, а была бы девочка, Чандри научила бы ее танцевать, и не простые, а классические танцы. А так — что же? У нее все есть и ничего нет.

Чандри сидела под деревом, наблюдая, как с ветки на ветку перепархивают птицы.

VIII

Дасачарии казалось, что он умрет, если не поест немедленно. А тут еще запахи еды, которую готовили детям. Нюхать дразнящие запахи, когда умираешь с голоду! Как масло в огонь. Он сплюнул, но слюна опять наполнила рот, и он сглотнул ее. Не в силах вытерпеть голодную муку, он спустился с веранды и побрел. Никто не обратил на него внимания. Дасачария спустился к Тунге, искупался под палящим солнцем и зашагал в сторону Париджатапуры. Скоро он уже стоял под соломенным навесом дома Манджайи. Но не может же он прямо попросить, чтоб его накормили! Он ни разу в жизни воды не выпил в домах этих брахминов нечистой крови. Он привык питаться обрядовой едой. Будет беда, если дознаются, что Дасачария преступает запреты. Однако ноги перенесли его быстрее мысли к Манджайе, который как раз принимался за горячий, пряный рис.

— О, о, о, входите, почтеннейший! Что вас привело в такую даль? Принял Пранешачария решение? Нет еще? Ну что ты будешь делать! Вам же нельзя даже поесть, пока лежит покойник, так ведь? Садитесь, садитесь, пожалуйста, отдохните! Эй, кто там! Подушку для гостя!

Манджайя рассыпался в любезностях, а Дасачария стоял как завороженный, неотрывно глядя на дымящийся рис. Манджайя понимающе всмотрелся в него и спросил:

— Вам нездоровится, почтенный? Закружилась голова? Может, фруктового сока выпьете?

Дасачария опустился на низкий табурет, так и не сказав ни слова. Язык не поворачивался попросить. А Манджайя снова взялся за еду. Тогда Дасачария решился, но начал издалека:

— Не понравилось мне, как наши брахмины вчера с вами разговаривали, Манджайя.

— Зачем так говорить... — возразил Манджайя из вежливости.

— Нет, если хорошенько подумать — ну сколько настоящих брахминов осталось в наш черный век?

— Не спорю, почтеннейший, не спорю. Истинно, последние настали времена.

— Взять, например, тебя, Манджайя. Чем ты хуже других брахминов по благочестию, по соблюдению Закона? Вы все вчера согласились совершить обряд и без всяких денег. А Гаруда и Лакшман из нашей аграхары как вороны дерутся из-за золотой цепочки!

— Да что вы говорите? — невинно удивился Манджайя, который не любил ни с кем портить отношения.

— Скажу тебе, Манджайя, между нами: все говорят, что Гаруда колдовством извел отца Наранаппы, но, видишь, не остался безнаказанным — собственный сын сбежал из дома в армию. А как он несчастную вдову обобрал; и деньги, и украшения — все отнял!

Манджайя, довольный, промолчал.

— Я тебя спрашиваю: где они, настоящие брахмины сегодня? Я ведь ничего не имею против Гаруды. Но неужели, если гуру раз в год совершает над нами обряд очищения, сгорают в огне все наши дурные поступки? Мне не понравилось, как наши брахмины старались на вас спихнуть то, что сами сделать боялись. Что ни говори, Манджайя, а у нас только один настоящий брахмин — Пранешачария. Какой достойный человек, какой аскет! — Дасачария прищелкнул языком.

— Истинно, истинно! — поддакнул Манджайя и неожиданно спросил: — Вы совершили омовение, почтеннейший?

— Конечно. Я только что искупался в реке.

— Тогда откушайте с нами, почтеннейший.

— Я лично не возражаю против еды из твоего дома, но узнают об этом негодяи из нашей аграхары и перестанут звать меня на совершение обрядов. Что ж я тогда делать буду?

Жалобный тон Дасачарии привел Манджайю в тайный восторг — еще один не брезгует есть с ним!

— Зачем же, почтеннейший, я стану рассказывать, что вы у нас ели? — тихо сказал он, подходя почти вплотную к Дасачарии.— Вставайте, мойте руки и ноги... Эй, подайте нам уппиту, пока горячий!

В животе Дасачарии заурчало от слова «уппиту», но взять в рот пищу, сваренную на этой их кухне, в доме брахмина из секты смарта, было страшновато.

— Нет-нет, я уппиту не ем, просто немножко рису, можно с молоком, и сахару фруктового. Мне достаточно.

Манджайя понял, почему он отказывается, и посмеялся про себя.

Он подал Дасачарии воды для омовения, а потом, будто бы тайком, провел его на кухню, сел рядом с гостем и уговорил его съесть и рис с молоком и сахаром, и парочку-другую бананов, и даже горячего уппиту.

— Одну ложку, что тут такого? — убеждал он.

Жена Манджайи с торжествующей улыбкой подала не ложку, а целую горку уппиту на свежем банановом листе.

Дасачария погладил себя по животу, произнес имена бога и не сказал «нет». Он только благовоспитанно растопыривал пальцы над банановым листом и приговаривал:

— Довольно, довольно, ну что же это я один все съем!

IX

В тот день подбирать коровьи лепешки явилась Чинни вместо Белли.

— У Белли и отец и мать слегли,— объяснила Чинни.

Никто ее не слушал, у брахминок из аграхары своих хлопот был полон рот. Но Чинни и не волновало, слушают ее или нет. Она собирала навоз в плетенку и болтала без умолку:

— И Чауда помер, и его женщина тоже. Подожгли мы их жилье, так что ничего теперь не осталось от них... Кто его знает, демон на нас прогневался, кто ж его знает...

Жена Гаруды Ситадеви стояла, бессильно повесив руки, погруженная в нескончаемые тревожные мысли о сыне — а вдруг в армии что-то с ним случится, как жить тогда?..

Чинни остановилась поодаль и заканючила:

— Матушка, хоть кусочек подай, в рот чего-нибудь положить, матушка...

Ситадеви вынесла из дому листки бетеля, орех, комок жевательного табаку, бросила Чинни и опять ушла в себя.

Чинни проворно подобрала бетель и табак и, запихивая их в свои лохмотья, стала рассказывать дальше:

— А крыс, крыс сколько, матушка! Бегут и бегут, полно их, прямо как крысиная свадьба! И кто их знает, чего это они так?

Чинни подняла плетенку с навозом на голову и отправилась дальше.

Дома Чинни решила поделиться с Белли табаком и пошла к ней. Из хижины Белли слышались стоны.

— Отец Белли! — догадалась Чинни. — Значит, и до него добрался демон!

Она позвала Белли, заглянула в дверь.

Белли сидела, низко опустив голову, зажимая руками уши. Чинни хотела было рассказать, что аграхара тоже кишмя кишит крысами, но передумала, отщипнула табаку и сунула Белли.

— Бери, Ситадеви дала.

Белли растерла табак между ладонями и положила в рот.

— Мне страшно, Чинни. Может быть, сегодня Пилла сможет поговорить с духами, тогда узнаем, что же такое делается... Никогда не было, чтобы крысы целым войском к нам лезли. Чауда с женой — раз, и нет их! Прямо сразу! А теперь папу с мамой демон топчет... Надо же узнать, в чем дело...

— Помолчи ты, дурочка, — пробормотала Чинни.

Часам к двум разъяренное солнце повисло высоко в небе и жгло, как гневный третий глаз Шивы, лишая последних сил полумертвых от голода брахминов. Призрачные кони колесницы солнца, играя, переступали перед их глазами в подрагивающем мареве улицы — брахмины дожидались Пранешачарию. Жестокий страх и жестокий голод раздирали их внутренности. Брахминские души, истаявшие ужасом, как летучие мыши витали вокруг Пранешачарии, молившего бога о вразумлении. Последняя малая надежда — вдруг все-таки не придется и эту ночь провести в бдении, вблизи мертвого тела Наранаппы.

Ситадеви обнаружила дохлую крысу в горшке с рисом в собственной кладовке. Зажав нос, она ухватила крысу за хвост, швырнула ее с крыльца, и в тот же миг с высоты скользнул вниз огромный гриф и плавно взмыл на крышу.

— Айоо! — взвизгнула Ситадеви и залилась слезами: гриф на крыше был вестником смерти.

Гаруда услышал вопль жены, бросил взгляд на дом и все сразу понял.

— Сын мой! Мой сын! Сынок, что с тобой случилось? — причитала Ситадеви.

Гаруда сразу сообразил, за что кара — за то, что воспротивился он в душе предложению Дасачарии отдать золото богу Марути. Он схватился в страхе за руку жены, вошел в молельню, возложил приношение на домашний алтарь и простерся перед ним.

— Плохо поступил я,— обратился Гаруда к богу.— Пусть твоим будет это золото, пусть оно отойдет тебе. Прости меня, прости. Кыш! — замахал он на грифа с крыльца.

Гриф успел подобрать дохлую крысу, вышвырнутую Ситадеви, и расклевывал добычу на крыше. Стервятник выглядел невозмутимым и уверенным, как нахальный родственник.

Гаруда поднял голову и всмотрелся в слепящую раскаленную синеву — грифы, грифы, грифы кружились, парили, скользили в небе, описывая все сужающиеся, устремленные к земле круги.

— Ты посмотри! — ахнул Гаруда.

Ситадеви выскочила на крыльцо.

Затенив глаза ладонью, она запрокинула голову и судорожно вздохнула.

Гриф на крыше выгнул шею, будто в танце, взмахнул крыльями и шумно слетел на землю, прямо перед крыльцом, за другой крысой, которая как раз шмыгнула из кладовки. С крысой в когтях он снова уселся на крыше.

Супруги от неожиданности плюхнулись наземь и никак не могли прийти в себя.

Еще один гриф плавно спланировал прямо на крышу дома Наранаппы, громко захлопал демоническими крыльями и застыл, зорко оглядывая аграхару.

Теперь грифы начали опускаться друг за другом и попарно размещались на крышах, точно действовали по заранее разработанному плану. Время от времени один из грифов срывался с места, бросался на очередную крысу и, утащив ее на крышу, принимался не спеша расклевывать.

Хищные птицы покинули места сожжения трупов и слетелись в аграхару, будто знали, что ей конец. Жители аграхары высыпали на улицу и только прижимали ладони ко ртам при виде этого зрелища. У Ситадеви отлегло от сердца, когда она убедилась, что вестники смерти расселись по всем крышам — значит, дурное знамение касается не ее сына.

Первым опомнился Дургабхатта.

— Хо-о! Хо-о! — заорал он, пытаясь спугнуть грифов.

Напрасно.

— Хо-о! Хо-о! — загалдела толпа.

Грифы не обращали на людей никакого внимания.

Тогда осенило Дасачарию, который вернулся в аграхару сытый и довольный.

— Надо вынести на улицу молитвенные гонги и ударить в них!

Брахмины обрадованно бросились по домам — взять из молелен бронзовые гонги и священные раковины.

Тяжкая послеполуденная тишина взорвалась неистовым звоном и дикими завываниями; это было как грохот битвы и как праздничное моление, когда пылает белый камфорный огонь и ухает храмовый колокол.

Грифы с некоторым удивлением посмотрели по сторонам, раскрыли крылья и снялись с мест, унося в клювах растерзанных крыс. Скоро огромные птицы стали черными точками в синем мареве.

Брахмины в изнеможении разбредались по домам, бормоча благословенное имя Нараяны, зажимая носы и отирая пот.

Ситадеви и Анасуйя со слезами взялись за своих мужей.

— Да пропади это золото! Разве нужно нам чужое? Чужое нам не нужно! Скорей уносите покойника на костер, ведь это же Наранаппа на нас грифов насылает!

Над аграхарой висела духота, ни ветерка, ни дуновения, в домах тяжкая вонь застыла бесплотным призраком, от которого никому не

было покоя. Благочестивые брахмины, замученные жарой, голодом и страхом, совсем сникли — им казалось, что уже ничто в жизни не очистит их от скверны этого дня.

Раскаленное солнце все выше поднималось по небосводу. Чандри устала сидеть под деревом. Нащупывая бананы в подоле, она думала о Пранешачарии, который так ничего и не ел, а все только молится и молится. Когда со стороны аграхары донеслись звуки гонгов и раковин, Чандри удивилась. Она огляделась по сторонам — ничего не происходило. Деревья замерли в безветрии, листва их была неподвижна, и только высоко над верхушками в чистом синем небе парили грифы.

Чандри увидела, как Пранешачария опорожнил на себя еще один кувшин воды.

— И виновата во всем я,— уныло сказала себе Чандри.

Она даже не заметила, как очистила и откусила банан.

— В конце концов это меня не касается,— утешила она себя.

Настырные грифы снова и снова слетались в аграхару и рассаживались по крышам. Брахминам снова и снова приходилось дуть в раковины и колотить в гонги. Уже вечерело, а битва все шла, и Пранешачария все не возвращался.

Надвигалась ночь. О ней было страшно подумать.

Наступила темнота, и грифы улетели.

X

Пранешачария отчаянно вымаливал божью милость, молил бога открыть ему, в чем истина.

— О Марути, труп уже разлагается, а мы не можем предать его огню без обряда, что нам делать, сколько еще мучиться?— вопрошал Пранешачария.— Дай знак цветком слева, если нельзя выполнить обряд,— умолял Пранешачария.

Пранешачария уговаривал бога. Пел ему любовные песнопения — бог был в них ребенком, возлюбленной, матерью. Потом припомнил иные песнопения — в них говорилось о недостатках бога.

Марути, бог-обезьяна в человечий рост, оставался недвижим, вечно держа на раскрытой ладони гору, поросшую корнями жизни, которую он доставил смертельно раненному Лакшману, брату Рамы во времена «Рамаяны».

Пранешачария простерся перед статуей, прильнув к земле всем телом.

Быстро темнело. Наступила ночь.

Разубранный цветами Марути не шелохнулся в колеблющемся свете масляных ламп. Ни знака цветком слева, ни цветком справа.

— Я не нашел ответа в Книгах, я не получил ответа здесь — значит ли это, что я недостоин?— сомневался Пранешачария.— Как же я вернусь к людям, которые верят мне?— терзался Пранешачария.— Ты нарочно, нарочно мучишь меня!— попрекал он бога.

Мрак совсем сгустился — непроглядный мрак новолуния.

— Марути! — снова обратился Пранешачария к богу.— Сколько же будешь ты испытывать меня? Ты не забывай — там же мертвое тело лежит и оно уже разлагается...

Неподвижный, неумолимый Марути неотрывно рассматривал гору на своей ладони. Пранешачария вдруг вспомнил, что пора давать жене лекарство. Он встал на занемевшие ноги и медленно вышел из храма.

Едва он отошел, как ему в лесной темноте послышались шаги. Он остановился.

— Кто там? — Пранешачария замер в ожидании.

Звякнул невидимый браслет.

— Это я...— смущенно прошептала Чандри.

Пранешачария тоже смутился: он — и вдруг наедине с женщиной, в ночном лесу... Не зная, что сказать, снедаемый чувством стыда за бесплодность своих стараний, он пробормотал:

— Марути... Марути.

Сердце Чандри переполнилось жалостью от этого негромкого грустного голоса. Бедный, бедный. Измучился, изголодался, целый день не выходил из храма, и все это из-за нее! Бедный брахмин! Чандри захотелось припасть к его ногам в знак благодарности.

И в следующий миг она скользнула к его ногам. Было темно, непроглядно темно, Чандри прижалась не к земле у ног брахмина, а с силой уткнулась грудью в колени Пранешачарии. От резкого движения на ней лопнула ее тугая блузка. Заливаясь горячими слезами сострадания к нему, никогда, наверно, не знавшему радостей женского тела, слабея от мысли, что и у нее нет никого во всей аграхаре, кроме этого вот человека, Чандри обвила руками ноги Ачарии.

Пранешачария дрогнул от непривычного ощущения упругой наготы, но, растроганный порывом Чандри, протянул к ней руки в благословляющем жесте. Отыскивая в темноте голову женщины, он скользнул ладонями по пылающему, мокрому от слез лицу, запутался в густых шелковистых прядях, и санскритские слова застряли в его горле, сжавшемся от наслаждения. Чандри стиснула его ласкающие руки и, не отпуская, поднялась с земли. Она провела его руками по своему лицу, по шее, прижала к оголенной груди.

Впервые в жизни легли ладони Пранешачарии на нежную женскую грудь с твердеющими сосками. Пранешачария почти лишился чувств. Он сжал их, как во сне, и пошатнулся. Чандри тесно прильнула к нему всем телом и потянула на землю. Голод, муки которого Пранешачария не замечал до тех пор, вспыхнул пожаром.

— Мама! — по-детски жалобно простонал он.

Чандри притянула его к себе, достала банан, завязанный в краешек сари, сорвала кожуру и сунула банан ему в рот. Потом она сняла сари, расстелила его на земле и легла, обнимая Пранешачарию и заливаясь слезами.

Часть вторая

I

Ачария очнулся за полночь. Его голова лежала на животе Чандри, пальцы Чандри ласкали его лицо, уши, перебирали волосы.

Он раскрыл глаза, ощутил свое тело, как будто ставшее чужим, и стал расспрашивать себя: кто я, где я, как я здесь очутился, почему темно, что за лес и кто эта женщина?

Ему казалось, что время прошло в обратном направлении, что он опять малыш, что он набегался и заснул рядом с мамой. Он в изумлении озирался по сторонам. Как развернутый хвост павлина, простиралось над ним небо в немеркнущих звездах. Созвездие Семи Мудрецов, похожее на ковш. Рядом со звездой премудрого Агастьи застенчиво мерцала Арундати — символ женской преданности.

От земли тянуло травянистым запахом и сыростью, пахли небесно-синие цветы лесной вишнукранти и дикой сарсапарилы, плыл крепкий дух женского пота. Ночь, звезды, неподвижные очертания древесных крон. Может, снится? Он протер глаза и в тревоге подумал, что совсем не помнит, как попал в лес и куда ему нужно было идти.

— Чандри,— произнес он.

Все сразу встало на свои места. Тихий лес и темнота наполнились таинственными перешептываниями. Донесся шорох из-за куста, вне-

запно ставшего похожим на колесницу, роем закружились светлячки. Он всматривался, вслушивался, пока его глаза не наполнились красками, а уши звуками.

Роились светлячки.

— Чандри! — позвал он, коснулся ее живота и сел.

Чандри было страшно от мысли, что Пранешачария может отругать ее, может выказать презрение к ней. А с другой стороны, она надеялась, что плоть брахмина заставит ее тело плодоносить. Чандри была благодарна судьбе — а вдруг она приобрела таким образом заслугу для следующей жизни?

Пранешачария долго молчал. Потом встал на ноги.

— Поднимайся, Чандри,— сказал он.— Пойдем. Утром соберутся брахмины, и мы расскажем обо всем. Ты им все скажешь. Ну а что касается моего права принять решение о похоронах...— Пранешачария замялся.— Нет у меня больше права. Если завтра мне не хватит смелости объясниться с брахминами, придется тебе это сделать. Сам я готов совершить похоронный обряд. Сказать, чтоб кто-нибудь другой за это взялся, не имею права. Вот и все.

Пранешачарии стало как будто чуть легче от собственных слов.

Они вместе перебрались через речку. На другом берегу Чандри смущенно пропустила Ачарию вперед, а сама поотстала.

«Отчего со мной все так выходит? — напряженно размышляла Чандри.— Отдала я украшения, чтобы сделать как лучше, а вышла одна беда... А теперь вот Ачария. Он так старался насчет обряда, а я все испортила...»

Но Чандри была человеком открытым, умела радоваться жизни и долго корить себя была не в силах. Идя темной улицей, она вспоминала лесную темень, себя у его ног, его руки на себе... движения... и наполнялась ощущением правильности всего, что произошло, и это чувство распускалось в ней как цветок. Бедный Ачария, он-то, наверно, чувствует совсем другое... Не стоит ей возвращаться на его веранду.

А ей, Чандри, здорово повезло! Какая неожиданная удача! Конечно, рассказать об этом она не сможет — среди бела дня заморенным этим брахминам, которые сразу набросятся на Ачарию; как она сможет им рассказать, пускай даже сам Ачария попросит ее. Ну ладно, а что же ей все-таки делать теперь? Возвращаться в дом Ачарии не хочется, идти в дом Наранаппы — жуть берет. Так куда же ей деваться?

С другой стороны, они столько лет прожили вместе, стала подбадривать себя Чандри; пойти в дом Наранаппы и попробовать заснуть на веранде.

«Если будет очень страшно, побегу к Ачарии! — окончательно решилась Чандри.— На крайний случай есть и этот выход!»

Продолжая уговаривать себя, Чандри отправилась в свой бывший дом. У веранды она остановилась, вслушалась в темноту. Собаки перелаивались, как всегда. Чандри поднялась по ступенькам, наткнулась вытянутой рукой на открытую дверь.

«О боже, хоть бы лисицы или собаки не добрались до мертвеца»,— подумала Чандри.

Чандри так расстроилась от этой мысли, что перестала бояться. Быстро пройдя на кухню, она уверенно нашарила спички в стенной нише и засветила фонарь. Воняло непереносимо. На полу валялись дохлые крысы. У Чандри сжалось сердце — как она могла бросить тело человека, любившего ее, восстановившего всю аграхару против себя из-за нее, бросить его на произвол судьбы, без всякого присмотра!

Она побежала наверх.

«Надо бы хоть ароматные палочки зажечь, чтобы так не пахло!» — думала она.

От трупа исходил густой смрад. Живот вздулся огромным шаром, лицо изменилось до неузнаваемости.

Чандри вскрикнула и выскочила вон.

Нет, нет и нет, кричало все ее естество, нет, то, что там наверху, это не мужчина, который ее любил, нет, нет, между Наранаппой и тем вообще нет связи!

Чандри бежала как одержимая, бежала, размахивая фонарем, бежала вон из аграхары, туда, где жили не брахмины, а простые крестьяне. Она опознала дом Шешаппы, который занимался извозом и по утрам доставлял им свежие яйца,— перед домом Шешаппы была привязана пара хорошо знакомых ей белых быков. Потревоженные быки поднялись на ноги, шумно задышали, загремела цепь, залились лаем собаки. Из двери выглянул Шешаппа. Чандри, задыхаясь, кинулась к нему, несвязно объясняя, зачем она прибежала.

— Запрягай быков,— требовала Чандри,— отвезем его, где сжигают мертвых. У нас полно дров, возьмем дрова, сожжем его сами!

Шешаппа, крепко выпивший перед сном, никак не мог сообразить, что Чандри надо, а придя в себя и поняв, в чем дело, испугался.

— Чандри, слушай, Чандри, ты что? Хочешь, чтоб я в аду горел? Как я могу дотронуться до трупа брахмина? Да и за все восемь благ мира не соглашусь, ты что? Я бедный человек, но если тебе страшно, можешь переночевать у нас, а утром пойдешь себе...

Чандри молча повернулась и снова выбежала на улицу. Что делать? Куда толкнуться? Одна мысль жгла ее: оно гниет, то, что лежит там в доме, гниет, смердит, раздувается. Это не Наранаппа, с которым она спала. Не брахмин. Никто. Труп. Гниющий, смрадный труп.

Чандри пошла к мусульманам. Сказала, что хорошо заплатит. Она отыскала рыбного торговца Ахмада Бари — когда он сидел без денег, Наранаппа дал ему в долг на покупку быков. Ахмад Бари ничего не забыл. Он без звука запряг быков, сложил на подводу и мертвое тело, и дрова, свез на место, где сжигают, разложил огонь и подождал, пока костер не прогорел дотла.

Потом он ушел со своей подводой, накручивая быкам хвосты и поторапливая их короткими вскриками.

Чандри вернулась в свой бывший дом, уложила шелковые сари, вынула деньги из шкатулки, взяла украшения, возвращенные ей Ачарией. Ей очень хотелось зайти к Ачарии и поклониться ему напоследок, но этого она делать не стала, а, в надежде захватить утренний автобус на Кундапуру, заторопилась с узлом по лесной тропинке к остановке.

II

А в Париджатапуре на поместительной веранде богатея Манджайи собрались молодые брахмины из нескольких окрестных аграхар. Они пришли репетировать пьесу, тут были и Шрипати, и Ганеша, и Ганганна, и Мандмунатха, и еще много народу. На середине веранды стояла фисгармония, подаренная труппе Наранаппой. Наранаппа всегда приходил на все театральные представления — если бы не он, париджатапурской театральной труппы на свете бы не было. Наранаппа был душой театра — он помогал деньгами, когда молодежи не удавалось достаточно выручить, он заказал им в Шивамоге задники и необходимый реквизит, он советовал, что играть и как играть. Во всей округе у одного только Наранаппы был патефон и пластинки знаменитого Хиранайи, которые он охотно давал послушать. Молодежь горевала о его кончине, но вслух об этом говорить никто не решался из страха перед старшими.

Репетиция не ладилась. Актеры закрыли окна и двери, чтоб уличный шум не мешал, закурили покупные сигареты, но не шло дело — и все. Шрипати роли не досталось, он явился просто так, не мог устоять перед соблазном. Актерам прислали поднос горячего риса и большой полный кофейник, они ели, почти не переговариваясь. Все думали о Наранаппе. Около полуночи Нагараджа незаметно подмигнул Ганеше.

Ганеша подтолкнул Мандмунатху, игравшего женские роли, а тот — Ганганну. Ганганна потихоньку дернул Шрипати за край дхоти. Когда тайный знак обошел весь круг посвященных, было объявлено, что репетиция закончена. Лишние ушли, тогда Нагараджа запер дверь на задвижку, с важным видом откинул крышку сундука и извлек из него две бутылки. Бутылки были уложены в мешок вместе со старательно упакованными стаканами и остатками риса, завернутыми в банановый лист.

— Все готовы? — спросил Нагараджа.

— Готовы!

Они друг за другом тихонько спустились по ступенькам.

— Минуту! — возгласил Нагараджа, подражая автобусному кондуктору, и ловко опустил в карман нарезанный лимон.

Молодые люди вышли за калитку и отправились на реку. Шрипати посвечивал своим фонариком.

— Ох, Наранаппа! — вздохнул Нагараджа.— Наранаппа, гуру наш! Вот кто мог целую бутылку выпить, а потом час играть на барабане и ни разу не сбиться!

Они уселись в кружок под песчаным обрывом, расставили бутылки и стаканы, развернули рис.

Теперь можно вообразить, что в мире нет никого, кроме их пятерых и еще звезд в небе, которые будут наблюдать, как с помощью спиртного молодые люди из робких карликов вырастут в могучих гигантов.

Паузы в беседе заполнялись бормотанием реки, убеждавшим друзей в их отъединенности от мира.

Когда алкоголь начал действовать, Шрипати сказал прерывающимся голосом:

— Нет у нас больше друга. Умер.

— Умер,— подтвердил Нагараджа, подбирая рис с листа.— Душа нашей компании. Во всей округе никто так барабаном не владел.

Мандмунатха высосал лимон, но язык его все равно плохо ворочался, и он только повторил:

— Чандри... Чандри... Чандри...

— Чандри! — восторженно подхватил Шрипати.— Кто бы что ни говорил, что бы ни квакали там брахмины, слово даю, за сто миль другую такую не найти — и красавица, и умница, и сердце золотое. Слово даю — нашлась бы вторая Чандри, я б ради нее от касты отказался! Ну и что — проститутка! Эта проститутка такой женой Наранаппе была — лучше не надо!

Теперь разговор пошел о женщинах вообще — знатоки тщательно оценивали и сравнивали достоинства всех низкокастовых женщин округи. Шрипати спокойно слушал — один только Наранаппа знал про Белли, другие и не подозревали ни о чем. Хорошо, что они не знают.

Шрипати принялся раскупоривать вторую бутылку.

— Лучший наш друг умер и лежит без обряда, никто не решается похоронить его по-человечески... А мы сидим тут развлекаемся..

Из глаз Шрипати покатились слезы. Другие тоже захлюпали носами.

— Ну,— спросил Шрипати,— так кто мужчина среди нас?

— Я! — хором отозвалось четыре голоса.

Нагараджа посмотрел на девичье лицо Мандмунатхи.

— А ты-то куда? Ты же у нас девица, ты наша Садарама, Шакунтала наша.— Он изобразил, будто целует Мандмунатху.

— Если вы и впрямь мужчины,— не унимался Шрипати,— так я скажу, что надо делать. Не будет у нас больше такого друга, как Наранаппа, ясно? Окажем ему последнюю услугу, сейчас все вместе встанем, пойдем за телом и потихоньку сами сожжем его. Ну что, пошли?

Все шумно допили стаканы и гурьбой повалили через речку, предводительствуемые карманным фонариком Шрипати.

Аграхара не подавала признаков жизни. Пьяные брахмины, ничего не боясь, подошли к дому Наранаппы и толкнули дверь. Смрад так и ударил им в нос, но пьяный запал погнал их вверх по лестнице. Шрипати повел лучом по комнате. Пусто. Где тело? Где? Тело Наранаппы исчезло. Леденящий страх объял всех пятерых.

— Наранаппа призраком стал,— пролепетал Нагараджа.— И ушел.

Пальцы его разжались, и мешок с бутылками грохнулся об пол.

Когда безумная Лакшмидевамма распахнула свою бессонную громогласную дверь и вывалилась с проклятиями на улицу, по улице скачка́ми мчались тени.

— Демоны!!! — завизжала она.

III

Проторчав на улице до глубокой ночи и отчаявшись дождаться Пранешачарию, брахмины разошлись по домам, накрепко закрыли окна и двери и улеглись спать, стараясь неглубоко вдыхать омерзительную вонь, от которой выворачивало внутренности.

Брахмины ворочались на холодном полу, одолеваемые голодом и страхом. Будто из иного мира донеслись до них шаги на улице, скрип колес, дикий визг безумной Лакшми, собачий вой.

Брахминам казалось, будто душа вот-вот расстанется с телом, будто аграхара вдруг оказалась в глухом лесу, будто боги бросили их на произвол судьбы. В домах дети жались к родителям, семья превращалась в нелепый комок тел, трясущихся во мраке. Когда ночь наконец прошла и солнечные лучи, пробившись сквозь щели, зажгли в домах блики надежды, двери стали открываться и выпускать на улицу людей. Но, оглядевшись, брахмины снова увидели грифов, целые тучи громадных хищных птиц. Грифы разогнали воронье и прочно расположились на крышах. На грифов кричали, бросали в них чем попало — они не двигались с места. Тогда брахмины снова начали колотить в гонги и дуть в раковины.

Благословенные звуки разбудили Пранешачарию, который ничего не мог понять — гонгами и раковинами полагалось встречать только двенадцатый день лунного месяца... Но тут он все вспомнил, и смятение охватило его душу. Он мерно вышагивал по дому, прищелкивал пальцами, тупо спрашивал себя:

— Как мне поступить? Как же мне поступить?

Когда он подавал жене ее утреннее лекарство, руки его дрожали. Поднося чашку к губам Бхагирати, он заглянул в ее запавшие глаза, беспомощные, тусклые глаза калеки — символа его самоотречения во имя долга главы семьи,— колени его дрогнули и подогнулись, как бывает во сне, когда неотвратимо проваливаешься в бездну. Больше двадцати лет шел он привычной тропой, относился к жене как врач к больной, исполняясь нежности и сострадания — и вдруг очутился на краю пропасти. Пранешачария вздрогнул от неожиданного приступа отвращения, почувствовал разом все мерзкие запахи, которые всегда испускало пораженное болезнью тело.

Словно обезьяний детеныш, цеплявшийся за шерсть матери, перелетавшей с ветки на ветку и вдруг упустившей ее, Пранешачария чувствовал, как утрачивают смысл привычные действия и обряды, за которые он держался всю жизнь, и он падает, падает, падает.

Держался ли он за свой долг, свою дхарму, ухаживая за бессильным телом этой женщины, жалким, нищенским телом жены, или, может быть, долг держал его, вел его за руку этой тропой через поступки и убеждения всей его жизни.

Когда они поженились, ему было шестнадцать лет, а ей двенадцать. Он тогда задумывался над тем, не уйти ли ему вообще в от-

шельники. Отшельничество чуть не с самого детства было его идеалом, испытанием, которым ему хотелось проверить свои силы. Он сознательно взял себе в жены калеку. Потом он оставил жену у ее осчастливленных родителей, а сам уехал в Бенарес учиться. Выучившись, вернулся за женой, достигший вершин учености, постигший глубины веданты. Он видел в жене испытание, которое назначил ему бог, чтобы проверить, достанет ли у него сил жить самоотречением — для этой цели бог и послал ему в жены калеку. Пранешачария ухаживал за Бхагирати, упиваясь сознанием своего особого предназначения. Он готовил ей пищу, кормил ее с ложечки, тщательнейшим образом выполнял ежедневные молитвенные обряды, читал и толковал для брахминов священные Книги — непрестанно накапливая добродетели с тем же пылом, с каким скупец копит деньги. В этот месяц было прочитано сто тысяч мантр, и все они сосчитаны, в следующий месяц еще сто тысяч плюс сотня в пост, на одиннадцатый день лунного месяца. Он умножал свое достояние — миллионы миллионов покаяний, отсчитанных на душистых шариках четок.

Как-то в диспуте ученый брахмин задал ему вопрос:

— Известно, что все живое содержит в себе три качества — самоуглубленность, действенность, леность и что люди различаются тем, какое из качеств преобладает в них. Так думаете ли вы, что освобождения от череды рождений и смертей может достичь лишь тот, кто созерцателен? Не означает ли это обреченность людей иного склада? Что остается от надежды, если известно, что желаемое не может быть достигнуто?

— В человеке вялой души, в котором преобладает тьма,— отвечал он,— нет устремленности к освобождению — это главное, что следует помнить. А если так, то что способен испытать человек вялой души, не достигая того, чего и не желал он? Нельзя сказать: я желаю быть самоуглубленным по природе, можно сказать: я углублен в себя по природе. Только душа, углубленная в себя, жаждет единения с богом.

Пранешачария давно сказал себе: «Я углублен в себя по природе. Я родился таким. Жена-калека есть алтарь, на который я приношу в жертву все — ради того, чтобы растить в себе добро».

С этими мыслями он ступил на путь, цель которого — освобождение. И Наранаппу он рассматривал как испытание своей добродетели. И вдруг, так неожиданно, все пошло прахом и он опять оказался на том же месте, откуда начинал в шестнадцать лет. Где же сбился он с пути? И где путь, который не ведет на край пропасти?

Пранешачария поднял жену на руки и, как каждое утро, понес ее купать, хоть не терпелось выйти из дому и узнать, по какому поводу звенят гонги и завывают раковины. Обливая жену водой из кувшина, он с омерзением видел ее отвисшую грудь, рыхлый нос, куцую, скользкую косичку. Оглушительный грохот лез в уши, и он еле сдерживался, чтобы не завопить — хоть вы уймитесь!

Впервые различал его глаз уродство и красоту. Он сам ни разу не возжелал прекрасных женщин, описанных в священных Книгах. Все запахи земли казались ему благоуханием единого цветка, предназначенного, чтобы украшать собою кудри бога. Женское очарование было лишь отблеском прелести богини Лакшми, повелительницы и рабыни бога Вишну. Один только бог Кришна мог познать истину в радости любовных игр — мог утащить одежды купающихся пастушек и оставить их в реке нагими.

О, теперь Пранешачария хотел все это испытать и сам познать.

Он вытер жену полотенцем, перестелил ей постель, уложил ее и вышел на крыльцо.

Гонги и раковины так неожиданно смолкли, что Пранешачарии почудилось, будто он с головой окунулся в глубокую воду.

«Зачем я вышел? Увидеть Чандри? Но Чандри нет».

А вдруг они бросят его обе — и та калека в постели, и другая, положившая его ладони на свою грудь? Впервые в жизни всем существом ощутил он холод и сиротство одиночества.

Брахмины, разогнав наконец грифов, стадом полезли на его веранду, вопрошающе запрокинули трупно осунувшиеся лица.

Брахминские души стиснул страх при виде Ачарии — растерянного и не отвечающего на их немой вопрос.

Ачария видел глаза брахминов, сиротские, ждущие глаза — они на его плечи переложили долг, к которому их обязывала их каста. Они ждали.

Всматриваясь в эти глаза, Ачария испытал укор совести, но вместе с ним и странную легкость от мысли о том, что теперь он свободен: он освободился от необходимости направлять поступки других, от тягот власти над ними.

«Что я за человек? Такой же, как вы, душа, понукаемая похотью и злобой. Не это ли мой первый урок уничижения? Скорей, Чандри, расскажи им, пускай не думают, что я их гуру».

Он осмотрелся. Чандри не было. Чандри нигде не было. Урваси, прекраснейшая небожительница, красота которой внушала стремление к святости, Урваси, приговоренная жить на земле, неожиданно исчезла, совсем как Чандри. А сам Пранешачария боялся признаться. Боялся открыто и прямо объявить, что и он вкусил от наслаждений Наранаппы.

Его ладони взмокли и похолодели.

Впервые в жизни у него возникло желание, такое знакомое простым смертным, соврать, не выдать себя, позаботиться о собственном благе. Не в силах он был найти в себе отвагу и одним махом погубить уважение и веру всех этих людей.

Что это, что? Жалость, своекорыстие, привычка, вялость души, обыкновенное ханжество? В голове вертелась санскритская пропись, затверженная с детства и повторяемая каждый день: «Я есть порок, дела мои порочны, душа моя порок. Я рожден пороком».

Нет. Нет, еще одна ложь. Надо забыть все заученные слова, дать сердцу говорить свободно, как в младенчестве. Ведь когда он ласкал Чандри, ему не вспоминалось, что он порочен? А сию минуту он счастлив тем, что Чандри нет и он не опозорен. Мысли пробудившегося человека отличны от тех, что не осознавались им. Он осознал себя и понял, что вел двойную жизнь. И вот последствия — теперь его понастоящему закрутило в колесе кармы. Есть одно избавление от муки — вернуться в неосознанность, опять обнять Чандри, опять пробудиться к мукам, опять вернуться к ней за отпущением. Колесо. Колесо кармы. Вот она, жизнь, полная страстей. Он отрекся от желаний, но желания остались в нем.

Смятенные мысли не воплощались в слова — Пранешачария резко повернулся и молча ушел в дом.

Брахмины продолжали ждать.

Пранешачария ступил в молельню. Привычно возглашая одно за другим имена бога, он следовал течению своих мыслей.

...Если ничего не рассказать, если тайна будет обжигать, как угли, схваченные голыми руками, он больше никогда не сможет взглянуть в лицо богу Марути, не сможет с чистым сердцем ухаживать за беспомощной калекой...

— О боже, вразуми... а вдруг там появилась Чандри? Возьмет и все им выложит?

Он в страхе выскочил на веранду. Брахмины сидели в тех же позах, грифы возвратились на крыши. Ачария закрыл глаза, набрал полную грудь воздуха, но губы его выговорили совсем другое:

— Я в сомнении. Я не смог вымолить у Марути ответ. Я ничего не знаю. Поступайте, как велит вам сердце.

Брахмины разом охнули.

— Да как же это может быть! — воскликнул Гаруда.

Дасачария, днем раньше плотно поевший, сегодня был полон сил.

— Пошли в Каимару, посоветуемся с пандитом Суббанначария!— предложил он.— Я не к тому это говорю, что он знает, а наш Ачария — нет. Но что-то надо делать! Ну, а если и каимарский пандит не поможет, пойдем к самому свами. Сколько же торчать нам в аграхаре не евши, в вонище этой! За одно и гуру поклонимся. А в тринадцатый день у свами в монастыре должно быть большое моление. Тамошние брахмины и накормят нас. Где лежит покойник, там есть не положено, а в Каимаре почему нельзя? Так как, пошли?

— Пошли! — согласились брахмины.

Лакшман припомнил, что Венкан из Каимары собирался купить у него сотню плетенок и тысячу банановых листьев. Можно прихватить с собой товар.

У Гаруды были дела с гуру.

Пранешачария облегченно вздохнул — с него сняли тяжкий груз.

Довольный, что его послушались, Дасачария заговорил опять:

— У нас дня три уйдет, не меньше, а оставить женщин и детей нам не на кого, так давайте отправим семьи по родне!

Брахмины согласились и с этим.

IV

Дургабхатта до самого дома не переставал ругаться — ну брахмины, ну выродки, такие с собственной вдовой мамашей переспят, ну и попал же он в компанию! С руганью он вывел буйволов, запряг их в повозку, забрал все семейство и покатил в деревню к тестю — подальше от аграхары этой осквернённой! Лакшман упаковал банановые листья и плетенки. Дасачария запасся на дорогу рисом, быстренько помог собраться жене и детям да еще и безумную Лакшми-девамму снарядил к родне Лакшмана! Но когда брахмины, готовые в путь, зашли за Пранешачарией, выяснилось, что жена его вступила в дни, когда женщина нечиста.

— Я с вами не могу идти,— сказал Ачария.— Не на кого оставить жену.

Брахмины не стали уговаривать его. Повернулись и торопливо зашагали по каимарской дороге, больше не обращая внимания ни на каких грифов.

Дневная жара начинала спадать, когда они добрались до Каимары. Брахмины вымылись, повязали чистые обрядовые шнуры, нарисовали на лбах кастовые знаки сандаловой пастой и предстали перед Суббанначарией.

— Прежде всего вам следует принять пищу,— изрек пандит.

Изголодавшиеся брахмины так и набросились на дымящийся рис с круто наперченной подливкой и безостановочно ели до тех пор, пока пища не дошла до Высшего Начала в их желудках.

Ослабевшие, осоловевшие от сытости, брахмины приготовились внимать словам Суббанначарии.

Астрологу Суббанначарии требовалось прежде всего уточнить, в благоприятный ли миг испустил Наранаппа дух или в неблагоприятный, а уж в зависимости от этого решить, какие обряды нужны для похорон. Он вздел на нос очки, разостлал перед собой карты звездного неба и таблицы; закончив расчеты, он бросил горсть морских ракушек и что-то проверил по ним.

— Неблагоприятно,— заключил он.

Неодобрительно покачивая головой, Суббанначария оглядел брахминов и вопросил:

— Как вы можете ждать решения от меня, если сам Пранешачария не знает, что делать?

Дасачария возликовал в душе; значит, есть надобность идти в монастырь, а там большое моление и брахминов щедро угостят.

— Ночь на дворе,— сказали каимарские брахмины.— Переночуйте у нас, а утром пойдете дальше.

Предложение было принято с радостью.

Однако наутро Дасачария не смог подняться. Он весь горел и едва ворочал языком.

— Должно быть, переел вчера,— сказал Гаруда.— Должно быть, с животом неладно у него.

Брахмины победнее пожалели, что бедному человеку не достанется монастырского угощения.

Дасачарию оставили в Каимаре, а остальные позавтракали холодным рисом и простоквашей и вышли в путь в другую аграхару за двадцать миль. Там они поели и заночевали, а наутро встать не смог Падманабхачария. В дороге измотался, решили брахмины и заспешили дальше — до монастыря было миль десять, не меньше. Подходя к монастырю, они заслышали уханье большого барабана, возвещавшего начало полуденного моления.

V

В аграхаре не осталось никого, кроме Пранешачарии, его беспомощной жены, ворон и грифов. Пранешачария чувствовал себя потерянным. Исчезли привычные звуки. Тишина давила. Убийственный смрад лез в ноздри с каждым вдохом, не давая забыть, что рядом гниют человеческие останки, а стервятники, заполонившие крыши, терзали душу предзнаменованием новых бед. Пранешачария вошел в молельню и передернулся от омерзения: на середину комнаты выскочила крыса, завертелась на месте да еще против часовой стрелки, что не к добру, и тут же сдохла. Пранешачария брезгливо поднял крысу за кончик хвоста и швырнул грифам. Воронье разоралось так, что ему пришлось выйти и отогнать птиц. Солнце ослепляюще жгло полуденное безмолвие.

Пранешачария не мог дольше терпеть мук голода. Он нарвал бананов, искупался в реке, перебрался на другой берег и, усевшись в тени, съел их. Голод утих. Пранешачария вспомнил темноту, Чандри, бананы из ее рук.

Может быть, сострадание подтолкнуло его к Чандри? Вряд ли. Звериная похоть его тела, затаившаяся под личиной жалости и сострадания, долго усмирявшаяся добродетельным житьем,— это она, как голодный тигр, вырвалась на волю... Едва Чандри приникла к нему, дикий зверь мгновенно стал собой и ощерил клыки. Что говорил Наранаппа: «Поживем — увидим, чья возьмет... переспишь еще с рыбачкой, от которой несет рыбой». И еще говорил ему Наранаппа о том, как все плоды наших поступков оборачиваются противоположностью нашим намерениям. Нет, не из-за Наранаппы, а из-за него самого, из-за его гордыни, из-за его поступков все пошло кувырком в аграхаре.

Ему же рассказывали про молодого брахмина, который наслушался описаний красавицы Шакунталы и прямо на берегу реки переспал с неприкасаемой девчонкой.

Воображение Ачарии сразу выстроило перед ним всех неприкасаемых девушек, существования которых он до сих пор и не замечал. Теперь он каждую раздевал и разглядывал одну за другой. Которая же из них? Которая из них так распалила молодого брахмина? Белли, да наверняка же Белли! Ачария представил себе юную смуглую грудь Белли, и его обдало жаром.

Какой стыд! Как Наранаппа насмехался над ним: хочешь быть хорошим брахмином, зубри Веды и легенды о святых, но не вчитывайся, не отзывайся на давние страсти.

Его ученость, его привычка вызывать в себе сострадание таили опаснейшую искру, которая не угрожала тупицам. Усмиренный было тигр вырвался на волю и с рычанием обнажал клыки...

Белли. Руки его жаждали заполниться ее грудями, все его существо рвалось к новым ощущениям. Он и не жил даже до сих пор, он просто делал то, что считал назначенным себе, бубнил одну и ту же нудную мантру, а жизни и не знал... Жизнь — это риск, рывок. Столкновение с неизведанным, слияние в лесной непроглядности. Он думал, что жизнь — исполнение поставленной себе цели, а оказалось, что она — невиданное, неожиданное, входящее, как грудь в ладонь. Может быть, как непрошенно коснулась его женщина во мгле, так Наранаппы бог коснулся? Твердое семя тихонько напитывается дождевой влагой, пробуждается от нежного нажатия почвы и выбрасывает из себя росток. Если бы семя упорствовало, оно бы просто иссохло.

...До Чандри и я был сухим семенем. Наранаппа упорствовал, а я старался переупорствовать его. Но раз желания моей плоти естественно движут мной, даже когда я верю, будто от них отказался, почему же не может вот так же коснуться меня бог, сам, без моего стремления к нему?..

Куда девалась Чандри? Сидит в доме и сторожит труп? Как же она выдерживает смрад? — забеспокоился он.

Пранешачария прыгнул в реку и поплыл. Плыть бы так без конца, мечтал он, просто вечно плыть в прохладной воде. Он припомнил, как мальчишкой удирал от матери на речку. Подумать же, столько лет прошло, а в нем еще живы мальчишечьи желания. Чтобы мать не догадалась, накупавшись, он долго обсыхал на горячем песке, а потом мчался домой. Что может быть лучше этого — наплаваться и поваляться на песке? Не хотелось возвращаться в аграхару. Он выбрался на берег и растянулся на солнце. Он сразу высох под полуденными лучами и почувствовал, как начинает припекать спину.

Он вскочил на ноги и, как животное, нюхом находящее дорогу, вошел в лес, где вчера был с Чандри. В лесу и в полдень было прохладно и сумрачно, кусты уходили в гудящий от насекомых полумрак. Пранешачария остановился там, где вчера переменилась вся его жизнь. Зеленая трава еще хранила форму их тел. Он присел на корточки, он, как дурак, выдергивал травинки, обнюхивал их. Пранешачария выбрался из смертного смрада аграхары — запах травы, влажной земли на корнях привел его в исступление. Его руки тянулись ко всему, что можно выдернуть из земли и понюхать. Он наполнялся земными запахами. Сидение под деревом, в тени, тоже стало свершением, заслугой. Быть, просто быть. Быть изо всех сил. Горячие солнечные лучи, прохлада от травы, зелень, цветы. Острая полнота ощущений — тепло, прохлада. Ни желаний, ни добродетелей. Не карабкаться, не тянуться, не рваться. Принимать с благодарностью. Зеленый усик торкнулся в его руку. Он потянул, но длинная, плотная лиана не поддавалась. В отличие от травы, лиана цепко держалась корнями за твердую землю. Пранешачария уселся поплотней и стал тянуть обеими руками, половину лианы оборвал, но все-таки выдрал корень и глубоко втянул в себя его запах. От корня пахло всем: жарой, прохладой, земной влагой и небесным простором. Он отбросил корень, полной грудью вобрал в себя дыхание леса и застыл... Снова прыгнул в воду, поплыл против течения до глубокого места, где вода была ему под подбородок, и встал там на ноги. Он стоял, а рыбешки щекотно тыкались то ему под мышки, то в ребра, то между ног.

— Ах-ха-ха,— по-мальчишечьи хихикнул Ачария и поплыл к берегу.

Выбравшись на песок, он снова лег на солнце, но вспомнил, что подходит время кормить жену, и заторопился в аграхару.

Вид аграхары, ворон и грифов был как удар в лицо.

Жена не открыла глаза, когда он вошел. Лицо ее пылало.

Что с ней? Лихорадка? Но он же не может прикоснуться к женщине в ее нечистые дни... Ах, да что тут! — спохватился он, негодуя на себя за колебания.

Он положил ладонь на ее лоб — лоб горел. Он испугался. Намочил тряпку, положил жене на голову, откинул одеяло и внимательно осмотрел ее. На левой стороне живота вспух черный волдырь. От этого у нее жар? А Наранаппа не от этой болезни умер?

Пранешачария поспешно истолок лекарственные травы, залил кипятком, остудил и, раскрыв жене губы, пытался влить лекарство, но оно вытекало обратно.

«Что с ней? Что делать?» — думал он, вышагивая по комнате.

Вороны и грифы подняли невообразимый гам, тяжкий смрад не давал собраться с мыслями.

Пранешачария выбежал на задний двор и остановился, в беспамятстве глядя перед собой. Он перестал замечать ход времени.

Завечерело, когда он понемногу начал приходить в себя. Птицы улетели, стало полегче, и он с отчаянием вспомнил, что все это время жена пролежала одна, в горячке. Он зажег фонарь и окликнул ее. Жена не ответила. Казалось, будто тишина сгущается. Внезапно ее разорвал пронзительный крик. Он оцепенел. Долгий, душераздирающий, горестный крик впивался ему в душу. Потом — тишина, как темнота после вспышки молнии.

Он не выдержал. Не разбирая дороги, он бежал к дому Наранаппы и звал Чандри:

— Чандри! Чандри!

Ответа не было. Он ворвался в дом. Темно. На кухню. Никого. На лестницу — и тут вспомнил: наверху труп. Его охватил необоримый страх, как в детстве, когда он боялся войти в темную комнату.

Он убежал домой.

Коснулся рукой лба жены — лоб был холодным.

...Пранешачария добрался до Каимары глубокой ночью.

Подходя к дому Суббанначарии, он столкнулся с четырьмя местными брахминами. Их головы были покрыты мокрыми дхоти — они совершили омовение и вымыли свои одежды, предав огню тело Дасачарии.

Пранешачария привел брахминов в аграхару и с их помощью еще до зари был зажжен погребальный костер его жены и совершен обряд.

— В аграхаре есть еще одно мертвое тело,— сказал он брахминам,— но его судьбу решит сам гуру. Так что вам лучше сейчас отправляться обратно.

Они ушли, а Пранешачария остался у костра, в котором догорало тело Бхагирати. Комочек плоти, избранный им, чтобы стать испытанием всей его жизни, рассыпался пеплом. Пранешачария не сдерживал слезы. Он плакал до изнеможения.

VI

Прибывшие в монастырь брахмины не решились нарушить святость большого моления рассказом о делах аграхары. Не говоря ни слова, они приняли святую воду в подставленные ладони и уселись за обрядовую трапезу. После трапезы гуру оделил всех дарами: поднес каждому брахмину по медной ане. Лакшман едва сумел скрыть разочарование — пряча монетку в пояс, он костерил про себя благочестивого скупердяя:

— Ни семьи, ни детей, а как деньги любит! Дары...

Брахминов усадили на прохладном цементном полу монастырского дворика, для гуру поставили низкий табурет. Гуру сидел среди брахминов, завернувшись в одежды шафранного цвета, в руках — душистые четки, на лбу — кастовый знак, выведенный свежей сан-

даловой пастой. Пухлощекий, как младенец, спокойный и довольный, поглаживая коротенькие свои ножки, гуру задавал вежливые вопросы:

— А что же не явился Пранешачария? В добром ли он здравии? Неужели он не извещен о большом молении?

Гаруда прочистил горло и стал подробно рассказывать о событиях в аграхаре.

Гуру внимательно выслушал и твердо сказал:

— Родившийся брахмином — брахмином умирает. Наранаппа все равно дважды рожденный. Долг ваш — совершить подобающим образом обряд по умершему. А в очищение от скверны все имущество покойного, серебро его и золото должно быть пожертвовано богу Кришне. Монастырю.

Гаруда поспешно отер краем дхоти вдруг вспотевшее лицо.

— Наставник, вам известно, ссора вышла между покойным и моим отцом. Участок в три сотни бетелевых пальм, мой он по справедливости...

— Наставник,— вмешался Лакшман,— кто здесь о справедливости заговорил? Вы же знаете, что жена Наранаппы моей жене сестрой приходилась...

Округлое лицо гуру порозовело от гнева.

— Нечестивцы! — голос напоминал отдаленные раскаты грома.— Только богу может служить имущество, оставшееся без владельца. Задолго до нас так было, так будет всегда. Помните об этом! А если монастырь не благословит вас на совершение заупокойного обряда, придется всем вам выселяться из аграхары...

Гаруда и Лакшман повинились перед гуру и простерлись у его ног. Собравшись уходить, брахмины хватились Гундачарии. Гундачарию нашли на монастырском чердаке — он метался в лихорадке, бредил, но брахмины никак не могли оставаться с ним: они спешили совершить обряд по Наранаппе.

Оставив больного Гундачарию, брахмины снарядились в обратный путь.

Ачария даже не зашел в аграхару после похорон жены. И ни о чем не вспомнил: ни о шкатулке с пятнадцатью золототканными шарфами, ни о двух сотнях рупий, ни о четках, оправленных в золото, монастырском даре.

Решив идти куда глаза глядят, он зашагал на восток.

Часть третья

I

Утреннее солнце пронизало лес золотыми узорами.

Пранешачария все шел, волоча усталые ноги, но не останавливался и не задумывался над тем, где находится и куда движется. Кольнул укор: он не дождался, пока костер прогорит до конца, не опустил, как положено, в реку обгорелые кости жены; он с ужасом представил себе, как собаки и лисицы растаскивают останки Бхагирати, но решительно отогнал от себя эти мысли. Я все бросил, внушал он себе. Я свободный человек — никому ничего не должен. Никому не обязан. Я сказал себе, что уйду куда глаза глядят, вот я и иду.

Смута в его душе не утихала, и, пытаясь взять себя в руки, он привычно забормотал имена бога Вишну:

— Ачьюта, Ананта, Говинда...

Раньше, всякий раз, когда он чувствовал, что разум его возбужден, он сосредоточенно повторял имена бога, и мысли начинали течь в одном направлении. Он помнил первую заповедь йоги: надо утишить бурные волны разума.

— Нет, нет,—твердо сказал он себе.— Я должен стоять на собственных ногах. Без опоры на привычки, на притчи, на повторение святых имен. Пусть станет моя душа как это сплетение света и тени, которое возникло оттого, что лучи пробились сквозь листву. Светлое небо, тень под деревьями, солнечные узоры. А если, на счастье, брызнет дождем — радуга. Быть как солнечный свет. Сознавать, что живешь, восторгаться и плыть, плавно и бесцельно плыть, как воздушный змей в синеве. О, быть вне желаний! Тогда распахивается душа. А от подавленных желаний душа иссыхает, покрывается коркой, вера превращается в таблицу умножения, вызубренную на всю жизнь. Канака, неученый мудрец, простодушный святой, вот кто жил с распахнутой душой, вот кто осознавал себя живым. Поэтому пришел он к богу с вопросом: «Ты хочешь, чтоб я съел банан, которого нет. Куда мне идти? Где это возможно? Бог всюду, так зачем его искать?» А мой бог стал набором выученных слов. Не состоянием духа, как для Канаки. Значит, нет у меня больше бога.

Но если я отказываюсь от бога, я должен бросить все, перечеркнуть долг по отношению к предкам, к наставникам, к обрядам, уйти от общения с людьми. Я принял верное решение — идти куда ноги несут, идти по лесу без дороги.

А голод? А жажда? А усталость? — резко оборвалось течение мыслей Пранешачарии. Так. Значит, он забрел еще в одну пещеру самообмана. Если уж он шел куда ноги несли, почему же ноги не уносили его за предел слышимости бамбуковых бубенцов на коровьих шеях, бамбуковых пастушьих дудок? Он принимал решения, а ноги носили его поблизости от человеческого жилья. Значит, вот она, граница его мира, предел его свободы — не может он обойтись без людей. Прямо как в притче про отшельника, который тоже решил удалиться от мира. Поставил себе шалаш в лесу, а в шалаше завелись мыши. Пришлось взять кошку, кошке нужно молоко, купил корову, за коровой надо ходить, нанял женщину. Потом женился на ней — и конец отшельничеству. Пранешачария опустился на землю под хлебным деревом.

...Мне обязательно нужно додумать все до конца. Дальше я хочу жить совсем по-другому, без малейшей лжи. Почему я, схоронив жену, покинул аграхару? Ну да, стояла эта страшная вонь, я просто не мог туда вернуться. Удушающая вонь, чувство, будто ты весь в какой-то мерзости, страх осквернения, да, да. А потом что? Почему я не хотел встречаться с брахминами, которые ждали от меня помощи? Тут в чем было дело?

Пранешачария вытянул мучительно ноющие ноги. Он хотел стряхнуть с себя усталость, она мешала сосредоточиться.

Из лесу вышел теленок; незамеченный Пранешачарией, совсем близко подобрался к человеку, вытянул шею и нюхнул его. Пранешачария вздрогнул от горячего дыхания. Оглянулся. На него смотрели ласковые, жалостливые коровьи глаза. Сердце Пранешачарии наполнилось нежностью. Он провел рукой по гладкой спинке. Теленок обрадовался, притиснулся совсем близко, подставляясь под ласкающую руку, вывалил язык и стал жарко, шершаво, щекотно лизать лицо и уши Пранешачарии. Пранешачария вскочил, не вытерпев щекотки.

— Уппу-пу... — приговаривал он и почесывал теленка.

Теленок совсем разыгрался: скакнул на Пранешачарию, брыкнул задними ногами и боком-боком ускакал за деревья.

...О чем же я думал? — старался припомнить Пранешачария. Да, я спрашивал себя, почему мне так не хотелось встречаться с брахминами.

Но мысли его разбегались. Сильно хотелось есть.

Нужно найти деревню, там дадут еды. Он зашагал, отыскивая путь по коровьим лепешкам и следам прошедшего стада. Примерно через час он наткнулся на храм Мари — черной богини смерти. Было ясно, что в деревне, построившей храм этой богине, живут не брахмины. Пранешачария сел под дерево на виду у деревни.

Солнце высоко поднялось в небо и припекало даже в тени. Мучила жажда. Скорей бы его заметил кто-нибудь из крестьян — сразу побегут за фруктами, за молоком.

...Крестьянин подвел буйволов к деревенскому пруду, повернул голову, вгляделся из-под руки и заторопился в сторону Пранешачарии. Он остановился перед брахмином — рослый, толстоусый, на голове навернут клетчатый тюрбан, во рту бетель. Скорей всего, староста, подумал Пранешачария. Хорошо, что не наткнулся на знакомого.

Староста поднял подбородок, чтобы не капнул бетелевый сок, и что-то промычал, не разжимая губ. По жестам и выражению его лица легко было догадаться, что он желает узнать, откуда путник. Знай староста, что перед ним сам Пранешачария, он бы не посмел размахивать руками и мычать с полным ртом. Но если человек зачеркивает свое прошлое, свою историю, то мир и воспринимает его просто как еще одного человека. Вот староста и видел перед собой обыкновенного прохожего брахмина. Эта мысль чуть-чуть встревожила Пранешачарию. Не получив ответа, староста деликатно выплюнул бетель, утерся концом тюрбана и с приличествующей обращению к брахмину униженностью спросил:

— Куда держит путь ученый господин?

Пранешачария воспрял духом от почтительного тона. Староста знал, что брахмина не положено спрашивать «куда идешь». Но что ответить?

— Да вот туда... — неопределенно повел он рукой и вытер пот.

Слава богу, крестьянин не знает его в лицо.

— Господин поднялся из долины?— Любопытство так и жгло старосту.

— М-мм...

Пранешачария не привык говорить неправду.

— Господин даяния, наверно, собирает?

Пранешачарии захотелось провалиться сквозь землю. Деревенщина принимает его за бродячего брахмина! А впрочем, чем он не бродячий брахмин, собирающий себе на пропитание, в глазах старосты, который понятия не имеет о его великой учености, о его прославленном благочестии!

Надо учиться скромности. Опусти голову, склонись пониже, приказал он себе.

Значит, посторонним он может казаться не тем, кто он есть на самом деле? Это раздвигает границы его свободы.

— У нас тут нигде поблизости нет брахминов,— сообщил староста.

— Да? — без интереса отозвался Пранешачария.

— Миль отсюда за десять, двенадцать даже, ближайшая аграхара.

— Правда?

— Может, и дальше, если проселком ехать. Но и ближняя дорога есть, прямиком.

— Хорошо.

— У нас вот здесь колодец. Я вам кувшин принесу, зачерпнете себе на омовение воды. Рису вам сейчас доставлю, чечевицы. Прямо тут огонь разложим, и приготовите себе поесть... Устали вы, господин, сразу видно. А если в аграхару путь держите, так тут как раз Шешаппа такой, на подводе приехал родню навестить. А сам он около агра-

хары живет, и подвода его обратно порожняком идет. Только он такое рассказал про аграхару, уж и не знаю, надо ли вам ехать туда. Говорит, там четвертые сутки мертвое тело без сожжения лежит. Говорит, брахмин мертвый, вот дела! Шешаппа что рассказывает — жуть! Среди ночи, представляете, врывается к нему женщина — жил с ней покойный — и кричит: помоги тело сжечь! Вроде как никто этого покойника не желает сжигать. Как такое с брахмином может быть, а? Утром Шешаппа проезжал мимо аграхары, так, говорит, грифы по крышам сидят, ну?

Староста присел на корточки, разминая в ладонях табак.

У Пранешачарии оборвалось сердце — Шешаппа здесь! Нельзя ему в таком виде попасться на глаза Шешаппе. И вообще опасно задерживаться в этой деревне. Он поднял глаза на старосту.

— Принеси мне молока. И парочку бананов.

— Бегу, ученый господин, бегу. Нам ведь нельзя есть, пока не предложим пищу брахмину, я потому про рис и сказал, я думал, рису желаете, а нет, так я бегу...

Староста затопал к домам.

Пранешачарии казалось, будто под ним не трава, а колючки. Что, в конце концов, случится, если Шешаппа увидит его? Он испуганно осмотрелся, чувствуя, как съеживается от страха. Чего я боюсь, если я решил все бросить? — спрашивал он себя, растревоженный собственным страхом и неспособностью совладать с ним.

Староста вернулся с плошкой молока и с гроздью спелых бананов, сложил все у ног Ачарии и заискивающе начал:

— Благословен час, когда в деревню заходит брахмин. Вовремя пришли вы. Вы мне будущее предсказать не можете? А то я как раз невесту сыну привел, полторы сотни рупий выложил, а она забилась в угол и молчит. Как привезли, так все и молчит. Может, злой дух, а? Дали бы мантру какую-нибудь полезную...

Пранешачария испытал на себе всю власть привычки — он уже приготовился повести себя как должно брахмину и лишь в последний миг сдержался. Что из того, что я отказался от прошлого, если прошлое не отказывается от меня? От меня ожидают выполнения брахминского долга. Я брахмин, и от этого мне некуда деваться. Что сказать этому крестьянину, который с такой готовностью принес молока и бананов совершенно чужому человеку? Сказать ему, что я утратил все накопленные добродетели? Что я никакой не брахмин? Или взять и просто рассказать всю правду?

— Я родственницу хоронил... совсем недавно... еще обряд очищения не прошел... пока не пройду, мне пока нельзя давать талисманы...

И сам обрадовался тому, как удачно выкрутился.

Он допил молоко, завязал в узелок бананы и поднялся на ноги.

— Пойдете вот этой дорогой, миль через десять будет Мелиге. Там храмовой праздник сегодня, завтра и послезавтра. Хорошие даяния соберете,— посоветовал староста и вразвалку пошел к своим буйволам, на ходу набивая рот свежим бетелем.

Пранешачария проводил его глазами, пока он не скрылся из виду, и зашагал по лесной тропке. Все оказывалось гораздо труднее, чем он думал.

...Никогда в жизни так не боялся. Боязнь выдать себя, боязнь быть разоблаченным. Боязнь такая, что ее и не скроешь от других. Значит, жизни без страха тоже конец. Почему? В чем дело? Я и в аграхару из страха не вернулся. Испугался, что не смогу жить открыто среди всех этих брахминов. Я действительно не умею жить во лжи.

Молчание леса понемногу успокаивало. Он замедлил шаг, развязал узелок, съел банан. Надо разобраться. Итак. Вначале было нечто

и это нечто требовалось сжечь. Нечто было Наранаппой, который жил как хотел, плюя на свое брахминство. Нечто ожидало сожжения, с сожжения и следовало начинать. Он же подумал, что самое главное — не нарушить закон, стал копаться в текстах, потом бросился молиться, но в лесной темноте...

Он остановился. Бешено стучало сердце — оно мешало додумать до конца.

Когда стараешься оживить в памяти подробности события, это похоже на попытку вспомнить сон.

...Она так неожиданно прижалась грудью. Я дрогнул. Потом она дала мне бананы, я их съел. Голод, усталость, отчаяние — от того, что Марути так и не дал ответа. Вот причина. Без моего желания, будто богом посланный, настал этот миг — и в нем причина. Святой был миг. До него — ничего, после него — опять ничего. Не существовавшее ранее осуществилось в этот миг и прекратило существование вместе с ним. Не существовало, перестало существовать. А в промежутке — миг, осуществление. А это значит, что я не несу никакой ответственности за то, что было в этот миг. Однако он изменил меня. Почему? Я несу теперь ответственность за изменившегося себя, а это меня пугает. Миг стал памятью? И, вспоминая, я желаю опять прожить его. Вот я снова наклоняюсь обнять Чандри...

Тело Ачарии напряглось желанием, перед глазами поплыла дымка. Пойти в Кундапуру, разыскать Чандри, пришло ему в голову. Привычная нерушимая последовательность наблюдения за собой почему-то разрушалась. Волны рассыпались брызгами.

...Если бы я сейчас нашел ее, вся ответственность за мои действия была бы целиком на мне, не так ли? И тогда я освободился бы от мучительного сознания, что внезапная перемена произошла помимо моей воли. Это я, я сам творю новую истину, я делаю себя новым человеком. Значит, я могу и богу смотреть прямо в лицо. Я, существовавший раньше, стал бесплотен, я, новый, еще не воплощен; я как плод, демонической силой преждевременно исторгнутый из утробы. Но я должен набраться храбрости и заглянуть в себя: а это правда, что миг наступил неожиданно и помимо моей воли? Правда, что он наступил неожиданно. Я не ждал, не искал его... Протянулись руки, встретились с женской грудью, вспыхнуло желание... Вот, вот в чем разгадка. Настал миг, решавший, куда повернуть, миг все решал... Нет, не так — настал миг, когда я мог решить, куда повернуть. Суть не в том, что мое тело согласилось, а в том, что никогда в жизни я не рвался к праведности с такой страстью, с какой в ту ночь мои руки рвались к Чандри. В тот миг, когда мне нужно было выбирать, я выбрал Чандри. Даже если я потерял голову, все равно выбор был мой. Весь смысл выбора в том, что человек иной раз теряет голову, иначе все было бы просто. Мы сами творим себя тем, что выбираем, мы сами придаем форму и очертания этому нечто, которое зовем собой. Наранаппа сам выбрал, кем ему быть. Я выбрал другое и жил по своему выбору. Вдруг — поворот. Я повернул. Я не свободен, пока не отдаю себе отчет в том, что поворот — мой поступок, мне за него отвечать. Что же произошло, когда я повернул? Жизнь так и захлестнуло противоречиями, у всего открылась и другая сторона. Я раздвоился, я повис между двумя истинами, как Тришанку между небом и землей, когда мудрец Вишвамитра пожелал отправить его на небеса, а бог Индра не пустил. А что мудрецы далеких времен испытывали в таких случаях? Не мучились от раздвоенности, не путались в противоречиях? Едва ли. Премудрый Парашара переправлялся в лодке через реку, не устоял перед соблазном, рыбачка Матсьяганди понесла от него, и родился мудрец Вьяса, написавший «Махабхарату». И что же, сам Парашара метался, как я сейчас? А Вишвамитра — был царем, стал святым и святость свою погубил из-за женщины... А может быть, они жили, отказываясь от жизни, жили близостью к богу, проникая в

единство любых двойственностей, в гармонию любых противоречий, приемля любые недолговечные обличья, порождаемые земным бытием, чтобы в конце концов, как реки в океан, влиться в то, что не имеет облика? Но для меня слияние с богом так и не стало страстной потребностью. Уж если у кого была такая потребность, так, наверно, у Махабалы. Мы с самого детства дружили, но для него тяга к духовности была вроде голода. И в Бенарес мы вместе уехали. Махабала... Блистательный ум и внешность тоже: высокий, стройный, светлокожий. Ему все было по плечу. Когда гуру растолковывал нам первый шаг по праведному пути, Махабала уже понимал, каким будет следующий. Никого я так бешено не ревновал, никого так не любил, как Махабалу. Мы были привязаны друг к другу, несмотря на то что принадлежали к соперничающим сектам: я шел по стопам Мадхвы, который учил, что мир дуалистичен, что душа существует отдельно от бога; Махабала был смарта — последователь Санкары, утверждавшего единство мира, слиянность души с богом. Я ломал себе голову над философией Мадхвы, а Махабала жаждал одного — чувства единения с богом, ничто другое не имело для него значения.

Я с ним спорил, я говорил:

— Разве ты можешь обойтись без пути к ощущению бога? Без преодоления расстояния между человеческой душой и богом?

— Какой путь? — недоумевал он.— Можно подумать, бог живет в городе или в деревне далекой, а ты туда дорогу ищешь! Бог там, где ты.

Он любил музыку. Она была для него выше всех логик и философий. Когда он пел гимны Кришне, могло и вправду почудиться, что ты в саду божьем.

«Южный ветер летит с гор, поросших сандалом, и под лаской его чуть трепещет листва...»

Что же случилось с Махабалой потом? Мы еще жили в Бенаресе, когда я почувствовал, что он понемногу отдаляется, не раскрывается больше передо мной. Я никак не мог понять, что это значит, и тосковал невыносимо. Я остыл к учебе, все мои мысли были только об одном — почему уходит из моей жизни человек, с которым мы все делили пополам? Что произошло? Меня тянуло к Махабале, как никогда ни к кому потом больше не тянуло. Я вел себя как влюбленный — иногда целыми днями так и видел перед собой его грустноватое лицо, родинку под левым глазом. Я не выдерживал, бежал к нему, а он старательно уклонялся от встреч со мной. И вдруг он исчез. Перестал ходить на занятия. Я с ног сбился в поисках, в ужасе думал, что его могли убить, на ум приходили разговоры о человеческих жертвоприношениях. А потом я его увидел — он сидел на веранде ветхого домишка и курил кальян. Я не поверил собственным глазам, кинулся к нему, схватил за руку. Он медленно поднял глаза:

— Иди своей дорогой, Пранеша.

И все.

Я потянул его к себе, он сердито встал:

— Хочешь правду? Я бросил занятия. Хочешь знать, чем я теперь живу? Пошли. Я покажу тебе.

Он втолкнул меня в комнату — на матрасе сладко спала молодая женщина. Она вольно раскинула руки и чуть посапывала во сне.

По ее одежде, по размалеванному лицу было ясно, из каких она. Меня затрясло от отвращения.

— Теперь ты все видел, Пранеша,— сказал Махабала.— Уходи. За меня не тревожься.

Я не нашелся, что ответить. Ушел как в дурмане. Когда я опомнился, мое сердце закаменело. Я дал обет — я не пойду путем, который привел Махабалу к падению. Все сделаю иначе. И я уехал в аграхару.

Всякий раз, встречаясь с Наранаппой, я вспоминал Махабалу, хотя они отличались один от другого, как козел от слона.

А теперь я хотел бы отыскать Махабалу и спросить у него: «Ты сам изменил направление своей жизни? Какое испытание, озарение, влечение подтолкнуло тебя? А мне ты что бы посоветовал? Дала ли тебе женская плоть то, чего искал ты? Сумела она успокоить искания твоего утонченного духа?»

Ах вот в чем дело! Я понял!

Пранешачария вскочил и зашагал по лесу.

...Вот в чем первопричина. Я разочаровался в себе после истории с Махабалой, я запомнил ощущение бессилия. Я безотчетно видел Махабалу в Наранаппе. Я изо всех сил старался одолеть Наранаппу и отыграться за то поражение. Но я опять проиграл, проиграл — хлопнулся лицом о землю. Все, против чего я бился, теперь во мне самом. Как это могло произойти? Где я проиграл, когда? Чем больше я стараюсь понять, тем сильнее запутываюсь. Боже, как связано все в жизни. От Махабалы к Наранаппе, от Наранаппы к моему высокомерию, к любовным стихам, которые я вслух читал, к тому, что я ими натворил, и, наконец, к моим собственным похотливым видениям голой Белли. Облик, в который я сейчас воплощаюсь,— как давно он начал складываться тайно, незаметно для меня! Теперь я совсем не уверен, что миг, когда я слился с Чандри, наступил сам по себе. Нет, просто пришла пора всему, что во мне таилось, обнаружить себя — как крысы, выпрыгивающие из кладовки. Аграхара. Аграхара все время приходит на ум и воскрешает тошнотное чувство. Аграхара стоит как воплощение того, что творится во мне. Ясно только одно — бежать надо. Может, к Чандри. Как Махабала — проложить себе ясный путь. Перестать болтаться, как Тришанку. Пора уносить ноги, пока меня никто не увидел, не узнал.

Он прибавил шагу и тут же услышал шаги за собой. Чей-то взгляд сверлил ему спину. Он распрямил плечи. И хотелось оглянуться, и страшно было. Сзади хрустнуло. Он резко обернулся. К нему быстро приближался молодой парень. Пранешачария пошел быстрей. И тот быстрей. Пранешачария почти бежал, но преследователь не отставал. Он был моложе, он легче двигался. А что, если парень знает его? Парень поравнялся с ним и зашагал нога в ногу, тяжело переводя дух. Пранешачария покосился — незнакомое лицо.

— Я Путта. Из касты малера. На храмовой праздник иду. В Мелиге. А вы далеко ли? — начал разговор незнакомец.

Пранешачария не знал, как ответить, и молча разглядывал неожиданного попутчика. Очень смуглое, суховатое лицо, все в капельках испарины. Длинный нос придает ему решительное выражение, а близко сдвинутые к переносице глаза делают взгляд неприятно пронизывающим. Коротко подстрижен, поверх дхоти — рубашка. Похоже, горожанин.

— Я вас увидел со спины, как вы идете, и подумал — знакомый. Походка у вас похожая. А сейчас смотрю — вроде и впрямь я ваше лицо видел...

Хотя так или примерно так обыкновенно начинают знакомство в деревнях, Пранешачария поежился.

— Из долины иду. Собираю даяния,— коротко ответил он, всей душой надеясь закончить на этом разговор.

— Надо же! А я в долине много кого знаю. Тесть у меня там живет, так я у него гощу часто. Какое место в долине?

— Кундапура.

— А, Кундапура. Случайно такого Шинаппайю там не знаете?

— Не знаю.

Пранешачария прибавил шагу, но Путта только-только начинал беседу и не собирался останавливаться.

— Шинаппайя, про кого я говорю, он нам как свой. Тестя моего друг. Его средний сын с моей жены младшей сестрой сговорен.

— Угу.

Пранешачария шагал все быстрей, но Путта не думал отставать. Тогда Пранешачария решил, что, если он присядет под деревом, изобразив усталость, тот, может, пойдет дальше по своим делам. Но Путта с довольным кряхтеньем плюхнулся рядом, вынул из кармана спички, бири и предложил Пранешачарии.

— Не курю.

Путта с наслаждением закурил.

Пранешачария встал, но он и шагу не успел сделать, как вскочил и Путта.

— Когда вдвоем, так за разговором и дорогу не замечаешь. Взять меня, например, я люблю поговорить,— Путта сиял доброжелательством и заглядывал Пранешачарии в лицо.

II

Жители Париджатапуры все узнали часа через два после того, как Ачария предал огню тело жены и принял решение уйти. Не знали только одного — что мусульманин похоронил Наранаппу. Молодые брахмины, которые в приливе отваги вознамерились воздать последний долг своему другу, но удрали в смертном страхе, ходили набрав в рот воды. Как им было рассказывать о том, что они видели?

Богатей Манджайя испугался, установив, что смерти следовали одна за другой: сначала Наранаппа, потом Дасачария, потом жена Пранешачарии. Причина могла быть одна — мор. Будучи человеком искушенным, он втайне посмеивался над рассуждениями других брахминов. Те как один сходились на том, что корень беды в скоропостижной смерти отступника и в несоблюдении предписанных обрядов. Манджайя качал головой и скорбно говорил:

— Подумать только, умер Дасачария. Позавчера только он был в моем доме, обедал с нами...

Но на душе у него кошки скребли — был в доме, потом умер... Когда выяснилось, что Наранаппа умер от горячки с черными волдырями по телу, а перед тем ездил в Шивамогу, Манджайя подумал о страшной болезни, название которой он не смел произнести даже про себя, чтоб не усугубить несчастье... Подозрение превратилось в уверенность от рассказов о крысах, бегущих из аграхары и подыхающих на бегу, о стервятниках, слетевшихся со всей округи. Манджайя уже все знал, когда принесли газету недельной давности с сообщением: «Чума в Шивамоге». Наранаппа занес заразу в аграхару, и она пошла гулять как пожар по лесу. А эти болваны толклись на месте, бубнили о никому не нужных обрядах и не хоронили чумной труп! Недоумки! И он дурак!

Манджайя стремглав вылетел на веранду и приказал домашним:

— Собирайтесь в дорогу!

Ни минуты нельзя терять — чума перемахнет речку и начнет косить на этом берегу. Стервятник уронит чумную крысу — и конец!

Манджайя вышел на улицу и объявил во всеуслышание:

— Никто не должен ходить в Дурвасапуру, пока я не вернусь из города!

Повозка с буйволами уже ждала. Манджайя подмостил подушку под себя и приказал погонщику побыстрей гнать в Тиртхахалли. Он уже все продумал: первое — сообщить муниципальным властям, что нужно сжечь чумной труп; затем известить докторов, пускай возьмутся за прививки; вызвать дезинфекторов с их ядами и насосами — крыс вывести. Ну а если потребуется, эвакуировать всю аграхару.

Буйволы споро тащили повозку по дороге на Тиртхахалли, а Манджайя все повторял, как заклинание:

— Болваны, болваны, болваны...

Гаруда, Лакшман и другие покидали монастырь с чувством горького разочарования, но с благочестивым бормотанием: «Харе! Харе!»

Падманабхачарии стало худо, он никого не узнавал. Один из брахминов отправился в соседнюю аграхару известить жену больного, которая гостила там у родственников. Другой побежал за доктором. Гаруде стало страшно: в монастыре свалился Гундачария, в Каймаре остался захворавший Дасачария, а тут горит в жару еще один. Беда в аграхаре. Лакшман прилюдно ругал Гаруду за то, что он не дал совершить обряд по Наранаппе. Его слушали вполуха — нашел время перебраниваться, когда надо скорей покончить с мертвым телом и пожертвовать богу имущество покойного во искупление того, что они натворили. Брахмины с тяжелым сердцем расстались с больным и вышли в путь.

По дороге никто не решился вымолвить ни слова.

Гаруда молился про себя:

— Прости меня и помилуй, Марути, я все отдам тебе...

Подавленные брахмины добрались до Каймары, и что же? Им рассказали о смерти Дасачарии и что у Пранешачарии умерла жена. Брахмины не могли прийти в себя. Привычный, прочный мир рассыпался на их глазах, как в страшном сне.

Астролог Суббанначария попытался вдохнуть в них надежду, но его почти не слушали.

— А крысы по-прежнему дохнут? — слабым голосом спросил Гаруда невпопад.

— Какие крысы? — изумился астролог.— О чем ты?

— Просто так. На наших крышах сидели грифы,— ответил Гаруда.

— Надо совершить обряд, и все будет хорошо,— уверил его Суббанначария.

— Я в аграхару не пойду,— пробормотал Гаруда.

Его поддержали.

— Совершать обряд... тело... сгнило все...

— Никаких дров не хватит... не сгорит...

— Пошли! — вмешался Лакшман.

— Сил нет,— отказался Гаруда.— Пускай другие...

— Какие другие, если вы боитесь! — возмутился Суббанначария.

— Да не могу я! — стонал Гаруда.

— Вставай, вставай,— тормошил его Лакшман.— В аграхаре ни души, кто за коровами, за телятами присмотрит? Недоены, неухожены, вставай, пошли!

— Верно, верно,— загомонили брахмины,— все пропадет...

— Харе! Харе!— твердя имя бога, шли брахмины обратно в аграхару.

Семейство Белли принесло петуха в жертву демонам и пообещало овцу зарезать в день новолуния, но мать и отец умерли в ту же ночь, что жена Пранешачарии. Крики Белли разбудили всех неприкасаемых. Из хижин высыпали черные тени и окружили Белли со всех сторон. С полчаса длилось безмолвное, слезное бдение вокруг хижины, которую посетила смерть, потом сухие пальмовые листья запылали с четырех концов. Огонь сразу взялся, и его языки стали лизать тела матери Белли и ее отца. Белли в ужасе отступила в темноту и бросилась бежать неизвестно куда, как бежали крысы.

■ ■ ■

...Путта из касты малера пристал к Пранешачарии, как дурное деяние, совершенное в прошлом.

Остановись — он остановится, присядь — и он садится. Иди быстрей — он за тобой, замедли шаг — он тоже.

Пранешачария не знал, куда деваться от него. Пранешачарии хотелось быть одному, сидеть с закрытыми глазами и думать, думать. Путта болтал, не умолкая ни на миг. Ачария не отвечал, но Путту это не смущало. Откуда ему знать, что с ним сам Пранешачария, светоч мудрости, ученый среди ученых, вместилище добродетели и прочее,— он считал, что встретился с заурядным бродячим брахмином, который вышел на дорогу за пропитанием. И босиком к тому же. Путта уже объяснил Ачарии, что глупо ходить босиком в такую даль.

— За три рупии в Тиртхахалли можно купить очень приличные сандалии ручной работы,— практично заметил он. И назидательно вопросил:— Что дороже — деньги или здоровье? Посмотрите на мои сандалии — скоро год ношу, а все как новенькие.— Он снял сандалии, показал подошвы, даже ногтем поскреб.— Люблю хороший разговор!— признался он.— Загадку загадаю вам, хотите? Попробуйте отгадать! Навряд ли, конечно.— Пранешачария еле сдерживался.— Представляете — река, лодка, человек. У него с собой сена охапка, корова и тигр. Надо переправляться, а зараз можно одного кого-нибудь взять в лодку. И чтоб корова не съела сено, а тигр не съел корову. Как быть? Ну-ну, давайте, посмотрим, соображаете вы или нет!

Путта закурил в ожидании ответа.

Пранешачария поймал себя на том, что, несмотря на раздражение, загадка занимает его.

Путта весело вышагивал рядом и приставал:

— Ну как? Дошло? Отгадали?

Он понял, в чем отгадка, но не знал, что сказать Путте. Сказать «отгадал» — значит протянуть руку дружбы, не сказать — Путта сочтет его тупицей. Согласиться выглядеть тупицей в глазах Путты? Опять выбор.

— Ну? — подтолкнул его Путта, выпуская дым.

Пранешачария отрицательно качнул головой.

— Хо-хо! — возликовал Путта и сообщил отгадку. Его прямо распирало от расположения к славному, хотя и глуповатому брахмину.— Давайте еще одну загадаю!

— Нет-нет! — заспешил Пранешачария.

— Ну ладно. Тогда вы мне. Загадайте такое, чтоб я не мог отгадать, и будем квиты.

— Я не знаю загадок.

«Бедняга!» — подумал Путта и стал искать, о чем бы поговорить.

— А вы слышали, что Шьяма помер? Шьяма, актер из Кундапуры.

— Несчастный. Я не знал.

— Так вы, наверно, уже давно из города,— догадался Путта.

Пранешачария увидел, что тропинка впереди раздваивается, и с облегчением вздохнул.

— Вам в какую сторону? — спросил он, остановившись.

— Мне сюда.

— А мне — туда!

— Так обе тропки на Мелиге! Вашей тропкой дальше выходит, но у меня есть время, я с вами пойду.

Путта достал из узелка жженый сахар, кусочки кокоса.

— Угощайтесь!

Пранешачарии сильно хотелось есть, и он с удовольствием принял угощение.

Куда ни пойди, всюду около тебя люди, подумал он. Так и липнут, как заслуги, обретенные в прошлой жизни.

Грызя сахар, Путта перешел на привычные темы:

— У вас жена, конечно, есть? А у кого нет — спрашиваю, как дурак. А детей сколько? Нету детей? Ну, это не дело. У меня двое. Я вам говорил, не помню, моя жена из Кундапуры. Все у нас с ней путем, одна вещь только. Даже не знаю — радоваться или плакать: родителей своих любит без памяти. Как месяц пройдет, от силы два, так начинается: поеду и поеду к маме. А времена сами знаете какие — каждый раз две рупии на автобус, это ж деньги, верно? Жена слышать ничего не желает, двое детей и сама как ребенок. Правда, жену я взял молоденькую. Теща с характером, зато тесть — человек! Ничего не могу сказать. И что к чему, понимает. Теща иногда заводится — по какому праву он нашу дочку лупит, то да се. А тесть — ни слова, никогда слова не скажет. Ну, жену мою бей не бей, до нее ничего не доходит. В колодце, говорит, утоплюсь, если к маме ездить не буду. А я что должен делать? Хозяйка она хорошая, все как надо — вот одна беда. А так — обед ли сготовить, за домом смотреть, все у нее хорошо выходит. Говорю, одно только мешает. Ну что вы скажете?

Пранешачария посмеялся, не зная, что сказать. Засмеялся и Путта.

— Старые люди говорят: от женщин толку добиться, все равно что рыбий след в воде найти! Старые люди знают,— заключил Путта.

— Истинно,— поддакнул Пранешачария.

У Путты иссяк поток слов — должно быть, думал, что словами не описать сложность натуры его жены, предположил Пранешачария. А вот моя загадка, я раньше не понимал всего ее смысла.

...Решающий миг моей жизни, в котором как бы сошлись все связи с миром: с Наранаппой, с Махабалой, с моей женой, с другими брахминами, даже с законом благочестия, за который я цеплялся, этот миг настал сам. Я ничего для этого не сделал. Я вышел другим человеком из лесной темноты. Но мой выбор, мое решение не остались только моими — они затронули всю аграхару. И в этом источник общих бед, мучений, трудностей, поступок одного связан с жизнями других. Когда понадобилось решить, можно ли хоронить Наранаппу по обряду, я даже не попытался самостоятельно подумать. Нет, я положился на бога и на священные Книги. Не для этого ли мы завели Книги? Потому что всегда есть связь между решениями, принимаемыми нами, и общиной, в которой живем. Любое действие затрагивает наших праотцев, наших гуру, наших богов, людей вокруг нас. Отсюда и раздвоенность. А было у меня ощущение раздвоенности, пока я с Чандри лежал? Я что, все обдумал, взвесил, проверил и потом сделал выбор? Опять я все запутываю... Тот выбор, тот поступок отлучили меня от привычного мира, от мира брахминов, от жизни жены, от самой моей веры. И вот следствие — меня треплет, как веревочку на ветру. Есть ли выход из этого состояния?

— Ачария!

— Что?

— Желаете еще кокоса с сахаром?

— Дай немножко.

— В дороге время не идет, а тянется,— засмеялся Путта, протягивая накрошенный кокос,— скажете, нет? Ничего, сейчас я вас опять развеселю. Еще вот есть такая загадка: кто играет, кто бежит, кто стоит и глядит? Попробуйте хоть эту отгадать.

Путта снова закурил.

...Первопричина в том, что с Чандри все произошло будто во сне. Вот почему я, как Тришанку, болтаюсь между небом и землей. И выйти из этого состояния я могу только через осознанное, свободное дей-

ствие, через поступок, на который я самостоятельно решусь. Не сумею — буду как облако, от ветра изменяющее форму. Осознанное действие опять сделает меня человеком. Я буду отвечать за себя. А это значит... Что это значит?.. Значит, я не должен говорить себе: «Пойду куда глаза глядят». Я сажусь в автобус, еду в Кундапуру, живу с Чандри. Конец метаниям. Я стану другим человеком и сделаю это сознательно.

— Опять заело?— хихикнул Путта.

— Играет рыба, бежит вода, стоит, глядит на все скала.

— Здорово! — восхитился Путта.— Отгадал! А меня, между прочим, с детства Угадайкой звали. Путта Угадайка! Я загадок этих знаю!.. На всю дорогу хватит, вот посмотрите.

И Путта далеко отбросил окурок.

...Гаруда, Лакшман и другие шли целый день по жаре и только к закату добрались до Дурвасапуры. Чем меньше оставалось до аграхары, тем медленней они двигались, но, увидев, что на крышах нет грифов, облегченно прибавили шагу.

— Сбегаю взгляну, как там скотина,— пробормотал Лакшман.— Я вас догоню...

— Сначала обрядом нужно заняться, а домашними делами после,— сурово одернул его Гаруда.

Лакшман не посмел возразить.

Брахмины приблизились к дому Пранешачарии, приготовляя в уме слова соболезнования.

Около дома валялись дохлые крысы.

Из дома никто не откликнулся.

Переступить порог ни один не решился — в собственные дома тоже было страшно войти. Брахмины тихонько пошли обратно. Аграхара выглядела какой-то ненастоящей, оцепенело замершей. Брахмины сгрудились в кучку, не зная, что дальше делать.

— Обряд... — раздался чей-то голос.

Никто не шелохнулся. Каждый представлял себе дом Наранаппы, разложившийся труп.

— Пранешачария у речки, наверно,— нашелся Гаруда.— Подождем его.

— Нет времени,— возразил Лакшман.— Давайте пока приготовимся к похоронам.

— Дрова! — сказал один.

— Придется манговое дерево спилить! — откликнулся другой.

— Гореть плохо будет... — усомнился третий.

— У Наранаппы во дворе наверняка дрова есть,— сообразил Лакшман.— Может, хватит...

— А не хватит, так с твоего двора возьмем,— поддел его Гаруда.

Дров у Наранаппы оказалось маловато.

— Чандри! Чандри! — заголосили брахмины.

Никто не отозвался.

— Да она наверняка удрала в Кундапуру. Погубила всю деревню и смылась, потаскушка!

— Ладно. Делать нечего. Несите каждый по вязанке дров,— распорядился Гаруда.— Каждый. Ясно?

Брахмины один за другим потянулись цепочкой по тропе к месту сожжения с вязанками дров на головах. Все было готово, а Пранешачария так и не возвращался.

— Вынесем тело? — робко спросил один.

— Пускай сначала Пранешачария вернется,— предложил Гаруда.

— Верно,— поддержал Лакшман.

Брахмины старались не смотреть на двери дома Наранаппы.

— Не надо спешить,— решил Гаруда.— Придет Пранешачария и скажет, как и что делать.

— Подождем,— согласились брахмины.

Они развели огонь в большом глиняном кувшине, притащили бамбук и занялись приготовлением носилок. Ждали Пранешачарию.

...Часам к трем Пранешачария и Путта вошли в Мелиге и направились к пруду. Лесная тропка вывела их на разбитую проселочную дорогу, и в Мелиге они явились густо покрытые красной пылью. Путта сразу влез в пруд, умылся, вымыл ноги и с удивлением заявил:

— Что ж такое? Говорили-говорили, а я вам так ничего про себя и не рассказал.

Умываясь, Пранешачария вдруг подумал, что в Мелиге его легко могут узнать! Он рассердился на себя за то, что опять боится. Одно хорошо, думал он, здешние брахмины из секты смарта, то есть не свои. Скорей всего его вообще не заметят в праздничной суматохе. Но все-таки если он действительно решил сделаться другим человеком, то откуда опять страх? Страх сам по себе — чувство естественное, когда есть причина бояться. А тут что? Нужно обязательно докопаться до корня и вырвать этот корень. С каким царственным бесстрашием Наранаппа жил с Чандри на глазах у всей аграхары! А он? Будет жить с Чандри и прятать от людей лицо? Хорошо получится, ничего не скажешь!

— А вы вот, конечно, думаете себе: и что он все время болтает, ну и зануда, думаете. Я объясню. Вы все больше молчите, а сами без людей все равно не можете. И вам поговорить с кем-то надо. Человек вы тихий, но вам достается,— Путта бодро утирался,— сами скажите, правильно я угадал или нет. Я по лицу вижу — правильно. Вы не подумайте, я не из низких. Каста наша, малера, вам известно, что за народ: отец брахмин, ну а мать, сами знаете, кастой пониже. Мой отец — чистый брахмин, а с матерью жил лучше, чем другие с законными женами живут. Меня брахмином воспитывал, даже обряд с надеванием шнура устроил. Пожалуйста, смотрите.

Путта вытянул из-под рубашки шнур, без которого брахмин не брахмин, и удовлетворенно объявил:

— Потому все мои друзья брахмины. Так, нам пора.

Он перепрыгнул через плотинку на улицу и засмеялся.

— Они меня правильно зовут: Путта Говорун. Два прозвища у меня — Угадайка и Говорун. А что? Я с людьми люблю.

Мелиге выглядела вполне празднично. На площади стояла колесница, верх которой украшали знаки зодиака. Вдоль дороги на земле лежали два толстенных каната, за которые верующие вытащили колесницу. Теперь ее поставили перед храмом, ожидая приношения цветов и плодов. Молодой брахмин поднимался с кокосом в руках в колесницу, где уже сидел настоятель храма. Вокруг толпились в ожидании своей очереди люди с приношениями. Пранешачария тревожно обежал глазами лица — удостовериться, что нет знакомых. Нет, никого нет, кто мог бы его опознать.

Правда, толпа стояла так плотно, что если подбросить над ней горсть сезама, так ни зернышка бы на землю не упало. Путту это не обескуражило, и, ухватив Пранешачарию за руку, он стал протискиваться к лавке за кокосами и бананами для приношения.

— Пусть народ немного схлынет,— сказал он отдуваясь,— тогда подойдем к колеснице. А пока пошли посмотрим. Пошли, Ачария.

За углом их оглушили переливы тростниковых свиристелок. Дети выклянчивали у родителей монетки, мчались к прилавку и сразу начинали переливчато свистеть. Густо пахло горящей камфорой и курительными палочками, пахло новенькой, необношенной одеждой. Про-

давец воздушных шаров во всю глотку нахваливал свой товар. На углу народ сгрудился около «бомбейского ящика», получив монетку, его владелец бил в тамбурин, приплясывал и нараспев давал пояснения к картинкам в ящике: «Город Дели, красивый город Дели! Восемнадцать дворцов один краше другого! Бангалорский базар, самый лучший базар! Махараджа Майсора, где еще увидишь махараджу Майсора! А вот махараджа на дворцовом приеме, смотрите на махараджу на дворцовом приеме! Святой храм в Тирупати, смотрите, какой храм в Тирупати. Смотрите, смотрите — веселые девушки из Бомбея! Вот какие бывают девушки в Бомбее!»

Грохот и звон тамбурина, топотание босых ног.

— Ах, какие девушки в «бомбейском ящике»! Одна ана, всего одна ана, недорого, чтоб все увидеть!

Путта не выдержал.

— Ачария, я взгляну, что у него там в ящике!

— Конечно, конечно,— поспешно согласился Пранешачария.

— Вы только не уходите! Без меня не уходите, подождите меня.— Путта нырнул под черный лоскут и припал к окулярам.

...Самое время повернуться и уйти. Некрасиво, что и говорить, ничего плохого ему этот Путта не сделал, но просто необходимо побыть одному, а с ним даже помолчать не удастся. Пранешачария успел сделать всего несколько шагов, как прямо над его ухом раздался знакомый голос:

— Так я и думал — уйдет и я его не найду. Хорошо, хозяин ящика показал, в какую сторону вы двинулись. Ну вот, мы вместе. Можно идти.

Пранешачария готов был завыть от досады. Сказать, чтоб отвязался? Но как можно обижать человека, когда он протягивает руку дружбы, пускай даже его никто не просит? Надо быть терпеливым, укорял он себя.

— Вот это да! — завопил Путта.

Выступали акробаты. Девушка, гибкая, как змейка, широко раскинув руки и ноги, животом балансировала на бамбуковом шесте. Здоровенный цыган упоенно лупил по барабану. Секунда — девушка скользнула вниз и затанцевала, собирая монетки, улыбаясь, кланяясь. Путта бросил ей медяк.

Чем ближе они подходили к храму, тем больше нищих встречалось в толпе. Человеческие обрубки, извиваясь, ползли по пыльной улочке, нищие без рук, нищие без ног, нищие с провалами на месте носов, слепые, дергающиеся, выставляющие напоказ невероятные уродства. Путта выбирал самых страшных и важно подавал им милостыню. Он задержался у тележки с длинным тентом, сплошь увешанным разноцветными лентами, купил жене ярд красной ленты.

— Она их любит,— объяснил он.

Взял еще парочку свистулек детям, дунул в них для проверки и распорядился:

— Пошли.

Пранешачария насилу сдержался, он чувствовал себя вещью, которую кто хочет, тот подберет.

Путта углядел лавчонку с ярко окрашенными напитками в бутылках.

— Выпьем «фанты»! — решил Путта.

— Я такие вещи не пью,— отказался Пранешачария.

Путта надолго застрял перед лавчонкой, крытой соломой, наконец, выбрав бутылку с чем-то малиновым, бросил монетку:

— Мне это!

В лавчонке было полно народу. Крестьянки застенчиво утирались после шипучей воды, поили сладкой водичкой вымытых детей с намасленными головенками. Женщины были все в новеньких сари, с цветами в волосах. Мужчины похрустывали рубахами, надетыми впервые.

Звякали отлетающие пробки, шипела и булькала разноцветная жидкость, причмокивали губы, сжимаясь перед восхитительной отрыжкой. Лавчонка была вся ожидание, наслаждение, удовлетворенность — одно из самых больших удовольствий храмового праздника. К таким праздникам окрестные деревни готовятся загодя, откладывая деньги на многочисленные радости, которые не часто перепадают крестьянам.

Пранешачария стоял в стороне от мира незамысловатых удовольствий и наблюдал толпу. Путта допил шипучку, громко рыгнул, даже порозовев от приятных ощущений, и затормошил Пранешачарию:

— Ну все, все, нам пора! Так вы ничего и не выпили.

Пранешачария следовал за Путтой как в полусне, одурманенный толчеей и торговлей, свистульками и барабанами, плывущими накатами храмовых колоколов, кричащими красками лавок и одежд.

Он был окружен глазами — взгляды искали, устремлялись к цели. У него единственного взгляд блуждал бесцельно, потому что он был не в силах соотнести себя ни с чем.

Выходило, что Путта был прав.

...Даже моя с ним встреча, наверно, была предопределена. Желая следовать своему выбору, я должен вначале перенять его вовлеченность в жизнь. Чандри тоже живет в этом мире. Я же нигде не живу — ни здесь, ни там. Мир распался на противоположности, и меня зажало между.

В нос ударил крепкий запах кофе и свежих пирожков.

Путта остановился.

Ачария тоже.

— По чашке кофе?

— Я не буду.

— Так это же брахминская харчевня. Хозяин все привез из Тиртхахалли специально на праздник, готовят тут по обряду, для брахминов особые места отведены. Не осквернитесь, не бойтесь.

— Я кофе не хочу.

— Нет, так не пойдет. Я должен угостить вас кофе!

Путта за руку втащил его в харчевню. Пранешачария осторожно присел на грязноватую табуретку, пугливо огляделся. Что будет, если увидят его, ученого, благочестивого брахмина, человека с такой репутацией, в ярмарочной харчевне за чашкой подозрительного кофе! Тьфу! — по-базарному отплюнулся Пранешачария, когда же я выкину эти мысли из головы?

Из уважения к брахминству Ачарии Путта устроился чуть поодаль.

— Два особых! — заказал он чумазому мальчишке.

Заплатив две аны, он отхлебнул обжигающего кофе и сморщился.

— Гадость, а не кофе! Особый называется... Всегда, как праздник, так жулят!

Пранешачария выпил свой кофе медленно и с удовольствием. Ему кофе понравился. К тому же он почувствовал прилив сил и с неожиданной бодростью последовал за Путтой.

Путту просто обуревали заботы о благе Ачарии.

— А поесть вы могли бы в храме. Там до шести вечера будет подаваться угощение для брахминов.

Пранешачария уже который день не ел горячего и, представив себе дымящийся рис с душистой подливкой, проглотил слюну, но сразу вспомнил, что есть ему пока нельзя — он совсем недавно похоронил жену. Тем более в храме: если он примет пищу в храме, храм будет осквернен и, согласно поверью, колесницу не удастся даже стронуть с места. А с другой стороны, как же Наранаппа? Сожрал всю рыбу из храмового пруда, и что? Нет, недостает ему сил преступить бесчисленные ограничения брахминской жизни, он не Наранаппа. Так как же? — издевался он над собой. Чем я готов уплатить за

счастье уйти к Чандри и жить с ней? Если уж уходить, так не оглядываясь, если уж решился, так уходить. Как Махабала: захотел и сделал.

— Гляньте-ка, Ачария! — Путта указывал на пригорок, где плотным кружком стояла толпа, судя по одежде, крестьяне низких каст.— Подойдем поближе, там, наверно, петушиный бой.

Пранешачарию передернуло, но он безропотно поплелся за Путтой со странным предчувствием встречи с судьбой. От толпы так несло дешевым пальмовым вином, что Пранешачария не смог приблизиться вплотную. Стоявшие сзади поднимались на цыпочки и тянули шеи, передние сидели на корточках. Толпу сковывало напряженное внимание, лица были обращены в круг, а в кругу, подпрыгивая, расхаживали два петуха. Никогда в жизни не сталкивался Пранешачария с таким накалом жестокости и острого возбуждения. Ему казалось, что вся жизненная энергия этих сидящих на корточках людей сосредоточена в их глазах. А петухи! Треск крыльев, четыре крыла, четыре шпоры. Кокк, кокк, кокк, кокк. Сорок, пятьдесят пар глаз вокруг. Кроваво-красные гребни, блестящие стальные шпоры. Луч солнца — искрой! Искры. Как от удара о кремень. Прóмельк! Удар, удар. Удар! Один петух на другом. Долбит его.

Неодолимый ужас стиснул Пранешачарию. Он точно провалился в мир демонов. Бессильно опускаясь наземь, он думал, что если в этом аду, где он задумал поселиться с Чандри, если в этой беспросветности, в этом подземелье жестокость загорается счастьем в глазах завороженных созданий, то такому вот, как он, не выжить в этом мире.

Владельцы петухов подбадривали бойцов странными горловыми звуками, которые едва ли могли исходить из человеческой гортани.

Он все отчетливее понимал, что нет в нем качеств, необходимых для жизни в мире страстей и жестокости.

Его опять сковала трусость, такая же, как в тот день, когда Наранаппа дал ему отпор, когда он сник, обмяк, столкнувшись с силой гордыни.

Владельцы петухов насилу растащили их, промыли раны и снова вытолкнули в круг.

Возбужденный Путта рвался сделать ставку.

— Ставлю!— теребил он совершенно незнакомого человека.— Вот на этого ставлю! Две аны, если победит!

— Четыре, если победит вон тот! — загорелся незнакомец.

— Восемь, если мой!

— Десять! — влез еще один.

— Двенадцать! — кричал Путта.

— Идет.

Пранешачария замер в ожидании исхода — что будет, если простоватый Путта останется без денег? К его немалому изумлению, Путта выиграл.

— Давай еще разок! — предложил проигравший.

— Нет,— бросил Путта.

— Как это «нет»? — пьяно вознегодовал проигравший и замахнулся на Путту.

Пранешачария властно протянул руку между ними. Увидев брахмина, пьяный отшатнулся и сделал шаг назад, но со всех сторон напирали разгоряченные, любопытствующие люди.

— Что такое?

— Что там?

Пранешачария с усилием вырвал Путту из давки и почти бегом поволок за собой.

Путта, видимо, не испугался и вообще был доволен — двенадцать ан выиграл. Он улыбнулся во весь рот. Пранешачария взглянул на его веселое лицо и испытал нечто вроде отцовского чувства.

«Был бы у меня сын, я бы воспитывал его с любовью»,— подумал он.

Вслух он сдержанно сказал:

— Ну все, Путта. Теперь я пойду своей дорогой, ты — своей.

У Путты мгновенно вытянулось лицо.

— А куда вы идете?

— Сам еще не решил,— ответил Ачария, настороженно стараясь уразуметь, зачем Путта так липнет к нему.

— Я еще немножко побуду с вами,— умолял Путта.— А после вы можете поесть в храме.

Пранешачария чувствовал, что иссякают остатки его терпения.

— Мне нужно к золотых дел мастеру,— объявил он.

— Зачем?

— Золотую вещь ему показать.

— Зачем? Если у вас нет с собой денег, я вам дам двенадцать ан. В долг. После как-нибудь отдадите.

Пранешачария просто не знал, как выпутаться. Дружелюбие этого человека, как лиана, оплетало ноги.

— Нет, Путта. Мне много денег понадобится. На билет до Кундапуры. На другие расходы.

— Тогда давайте я вам покажу хорошую лавку. Я знаю где. Вы что собираетесь продать?

— Кольцо с брахминского шнура,— сдался Пранешачария.

— Покажите,— протянул руку Путта.

Пранешачария снял со шнура кольцо. Путта внимательно осмотрел кольцо и посоветовал:

— Не меньше пятнадцати рупий. Меньше не берите.

Узенький проход вывел их к дому золотых дел мастера. Мастер сидел перед опрятным деревянным ящичком с напильником в руках. Он поднял на лоб очки в серебряной оправе и деловито спросил:

— С чем пожаловали?

Всмотревшись, он узнал Путту и сменил тон:

— Так что же могло произойти, что ноги Путты привели его к моему порогу, а?

Получив кольцо, он не спеша взвесил его, сосчитал красные зернышки, служившие ему гирьками, потер кольцо, подумал и определил:

— Десять рупий.

— Пятнадцать,— твердо возразил Путта.— А нет, так и разговора нет.

Пранешачария не знал, куда деться от неловкости.

— Нынче золото не в цене,— объяснил ювелир.

— В цене или не в цене, только меньше пятнадцати не возьмем. Пятнадцать, ладно?

Путта подмигнул Ачарии, приглашая его полюбоваться, как он умело торгуется, но Пранешачария мечтал лишь об одном — скорей уйти из лавки.

— Десять так десять,— сказал он.— Мне хватит.

Путта ахнул от неожиданности, а хозяин лавки, расплывшись в улыбке, ловко отсчитал десять рупий, сложил ладони и низко склонил голову.

— Спасибо,— сказал Пранешачария, выходя из лавки.

Едва переступив порог, Путта набросился на Пранешачарию не хуже законной жены:

— Да что же это такое? Я, можно сказать, стараюсь как лучше, а вы меня же и подводите? Я в каком теперь положении? Он же теперь мое слово в грош не поставит! Мог бы и не вмешиваться, деньги ваши, не мои, выбросили пятерку на ветер — ваше дело! Я из-за чего — в наше время нельзя всякому доверяться и живым остаться. Вы же не знаете, какой это народ, кто золотом занимается! Родную сестру надуют!

— Мне очень нужны были деньги, и я поторопился. Извини.

Пранешачарии не хотелось обижать Путту. Путта немедленно смягчился.

— Я, как вас увидел, сразу понял, что вы за человек. Простая душа. И как вы один в дорогу вышли? Вам одному нельзя никак. Вот я вас в автобус посажу, а после займусь своими делами. А пока что вы меня держитесь. Мне тут кое-кого повидать нужно, вместе сходим, а оттуда вы — в храм. Времени полно, до самого вечера угощения будут подавать. Переночевать нам лучше здесь, утром пойти в Тиртхахалли — всего-то пять миль, оттуда автобусом до Агумбе, там, если на такси спуститься в долину, успеем поймать кундапурский автобус.

— Хорошо,— согласился Ачария, пряча деньги в пояс.

— Аккуратней — деньги все-таки,— строго заметил Путта.

...Проще всего отделаться от него в храме, туда он не войдет со мной... Путта.. Без всякой корысти взваливает на себя чужие хлопоты... Кто знает, какие он выплачивает долги из своих прошлых жизней? А я никак не могу отвязаться от него. Лиана, за ноги цепляющаяся. Можно ли считать, что человек сам распоряжается своей судьбой?..

— Сюда, сюда! — подтолкнул его Путта.

С запруженной людьми дороги к храму они свернули в проулок. Шли, пока не очутились перед пустырем. Обмелевший ручей, бамбуковый мостик через него. Дальше изгородь. Густая грязь рисового поля. Пробираясь обочиной поля, Пранешачария опять вспомнил петушиный бой. Как долбил один петух другого, как били крылья, летели перья. Петух впивался в противника, рвал, терзал, глубже, глубже в горячую плоть. Кровь. Острый отблеск стали. И эти глаза вокруг. Запах перегара. Петухов растащили, обмывают, они колотятся от ярости,— кокк! кокк! — в драку. Мир жгучей страсти, мстительности, алчности.

...Я стоял там как бесплотный дух, лишний. Обездвиженный ужасом. Хотел своей волей изменить судьбу, войти в этот мир. Где акробатка на бамбуковом шесте. Изгибает тело в тугой одежде. Все выпуклости обрисованы. Скользнула с неба вниз, танцует по кругу. Бутылки с шипучкой. Желание, наслаждение, насыщение. Глаза, нацеленные на вещи. Среди пестроты лент, шаров, вокруг храмовой колесницы — везде глаза, передо мной, за мной, со всех сторон. Глаза. Крылья. Шпоры. Клювы. Когти. Погружение в мир. Единство всего сущего. Совместность. Слиянность желания и удовлетворения. Как в Книгах: «То есть ты». Все есть ты.

Мне страшно. Страшно превратиться в демона, бесплотного духа.

Путта закурил и спросил, лукаво посмеиваясь:

— Не догадываетесь, куда мы идем? — Пранешачария пожал плечами.— Нравитесь вы мне, Ачария. Идете куда ведут, ничего не спрашиваете. Похожи мы с вами. Я помню, один раз вот точно так же я с дружком до самой Шивамоги дотопал. Тесть про меня говорит: это же наш Путта. Отпусти его, говорит, потом не сыщешь, а сыщешь, он уж тебя не оставит.

— Ты сказал, что хочешь с кем-то встретиться.

— Сказал.

— Ну и хорошо.

— Сад видите? Во-он там. Там живет одна женщина, а этот сад она арендует. Смелая женщина, живет совсем одна, ничего не боится. Красивая, между прочим. И такая чистюля — руки с мылом надо мыть, если хочешь дотронуться. Она мне дальней родней доводится. А уж как к брахминам относится — сами увидите. На минутку зайдем, я только поздороваюсь. А то начнет после говорить: вот, Путта, мне сказали, ты был, а ко мне не заглянул, не узнал, как я, жива ли или, может, умерла. Важный очень стал, да, Путта? — и пойдут обиды. А я не люблю обижать людей. Жизнь наша — она что? Сейчас мы тут, а через минуту нет нас. Зачем же обижать? Вот потому мне что ни скажи, я отвечаю «да». Одно только плохо — с женой плохо. Раз в

месяц ей обязательно нужно к маме. Сначала я сказал «да». Потом сказал «нет». Даже бью ее. Побью, а сам жалею. Ладно. Мы пришли.

Их глазам открылся дом под черепичной крышей.

— Дома она или нет? Могла на ярмарку уйти,— пробормотал Путта.

— Падмавати! — позвал он.

Пранешачария присел на глинобитное возвышение, застеленное циновкой.

— Иду-у! — откликнулся приятный женский голос.

Красивый голос. Теплый, звучный.

Он немного испугался. Кто она такая, эта женщина? Зачем Путта привел меня сюда?

— Ах вот кто пришел! — сказал обрадованно голос.

Пранешачария повернул голову.

Женщина стояла в дверях, касаясь косяка поднятой рукой. Перехватив его взгляд, она оправила сари на груди.

— Видишь, кто твой гость? Святой человек, Ачария,—важничал Путта.

— Вы издалека, должно быть,— женщина скромно опустила глаза.— Подать святой воды из Ганга? Вы устали, я принесу вам молока и фруктов.

Пранешачария покрылся потом с головы до ног. Женщина, без сомнения, из касты малера. Живет одна. Зачем Путта привел меня сюда? И молчит, как в рот воды набрал. Трещал, не умолкая, всю дорогу, а тут замолк. Пранешачарии вдруг показалось, будто он чувствует затылком чей-то взгляд. Два глаза уставились в спину. Я ничем не защищен от пристальных, заглядывающих в меня глаз. Он сдержал сильное желание оглянуться. Кто знает, что скажут ему эти глаза? Кто знает, что произойдет, когда две пары глаз взглянут одна в другую? Удлиненные темные глаза. Коса, черной змеей скользящая через грудь. Девушка, гнущаяся на бамбуковом шесте. Шпоры. Крылья. Клювы. Перья. Приношение налитой груди в лесной темноте. Белли. Груди цвета земли. Немигающий взгляд, который все увидит, перед которым он обнажен. Взгляд в затылок. Сзади. Птица застывает под взглядом черной змеи. От ужаса.

Пранешачария оглянулся. Так. Темные глаза украдкой смотрели на него. Руки держали тарелку. Она стояла на пороге. Шаг назад, и полумрак дома скрыл ее. Прозвенели браслеты — она снова появилась на свету. Все успокоилось. Ожидание ворохнулось в его теле, прокладывая себе путь. Она наклонилась, ставя перед ним тарелку. Сари сползло с груди. Грудь, туго обтянутая блузкой. Просящий взгляд из-под тяжелых век. Живой огонь в его груди, но уже без ощущения обнаженности под взглядом. Теперь он сам весь превратился в эти глаза. «То есть ты». Все есть ты.

— Откуда господин пожаловал? — спросила женщина.

И перевела взгляд на Ачарию. На его пылающую сущность.

— Он сам из Кундапуры,— не дал ему ответить Путта.— С Шинаппой знаком,— приврал он.— Делами храма занимается.

Еще вранье.

— На храм приехал собирать.

Еще.

Путта делал из него совсем другого человека. Встреча с незнакомыми всегда приводит к появлению нового облика, иной личности.

...Я столькими людьми перебывал за один день, что сам перестал понимать, кто я. Что же, пусть все идет своим чередом...

Пранешачария сидел и ждал.

...Заклеванный петух. Клюющий петух. Шпоры. Сталь на ногах. Вопль Бхагирати. Будто сама жизнь вопила. Потом она упала на спину, совершенно неподвижная. Мертвая. Погребальный костер, в нем горит Бхагирати, алтарь моего избранничества. Не стало Бхагирати,

и я оказался между мирами. Заблудшая душа. Принимаю облик, который мне придают чужие взгляды. Теперь душа льнет к одному из миров и я перестаю быть бесплотным духом. Кажется.

Стараясь не смотреть ему в лицо, Падмавати отошла и села на приступку у дверей.

Пранешачарию снова томило чувство обнаженности — теперь она уселась так, что может вволю разглядывать его. Набравшись храбрости, он поднял голову. Сердце болезненно стучало.

Падмавати вскочила на ноги, вынесла поднос с бетелем. Путта приготовил себе бетель, заложил за щеку и заговорил с полным ртом:

— Я встретил Ачарию на дороге. Разговорились, он мне и говорит: я в Кундапуру. А я сразу сказал: куда спешить? Здесь заночуем, а утром отправимся прямо в Тиртхахалли и поймаем автобус. Так лучше, верно ведь?

— Конечно,— с некоторым смущением поддержала Падмавати.— Переночуете у меня, а завтра пойдете дальше.

Пранешачария от слов женщины весь сразу обмяк. В ушах загудело, ладони покрылись липким потом.

...Только не сегодня. Завтра. Сегодня я еще не готов. Откуда я мог знать, что придется принимать решение сегодня? И вообще мне нельзя, мне ничего нельзя. Только что жену схоронил, еще не прошел очищение. Мертвым телом Наранаппы еще не занялся. Я им все сейчас расскажу. Нужно рассказать всю правду. Нужно встать и уйти. Исчезнуть.

И не двинулся с места. Сидел. Неподвижный предмет под изучающим взглядом Падмавати.

— Значит, договорились,— заключил Путта.— А пока пускай сходит в храм и поест как следует. Он целый день не ел.

Он повернулся к Падмавати.

— Сегодня представление будет. Пойдешь смотреть?

— Да нет. Схожу вечером в храм и сразу же вернусь. Буду вас дома ждать.

Пранешачария молча сидел между Путтой и Падмавати и ничем, совсем ничем не выказывал своего отношения к происходящему.

— Тогда пошли,— сказал Путта.

Ачария поднялся на ноги и посмотрел на Падмавати.

Длинные волосы, видно, она недавно их вымыла, даже маслом еще не успела смазать. Крутые бедра, полная грудь. Высокая. Глаза искрятся. Ожидает. Спокойная, свежая после купания. Дышит ровно и глубоко — грудь поднимается и опускается. Соски сразу отвердеют, если дотронуться до них в темноте. Запах раздавленной травы. Летучие колесницы светлячков. Огни. Огонь. Языки огня лижут хворост, дотрагиваются до мертвых рук, до мертвых ног. Костер шипит, брызгается искрами. Огонь все выше. Тело Наранаппы в ожидании огня. Несожженное тело. Как он сидел в тот день на веранде, кальяном булькал. Тело на бамбуковых носилках, прогнувшихся вниз под его тяжестью. Мудрый Яджнавалкья спрашивал: «Любовь, к кому любовь? Любовь к жене есть любовь к себе. И любовь к богу есть любовь к себе». Докопаться до корня. Все равно найти. Все равно выстоять.

Он посмотрел на женщину. Она была прекрасна, и он восхитился ее красотой.

А мудрый Вьяса, который написал потом «Махабхарату», родился в глиняном горшке. Сразу и родился святым аскетом с горшком для подаяния.

Ачария сделал шаг.

— Так вечером я жду вас,— сказала женщина.

...Бог Марути ушел от ответа. Друг Махабала бросил меня. Недруг Наранаппа одержал надо мной верх. Брахмины обезумели при виде золота, Чандри дождалась меня в темноте, получила что хотела, пошла своей дорогой. Бхагирати дико закричала и умерла...

Путта положил руку на его плечо и придержал на обочине мокрого поля.

— Ну, что скажете? — спросил он.— Как задумал, так и вышло. Вы только в голову не берите. Она же не шлюха какая-нибудь. Низкорожденного близко к себе не подпустит. Брахмина и то не всякого примет. Деньги тут ни при чем. Что ей деньги? Видели, какой у нее сад? О таких женщинах в старину мудрые люди стихи сочиняли. А я-то, я-то струсил, что вы меня выдадите! Ну, когда я привирать начал. Понравилась она вам, верно? Путта такой человек — для друга все сделает. На все ради дружбы пойдет.

Он потрепал Ачарию по плечу.

Мимо мокрого поля, через изгородь, по хлипкому бамбуковому мостику, переулком — обратно в гудение и кипение ярмарки. Густая толпа окружала храмовую колесницу, и такая же толпа толклась у лавки с разноцветной шипучкой. Народ сбегался посмотреть на человека с ученой обезьянкой, на разносчика детских игрушек, на торговцев воздушными шариками. Внезапно над праздничным гомоном поднялся демонический голос, резкий голос злого духа. Деревенский глашатай. Глашатай выкрикивал под барабанную дробь:

— Чума! Чума! Чума! В Шивамоге чума! Страшная болезнь черной богини Мари. Кому в Шивамогу — делайте прививки в Тиртхахалли! Приказ! Приказ! Приказ! Приказ для всех! Прививки! Чума!

Люди с любопытством слушали глашатая и пили шипучку. Хохотали над ужимками ученой обезьянки. Бородатый лекарь бойко торговал пилюлями, нахваливая их силу на всех языках:

— Одна ана, одна ана, одна ана! От живота, от головы, от ушей, от артрита, радикулита, от чесотки, от парши! Для беременных, для детей, от тифа, диабета! Одна ана, одна ана! Пилюли из Кералы, освященные в храме!

Его перебивал владелец «бомбейского ящика»:

— Веселые девушки из Бомбея! Смотрите, девушки из Бомбея!

Акробат съехал по веревке, протянутой от высокого дерева к колышку в земле, стукнул босыми пятками и поклонился. Мужчина дал подзатыльник мальчишке, клянчившему воздушный шарик. Мальчишка громко разревелся. В кофейне завели музыку. В мусульманской лавке выставляли новые подносы ядовито окрашенных сластей. Протяжный говор крестьян и их жен, неумолчное чтение санскритских двустиший у колесницы, пререкания брахминов.

И среди всего этого он должен сделать выбор. Здесь. Сейчас. Какой выбор? Зачеркнуть четверть века жизни, полной суровых ограничений, и стать жителем вот этого мира? Нет, нет. Прежде всего похороны Наранаппы. Все другие решения — потом. Сегодня Гаруда, Лакшман и другие брахмины должны уже вернуться в аграхару после беседы с гуру. Ну а если гуру сказал «нет»? Что тогда делать? Опять метания, опять все сначала.

Пранешачария остановился у храма. Слепой нищий монотонно тянул гимн: «Как мне служить тебе, создатель? Чем угождать тебе, создатель?»

Путта бросил медяк в тарелочку перед слепцом, и в тот же миг к ним быстро пополз другой нищий, безрукий и безногий, жалобно вопя:

— Ни рук, ни ног, как я наказан! Ни рук, ни ног!

Прокаженный с воем простерся перед ними, беспомощно дергая остатками конечностей, показывая те места, где были пальцы, отгрызенные проказой. Полусгнившее тело прокаженного вызвало в мыслях Пранешачарии образ разлагающегося без сожжения трупа Наранаппы. Путта подал прокаженному милостыню, но к ним со всех сторон сползлись новые нищие, изуродованные, искалеченные.

— Пойдем отсюда,— выдохнул Ачария.

— Идите в храм, вам давно пора поесть,— напомнил Путта.

— Пойдем вместе,— позвал Ачария.

Его внезапно охватил ужас при мысли о том, как он войдет в трапезную и брахмины, сидящие длинными рядами, увидят, что он пришел один, никем не сопровождаемый. Ни разу в жизни он так не боялся быть один.

Я не могу без Путты, подумал он растерянно.

— Да что это вы? Как это вместе? Я же не брахмин, я малера.

— Какая разница, пойдем.

— Шутки шутите? — изумился Путта.— Да у меня тут полно знакомых. А так я бы рискнул. Подумаешь! Вы тоже, наверно, слышали про мальчишку из касты ювелиров, который всем мозги задурил и жил себе в монастыре? А я малера, мы даже священные шнуры носим, как у брахминов. Ну вообще-то это я так, болтаю. На самом деле кишка у меня тонка с брахминами есть. Нет уж, вы идите себе, а я вас где-нибудь здесь подожду.

Нищие вопили что было сил, и Пранешачария чувствовал, как сдают его нервы. Он повернулся и будто через туман пошел в храм.

Все четыре веранды, окружавшие храм, были превращены в трапезные с длинными рядами аккуратно выложенных свежих банановых листьев. Перед каждым листом сидел жаждущий угощения брахмин. У Пранешачарии заныло сердце. А вдруг меня опознают? — тосковал он. Бежать отсюда. Бежать. Только ноги почему-то словно прилипли к полу.

Что я делаю? — думал Пранешачария. Какую низость готовлюсь совершить? Я осквернен прикосновением к мертвому телу. Я еще не совершил обряд очищения и, зная это, собираюсь разделить трапезу с брахминами? Я нечист и собираюсь осквернить других?

Все они убеждены, что скверна не даст колеснице стронуться с места. Разделив с ними трапезу, я сделаю вещь не менее мерзкую, чем Наранаппа, съевший священных рыб, чтобы подорвать устои брахминства. Меня могут узнать... Какой будет скандал: Пранешачария не успел предать огню тело жены, а уже явился на храмовой праздник. Колесница не двинется, праздник не состоится. Тысячи глаз уставятся на меня!

— Сюда, сюда, здесь есть место! — позвал чей-то голос.

Пранешачария вздрогнул. Вгляделся.

Незнакомый брахмин, сидевший с краю, указывал на свободное место рядом с собой. Что делать? Великий боже, что мне делать?

— Вы что, не слышите?

Брахмин засмеялся и потянул Пранешачарию за руку.

— Вот же место. Я его для вас и занял. Видите, даже стакан на лист поставил. А то пришлось бы вам ждать, пока следующую группу не усадят.

Ачария сел на указанное место. Его голова шла кругом.

Стараясь взять себя в руки и успокоиться, он начал сосредоточенно размышлять.

...Создатель, в чем причина моих страхов? Может быть, это я перерождаюсь в муках, становлюсь другим? Может быть, страх отпустит, если я этой ночью лягу в постель с Падмавати? Может быть, я осмелею, если уйду к Чандри? Чего же стоят решения, которые я поминутно меняю? Или я не в силах стать другим и обречен на призрачную жизнь вечной нерешительности? Ах как жаль, что рядом нет Путты! Встать и уйти? А что подумает сидящий рядом брахмин?

Храмовой служка пошел вдоль рядов, окропляя святой водой каждый лист. За ним следовал другой — он зачерпывал половником рис, сваренный в молоке, и раскладывал его по листьям. Замыкали шествие два плотных брахмина. Покрикивая: «Дорогу, дорогу!» — они раздавали пряный рис, чечевицу, огурцы.

Появление каждого нового человека вызывало новый приступ страха. А вдруг этот меня узнает? Или вон тот? Что мне тогда делать?

Брахмин, занявший место для Пранешачарии, рослый, очень смуглый, выглядел довольно свирепо. Смарта, судя по горизонтальным сандаловым мазкам на лбу. Он сразу внушил робость Ачарии, которая усилилась, когда сосед начал расспрашивать его:

— Откуда сами будете?

— Я здешний.

— А откуда именно? Не с гор?

— Кундапура.

— Из вишнуитов?

— Вишнуит.

— Приятно встретиться. Счастливый случай. У нас молоденькая девушка, и мы ей ищем жениха. Год-другой — и девушка достигнет зрелости. Мы люди неиспорченные и девушкам заранее подыскиваем пару. Жених нам нужен. Может, есть кто на примете среди ваших? Великую услугу отцу окажете, если поможете пристроить дочь! Пойдемте после трапезы к нам. Посмотрите на гороскоп невесты. У нас и заночуете.

Пранешачария подставил служке мисочку для соуса, и ему показалось, будто служка всматривается в его лицо.

Чуть-чуть помедлив, тот двинулся дальше вдоль ряда.

— Согласен,— сказал Пранешачария, чтобы закончить разговор.

Узнал его служка или не узнал? Угольный кастовый знак на лбу — он мадхва, так что очень может быть, он видел где-нибудь Пранешачарию... Встать и уйти теперь уже поздно, он уже наполнил ладони святой водой и проглотил ее во имя бога.

Пранешачария смешал соус с дымящимся рисом. Сколько дней он не ел горячего?

...Всеведущий боже, пронеси эту беду! Сделай так, чтобы никто меня сегодня не узнал. Я не могу решиться и сказать себе: вот это и есть мой собственный выбор! Что бы я ни делал, каждый мой поступок затрагивает других. После того, что случилось, я должен был сам предать огню тело Наранаппы. Но разве мог я схоронить его в одиночку? Мне нужны были еще трое, хотя бы для того, чтоб вынести покойника. Значит, нужно было позвать еще трех брахминов. Значит, еще три человека были бы вовлечены в решение, которое принял я один. Вот что терзает меня. Я, я целовал Чандри, никто об этом не подозревает, но мой поступок повлиял на ход жизни всей аграхары.

Снова приблизился служка, возглашая:

— Соус, кому добавить соуса...

Он остановился рядом с Ачарией.

— Еще соуса?

Ачария пугливо поднял глаза.

— Я вас вроде где-то видел,— пробормотал служка.

— Возможно.

Слава богу, служку окликнули из другого ряда, и он заторопился на зов. Но все равно его глаза вспоминают меня, посылают мой образ в мозг, мозг старается соединить образ с именем. Пускай я даже ушел бы к Чандри, в любую минуту меня могут остановить и спросить: ты кто такой, откуда родом, какая секта? Пока я не отделаюсь от своего брахминства, мне не избавиться от пут. Но, перестав быть брахмином, я стану обитателем чужого мне, жестокого мира, где дерутся петухи. Куда мне деться? Как выйти из призрачного существования между мирами?

Сидевший рядом брахмин разворчался:

— У них на этот раз не соус, а водичка... Да не ешьте вы его! Еще много перемен подадут.

Вернулся давешний служка, таща горшок овощного кари.

— Не вспомню, где вас видел,— сказал он, останавливаясь перед Пранешачарией.— Не в монастыре? Меня по праздникам приглашают на кухне помогать, и в дни больших молений тоже. Наша аграхара за

рекой. Я как раз позавчера работал в монастыре и прямо оттуда — в этот храм.

Служка спохватился и заспешил дальше, покрикивая:

— Кари, кари, кари!

Теперь было просто необходимо встать и уйти, но ноги не слушались Ачарию. Брахмин снова заговорил с ним:

— Кстати, наша девочка прекрасно готовит. И очень послушная. Так хотелось бы выдать ее замуж в достойную семью, где живы родители, где хозяйством заправляет свекровь.

...Один у меня способ избавиться от страха — совершить обряд по Наранаппе. Я обязан предстать перед глазами брахминов той самой аграхары, в которой я вырос и стал уважаемым человеком. Я обязан призвать Гаруду и Лакшмана и открыто объявить: «Вот что произошло. И вот что я решил. Я отказываюсь от уважения, которым вы меня окружили. Я вернулся, чтобы все вам рассказать...» Пока я это не сделаю, страх, как собака, будет преследовать меня. Я не смогу освободиться. Ну а что потом?.. Жизнь аграхары пошла кувырком, когда Наранаппа выловил храмовых рыб. А после моих признаний кувырком пойдет жизнь каждого брахмина. Какое уж тут благочестие! Значит, что я им скажу? «Я прелюбодействовал с Чандри. Я испытал отвращение к собственной жене. Я пил кофе в базарной кофейне. Я ходил на петушиный бой. Я вожделел Падмавати. Осквернённый прикосновением к мертвому телу, я переступил порог храма и разделил трапезу с брахминами. Я даже звал с собою человека из другой касты. Вот что я делал. Это истина. Не откровенное признание проступков, не раскаяние. Не покаяние. Просто истина. Моя истина. Истина моей души. А раз так, я должен сделать выбор. Я ухожу от вас».

— Если потребуется, мы и хорошее приданое дадим. Сами знаете, какие нынче времена: если девушка не светленькая, очень трудно подыскать ей жениха. Зайдете к нам, посмотрите девушку. Смуглая она, это верно, но зато какие глазки, носик! И отменный гороскоп — во всем будет удача и ей самой, и семье, в которую она войдет.

Брахмин говорил, не переставая есть.

...Но пока я не расскажу всю правду аграхаре и пока не схороню Наранаппу, не отступится страх от меня. Если я решусь тайком жить с Чандри, это не будет настоящим выбором, а всего лишь решением, подсказанным страхом. Я должен сделать окончательный выбор. Никакой половинчатости. Но какая это мука — выбирать! Уйти потихоньку — значит всю жизнь бояться разоблачения, прятаться от посторонних глаз. Все рассказать — значит искалечить чужие жизни, жизни тех, чья вера в меня укрепляла мое благочестие. Вправе ли я делать выбор, который касается не только меня? Как мне больно и как страшно! Великий боже, освободи меня от муки выбора! Пусть все решится само собой, помимо моей воли, как тогда, в лесу! И пусть решится сразу — закрыть глаза и открыть их уже другим человеком... Наранаппа, и ты прошел через эти терзания? Махабала, и ты через них прошел?

Служка, разносивший соус, опять явился, теперь с корзиной фруктов.

Сидящий рядом брахмин не дал ему положить фрукты на банановый лист, а взял их левой рукой и отложил в сторону. Служка остановился перед Пранешачарией.

— Что с моей памятью! Вы же Пранешачария из Дурвасапуры, теперь я вас узнал. Как же так, великий пандит и сидит за такой скромной трапезой? В доме ростовщика сейчас большое угощение, туда отдельно пригласили всех больших людей. Вы без кастового знака, я потому сначала не узнал вас. А вы сами даже слова не сказали. Побегу скажу, что вы здесь, а то попадет мне, что я ученого человека с краю усадил! Я сейчас, вы подождите!

Служка убежал, бросив свою корзину.

Пранешачария поспешно налил на ладонь святой воды, запил трапезу, как требовал обряд, и встал.

— Куда же вы? — крикнул вслед ему сосед.— Сейчас сладкий рис подадут!

Он не оглянулся. Выбежал из храма, даже не вымыв руки. Скорей, скорей, подальше от людских глаз!

— Ачария! — раздался сзади голос Путты.

Пранешачария не остановился, но Путта легко нагнал его.

— Что с вами? Зову-зову, а вы бежите, как будто вам по большому приспичило.

Путта засмеялся.

Пранешачария придержал шаг и с отвращением посмотрел на перепачканные едой пальцы.

— Ну! Значит, и впрямь схватило, раз вы даже руки не помыли! — удивился Путта.— Со мной тоже так бывало... Пошли за пруд, там и сделаете свои дела.

По дороге к пруду Путта объявил:

— Я, значит, что решил: поеду с вами в Кундапуру. Я раньше не хотел вам говорить: жена забрала детей, и они все уже с месяц у ее родителей живут. Ни разу мне не написала. Надо мне потолковать с ней и увезти их домой. Вы уважаемый человек, вы должны сделать мне доброе дело. Объясните вы моей жене, что к чему, вас она послушается. Вы... Такой вы человек, что я за один день на всю жизнь подружился с вами. И еще хочу сказать, Ачария. Я не болтун. Матерью клянусь, я никому не проболтаюсь, что вы у Падмавати на ночь оставались. А что смеялся я сейчас, так не обижайтесь. Я стою, смотрю, как обезьянки пляшут, а тут вы бежите. Ну смешно мне стало. А вообще, за обедом живот схватит, еще не так побежишь. Я подумал, вам приспичило, вот и засмеялся.

Пранешачария спустился к воде и тщательно вымыл руки. Путта стоял поодаль, повернувшись спиной к нему. Когда Пранешачария вернулся, Путта спросил:

— Уже? Так быстро?

— Послушай, Путта...

Пранешачария поднял голову. Долгий вечер летнего дня. Багрянец западного горизонта. Белые птицы длинными чередами возвращаются к гнездам. Внизу у самой кромки воды похлопывает крыльями аист. Подходит время зажигать лампы. Сколько миновало дней с той поры, как зажигали лампы в аграхаре, мычало стадо, пыля с выгона... Коров и телят разбирали по дворам... Доили... Ставили немножко парного молока перед изображениями богов... Дымка заволакивает отчетливые контуры холмов на западе, будто мир растворяется во сне. Быстро меркнут краски, пустеет небо. Летний день сменяется ночью новолуния. Скоро покажется краешек луны, как край серебряной чаши, наклоненной над статуей бога, когда омывают ее святой водой в начале моления. Долины между холмов заполнит тишина. Пройдет вечернее моление, погаснут факелы у храма, смолкнет ярмарочный шум. Потом застучат барабаны, созывая зрителей на театральное представление.

...Если я прямо сейчас выйду в дорогу, то в полночь буду в аграхаре, далеко от этого мира. Меня встретят глаза перепуганных брахминов, я буду стоять, как голый, под их взглядами; и я, старейшина аграхары, в полночь стану новым человеком. Может быть, когда языки пламени запляшут вокруг мертвого тела Наранаппы, мне станет чуть полегче. А когда я начну рассказывать о том, что произошло со мной, в моих словах не должно быть ни грусти, ни раскаяния. Иначе мне не избавиться от раздвоенности, не отыскать единство в противоречиях. И нужно будет найти Махабалу. Я скажу ему: только то, что мы лепим в себе своей собственной свободной волей, принадлежит бес-

спорно нам. Еще я спрошу у него: если это так, то неужели в тебе больше не осталось стремления к совершенствованию?

«Южный ветер летит с гор, поросших сандалом, и под лаской его чуть трепещет листва»,— снова запело в его душе, и она переполнилась нежностью.

Пранешачария положил руку на плечо Путты и слегка привлек его к себе.

— Что я собирался тебе сказать?

— Ачария! — Путта не помнил себя от радости.— Ачария, когда я встретил вас, вы так сурово отвечали мне, что я думал, нам никогда не сдружиться!

— Послушай меня, Путта. Ты знаешь, почему я так выбежал из храма? Мне нужно сию минуту отправляться в Дурвасапуру.

— Как можно, Ачария? Вас же Падмавати там ожидает! Она уже, наверно, постель помягче постелила, курительные палочки зажгла, в волосы цветы воткнула. Что я ей скажу, если вернусь без вас? Я понимаю, срочные дела, но можно ведь переночевать здесь, а все остальное — завтра. Падмавати меня проклянет, если один приду!

Путта так тянул Пранешачарию за собой, что Пранешачария испугался — он не уверен в твердости решения, он может дрогнуть, поддаться. Нужно поскорей отделаться от Путты.

— Нельзя, Путта. Ну хочешь, я скажу тебе всю правду? Я не говорил тебе, чтобы ты не огорчился...

Пранешачария чуть-чуть заколебался, прежде чем соврать.

— Брат у меня при смерти. В Дурвасапуре. Я только сейчас узнал об этом, в храме. В любую минуту он может...

— Ну раз такое дело,— разочарованно вздохнул Путта.

— Когда теперь приведется встретиться, Путта? А Падмавати передай — я к ней зайду на обратном пути в Кундапуру. Вот и все. Так я пойду?

Путта что-то обдумывал.

— Путта?

— Как я могу отпустить вас одного? Вам ночью через лес идти. Я с вами.

Пранешачария был озадачен — он не мог избавиться от Путты никаким способом.

— Но мне неудобно, ты все время меняешь свои планы из-за меня,— слабо воспротивился он.

Путта стоял на своем.

— Что тут неудобного! У меня свои дела в Дурвасапуре есть. В Париджатапуре мой двоюродный брат живет. В Париджатапуре я с одним человеком познакомился, может, знаете — Наранаппа такой. Подружился с ним не хуже, чем вот с вами. Видите, хорошо, что вспомнил! Ну, Наранаппу каждый знает. Он же все имущество спустил из-за женщин. Прямо погибель для него женщины эти. Не может устоять, и все! Бывают такие люди. Но это все между нами, Ачария, ладно? Если вы с ним знакомы, вы ему лучше про Падмавати, как она вас приглашала, вы это ему ничего не рассказывайте. Дело вот какое — что мне от вас таиться, верно? Я когда с Наранаппой встретился, он прямо как пиявка прилип: познакомь его с Падмавати, и все! Я такими вещами не занимаюсь, я человек серьезный. Но сами понимаете, раз просит брахмин, что поделаешь? А Падмавати он не понравился, она мне потом сказала, что пьет он сильно. Больше его не приводи, сказала. Но это я все так, к слову. Вы уж никому не проговоритесь. А начал я совсем о другом. Я сам из деревни за Тиртхахалли, я уже говорил вам, нет? У Наранаппы там есть участок. Сейчас там ничего нет, никто за участком не присматривал, вот он и пришел в запустение. Уж и не знаю, когда Наранаппа в последний раз хоть что-то с этого участка получил. Раз мы с ним в хороших отношениях, он вряд ли мне откажет, верно? Я хочу ему предложить: пускай сдаст мне

участок, я на нем поработаю, все приведу в порядок, а Наранаппа с участка деньги начнет получать. Поэтому я предлагаю, Ачария, давайте с вами пойду. И вы не в одиночку ночью через лес пойдете, и я дело сделаю.

Сердце Пранешачарии громко стучало.

...Сказать, что Наранаппа умер? Сказать правду о моей раздвоенности?

Но как не хотелось бы поднять ураган в этой бесхитростной душе. А если он действительно пойдет в Дурвасапуру, тогда нельзя будет не сказать. К тому же Пранешачарии вдруг стало жалко расставаться с Путтой.

Как я предстану один перед брахминами? Сначала попробую открыться Путте, негаданному ближайшему другу на сегодня. Смогу я ему в глаза посмотреть или нет? Так, может, легче будет.

Небо совсем опустело, ни облачка не осталось в нем. От храма плыли звуки гонгов и молитвенных раковин... Пора.

— Тогда пошли,— обратился он к Путте.

В эту самую минуту рядом с ними загремела по дороге крытая фура.

— Эй! Эй! — завопил Путта, бросаясь наперерез.

Фура заскрипела и остановилась. Выглянул человек в золотом тюрбане, со знаком секты смарта на лбу.

— Чего надо?

— Не через Агумбе поедете? — спросил Путта.

— Х-ха,— качнулся тюрбан.

— Нас двоих не захватите? Нам в Дурвасапуру.

— Только одного могу подвезти.

— Садитесь вы, Ачария! — заспешил Путта.

— Нет, нет! Пешком пойдем, но вместе.

— Да что вы, в такую даль пешком пойдете! Садитесь, а я к вам завтра подойду.

Человек в тюрбане проявлял признаки нетерпения.

— Едете или нет? Одного беру. Почти до самой Дурвасапуры довезу. Побыстрей решайте!

Путта почти втолкнул Пранешачарию в фуру.

Пранешачарии осталось только подчиниться.

Фура двинулась.

— До завтра! — крикнул Путта.

— Хорошо,— ответил Пранешачария.

Четыре, пять часов в пути.

Что потом?

Небо густо осыпано звездами. Краешком чаши — луна. Ярко сияют Семь Мудрецов. Неожиданный взрыв барабанного боя. Мелькают факельные огни. Шумно дышат буйволы, поднимаясь на взгорок, тренькают бубенцы на их шеях.

Он проведет еще несколько часов в пути.

А что потом?

Пранешачария замер в напряженном ожидании.

От переводчика

В Индии сейчас много говорят о необходимости найти национальные современные прозаические формы, поскольку роман, повесть, новелла — жанры европейского происхождения — не могут полностью ни соответствовать критериям индийской эстетики, ни выразить самобытность индийского мышления.

Пожалуй, в «Самскаре» Ананта Мурти ближе других индийских прозаиков подошел к этой цели — в чем ему, безусловно, помогла и весьма специфическая тема.

И дело не только в использовании мифологических аллегорий и индусских религиозно-философских концепций — это опять же обусловлено выбором темы. Важнее другое: Ананта Мурти свободно вводит в современную психологическую прозу типично индийские повествовательные приемы, такие, например, как симметрия или парность персонажей. Скажем, Пранешачария и Наранаппа, персонифицирующие аске-

зу и эротику, которые вначале противостоят один другому, а затем соединяются через красавицу Чандри. Это один из классических повествовательных приемов Индии, равно как классичен и «уход в леса»: в поисках разрешения нравственного кризиса Пранешачария скитается по лесу, пока Путта не уводит его в лес человеческих взаимоотношений.

Но, конечно, не индийской повествовательной формой, а остротой темы и ее глубоким раскрытием объясняется громадный успех «Самскары» в Индии. Написанная в оригинале на языке каннада, повесть переведена на ряд индийских языков и на английский, по ней поставлен фильм, она вызывает яростные споры, вокруг нее ломаются критические копья.

Ясно, что Ананта Мурти разворошил осиное гнездо, выставив аграхару на всеобщее обозрение,— не зря же брахмины требовали запретить фильм и устраивали демонстрации перед кинотеатрами, где он шел.

В основу «Самскары» легло подлинное событие: во время чумной эпидемии брахмины не допустили неприкасаемых на прививочные пункты, а когда мор стал распространяться, во всеуслышание объявили, что чуму вызвали неприкасаемые, которые, в нарушение кастовых запретов, посмели переступить порог индусского храма. Вдобавок девушка из неприкасаемых осквернила собой брахмина, став его возлюбленной.

Повесть начинается со смерти отступника Наранаппы и с необходимости совершить по нему похоронный обряд — самскару. Свирепая свара вокруг этого события выявляет степень духовного совершенства брахминов — их самскару. Отсюда же начинается очищение — самскара — Пранешачарии от книжной умозрительной святости, от чувства собственного избранничества и его подготовка — опять же самскара — к личному поиску истины.

Ананта Мурти не случайно избрал столь необычный эпиграф для своей повести, не случайно ему понадобилось так подробно истолковать множественный смысл слова «самскара». Показывая, чем оборачиваются философские концепции индуизма в житейской практике, ведя индийского читателя через зачумленную аграхару, Ананта Мурти подводит его тоже к самскаре, к очищению от автоматической обрядовости во имя подлинного стремления к душевной чистоте.

Если же взять проблему шире, то можно сказать, что речь в повести идет о переходе от традиционного, от общинного сознания к сознанию индивидуальному, к личностному подходу к жизни, то есть о проблеме, с невероятной остротой стоящей перед Индией наших дней.

Пранешачария — типичный человек «между», между смрадной аграхарой, создававшей превосходный фон для его высокомерной святости, и беспощадностью ярмарки жизни, где он — никто. Это человек между тысячелетней ортодоксией, которой он живет, и пугающей многоликостью неизведанной им жизни.

С типом человека «между» наш читатель уже достаточно хорошо познакомился по многим произведениям современных писателей Азии и Африки, вновь и вновь возвращающихся к отображению его трагической раздвоенности.

Несколько более остро поставлена проблема в «Самскаре» — волей автора ее герой предстает перед нами как само воплощение традиции, к тому же традиции индусской, обладающей единственной в своем роде устойчивостью и жизнеспособностью. Все, что происходит в аграхаре, касается самой основы индусского бытия, структуры индусского общества — кастовой системы.

Чтобы приблизиться к пониманию того, что такое кастовый индус, нужно все время помнить, что стать индусом нельзя — можно только родиться. А уж брахмином...

В «Вишну-пуране» сказано: «Лишь прожив многие тысячи жизней и накопив в себе добродетелей без числа, немногие люди могут родиться брахминами в Индии».

К этим людям относится и автор «Самскары», брахмин Ананта Мурти, родившийся в 1932 году в той самой деревне Мелиге дистрикта Шивамога, которую он описал в своей повести. Сюда же относятся и брахмины из повести, буквально существующие накопленными добродетелями.

Родившийся в Индии попадает в мир, отличный от нашего.

Время в Индии бесконечно движется по кругу и замыкает в себя мир, в котором нет смерти: есть только вечное перевоплощение духа, принимающего различные материальные обличья. Три состояния духа, три гуны, находятся в непрестанном динамическом взаимодействии, три гуны трех разных цветов: выше всех белоснежная саттва-гуна, состояние всепонимания и чистоты, затем идет синяя раджас — гуна, действия и, наконец, темно-серая тамас — состояние непросветленности, душевной вялости, инертности. Проходя нескончаемой чередой материальных воплощений, дух, душа совершенствует себя в добродетели, исполняется чистоты, поднимается по ступеням бытия, отклоняясь от стези добродетели, душа утрачивает просветленность и принуждена снова начать восхождение к высшей цели — прекращению своего существования в материальном мире. Движение души вверх или вниз направляется кармой — законом непреложного воздаяния за добро или за зло; душа несет свою карму, улучшая или оскверняя ее, через бесконечность рождений и смертей. Карма исключает самую идею несправедливости: добро непременно восторжествует, зло обязательно будет покарано — в одной из жизней, а в какой именно, не имеет значения.

Так, поднимаясь жизнь за жизнью по ступенькам бытия — от неживой природы к живой, от животного к человеку, от низшей касты к высшей, душа постепенно

наполняется светлой саттва-гуной, а исполнившись ее, перестает кружиться в колесе кармы и соединяется с Мировой душой.

Достичь освобождения, вырваться из круга времени можно разными путями. В идеале человеку должно пройти через четыре жизненные фазы: до двадцати лет он обучается жизни, до сорока он хозяин дома и глава семьи, до шестидесяти он осмысливает сделанное, а после шестидесяти он отказывается от мирских благ и живет отшельником, совершенствуя свою душу. Возможны и другие пути: можно и совсем молодым удалиться от дел мира и уйти в отшельники — важно только, чтобы потребность в этом была подлинной. Не имеет значения, каким путем движется человек к освобождению, путем ли аскезы или мистической эротики, ибо оба способа в равной мере пригодны для экстатического познания противоположностей в их внутреннем единстве и слиянности.

Нужно только следовать собственной карме и помнить, что все беды человека — справедливая кара за проступки, совершенные им в каком-то из прошлых воплощений, а также приобретать заслуги для воплощений будущих. Поэтому и брахмин и неприкасаемый с одинаковым рвением блюдут кастовую чистоту — брахмин боится осквернить таким трудом нажитые добродетели, а неприкасаемый боится потерять надежду подняться на более высокую ступень кастовой иерархии в следующей жизни. Легче всего осквернить пищей, если она приготовлена человеком низшей касты, ибо так можно напитаться нечистой гуной тамас, которой тем больше в человеке, чем ниже его каста. По этой же причине недопустимо физическое соприкосновение с низкокастовым. Это не грех — понятия греха для индуса не существует, ибо все неправедные поступки человек совершает из-за авидьи, незнания, а знал бы он, к чему они приведут, конечно не совершал бы. Но знать этого человеку не дано, и так легко ошибиться, что лучше всего ему неукоснительно следовать установлениям и обрядам, которые регулируют жизнь индуса и его взаимоотношения с обществом до мельчайших подробностей.

Общество всеобщего неравноправия, каким издавна была Индия, едва ли в состоянии сломать эту непротиворечивую — если принять систему индусского отсчета — организацию жизни и мышления, ее можно только изжить с помощью глубоких социальных и экономических перемен.

Ганди называл кастовую систему «позорным пятном индуизма» и говорил: «Я скорее предпочел бы, чтобы исчез индуизм, чем осталась жить неприкасаемость».

Неру писал, что кастовая система превратилась в тюрьму для человеческого разума, и продолжал: «В конечном счете стабильность индийского общества была куплена ценой его будущего прогресса».

26 января 1950 года была принята конституция независимой Индии, не просто провозгласившая равенство всех граждан страны, но и объявившая неприкасаемость вне закона.

Дискриминация неприкасаемых рассматривается как уголовное преступление.

Законы 1955 года, 1976 года направлены на защиту прав хариджанов — так называются неприкасаемые теперь — и на улучшение их положения, государство тратит огромные средства на всякого рода программы социальной и экономической помощи хариджанам.

Но как известно, сила порока измеряется строгостью мер, против него направленных. Водонепроницаемые переборки между семью сотнями каст сопротивляются волнам перемен, бьющим в них.

На этом фоне появление такой книги, как «Самскара», должно было стать и стало явлением не столько литературного, сколько общественно-политического плана.

Если бы писатель «призывал милость» к неприкасаемым, то «Самскара» встала бы в один ряд со множеством произведений современной индийской литературы, где неприкасаемые — жертвы, требующие сострадания и поддержки. Но Ананта Мурти зло и с отличным знанием предмета высмеял неприкосновенных «дважды рожденных», представив брахминов жертвами покорности авторитетам прошлого.

Более того, Ананта Мурти сумел провести линию раздела между религиозной догматичностью и величием философской мысли древней Индии — основой богатейшего культурного наследия этой страны.

Центральная тема индийской литературы сегодня — самскара, очищение великой традиции для ее вхождения в современность.

■

Из французской поэзии

С французского

«На весу застыло мгновение...»

Откуда такое внимание к реалиям сельского пейзажа и городской улицы у поэтов, чьи стихи печатаются ниже? Откуда такое желание остановить мгновение, неторопливо «рассмотреть его», постичь сокровенный смысл? Будь то древние камни храмов или неоновая реклама кино, рельсы у дачной платформы или оголенные тополя, свет зажженной вечером лампы или росчерк птичьего крыла в небе... Желание это рождено, собственно, даром поэтического восприятия мира: глаз поэта видит то, мимо чего скользит равнодушно взор непоэта. Конечно, и поэты видят по-разному: деталь у Маяковского иная, чем у Есенина, конкретность Роберта Фроста другой природы, нежели Поля Элюара, Рене Шара.

Линии движения современной французской поэзии были намечены в предыдущих публикациях журнала «Иностранная литература» (см., например, публикацию «Из французской поэзии 70-х годов» и статью «Пространство слова. Новые имена во французской поэзии», «ИЛ», 1979, № 8) и в антологии «Новые голоса», выпущенной издательством «Прогресс» в 1981 году. Поэты, с которыми журнал знакомит читателя сегодня—Ив Бруссар, Бернар Дельвай, Матье Бенезе,— обращены к тихим, неспешным часам наших дней, когда мы в одиночестве, вокруг тишина, и мир словно приближает к нам свои сокровища: золотистые прожилки кленового листа, прозрачное кружево утреннего тумана, силуэт матери, склонившейся над больным сыном... Приближает, чтобы мы по-настоящему взвесили ценность того, чего обычно не замечаем. Приближает, чтобы мы хоть ненадолго — пока «на весу застыло мгновение» — задумались о связи времен, «кровью людской надежно скрепленных», о целительности взаимопонимания и душевного тепла, чтоб не хватала стужа за «голые расцепленные руки», о мужестве, которое свойственно человеку: «Даже если все погибает, человек остается и с ним остается надежда...». Мужестве, которое согреет и в «утро унынья и мрака», помогая не падать духом, даже когда само «солнце покинуло нас солнце нас обмануло».

Ив Бруссар и Бернар Дельвай (первый живет в Марселе, второй в Париже) — ровесники и коллеги, пришедшие в литературу в 50-е годы: оба не только пишут стихи, но и печатают, пропагандируют стихи своих современников. Бруссар возглавляет журнал «Сюд» [1], Бернар Дельвай — редакцию поэзии в издательстве «Сегерс-Лаффон» [2]. Оба — и как читатели и как издатели — интересуются советской поэзией: вышел специальный номер журнала «Сюд», включивший стихи поэтов советских республик; издательство «Сегерс-Лаффон» предполагает издать антологию новой советской поэзии.

Матье Бенезе — это представитель уже следующего поэтического поколения, чья творческая молодость совпала с полосой самых отчаянных формальных экспериментов конца 60-х годов. Но в последнее время он все ощутимее стремится прорваться к реальности, к живому восприятию жизни, фиксируя — как в этом предлагаемом читателю фрагменте — многочисленные нити, соединяющие человека с миром: воспоминание о детстве, о перенесенной ребенком болезни становится своеобразным печально-торжественным гимном благодарности тем, кто вопреки отчаянию и усталости упорствует в своем желании любить и помогать.

Наперекор холоду отчуждения и культу насилия — в поэзии Бруссара, Дельвая, Бенезе поднимается стихия тепла, побуждающая вглядываться в простые приметы бытия внимательно и доверчиво, с верой в торжество жизни на земле.

Не исключено, что такое изменение «температуры» поэтического слова соотносится с общей эволюцией поэтического языка во Франции от 60-х годов к 80-м. Известный поэт и критик Ален Боске в статье «Семестр французской поэзии», опубликованной в новом журнале «Поэзия-84», определил эту эволюцию так: «К 80-м годам исчезли некоторые дурные привычки нашей поэзии. Затормозилось тяготение к лабораторным

[1] Об этом журнале см. «На земле Марселя». «ИЛ», 1981, № 2.
[2] Беседу с Бернаром Дельваем в редакции см. «ИЛ», 1984, № 2.

опытам, которые оборачивались подменой естественной поэзии сухой теорией. Умудренные лингвисты не почитаются более как единственные метры, и поэтическое слово реже подвергается вивисекции, которую раньше оправдывали тем, что время эмоций прошло. Кажется, закрываются скобки эксперимента ради эксперимента, основанного на гипертрофированном наукообразии. Поэты выходят на вольный воздух, чтобы заново, не стыдясь, пережить радость общности людей, радость постижения тайн».

Легко узнаваемые приметы «общности людей» читатель найдет в стихах, которые мы предлагаем вниманию читателей.

Т. Б.

ИВ БРУССАР

Архея

(Начало начал)

■

Раньше времени
наступила зима

В дымках над деревней
отголосок
блеклых запахов
отлетающей осени

Тихий колокольный звон
вдали
возвещает: близится час
окончательного преображения

■

В надвигающихся сумерках
безжизненна пустынна тропинка
ведущая к логову богов

где хлопает
дверь
под ветром

© Yves Broussard, 1979.

■

Большой ребенок
цепляйся
за косую стрелу
что взлетая ввысь

озаряет мгновение

■

За изгородью
увенчанной полетом дроздов
несколько отставших овец
бездумных и беспечных

Их присутствие здесь
говорит о вечном
о постоянном

■

За старым деревянным мостом
склон холма
пылает первозданной красотой
Прислушайся
наступает
ночь

■

Незаметно
точится струя родника

Как будто
на весу
застыло мгновение

■

Лесная лужайка
проплетенная узором из люцерны
вздрагивает
под огромной тенью ночного хищника
простершейся
до самой границы ночи

■

Сумасшедший
сбежал по склону
зажав в кулаке
птицу
подраненную уборочной машиной

Ушла невредимой
от белых зимних утренников
и вот
искалечена
при ярком августовском сиянии

Пернатый мученик
птица-спаситель —
невинная душа
что несет тебя на ладони
отныне будет видеть мир
твоими глазами

■

Оголенные истерзанные
итальянские тополя
клонятся
под натиском ветра

скрипя роняя с треском
обломанные ветки
завтрашние вязанки хвороста

под истошную брань
злорадного ворона

бессильные даже
отбросить тень
против закатного солнца

■

Великолепный снегопад
над Буа-Везен

Стужа хватает за голые
расцепленные руки

Призрачная гора
нависает бодрствуя
над полустертым миром

■

Снег не может удержаться
на плече старухи
припозднившейся
спешащей
невесть куда
к кому

■

Брошенная в огонь
величественно
сгорает страница
среди зимы

Пришла пора
приближения
старости

■

Между ископаемым и живой землей
все
еще может
случиться

Перевод Э. АНАНИАШВИЛИ

■ ■ ■

Как много толпящихся слов
желающих все рассказать
и может быть даже помочь

Но дни горьковаты как пепел
и жестки как камень шершавый

И словно забытые сны
проносятся мимо картины
когда-то увиденных стран
обломки потерянной дружбы
обломки непрочной любви

и даже победы в боях
за счастье грядущих времен
проносятся мимо

А осенью небо
становится серым тяжелым
и сердце трепещет иначе
и слушает звуки земли

И дождь открывает вдали
лишь мелкие части пейзажа
и дробно стучит у виска
усталое сердце

И редкие птицы летят
как буквы из школьной тетради
Но жесткое терпкое солнце
еще золотит горизонт

■ ■ ■

Когда осень уже позади
утомленные облака
плавно стелются низко
над самой землей
как бы слушая нежным
внимательным ухом
дыхание гор и долин

Дожди прошумели
и скоро снега упадут
и думаешь что же осталось
от буйного пира природы

Неясная музыка песня
обрывки вчерашних мелодий

А поступь природы всевластна
всевластна и неизбежна
и рушатся листья с дерев обнаженных

но даже если все погибает —
человек остается
и с ним остается
надежда.

■ ■ ■

Земля без единой бороздки весенней
Лишь ястреб погнавшийся за перепелкой
сверкнул опереньем
нарушил твой сон
И солнечный полдень как ястреб вцепился
в твой розовый склон

■ ■ ■

Ветер склоняет к земле
чертополох одинокий
в пыльной бесплодной глуши
Где-то трепещет родник
в окружении нежных цветов

А здесь только камень да пыль
Зябко дрожит на ветру
чертополох одинокий

И все-таки как он красив
дикий отверженный куст
Неизмеримо прекрасна
эта бесплодная глушь

Перевод А. ЖИГУЛИНА

БЕРНАР ДЕЛЬВАЙ

Утро

Утро серое бледное утро в дожде
Утро в цвет рельсов у дачных платформ в час когда
снова плетет свою ткань паутина
Утро промозглое в улицах дух баклажанов и мирабели
Утро с запахом кофе и черного табака над гаванью
мглистой
Утро когда вздымается призрачный дым из труб крематория
белый дым
Утро тех кто проглочен теченьем речным
Утро внезапных ударов и ран
Утро в голубизне
Утро икон и прохладных кропильниц
Утро когда сквозь ненастье в школу идут продрогшие
дети

© Editions Seghers, 1982.

Утро пекарей в пасти печей утро котов
Утро лавандовых ванн и жестяных водостоков
Утро когда кучера моют кареты короля красных роз
а над морем дождит
Утро как набеленные щеки паяца
Утро тропических мотыльков и умирающих мандолин
Утро мороси сажи и унынья и мрака
мыльной воды и беды
Утро в снегу когда платформы перронов белы
Утро когда сон глубок
Утро свернувшееся в клубок
Утро
За утром

■ ■ ■

Неон подобный луже крови
уродует ночную мглу
где запоздалые прохожие смеются
под гаснущим зеленоватым светом
осенних фонарей
Неон горящий Солнце
печали Это солнце
американских баров никчемной суеты
Неон бездомность неприкаянных мальчишек
которые в ночных запущенных садах
мечтают о далеких казино
о притонах цвета дыма и марихуаны
о руинах на морском прибрежье
о горящих городах где рев сирен
о полярных льдах глубокой ночью
где цветет бессонница лиловых лун
Неон бездушное кино — Удаче никогда
Неон игра теней — Не одолеть
Неон унылое волнение — Случайность

Ретайм

В песне тромбона черное солнце
В реве трубы стонет кровь городов
Зов саксофона память о мире
Танец барабана
жизнь

Нам слышится рокот вселенной
как стук
человечьего
сердца

Тебе вспоминаются долгие дни
как электрические фонари
зажженные
среди бела дня

Тромбон все глуше и глуше
Труба перебирает по зернышку вечер
Саксофон убаюкивает ветры
В ритме барабана
любовь

Уход солнца

В городе так одиноко
в городе пусто
без друга
Невыносимы улыбки улиц
не хочется жить
и дома нагоняют тоску
в час когда открывают окна
в день когда
солнце ушло в отпуск
и люди несут наказанье
когда солнце закончив работу ушло
не оставив адреса
безвозвратно
Солнце покинуло нас солнце нас обмануло

Ноктюрн

Тихо сияет луна
В кварталах таятся драмы

Старьевщик насвистывает старинную песенку о любви
под которую кружатся в танце
грязные лестницы вместе с ночью

Улетай моя бедная птица с болота

Здесь так тоскливы окна
пепел зим осыпает эти зимние лепестки
на твои неподвижные крылья
веет страхом от стен
преступленья заперты на замок
Бьет полночь

▪ ▪ ▪

Я хочу рассказать о дождливой весне в этот год
Как о счастье о днях когда светят улыбками лица
Я ищу понежнее слова пока ночь не придет
Не исчезнет пора когда верил я все повторится

То была ледяная весна не дождаться тепла
Насмерть вымерзли вишни продрогли ракиты и клены
Но любил я тебя и совсем мы не видели зла
В том что ходом обычным своим шли неспешно сезоны

Ты скажи мне ну разве весна не надежда для нас
Что цветы расцветут и плодами окажутся вскоре
И что рыжее лето мелькнет в глубине наших глаз
И что кожа твоя скоро станет соленой от моря

Расскажу о весне когда счастье казалось навек
Мне в мои тридцать пять и тебе на двенадцать моложе
Наша жизнь в этом мире случайна и времени бег
Дни мои безвозвратно уносит и молодость тоже

Одному первоцвету не сделать весну никогда
Плоть прекрасней чем ночь никогда не вернет нам былого
В беге времени тоже есть благо промчатся года
Даже цвет твоих глаз мне однажды не вспомнится снова

Перевод А. РЕВИЧА

МАТЬЕ БЕНЕЗЕ

Фрагмент

...Я родился в огромной комнате, и какая-то часть моего существа до сих пор там живет.
На губах моих вкус штукатурки.
Я внимательно слушаю, как у виска пульсирует темная жилка.
Это тянется долго.
Как сон. Мы не в силах понять, сколько сны наши длятся. На подушке моя голова налита непривычной мне тяжестью. Я могу говорить, лишь скользя по теченью воспоминаний.

Мать боится, что я умру. Она делает что-то с бельем, со стаканами и с водой возле самой моей кровати.
Ей страшно, на зов ее вскоре приходит отец; говорят они шепотом. Его голос, вдруг делаясь громче, дрожит. Его голос пугает меня какой-то чужой затрудненностью звуков.
Нет, я не с тобой говорю.

© Flammarion, 1979.

Я проваливаюсь в глубины дома: в какую-то яму, в подвал.
Я один. И не знаю, чьи руки купают меня после детской моей неприятности. Я больше не слушаю, как в коридоре по плитам, затихая, стучат каблуки моей матери: этот звук поселился во мне навсегда, он меня убаюкивает.

Я там оставался, пожалуй, до прошлого года, когда она вспомнила, как я тогда заболел,— это я ей напомнил (я знал про болезнь по рассказам). И сквозь все, что она говорила,— я пишу и не знаю, почудилось мне или нет,— я как будто услышал: «Я очень боялась тебя потерять».

Мне кажется, вскоре потом меня вырвало, да, меня, кажется, вырвало.
Для меня этот дом непомерно велик, но для старших он, видимо, мал: встречаясь, они задевают друг друга и расходятся в ссадинах. (До сих пор мои ноги хранят ощущенье прохлады: они помнят наш каменный пол.)

Мать молчит. Она меня долго поглаживает, расправляет измятые простыни.
Я прислушиваюсь к ее дыханью: оно то почти черное и густое, то текучее и прозрачное. Я пытаюсь представить себе ее жесты.

Воображаю ее: ее. Надо мною, склоненной к лицу моему, которого я не знаю. Я рисую себе ее облик, незнакомые контуры тела.

(Я не вижу. Еще.
Но...
Нет. Не она.)

Она задвигает шторы: я чувствую, как освещенье меняется, словно легкий листок бумаги лег на мои ресницы.
Я живу в страхе дня — и света.
Я слушаю скрип кровати, стоящей рядом с моей: она словно вдавливается в пол — спать ложатся отец и мать.
Их дыханье стихает.
Кто-то двигает что-то, роняя тяжелые звуки.
Я не знаю, что это — ночь. Где-то, в комнате, в голове, за глазными яблоками — глухие удары волны. Ночь полна разобщенных обрывков дыханья.

Моя голова безгласна, как камень.
Лоб и ноги в поту.

Я лежу к ним лицом и воображаю их мертвыми.
Да.
Нескончаемое начало — оно длится всего одну ночь. Я не в силах ни вырваться прочь, ни выговорить хоть слово.
Я говорю, приникая к покровам предметов, прямо в зыбкую мягкость веществ.
Не слова. Только слезы.
И печаль оттого, что я всеми покинут, какая-то сладостная.

Я не касаюсь руками ни жилки, ни сердца: я их не коснусь никогда. Но я трогаю нечто — неведомое непонятное,— это я в их дыханье и в их голосах, в голосах... О нить грусти и воспоминаний!

Я не знаю еще, что такое «Клермон-Ферран», где мне предстоит расти, что такое «курорт Ла-Бурбуль», куда еду я с мамой «на воды». Она вспоминает потом, как я плакал в гостиничном номере, если она уходила, и вмиг унимался, едва она вновь появлялась; как та, что сидела с ребенком — то есть со мной,— не могла успокоить мои рыданья; как она мягко журила меня за то, что я не умею дышать, не уткнувшись в ее колени.

Ты говоришь мне о ком-то, кого я не знаю, но, видимо, это был я. О ком-то, чья жизнь начиналась напротив огромной стены.
Стена называлась «завод». Мне хотелось проникнуть туда, чтоб увидеть, куда исчезают мужские спины.
Я людей полюбил со спины, не успев заглянуть в их лица...

Перевод И. КУЗНЕЦОВОЙ

■

КРИСТИНЕ НЁСТЛИНГЕР

Дуйбол-привет!

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого ПАВЛА ФРЕНКЕЛЯ

Как в Верхнем Дуйберге было прежде

Прежде в Верхнем Дуйберге, что на Большом Дуе (Малый Дуй протекает через Нижний Дуйберг), все было точно так же, как в любом другом месте.

Церковь стояла на Главной площади Верхнего Дуйберга (кроме Главной площади, никакой другой площади там не было). За церковью лежало кладбище, по левую руку от церкви была школа, по правую — ресторан «Харчмайер», а напротив церкви — магазин «Тюльмайер». Единственная его витрина ломилась от обилия суповых тарелок и коробок с печеньем, разложенных вперемешку с рулонами бумазеи и клеенками. Между магазинчиком «Тюльмайер» и рестораном «Харчмайер» приютилось еще одно невзрачное строеньице, первый этаж которого занимало отделение сберкассы (часы работы: по субботам с 9 до 11), а второй — ведомство бургомистра. Бургомистром был господин Харчмайер, владелец ресторана. Вот, собственно, и все дома на Главной площади. За ними, вторым рядом, шли дом пастора, гостиница «Лисмайер», домик сестер Зудмайер (он стоял впритык к ограде кладбища, сестер же звали Анна и Мария). Довершали второй ряд крестьянское подворье Рогмайеров, крестьянское подворье Волмайеров и крестьянское подворье Быкмайеров.

В центре Главной площади красовался фонтан. А что до реки, то Большой Дуй втекал в Верхний Дуйберг, петляя меж подворьями Волмайеров и Быкмайеров, огибал с тыла школу и кладбище и перед самым пасторским домом покидал пределы Верхнего Дуйберга.

Вокруг Верхнего Дуйберга теснились высокие горы. Туда не ходили ни поезда, ни автобусы. Туда можно было добраться только на машине. (И в Нижний Дуйберг, естественно, тоже.) У путевого указателя ДУЙСТЕР надо свернуть с автобана. За указателем Дуйбинген сворачиваешь с шоссе, а после указателя

ВЕРХНИЙ ДУЙБЕРГ 6 км
НИЖНИЙ ДУЙБЕРГ 8 км

с проселочной дороги съезжаешь на каменистую, расхлябанную, гололедистую, заснеженную, колдобистую лесную просеку — смотря по времени года (колдобистой она была всегда).

И ты в Верхнем Дуйберге. О Нижнем Дуйберге до поры до времени особо распространяться не будем, тем паче что состоит он всего из трех домов: подворье Свинмайера, подворье Козмайера да подворье Курицмайера.

© Jugend und Volk, Wien-München, 1975.

Если идти по дороге от Верхнего Дуйберга в сторону Нижнего Дуйберга, то минут через десять — пятнадцать, смотря в каком темпе шагать, можно добраться до двух старинных деревенских домов, крытых свежей рыжей соломой, с наново выбеленными стенами и свежевыкрашенными зелеными ставнями. Перед одним старинным деревенским домом частенько стоял «мерседес 300», а перед другим — «БМВ 3000». Обе эти очень старые деревенские постройки принадлежали двум фабрикантам: хозяину фабрики электротоваров Низбергеру и хозяину фабрики пластиковых изделий Верхенбергеру. Они там проводили каникулы и отпуска, а также наезжали по выходным. (Когда-то в незапамятные времена оба дома скопом прозывались «Средним Дуйбергом».) В доме господина Низбергера висели шторы в красно-белую клетку, а над входной дверью болтался массивный коровий колокольчик. В доме господина Верхенбергера висели шторы в бело-голубую клетку, а подле входа стояли видавшая виды скамеечка для дойки и допотопная маслобойка. Благодаря этому несложно было отличать один дом от другого, если машины перед ними отсутствовали.

Вот как оно было в Верхнем Дуйберге прежде. Точь-в-точь как и в других девяноста семи горных долинах окрест Верхнего и Нижнего Дуйбергов. И никому во всей Дуйбергской долине не могло тогда и в голову прийти, что там хоть что-нибудь может измениться.

Первая перемена в Верхнем Дуйберге

Но потом выпал год, когда Титус Низбергер, сын производителя электротоваров, во время зимних каникул написал своей тете Мелании такое письмо:

«Дорогая тетя Мелания,
у нас тут нынче скука смертная, потому что еще ни одной снежинки не упало. Из-за этого отдыхающие собрали пожитки и съехали из гостиницы «Лисмайер», а те, кто должен был заехать в субботу, от брони отказались, узнав, что у нас снега вообще нет.

Тита и я умоляли папу свозить нас в Пастухау или в Кнутберг, там снег уже выпал. Я сам читал сводки погоды. Но папа говорит, надо набраться терпения, здесь, мол, тоже снег будет. Вот мы сидим и ждем, и скукотища такая — передать не могу.

Обнимаю и целую тебя.

Твой племянник Титус.

Племянница твоя Тита шлет приветы, а сама написать ленится, несмотря на скуку».

Низбергеровские дети ждали снега все зимние каникулы. Часами простаивали они за красно-белыми шторами, высматривая снежные хлопья. Верхенбергеровские дети проторчали все каникулы за бело-синими шторами, высматривая, не пойдет ли снег. Верхенбергеровские и низбергеровские дети прождали напрасно. И злились ужас как.

Но куда сильнее негодовал господин Лисмайер, хозяин гостиницы: все номера пустовали. Тем более, что в сентябре он пристроил еще семь комнат! И ухлопал кучу денег. Большую часть ссуды он все еще не вернул сберкассе.

Господин Лисмайер сказал своей жене:

— Ну, если клиент не пойдет, я с долгами не разделаюсь!

Господин Харчмайер, бургомистр и трактирщик, также исходил злостью. Когда был снег, гостиничные постояльцы заглядывали по вечерам к нему — брали пиво и жаркое из свинины. Иные не прочь были выпить по стопочке либо чаю с ромом. Господин Харчмайер закупил для зимних гостей новые столы и новые кресла, а госпожа Харч-

майер приобрела новые скатерти, льняные, потому что один из посетителей выразил недовольство синтетическими клеенками. И что же в итоге? Ни одного-единственного клиента!

Вечерами Харчмайер сиживал с господином пастором и господином учителем в удобных креслах, за белоснежными новехонькими скатертями и, стуча кулаком по столу, клял все на свете: «Если вот-вот не заснежит, я прогорю!» (Господин пастор и господин учитель неизменно пропускали по маленькой кружке пива; на такие «доходы» ни один трактирщик не протянет — разве что ноги.)

Даже господин пастор бранился. Он заказал для церкви дополнительный ряд скамеек, ибо думал: а вдруг да заглянет на воскресное богослужение один-другой горнолыжник, прослышав, что в церкви установлен целый ряд новых красивых скамеек.

Магазин «Тюльмайер» не продал в этом году ни одной лыжной палки, ни одной пары солнцезащитных очков, ни единого тюбика лыжной мази. И всего одну видовую открытку. (Ее послала своей подруге Тита Низбергер с такой припиской: «Представь все эти красоты без снега и тогда поймешь, какая тут скучища!!!»)

Ругались даже сестры Зудмайер. В былые годы они всегда сбывали зимним туристам знаменитые местные шапочки из чистой шерсти. Летом и осенью они вязали дни напролет. И теперь в большой коробке покоилось тридцать семь красных шапочек с белыми звездами и зелеными оленями, а никто не приходил и шапочек не покупал.

И дети — господина учителя, владельцев ресторана, гостиницы, магазина, а также из крестьянских подворий Рогмайера, Быкмайера и Волмайера — тоже ругались, ведь они с таким нетерпением ждали, когда на отдых приедут со своими родителями ребята и когда можно будет вместе носиться на лыжах.

Никогда еще жители Верхнего Дуйберга так часто и подолгу не всматривались в небо, как в эту зиму. Каждый день они восклицали: «Сейчас повалит!». Так оно и казалось. Свинцовое небо зависало прямо над головой. Ноздри щекотал знакомый снежный дух. Однако всякий раз откуда ни возьмись набегала жирная туча; она стремительно проносилась по небу, и после нее снежный дух улетучивался.

— От этого свихнуться можно! — убивался господин Лисмайер.

Весь ужас усугублялся тем, что повсюду, во всех девяноста семи горных долинах, слева и справа от Верхнедуйбержской долины, лежал глубокий, рыхлый, свежий снег. Во всех девяноста семи долинах снега было завались.

— Мы — чудо природы! — приговаривал господин учитель. Но хозяева ресторана, гостиницы и магазина, а также сестры Зудмайер заявили, что такое чудо природы им даром не нужно.

Время от времени оказавшийся не у дел господин Лисмайер ездил то в одну, то в другую из девяноста семи долин, усаживался за стол в местном кабачке и с грустной завистью глядел в окно. Лыжники и саночники валом валили по улицам, снегу намело до подбородка, и, как он слышал, снять где-нибудь комнату было невозможно.

Когда господин Лисмайер возвращался и рассказывал о других долинах, среди жителей Верхнего Дуйберга воцарялось беспросветное уныние. У госпожи Харчмайер даже катились слезы из глаз, и она утирала их белоснежной скатертью. Господин пастор неизменно утешал ее. Он говорил:

— Такой уж нынче скверный год выдался! Бывают годы хорошие, а бывают никудышные! Следующий как пить дать будет хорошим! Да, в следующем году снег у нас, глядишь, метра в два ляжет, а в других девяноста семи долинах ни одной снежинки не выпадет!

— Это вы серьезно, господин пастор? — всхлипывала Харчмайерша.

— Ну еще бы, еще бы! — неизменно отвечал на это господин пастор, и слезы у госпожи Харчмайер высыхали.

Только у Ханси, сына господина Харчмайера, глаза вечно оставались на мокром месте. Он слыл лучшим горнолыжником в местечке. Каждую зиму все ребята смотрели на него с восхищением. Скоростной спуск — единственное, что заставляло смотреть на него с восхищением. Харчмайеров Ханси часто сидел в подвале, среди винных бочек, ящиков с луком и картофелем, лотков с деревенским хреном, и поглаживал свои лыжи.

Когда же господин учитель задал в школе сочинение на тему «Мое самое большое желание», ребята Верхнего Дуйберга, не сговариваясь, написали о снеге.

Господин пастор наобещал слишком много

Делать нечего — стали обитатели Верхнего Дуйберга ждать следующей зимы. А поскольку летом жарило и почти не дождило, в них снова зародилась огромная надежда на обильную снегом зиму, так как в сохранившемся с начала века численнике имелось на этот случай изречение:

Ежели летом
Сушь да жарища,
То к рождеству
Жди лыжников тыщи!

Все лето господин Низбергер с женой и детьми — Титусом и Титой провели в своем старинном деревенском доме. В иные времена они оседали там не более чем на месяц. Потом же отправлялись в Мексику, или в Японию, или в Африку. Но в этом году господину Низбергеру пришлось экономить.

«Мы не можем себе позволить поездку в Америку»,— сказал он детям. Титус и Тита взвыли: «Получается, у нас зимних каникул вовсе не было — из-за снега»,— канючила Тита. «А теперь еще торчи все лето в этой жалкой дыре!» — канючил Титус.

Летом в Верхнем Дуйберге и впрямь ничего особенного не происходило. Тут не было ни бассейна, ни теннисных кортов, ни кафе-мороженого, да ничего тут ровным счетом не было! Господин Низбергер ужасно переживал из-за своих детей, но его дела и впрямь оставляли желать много лучшего. Ведь он был всего-навсего мелкий фабрикант. А фабрика господина Низбергера попала в гнуснейший переплет.

Явился к нему какой-то господин, назвавшийся представителем одной отдаленной и пока еще неразвитой страны, и сказал, что ему поручено сделать электрофирме неслыханный заказ. Он заказал большие фены. Выглядеть они должны были как самые обычные электросушилки для волос, только намного крупнее и мощнее. Господин из далекой и пока еще неразвитой страны объяснил, что все люди там выше двух метров и волосы у них исключительно густые и исключительно длинные. Вот, дескать, почему им понадобились такие фены. Кроме того, они там дважды на дню купаются, отчего волосы делаются мокрыми, и их надо срочно высушивать, так как в той далекой стране непрерывно дует холодный ветер. Сей господин, будучи чуть ли не двухметрового роста, заметил, что он там один из самых маленьких. Можно сказать, лилипут. И этот двухметровый лилипут казался таким достойным, порядочным и надежным, что господин Низбергер все принял на веру.

Господин Низбергер велел сконструировать укрупненные фены, переналадил станки на выпуск таких суперфенов, нанял два десятка новых рабочих и изготовил огромное количество огромных фенов. Суперфены вышли что надо. Они жужжали как матерые шмели, они выдували и холодный воздух, и теплый, и горячий. Причем с бешеным напором.

Господин Низбергер вместе со своим юристом и рабочими склада неделю за неделей поджидали, когда же явится тот господин и заберет свои фены. Но господин не явился. На запрос по адресу, который тот господин оставил на фабрике, Низбергеру ответили: «Господин уже давно отбыл в неизвестном направлении, и решительно неизвестно, вернется он или нет!».

Господин Низбергер попытался сплавить суперфены, но их никто не хотел брать. Они лежали, что называется, мертвым грузом! Упакованные в деревянные ящики, покоились они на фабричном складе, и каждый раз, проходя мимо этих ящиков, господин Низбергер и все складские работники тяжко вздыхали. Господин Низбергер вздыхал меньше. Он реже проходил мимо ящиков. Но как бы там ни было, на эти штуки он ухлопал прорву деньжищ, так что приходилось экономить и лишать себя и всю семью поездки за океан.

Господин Верхенбергер со своей семьей также все лето просидел в Верхнем Дуйберге. Но они там и так каждое лето просиживали. Верхенбергеры не переносили в дальних странах жару, а в тех далеких странах, где жары не было, они не переносили пищу, или ветер, или что-нибудь еще. Переносили они исключительно Верхний Дуйберг. Взрослая часть Верхенбергеров! Дети-то с превеликой бы радостью куда-нибудь съездили, только родителей это нимало не заботило.

Все лето низбергеровские и верхенбергеровские дети играли — либо между старинными деревенскими домами, либо в лесу, а то и внизу, в деревне. Охотнее всего они бы играли вместе с ребятами из подворий Рогмайера, Волмайера и Быкмайера, но это получалось редко, потому что их деревенским сверстникам приходилось то в поле вместе со старшими выходить, то дома по хозяйству помогать.

— Летом,— говорили деревенские дети,— свободного времени у нас в обрез. Зимой его намного больше!

Всего деревенских ребят было четырнадцать.

У Харчмайера — Ханси и Марианна.

У Лисмайера — Польди и Губерт.

У Тюльмайера — Фрида и Фанни.

У Рогмайера — Антон, Бертль и Кристль.

У Быкмайера — Франци и Эви.

У Волмайера — Труда.

У господина учителя — Михаэль и Мартин.

(У господина пастора и сестер Зудмайер детей вообще не было.)

Лето миновало. Настала осень, и затянули обложные дожди. Все жители Верхнего Дуйберга ходили радостные, ибо, как сказано в ветхозаветном численнике:

Ежели осенью лупят дожди,
Стало быть, вскорости лыжников жди!

Лисмайер отмыл до блеска окна в номерах, Харчмайер прикупил новых стопок под водку, сестры Зудмайер в дополнение к тридцати семи уже готовым верхнедуйбержским лыжным шапочкам связали еще двадцать три, магазин «Тюльмайер» заказал три пачки видовых открыток, ящик лыжной мази и партию горнолыжных очков в семи самых модных вариантах. Господин пастор тщательно вытер пыль с молельных скамеек, отведенных для зимних туристов, а господин учитель, хоть и не делал ничего, зато радовался не меньше остальных.

В начале декабря ведущий телепрограммы новостей сказал, что по сводкам метеорологов в ближайшие дни «ожидаются снегопады».

В Верхнем Дуйберге дружно перекрестились и стали ждать. Прождали они целую неделю и ничем другим не занимались — знай только крестились. Но снегом и не пахло.

— Перед рождеством часто снега не бывает,— сказал господин пастор.

— Перед рождеством снег так и так быстро сходит,— сказал господин учитель. После чего креститься в Верхнем Дуйберге перестали и вернулись к обычным занятиям. Не теряя, конечно, надежды.

На выходные прикатили Верхенбергеры и Низбергеры. Титус и Тита вместе с Карин и Кари — это дети Верхенбергера — крутили во все стороны головами и с печальными минами на лицах вопрошали:

— Ну где же снег?

— Нынче беспременно заметет! — сказал господин Харчмайер. Громко сказал — чтоб самому в это поверить.

Господин Низбергер въехал в Дуйбергскую долину с восточной стороны, а господин Верхенбергер — с западной. Оба снег видели, во всех долинах — справа и слева от Дуйбергской.

— Таких сугробов намело! — рассказывали они.— Всем, кто в другие долины подался, пришлось на колеса цепи намотать!

И они утешали себя тем, что устанавливать цепи на колеса — страшная тягомотина. Затем они направились к Харчмайеру и заказали по большой кружке пива и двойному шнапсу.

На следующий день господин Лисмайер созвонился с хозяином гостиницы в одной из девяноста семи долин, и этот хозяин под конец разговора сказал:

— Слушай, Лисмайер, мне пора закругляться: надо у входа лопатой пошуровать, а то мои гости из дома выйти не смогут!

— А что у тебя там такое у входа? — тупо спросил господин Лисмайер.

— Как что — снег! — проорал на другом конце провода хозяин гостиницы. И тут господин Лисмайер первый раз в жизни упал в обморок.

Господин Харчмайер вдвойне страдал от отсутствия снега. Во-первых, он лишался клиентов, а во-вторых, как бургомистр, нес всю полноту ответственности за свою территорию.

— Я должен что-то сделать, я обязан что-то придумать! — говорил господин Харчмайер десять раз на дню самому себе, пять раз — своей жене и по разу Ханси и Марианне.

— Ну так сделай же что-нибудь, наконец! — в сердцах воскликнули Ханси и Марианна (вне себя от злости). Они были еще в том возрасте, когда верится, что отцы могут просто-таки все на свете.

Господин Харчмайер действительно кое-что сделал. Первым делом он написал письмо метеорологам. Такого содержания:

«Уважаемые господа из службы погоды!

С погодой у нас что-то стряслось. Она к нам несправедлива — нет снега, и точка.

Как бургомистр, мириться с ущемленностью моих сограждан я не могу, ведь все мы из-за этого лишаемся каких бы то ни было доходов.

Настоятельно прошу Вас изучить данный феномен несправедливости и подумать о возможностях его устранения.

С совершенным почтением

Ганс Харчмайер,
бургомистр и трактирщик в Верхнем Дуйберге».

Метеорологи действительно приехали. Они нюхали воздух, они брали пробы грунта, они взбирались на местные возвышенности. Все-то они выведывали, и мерили, и считали, и записывали в свой

гроссбух. Спустя неделю господин Харчмайер получил от них письмо.

В письме сообщалось, что метеорологи тщательно исследовали погодные условия в Верхнем Дуйберге и пришли к заключению: в настоящий момент устранить эту атмосферную несправедливость никакой возможности нет. Далее пространно говорилось о циклонах и антициклонах, о восходящих потоках испарений и нисходящих массах холодного воздуха.

Но господина Харчмайера это уже абсолютно не интересовало. Он положил письмо в ящик своего бургомистерского стола, а на стол положил голову и заплакал.

— Бедные дети! — всхлипывал он, имея в виду вовсе не настоящих детей, а взрослых. Он говорил «дети», потому что сам себе в роли бургомистра казался их отцом.

Господин Харчмайер был, однако, человек упрямый. Так быстро он не сдавался. И вот когда он уныло созерцал две розы в маленькой вазе на своем письменном столе, в голове у него родилась идея.

Идея

Одна роза в вазе была красная, другая — желтая. Обе — искусственные. Господину Харчмайеру розы из синтетики очень нравились. Славно, что такое существует. Розы — зимой, искусственные розы! — вертелось у него в голове. И как только в голове завертелись «искусственные розы», тут же завертелся и «искусственный снег». Однажды по телевизору он видел машину, которая вырабатывала искусственный снег. Этакая махина, фыркающая и пыхтящая, которая сзади заправлялась водой, а спереди выплевывала первоклассный снег. Господин Харчмайер поискал сначала в телефонном справочнике, но там установки для искусственного снега указаны не были. Тогда он позвонил в «Гильдию изготовителей необычных машин и агрегатов». Там ему дали адрес фабрики, которая выпускала снежные пушки, нужные господину Харчмайеру. Тогда он написал второе свое письмо и попросил ответить как можно скорее. Ответ в самом деле пришел очень скоро, от крайнего волнения господин Харчмайер не мог прочесть ни строчки: буквы плясали перед глазами.

— Ханси! — крикнул он, и возник Ханси.

— Прочти-ка мне письмо,— сказал он сыну.

В чтении Ханси был не особенно силен. Целая (без двух десятых) вечность прошла, пока он с грехом пополам слепил в одну фразу:

— «Глуп-глуб-око ува-жа-а-ае-мый госпо-ди-н бур-гом-мист-тер».

Господин Харчмайер кликнул Марианну. Она читала, как зверь:

— «Глубокоуважаемый господин бургомистр!»

— Это уже было! — встрял Ханси.

Марианна невозмутимо читала дальше:

— «Мы охотно возьмемся выполнить ваш столь почетный для нас заказ — покрыть искусственным снегом всю Дуйбергскую долину».

У господина Харчмайера вырвался вздох облегчения, затем он рявкнул громовое «ура» и запрыгал по комнате на одной ноге.

Марианна невозмутимо читала дальше:

— «Мы в состоянии обеспечить толщину снежного покрова до одного метра!»

Теперь и Ханси с криком «ура» запрыгал на одной ноге.

— «Стоимость снежного покрытия не поддается точному подсчету. Однако для ориентации мы бы хотели указать примерную сумму (в шиллингах)».— Марианна остановилась. Господин Харчмайер и Ханси тоже остановились.

— Какую?— завопили они.— Ну, говори же, какую?!

— Впереди единица,— сказала Марианна,— а дальше идут сплошные нули. Столько нулей мы еще не проходили!

— Сосчитай нули! — тихо произнес господин Харчмайер.

Марианна сосчитала. Потом так же тихо сказала: «Тринадцать».

Тут господин Харчмайер вырвал из рук Марианны письмо, разодрал его на клочки и швырнул их в корзину для бумаг.

— С искусственным снегом — дохлый номер? — спросил Ханси.

— Тринадцать нулей у нас отродясь не было. И никогда не будет. Тринадцать нулей — это даже в голове не укладывается!

С той поры бургомистр Харчмайер всякие надежды на снег оставил. И господин пастор с господином учителем веру в снег потеряли окончательно.

Все верхнедуйбержцы слонялись как неприкаянные, мрачно приговаривая:

— Природа к нам несправедлива!

В семье Низбергера и в семье Верхенбергера тоже мрачно приговаривали:

— Природа к нам несправедлива!

По вечерам все собирались в ресторане Харчмайера и в один голос ругали лыжников и лыжи. Распаляясь, кричали:

— Дикость какая-то! Люди совсем рехнулись! Одни лыжи на уме! Всегда одни только лыжи!

— А ведь могли бы совершать поучительные вылазки на природу — наблюдать за состоянием деревьев зимой,— говорил господин учитель.

— Любоваться богоданной природой и церковью,— добавлял господин пастор.

— Получать удовольствие от моей доброй пищи,— говорил господин Харчмайер.

— И от моих новых мягких кроватей,— добавлял господин Лисмайер.

— Не тут-то было! — повышал голос господин Тюльмайер.— Лыжи им подавай, снег! Ничто другое отдыхающих не волнует!

— Они помешаны на спортивных развлечениях! — презрительно чеканил господин Верхенбергер.

— Ну почему не существует какого-то другого зимнего вида спорта? — сокрушался господин Низбергер.

«Другой вид спорта» не шел у господина Харчмайера из головы. Марианна изрядно напугалась, когда заглянула днем в ресторанный зал. Там сидел ее отец и вкушал послеобеденный сон. (Господин Харчмайер всегда спал там после обеда и всегда сидя. При этом он клал руки на стол, голову — на руки и раскатисто храпел.) Но на сей раз отец не храпел, он чудовищно стонал.

— Папуль, что с тобой? — спросила Марианна и потрясла отца за плечо. Господин Харчмайер испуганно встрепенулся, пробормотал: «Другой вид спорта», снова уронил голову на руки и, постанывая, погрузился в сон. И ночью госпожа Харчмайер слышала, как он стонет и бормочет про «другой вид спорта».

— Сдает наш папуля потихоньку,— вздохнул Ханси, а Марианна малость всплакнула. Они вышли на улицу — посмотреть, нет ли снега. Но в небе снова висела одиноко свинцовая туча, а по транзистору Ханси диктор сказал:

— Во всех горных долинах сильные снегопады, толщина снежного покрова местами до двух метров, применение цепей противоскольжения повсюду обязательно.

Тут Ханси шваркнул свой транзистор о землю и разбил его вдребезги. (А ведь получил он транзистор, между прочим, на день рождения. О нем он мечтал целых два года.)

Случай

Ханси и Марианна сидели в ресторанном зале с Титусом и Титой за столом для постоянных клиентов. Сначала они сыграли в морской бой, потом в испорченный телефон и еще бумажных голубей пускали. А затем играли в игру — странную, ни на что не похожую. Все четверо сидели по одну сторону стола — руки под столом, подбородки на краю стола — и, набирая полный рот воздуха, что есть мочи дули.

— Чем это они занимаются? — спросил господин Низбергер господина Харчмайера.

— Шут его знает,— буркнул он,— они этим который день занимаются!

— Уж не новый ли это вид спорта? — Господин Низбергер хохотнул.

— Вид спорта? — Господин Харчмайер поставил недопитую кружку с пивом на стойку, подскочил к столу и стал следить за ребятами.

На столе, на льняной скатерти, лежали четыре маленьких шарика из ваты. Вот оно что! Дети поддували шарики, и побеждал тот, чей шарик первым достигал противоположного края стола.

Господам Харчмайеру и Низбергеру видение явилось в один и тот же миг! Им почудилось, будто крохотные ватные горошинки разрастаются и превращаются на глазах в большие, легкие как пух мячи, стол превращался в просторную поляну между гостиницей и рестораном, а четверо пыхтящих ребят оборачиваются четырьмя зимними туристами.

— Новый вид спорта! — воскликнули господин Низбергер и господин Харчмайер вне себя от радости. Виде́ние было настолько отчетливым, что обоим даже не понадобилось обсуждать это друг с другом.

— Как ваша игра называется? — спросили они ребят.

— Ватное поло! Ватенбол! — сострил Ханси.

— Или дуй-дуй-ка! — подхихикнул Титус.

«Дуйбол!» — вскричал господин Низбергер, и господин Харчмайер также вскричал: «Дуйбол!» И так высоко подпрыгнул, что задел люстру, и она закачалась туда-сюда.

— Вконец офонарел,— шепнул Ханси Марианне.

Не успели Титус и Тита порадоваться, что их отец не офонарел, как он тоже подлетел к потолку да еще при этом так саданул по люстре, что с нее соскочили все ажурные красно-бело-клетчатые абажурчики, укрывавшие лампы-миньоны. Дело в том, что господина Низбергера секунду назад осенило: отдыхающие вряд ли смогут гонять по поляне огромные легкие шары без вспомогательного прибора. А в качестве вспомогательного прибора можно использовать суперфены с его склада. Именно эта идея и пришла ему в голову секунду назад. Из-за такой идеи стоило подпрыгнуть до потолка!

— Слушай, Харчмайер,— сказал господин Низбергер после благополучного приземления.— У меня к тебе, Харчмайер, разговор есть.

Господин Харчмайер кивнул: у него тоже был разговор к Низбергеру.

Оба господина удалились в Комнату для Особых Торжеств (КОТ). Они захлопнули за собой двери, оставив приунывших детей собирать и укреплять на люстре свалившиеся абажурчики, а также горячо обсуждать вопрос: излечимо умопомешательство или нет? Ханси и Тита считали, что излечимо, Титус и Марианна считали, что нет.

Господин Харчмайер и господин Низбергер долго совещались в КОТе. Потом они позвали детей, дети явились.

— Ребятки,— проворковал господин Харчмайер,— сгоняйте-ка живо за Тюльмайером, потом за Лисмайером, далее за господином пастором и не забудьте господина учителя!

— И непременно господина Верхенбергера, непременно! — крикнул им уже вдогонку господин Низбергер.

Тюльмайер, Лисмайер, пастор, учитель и Верхенбергер не заставили себя долго ждать. Они примчались на всех парах, так как ребята каждого упрашивали:

— Только, пожалуйста, поспешите!

А на вопрос, почему такая спешка, они всякий раз объясняли:

— Потому что папа с папой с ума сошли!

Господин Верхенбергер прибежал последним — он жил дальше всех от Харчмайера.

Господа влетели в КОТ и заперлись на ключ. Тита и Марианна, Ханси и Титус стояли за дверью и подслушивали. Но ничего расслышать не удавалось. Не потому, что внутри было так тихо, а потому, что внутри стоял адский гвалт.

— Кроме «ура, ура» ничего не разбираю,— сказал Титус.

— А я один «дуйбол» слышу! — сказала Марианна.

— Мне все время только «отдыхающие» слышатся,— сказал Ханси.

— А я слышу, как папа без передыху орет «фен», «фен»,— сказала Тита.

Вскоре в КОТе стало тихо, и господин Харчмайер позвал:

— Ханси, Марианна, притащите-ка мне авторучку и лист бумаги побольше!

Ханси бросился за авторучкой, Марианна — за большим листом, Титус и Тита бросились с ними — за компанию.

Вернувшись в КОТ, ребята увидели радостно-возбужденные лица.

— Кто будет вести протокол? — вопросил Харчмайер.

Вести протокол вызвался господин учитель.

— Кто будет диктовать? — вопросил господин Харчмайер.

Диктовать вызвался господин Низбергер.

— А нам можно остаться? — взмолился Ханси. Господин Харчмайер кивнул. Ребята разместились в углу за печкой.

— Это что, коллективное помешательство? — тихо спросила Титуса Марианна, но Титус не успел ответить — как раз в этот момент его отец начал диктовать:

— Мы, совет общины Верхнего Дуйберга, что на реке Дуй, собравшись в полном и даже расширенном составе, решили покончить с несправедливостью — отсутствием снега. Мы ставим крест на горных лыжах и переключаемся на игру ДУЙБОЛ!

— Не частите, пожалуйста, я не успеваю,— попросил господин учитель.

Ханси в душе порадовался, что господин учитель тоже не поспевает строчить под диктовку.

— Дописали? — спросил господин Низбергер. Господин учитель дописал. И господин Низбергер продолжил:

— С сего дня Верхний Дуйберг становится центром развития дуйбола!

Полный и расширенный совет общины захлопал в ладоши.

— Теперь следует разъяснить суть этого вида спорта! — подбросил с места господин пастор.

Господин учитель согласно кивнул. И господин Низбергер продолжил:

— Дуйбол технически несложный, здоровый вид спорта, содействующий взаимопониманию народов. Игра осуществляется при помощи одного большого легкого шара и воздуходуйного прибора. Задача игрока — провести от старта до финиша большой легкий шар при помощи воздуходуйного прибора, не касаясь шара руками, ногами либо иной частью тела. Дуйбол — игра как индивидуальная, так и командная.

Совет общины одобрительно закивал.

— Достаточно ли все растолковано? — спросил господин Харчмайер.

Совет общины снова закивал.

— А смею спросить, что за шары имеются в виду,— осведомился господин пастор.

Члены совета переглянулись. О шарах они совершенно забыли. Господин Верхенбергер откашлялся:

— Позволю себе заметить,— сипло сказал он,— только прошу правильно меня понять: я бы мог кое-что предложить.

— Давай не темни! — выкрикнул господин Лисмайер.

— Я держу фабрику, где изготовляется жесткий пенопласт, который идет на упаковку для холодильников и радиоаппаратуры. Пенопласту можно придать и форму шара! Это как дважды два! Например, мы выпускаем небольшие шарики. Дети любят утыкать их цветами. Такие шары делать можно любых размеров!

— То, что нужно! — пробасил господин Харчмайер, все зааплодировали. Затем господин Харчмайер позвал госпожу Харчмайер и велел ей принести, во-первых, восемь больших кружек пива, во-вторых, восемь двойных шнапсов и, в-третьих, восемь гуляшей (по полпорции) — гулять так гулять, раз уж отныне всем злосчастьям конец.

В Верхнем Дуйберге — полная пертурбация

Снегопады хоть и миновали Верхний Дуйберг, рождество тем не менее надвигалось неминуемо. Ханси хотелось получить в подарок транзисторный приемник, так как свой он угробил окончательно; Марианне хотелось магнитофон; детям Низбергера хотелось заполучить все на свете, без исключения; Верхенбергеровой Карин хотелось пони, а Кари — игрушечную машину с дистанционным управлением. Учителев Михаэль и учителев Мартин загадали в качестве подарков футбольные мячи, а Тюльмайеровы Фрида и Фанни спали и видели новые пальто, шапки и сапожки на меху. Но ребята даже не смогли поделиться своими желаниями с родителями. Их родители безвылазно торчали в КОТе у Харчмайера: все говорили, и записывали, и возбуждены были до предела. Крестьяне Рогмайер, Волмайер и Быкмайер находились там же. А накануне рождества родители просто сказали: «Сходите в лес за елкой!». Вот до какой степени их не занимало рождество. Дети в лес сходили и несколько елок приволокли, но возмущены были до предела.

— Не рассудка они лишились,— кипятился Ханси,— а совести!

— Кукушки, а не родители! — злилась Марианна.

— Ну эти мне дуйболисты, ну!..— еле сдерживался Титус.

— Дернуло же нас в эту дрянь играть! — нудила Тита.

В сочельник волнение ребят из-за мячей, новых пальто, управляемой машины, пони, магнитофона и транзистора достигло апогея.

— Только не облизывайтесь раньше времени,— сказала Марианна.

Марианна была далеко не самым оптимистическим ребенком.

— Только не вздумайте на что-то надеяться,— сказала Марианна,— предки сейчас до того зарвались, что мы вообще ничего не получим.

Но тут Марианна оказалась не права. Все ребята что-то да получили. Вернее, все получили одно и то же. Все получили по синему волососушителю марки «Фен-супер» и по шару из пенопласта. «Фен-супер» был вовсе не суперфен, а самый нормальный и обычный волосо-

сушитель, а пенопластовый кругляш не превосходил размером медицинбола.

Больше ребята не получили ничего.

Ребята крепились изо всех сил, сдерживая слезы. Но раз уж ты ребенок, а значит, тебе надлежит быть скромным и ни в коем случае в рождество не хныкать, все мужественно улыбались.

Отцам на рождество достались от их жен также фены и пенопластовые шары, и мамы получили от своих мужей шары и фены. И продавщицы в магазине «Тюльмайер» получили от своего шефа фен с пенопластовым шаром в придачу. Господин пастор презентовал сестрам Зудмайер два фена и два шара. Сам же господин пастор получил фен от собственной кухарки, а та в свою очередь была одарена господином пастором — точно таким же образом.

В рождественских фенах взрослых нетрудно было узнать суперфены со склада господина Низбергера. А шары для взрослых достигали в диаметре метра. Господин Верхенбергер сбывал их по сходной цене. На суперфены господин Низбергер сделал даже тридцатипроцентную скидку. Жене он объяснил так:

— Это окупится, душа моя! А там, если дело пойдет-поедет, я уж совсем другую цену затребую!

— Еще дешевле? — спросил Титус.

— Эх ты, голова два уха! — посмеялся отец над Титусом.— Намного дороже, разумеется!

— Как так? — изумился Титус.

— Тебе этого не понять, сынок,— сказала госпожа Низбергер,— будь доволен, что наш папа снова начнет хорошо зарабатывать, мы тогда летом в Америку махнуть сможем!

Титус был вполне доволен, он думал: «Может, и мне в другой раз человеческий подарок на рождество перепадет!»

Чем занимались в праздник

Утром на рождество мамы разбудили своих детей ни свет ни заря: «Вставайте! Школа ждет!». Дети посчитали это неудачной шуткой, натянули одеяла на головы, чтоб скорее опять уснуть. Но мамы и не думали шутить.

— В восемь часов вы должны быть в школе! — сказали мамы.— Явка без опозданий, иначе кое-что пропустите!

— Сейчас ведь каникулы! — отбивался Ханси.

— В каникулы в школу ходить не надо! — возмущалась Марианна и ударила по столу кулаком так, что кофе плеснул из кофейной чашечки на скатерть. Вообще-то Марианна была существом на редкость кротким, но если дело касалось принципа и принимало такой оборот, она могла очень и очень рассвирепеть.

— Марианна,— сказала госпожа Харчмайер и промокнула кофейный след на скатерти салфеткой,— послушай, что я скажу: сейчас вы отдыхаете от чтения, от математики, от письменных работ, но для дуйбола никаких каникул не существует! Сию же минуту берите ваши дуйбольные причиндалы и марш в школу!

— Нет! — гаркнули Ханси и Марианна.

— Выметайтесь немедленно! — сказала мама.— Не то таких оплеух навешаю, век помнить будете!

Ханси с Марианной собрали свои дуйбольные причиндалы и тронулись в путь. Им было безумно жаль себя.

— Вот увидишь,— сказал Ханси Марианне,— Титус и Тита еще спят. Они себя не дадут в рождество согнать с кровати чуть свет!

Перед школой стоял господин учитель в тренировочном костюме травяного цвета. Обыкновенно же он носил серый штирийский костюм.

— Доброе утро, господин учитель,— поздоровались Ханси и Марианна.

— Дуйбол-привет! — ответил господин учитель. В руках он держал лист бумаги, на котором значились имена всех ребят. Против «Ханси» и «Марианны» он поставил плюсики.

— Кто еще не пришел? — поинтересовалась Марианна.

— Кари и Карин,— ответил господин учитель.

— Единственные, у кого ума хватило! — шепотом прокомментировал Ханси.

Но тут пепельно-серый «мерседес» господина Верхенбергера пересек Главную площадь, подкатил к школьному зданию. Кари и Карин проворно выскочили из машины, достали из багажника фены с шарами и подошли к собравшимся.

— Доброго рождества, господин учитель,— поздоровались они.

— Дуйбол-привет! — отозвался господин учитель.

Господин Верхенбергер махал вслед ребятам, пока они, ведомые учителем, не скрылись в школьном подъезде.

В классе было довольно свежо. Ребята сидели на маленьких стульях, фены лежали на партах, шары медленно перекатывались по полу. Господин учитель подошел к доске, одернул тренировочную куртку и произнес:

— Дорогие юные друзья дуйбола! Сейчас я скажу короткую речь! Спасибо, что вы пришли в такое время, когда по всей стране ребята еще спокойно спят — каникулы все-таки!

Но дуйболисту неведом покой!

А для места, стремящегося стать колыбелью нового вида спорта, самое главное — это дети! Смена!

Все в их руках, дети — вечная наша надежда. Вы только вспомните, дорогие юные дуйболисты! Сколь часто приходилось вам слышать по телевидению или читать в газетах: там-то дети рождаются в лыжном костюме!

Там-то дети бегают на лыжах с пеленок!

Сям-то дети являются на свет прямо на лыжах!

Господин учитель сделал небольшую, но весьма значительную паузу: ребята были под впечатлением. Один Ханси под впечатлением не был, он пребывал в глубокой тоске и зевал. Господин учитель тем временем продолжил:

— Вы же, дорогие поклонники спорта, явились на свет божий, как ни прискорбно, без всякого фена; в ваших пеленках не было, как это ни прискорбно, пенопластового шара, но вы еще молоды! Вы все схватываете играючи, на лету! Вам это по плечу! Верхний Дуйберг смотрит на вас! Все взоры прикованы к вам!

Господин учитель замолчал, захваченный собственной речью. Дети тоже были захвачены. Что ни говори, а в их жизни это первый случай, когда все взоры прикованы именно к ним! Ребята с воодушевлением проревели: «Дуй-дуй-ура!». Один Ханси не ревел, он зевал и никак не мог остановиться.

Потом в класс зашла госпожа учительша, жена господина учителя. Она раздала каждому по бечевке и показала ребятам, как приладить бечевку на фене, чтобы получалась подвеска и фен можно было вешать на шею. (К слову: у фенов в передней верхней части, над тем местом, где выходит воздух, был прилажен небольшой черный кожушок, куда закладывались батарейки. Это господин пастор, мастер на все руки, переделал фен на батарейное питание, пробившись над решением мудреной задачи ночь напролет.)

Госпожа учительша и господин учитель повели ребят в спортзал.

Госпожа учительша объявила:

— Девочки, я тренер женской команды!

Господин учитель объявил:

— Парни, я тренер мужской команды!

Ребята удивлялись. Весь спортзал был разлинован. Широкие желтые полосы делили его на десять дорожек. С одного края, там, где шведская стенка, перед каждой дорожкой было выведено крупными желтыми буквами СТАРТ, а с противоположной стороны, там, где вход в раздевалку,— ФИНИШ.

Дуйбол оказался твердым орешком! Ребята почувствовали это очень быстро. Стоило хоть чуточку неверно держать фен, как шар тут же слетал с дорожки, зазеваешься хоть на миг, тут же коснешься мяча рукой или ногой и будешь дисквалифицирован. И это при том, что тренировка проходила в зале, на идеально ровных, гладких дорожках. Здесь все несравненно проще, чем на поляне, сказал мужской тренер. А на воздухе, заметила женский тренер, многое будет зависеть от капризов природы, ветра, рельефа местности. В совете общины уже обсуждались проблемы, связанные с подъемами, покатыми спусками, крутыми поворотами!

Тюльмайерова Фанни была в зале на голову выше всех! Сколько бы раз они ни дули и ни пробегали дистанцию и как бы кто ни старался, Фанни всегда была на финише первой.

Госпожа учительша бурно радовалась, а господин учитель собрал подростков в раздевалке и сказал:

— Юные друзья дуйбола, так дальше не пойдет! Фанни обставляет вас всех, как котят!

— Так у нее лучше получается! — сказал Ханси.

— Ерунда! — отрезал господин учитель.— В спорте ни одна девчонка не может соперничать с парнями. Такого не бывает и раньше никогда не было! Вы всегда лучшие! Возьмите другие виды спорта. В беге, прыжках, в метании, в плавании! Везде мужчины быстрее, выше, сильнее! Мужчины вы или кто? Настоящие спортивные бойцы! Или, может, вы барышни?

Ребята загудели:

— Ясно, мы мужчины! Конечно, не барышни!

Они ринулись в спортзал и гоняли себя там до седьмого пота, а когда господин учитель предложил сделать небольшой перерыв, заявили, что нисколечко не устали и хотят только одного — продолжать тренировку.

— Молодцы, ребятки! — похвалил господин учитель, но тут же нахмурился. Он искал глазами Ханси, но нигде в спортзале его видно не было. Господин учитель передал Титусу Низбергеру свисток и секундомер, как бы доверяя ему свой тренерский пост, и пошел искать Ханси. Нашел он Ханси в раздевалке. Ханси лежал на банкетке и спал. Господин учитель разбудил его.

— Ханси, как же тебе не стыдно! — воскликнул господин учитель. Ханси стыдно не было.

— Не люблю я в это играть, не нравится мне это,— сказал Ханси.

— Это не игра, Ханси, это спорт! — отчеканил господин учитель. Ханси повел плечами.

— Значит, я спорт этот не люблю! — сказал он.

— А что скажет твой отец, если ты, единственный из всех ребят, не овладеешь дуйболом?

Ханси не знал, что скажет его отец.

— Ему будет грустно, очень грустно,— произнес господин учитель. Ханси иметь грустного отца совсем не хотелось.

— Неужели ты хочешь, чтобы отцу было стыдно за тебя, Ханси?

Этого Ханси тоже не хотелось.

— Сын бургомистра — единственный парень на всю округу, кто не умеет играть в дуйбол! Вот что люди скажут. Его даже собственная сестра обгоняет, скажут люди! — заключил господин учитель.

Тогда Ханси вернулся в спортзал и старался как мог, а мог он совсем неплохо. Но удовольствия при этом не испытывал никакого.

Около полудня буря восторга прокатилась по спортзалу, а господин учитель, который обычно требовал полной тишины, орал громче всех. Лисмайеров Губерт обставил Тюльмайерову Фанни. Он финишировал на 0,003 секунды раньше. Господин учитель пожал ему руку и подарил маленькую розовую нашивку. Чтобы мама пришила ее на спортивную куртку.

После обеда ребята тренировались на большой поляне между гостиницей Лисмайера и трактирным заведением Харчмайера. Родители наблюдали за игрой и звонко скандировали:

— Дуй-дуй-урра!

Когда же Лисмайеров Губерт снова выиграл, господин Лисмайер поставил всем зрителям дармовое пиво. Госпожа Лисмайер притащила пиво в кружках прямо на поляну. В ее глазах блестели слезы умиления и гордости за своего Губерта.

Господин Харчмайер отвел Ханси в сторону и зашептал ему на ухо:

— Ханси, что за дела? Почему ты не первый! На этих чертовых лыжах тебе ж равных не было! Ну-ка, парень, соберись хорошенько, выложись до конца, я от тебя большего ожидал!

Оба учительских чада постоянно плелись в хвосте. Михаэля чуть ли не в каждом забеге снимали с дистанции, потому что он хватался рукой за мяч; Мартин то и дело спотыкался, плюхался навзничь, а его шар откатывался к стартовой черте. Господин учитель едва сдерживал слезы. Госпожа учительша защищала своих сыновей:

— Оставь! Все логично! Сам посуди: у наших мальчиков свои козыри! Их козыри — в сером веществе! Чтение, письмо, математика, пение и рисование — вот где они на первых ролях!

Но у господина учителя все равно вид был жалкий. В тот момент чтение, письмо, математика, пение, рисование — вместе с серым веществом — не стоили в его глазах и гроша ломаного.

— Позанимаюсь с ними дополнительно,— сказал он жене.— Если с ними подзаняться как следует, они еще себя покажут!

Обтекаемая кепочка и трехпалая рукавица

Тем же вечером — было довольно поздно, за окнами завывал ветер, Тита уже спала — Титус Низбергер подсел к большому кабинетному столу, закутал ноги в теплый плед, потому что в помещении было прохладно, и написал тете Мелании следующее письмо:

«Дорогая тетя Мелания, сижу в полном одиночестве. Тита давно спит, а папа с мамой внизу, в деревне, на дуйбольных курсах для взрослых. Они все там сейчас собрались. Господин бургомистр сказал, что это первейшая обязанность каждого!

Занятия на дуйбольных курсах для взрослых проходят в кегельбане гостиницы «Лисмайер».

Я сегодня третье место занял в первом старте на открытом воздухе. Папа с мамой очень мной гордились. Но сам я недоволен, мне обязательно надо прибавить. Хочется стать ну хотя бы вторым.

Еще у меня к тебе одна просьба! У Тюльмайера ничего путного не купишь! Пришли мне, пожалуйста, красной ленты, длиной один

метр, шириной два сантиметра. Нам выдали по тесемке для подвески на фены. Но это не фонтан, хотелось бы чего-нибудь посимпатичнее!

И еще мне позарез нужна кепочка с козырьком. Но только такая, чтоб козырек можно было носить на затылке. Это увеличивает обтекаемость и уменьшает встречное сопротивление воздуха, на этом не одну десятую отыграть можно. И, если не трудно, разыщи, пожалуйста, мои наколенники, оставшиеся от футбола; думаю, они под моей кроватью пылятся!

Тысячу раз благодарю и целую.

Нежно любящий тебя племянник Титус.

P. S. Папа с мамой только что вернулись. Просят передать, что мама второе место заняла в женском разряде, а папа обещал пива с завтрашнего дня пить поменьше, тогда хватка у него будет потверже, и он сможет резвее гнать шар по трассе».

Иметь отменную дуйбольную амуницию жаждал не один Титус Низбергер. Когда на следующее утро ребята собрались на большой поляне под громкие «дуйбол-приветы», то все они являли собой зрелище без преувеличения изумительное.

— Истинное загляденье,— расчувствовалась госпожа учительша.

Фрида и Фанни Тюльмайер обмотали свои фены разноцветной изолентой. А пенопластовые шары разрисовали фломастерами. Фанни изобразила цветочки. Фрида — волнистые линии. Польди Лисмайер вывел на своем шаре масляной краской «ГОСТИНИЦА «ЛИСМАЙЕР» — ЛУЧШИЙ ДОМ НА ПЛОЩАДИ». Губерт Лисмайер укрепил на спине и на груди по матерчатой обеденной салфетке. На салфетках были крупно вышиты красные единицы. Марианна заменила тесьму на фене собственноручно связанной узорчатой полоской. А рукоятку обвязала для красоты петельными столбиками. Дети Волмайера, Быкмайера и Рогмайера были увешаны коровьими колокольцами, которые они нацепили на брючные ремни или пришили к шапочкам. Каждое их движение сопровождалось жутчайшим перезвоном.

На учителевых парнях ничего оригинального не было, потому они и распустили нюни. Госпожа учительша пообещала им по самой оригинальной шапочке, решив всю следующую ночь провести за спицами. У нее просто сердце кровью обливалось оттого, что именно ее дети выглядят на общем фоне так убого.

Ханси тоже ничем особенным не выделялся. Разве что бурыми разводами на своем шаре. Ханси уронил его в коровнике, он закатился под корову, а корова, не подозревая, что под ней важный спортивный снаряд, посадила на него хорошенькую коровью лепешку. А господин Харчмайер залепил Ханси хорошенькую оплеуху.

Господин учитель опять выступил с короткой речью перед верхнедуйбержскими ребятами. На сей раз он сказал:

— Поклонники спорта, дуйболисты, дорогие ребята и девчата!

Совет общины на вчерашнем заседании порешил: считать термины ВОЛОСОСУШИТЕЛЬ (или ФЕН) и ПЕНОПЛАСТОВЫЙ ШАР неподходящими для любителей спорта.

Совет общины постановил вместо «волососушитель» (или фен) говорить ДУЛО, а вместо «пенопластовый шар» — ПЕНА!

— Дуй-дуй-урра! — отозвались ребята.

В порядке разъяснения господин учитель добавил:

— Ведь говорят же лыжники ДРОВА, ведь говорят же футболисты ПУЗЫРЬ, верно?

— Да-ешь дуй-бол! — крикнули ребята (один Ханси не кричал).

Затем господин учитель скомандовал:

— Слушайте все! Дула наизготовку, пены к ноге!

Ребята сделали, как им велели, а Ханси сделал вид, будто подвернул ногу. Он опустился рядом со своей заляпанной пеной на жесткую, стылую землю, глянул на небо, на большую серую тучу и подумал: «Справа и слева от нашей долины идет снег! Везде, куда ни плюнь,— валит снег!».

А потом он подумал, как было бы здорово, если б его усыновил какой-нибудь бездетный трактирщик в одной из девяноста семи долин, что справа и слева от Верхнего Дуйберга.

В это самое время у жарко натопленной кафельной печи сидели сестры Зудмайер. Они бормотали под нос:

— Две справа, одна слева, смена цвета...

Анна вязала дуйбольные шапочки шестьдесят второго размера, в разноцветную полоску, островерхие, с четырьмя кисточками.

Мария же вязала нечто из ряда вон выходящее: трехпалую рукавицу с норвежским узором. Мария открыла, что дуло сподручнее всего держать в трехпалой рукавице.

Трехпалая рукавица и шапочка предназначались в подарок господину пастору. (На левую руку господин пастор получил самую обыкновенную варежку.)

Дуйбольный праздник

Скоро, очень скоро каждый в Верхнем Дуйберге постиг дуйбольную премудрость. Одним она давалась легче, другим — труднее. Тем не менее даже сестры Зудмайер, Анна и Мария,— а уж их никак самыми молодыми не назовешь — выучились дуйболу. Они прошли курс дуйбола для пожилых. Вместе со стариком Тюльмайером и тещей господина Лисмайера.

Среди мужчин первенство держал господин пастор, на пятки ему наступал господин Лисмайер, проигрывая лидеру какие-то крохи — 0,002 секунды.

Среди женщин первенствовала госпожа Харчмайер. Несмотря на свои необъятные телеса. За ней шли госпожа учительша и госпожа Тюльмайер.

(Господин учитель от соперничества самоустранился. Он заявил, что он главный тренер и главный менеджер, а потому времени для занятий спортом у него нет. Он попытался тренироваться дома, тайком, но убедился, что укротить дуло выше его сил. Он опасался за свой тренерский авторитет, стань его неуклюжесть для всех очевидной.)

Среди ребят вне всякой конкуренции были Фанни Харчмайер и Губерт Лисмайер. За ними — на солидном расстоянии держались Титус и Марианна, в затылок которым дышала плотная группа преследователей.

Между ребятами и взрослыми случались и конфликты. Ребята потребовали, чтоб им выдали суперфены и большие шары! Ребята заявили, что они и с большими дулами справятся. В конце концов, они уже не маленькие. Дети Волмайера, Рогмайера и Быкмайера утверждали, что они якобы сильнее своих отцов. На сенокосе и заготовках дров они это сто раз доказывали.

Часть родителей не возражала против того, чтобы вооружить ребятню взрослым дуйбольным снаряжением. Но некоторые родители, и прежде всего господин Лисмайер и госпожа Харчмайер, были против. Они очень гордились своим спортивным уменьем. Они опасались, что их дети, имея гораздо больше свободного времени на тренировки с большим дулом и большой пеной, окажутся проворнее их самих. Этого-то им как раз и не хотелось.

— Тогда все уважение к нам, взрослым, наш авторитет — того,

тю-тю! — горячились они.— До чего мы доживем, если дети будут уметь больше родителей!

Однако ребята не унимались. Особенно рьяно выступал Губерт. Он сказал:

— Если мне большое дуло не дадут, то играйте без меня! — И Фанни его поддержала.

— Это надо решить демократически, путем голосования,— высказался господин пастор.— Невзирая на грозящую перспективу — оказаться более слабыми дуйболистами, чем дети!

— Прошу вас учесть,— веско сказал господин учитель,— вы не вправе печься лишь о себе. Вы обязаны делать то, что во благо дуйболу, что способствует его распространению во всем мире, что сделает дуйбол королем спорта!

А господин Харчмайер сказал:

— Я как бургомистр, не желая влиять на ваше решение, все же полагал бы, что передача ребятам укрупненных дул и пен пошла бы на пользу дулу... то есть делу!

Господин Харчмайер дуйболист был самый слабый. Но главное, его до глубины души уязвляло, что собственная жена бегала и владела дулом намного лучше, чем он сам. И он предвкушал тот миг, когда Марианна выиграет у нее.

Граждане Верхнего Дуйберга проголосовали. Они отдали свои голоса за то, чтобы взрослое снаряжение детям выдать. (При одном воздержавшемся.)

Титус Низбергер написал тете Мелании открытку — на письмо времени не было:

«Дорогая тетя Мелания,
наконец-то мы получили большие дула и большие пены. Это сказка.
Мы заткнули за пояс всех родителей, вместе взятых!
Сперва они раскисли, но потом поняли, что спорт от этого только выиграл.
Завтра у нас дуйбольный праздник, будет очень торжественно, сказал папа.
Жаль, что тебя нет с нами!
Привет. *Титус».*

Скромный дуйбольный праздник

Дуйбольный праздник начался через четверть часа после новогодней торжественной службы. Господин пастор и причетники сразу же после службы переоделись в ризнице в дуйбольную форму. Господин пастор и один из причетников заметно нервничали. (Этим причетником был Губерт Лисмайер.) Ведь сегодня на чемпионате деревни им обоим предстояло отстаивать свои лидерские позиции. Второй причетник, Ханси Харчмайер, не нервничал. (Его дуйбольная амуниция состояла всего-навсего из дула, перепачканной навозом пены и выцветшей островерхой шапчонки.)

Харчмайер Ханси плелся за господином пастором и Губертом к большой поляне. Сначала он процедил сквозь зубы: «Чертов балаган!». Потом: «Коль к новогодью чернеет земля, значит, не выбелит снегом поля!» И еще: «Коли не выбелит снегом поля, уж не заглянет клиент издаля!».

Эти новогодние присловья он вычитал в дедушкином численнике. На душе у Ханси кошки скребли.

Всем жителям Верхнего Дуйберга — кроме Ханси — зрелище большой поляны радовало глаз. Вокруг поляны были установлены скамьи, между скамьями врыты в землю высокие флагштоки, на флагштоках развевались белые флаги с изображением зеленых красноногих коров. (Господин учитель долгое время рылся в архивных

бумагах и установил, что зеленые краснорогие телки являлись древним гербом дуйбергских крестьян.)

У всех жителей Верхнего Дуйберга — кроме Ханси — была роскошная дуйбольная амуниция. Господин Харчмайер в зеленом тренировочном костюме с фиолетовыми наколенниками, розовой подвеской для дула, шапочкой с шестью кисточками и обтекаемым козырьком, а также пятнистой пеной удрученно оглядел Ханси с головы до ног.

— Парень, парень,— вздохнул он,— эх, парень, и не совестно тебе? Откуда ты такой взялся? Взгляни на своих друзей!..

— Пугала огородные! — буркнул Ханси.

— Бравые дуйбольные мо́лодцы! — с упреком сказал господин Харчмайер.— На Титуса посмотри! Бери пример с Титуса! Вот как надо выглядеть!

Титус Низбергер и впрямь блистал среди всех блистающих дуйболистов. Тетя Мелания прислала ему не только красную ленту на подвеску плюс шапочку и наколенники. Сверх того она снабдила его кожаным браслетом и клиновидным нагрудником, который поддевался под куртку и здорово улучшал обтекаемость корпуса. К тому же, чтоб быстрее бегать по жесткому мерзлому грунту, Титус подбил кроссовки шипами. К тому же его мама, по совету Анны Зудмайер, связала трехпалую рукавицу. К тому же отец подарил ему четыре миниатюрных коровьих колокольчика. Они подрагивали, перезваниваясь, на ленточной подвеске. К тому же на нем были ветрозащитные очки (которые иной раз совсем не отличить от солнцезащитных).

Другие дети хоть и уступали Титусу, но тоже были чудо как хороши. У Лисмайерова Губерта сзади, пониже спины, была укреплена обтекаемая подвеска, смахивающая на хвостовой плавник. Господин Лисмайер смастерил ее из жести.

На Харчмайеровой Марианне красовались — в этом году, в общем-то, абсолютно не модные — ее самые старые, узкие и тонкие брючки из джерси. Они плотно обтягивали ноги Марианны, не трепыхались на ветру и не морщили. Это резко уменьшало сопротивление воздуха. Волмайеровский отпрыск даже налокотники нацепил. Нечего и говорить, что все дула были в красочных наклейках, изящные подвески (это словцо закрепилось с легкой руки господина учителя) переливались всеми цветами радуги. (Только на Ханси попрежнему болталась старая веревка.) И пены были размалеваны на диво. Господин пастор запечатлел на своей пене альпийский ландшафт; Марианна перенесла на пену целиком меню папашиного заведения; Тюльмайер, известный любитель рыбок, испещрил всю поверхность пены золотыми рыбками. Харчмайеровская пена была в красный горошек, а его запасная пена сплошь в синих звездах. (Едва ли не каждый верхнедуйбержец приобрел у господина Верхенбергера два или даже три шара, а господин Лисмайер купил Губерту второй фен. Для тренировок. Чтоб боевое дуло не износилось раньше времени.)

Кари и Карин Верхенбергер нарядились и снарядились абсолютно одинаково.

— Дуйбольные близняшки да и только! — сказала своему мужу госпожа Верхенбергер.

А поскольку все у Кари и Карин было одинаковым, они стояли посреди луга и спорили из-за пен. Одна из двух пен (обе в розочках) вроде бы лучше слушалась воздушной струи, и та, что вроде бы получше, принадлежала вроде бы Кари. Но так как шары были одного веса, одного размера и одной формы, то разобраться, какой именно принадлежит Кари, было невозможно. Одна пена лежала у их ног, за другую шла борьба.

— Моя пена! — рванул на себя шар Кари.

— А вот как бы не так, она моя! — рванула на себя шар Карин, врезала Кари полукедом по лодыжке. А поскольку у нее на полукеде тоже были шипы, то Кари заверещал, словно его резали. Господин учитель подбежал к обоим и расцепил их.

— Весь наш праздник насмарку пустить решили! — взревел он возмущенно.— Марш по местам и чтобы немедленно помирились! Вы же в спорте друзья-соперники, спорт призван сплачивать людей!

Друг-соперник Карин умчалась вроде бы с лучшей пеной. Друг-соперник Кари подхватил вроде бы худшую, плюнул вслед сестре и побрел к краю поляны, где на семи сшитых в одно полотнище льняных скатертях, натянутых между двумя высоченными мачтами, значилось — СТАРТ. Там уже собрались все дуйболисты. Взрослые и ребята.

Престарелые дуйболисты, госпожа Лисмайер, маявшаяся воспалением вен, господин Рогмайер, у которого одна нога с рождения была высохшая, а также Волмайерша, которая должна была на следующей неделе разродиться, участия в общедеревенском чемпионате не принимали. Они расположились на скамьях между коровьими флагами. К ним подсели и нижнедуйбержцы: Козмайер, Курицмайер и Свинмайер.

Господин учитель, наэлектризованный, как шаровая молния, носился по большой поляне. На нем лежала прорва разных забот. Он был душой всего празднества. Поплевав на указательный палец, он поднял его вверх. Та сторона пальца, что была обращена к финишу, подсохла быстрее, чем та, что глядела на старт.

— Так-так, ветер встречный,— озабоченно констатировал господин учитель.

— Ну тогда шпарьте от финиша к старту! — предложил Свинмайер.

Господин учитель возмущенно мотнул головой и сказал:

— Свинмайер, так рыцари спорта не делают! Рыцари спорта открыто принимают бой с коварством природы!

— Ну тогда принимайте же бой, наконец! — бросил Свинмайер. У него уже порядком замерзли ноги.

Но господин учитель все еще не мог начать праздник и чемпионат. Кого-то он поджидал. Гостя он поджидал. Он ему вчера позвонил и сказал, что его наипервейший человеческий долг — появиться на празднике.

— Давайте начинать, начинайте, пожалуйста! — шумели уже ребята.

— Тихо!— повысил голос господин учитель.— Мы ждем почетного гостя!

— Тихо!— поддержали его родители.— Наш гость — важная птица, без него никак ничинать нельзя!

Господин пастор в словесной перепалке не участвовал. Он совершал пробежки вокруг одного из флагштоков — разогревался. Хуже некуда — соревноваться с остывшими мышцами.

На Главной площади просигналила машина.

— Это он,— возвестил господин учитель,— сейчас он появится.

— Кто, кто появится? — загалдела ребятня.

— Пресса!— благоговейно зашушукались родители.

«Пресса» явила себя в лице газетного репортера Грачмана. Газетный репортер Грачман прежде ежегодно проводил здесь зимние отпуска (когда в долине еще был снег). Теперь же в свой зимний отпуск он ездил в одну из девяноста семи долин, что слева и справа от Дуя, но притом считал себя по отношению к верхнедуйбержцам вечным должником.

Во-первых, он так и не расплатился с господином Лисмайером за свое последнее проживание в гостинице, а во-вторых, верхнедуйбержцы спасли ему жизнь три года назад.

Тогда репортер Грачман по глубокому снегу напоролся на дерево, сильно ударился головой, потерял сознание и лыжу. Свежевыпавший снежок запорошил несчастного.

Когда единственная и бесконечно одинокая лыжа, соскользнув по отвесному склону в долину, уткнулась в ноги сгружающего пиво господина Лисмайера, тот сразу же поднял тревогу: «Мамочки родные! Лыжина-то репортера Грачмана! В горы — спасать!»

В течение трех долгих часов верхнедуйбержская горноспасательная служба — то бишь все обитатели Верхнего Дуйберга поголовно — прочесывала и перелопачивала заснеженные склоны в поисках газетного репортера Грачмана. Они отыскали его, свезли в долину, растерли снегом, сделали ему искусственное дыхание и в конце концов выходили. С тех пор репортер Грачман помнил добро.

Господин газетчик приближался к большой поляне, издали здороваясь со всеми и приветственно размахивая руками. На животе у него болтался фотоаппарат, а из карманов пальто торчал блокнот с самописной. Звонивший ему господин учитель предупредил: дуйбольный праздник во что бы то ни стало должен попасть на газетную полосу.

Репортер Грачман достиг большой поляны, господин учитель скомандовал: «Начинаем!» — а чтобы до всех дошло, он свистнул в свой судейский свисток. Один раз коротко и один раз длинно.

Все верхнедуйбержцы встали по стойке смирно. Сидевшие на скамьях вскочили и тоже вытянули руки по швам. Господин учитель выбежал на середину поляны и с ходу начал темпераментно дирижировать, верхнедуйбержцы грянули:

Дуйбол — игра
Бесснежная.
На первый взгляд
Несложная,
Но дуйболисту нужно
Многое уметь.
Он должен хватку
Нежную,
И поступь
Осторожную
И выдержку —
Да, выдержку
Железную иметь!
Припев:
Всей долиной дуйболяем,
Днем и ночью
Пены дуем.
Чемпионов прославляем
И не ноем, коль продуем!

Так как замечательная песня, сочиненная совместно господином пастором и господином учителем, исполнялась на известную мелодию «Мы шли тропою горною...», то никто не сфальшивил и не сбился; песня прозвучала очень стройно и выразительно. Репортер Грачман сделал несколько снимков.

Старейшины деревни и нижнедуйбержцы наградили певцов аплодисментами. После чего господин Харчмайер вынул из квадратной шкатулки два небольших серебряных кубка и серебряную пивную кружку, поставил их в финишном створе и возвестил:

— Чемпионат деревни объявляю открытым. В программе забег мужчин и забег женщин. Перебежки после фальстарта отменяются, иными словами, допустивший фальстарт снимается с соревнований. Первыми стартуют женщины, за ними старт примут мужчины; надеюсь, все ясно. Зрители могут осмотреть призы.

Господин Харчмайер указал на серебряные сосуды. Господин Грачман был тут как тут и общелкал сосуды. Женская команда в полном составе выстроилась на старте, дрожа и безумно нервничая.

Хотела победить Фанни Тюльмайер, хотела победить госпожа Харчмайер, да и Марианна тоже во что бы то ни стало хотела победить.

— На старт! — дал команду господин учитель, хотя все давно уже были на старте.— Внимание!— крикнул он.— Марш!

Подруги-соперницы затрусили ходкой рысцой.

Каких только досадных недоразумений не приключилось на дистанции. Тита Низбергер запуталась шипом левой кроссовки в шнуровке правой, споткнулась из-за этого, упала и распрощалась со всеми шансами на успех. Карин Верхенбергер тоже споткнулась — отчего неясно,— чтобы не бухнуться, оперлась на пену и была дисквалифицирована. Тюльмайеровой Фриде вступило в бок — на нервной почве,— и она передвигалась как черепаха.

Рогмайерова Кристль, которая и без того звезд с неба не хватала, никак не могла совладать с дулом: оно все время давало осечки. Позже выяснилось, что батареи подсели.

Волмайерова Эви и Быкмайерова Труда шли по дистанции старательно, но недостаточно резво. Посреди поляны пена у Труды вышла из повиновения, вильнула в сторону; растерявшись, Труда погнала пену не туда, куда следовало, и в результате прикатила ее обратно к старту. Госпожа Низбергер и госпожа Верхенбергер старались изо всех сил, но вскоре сильно отстали. Быкмайерша и Волмайерша тоже быстро вышли из игры. Лидировали госпожа Харчмайер, Марианна и Фанни, преследуемые госпожой Тюльмайер. Ребята, то есть мальчишки, что сгрудились у финиша, подбадривали Марианну и Фанни. «Жми, жми!»— орали они. «Марианна, Марианна!»— ревели одни. «Фанни, Фанни!»— ревели другие. Большинство взрослых болели за госпожу Харчмайер, потому что госпожа Харчмайер при своих несусветных габаритах была еще и коротконога. В глазах взрослых это вдвое повышало ценность ее скоростных качеств. Даже господин Тюльмайер без передыху скандировал (чего госпожа Тюльмайер ему никогда бы не простила, узнай она об этом): «Харч-май-ер-ша, Харч-май-ер-ша, хоп, хоп!» Но незадолго до финиша случилось непредвиденное. Госпожа Тюльмайер хотела обойти госпожу Харчмайер, госпожа Харчмайер этого не хотела, и вдруг обе оказались на земле. В ту пору в Верхнем Дуйберге не существовал еще спортивный арбитраж, посему этот инцидент не мог быть всесторонне проанализирован. Одни утверждали, что, дескать, госпожа Харчмайер подставила ножку госпоже Тюльмайер, а та, падая, в отместку увлекла за собой Харчмайершу. Другие божились, что-де своими глазами видели, как госпожа Тюльмайер не могла вырваться вперед: просто-напросто госпожа Харчмайер была быстрее. Тогда Тюльмайерша, обозлившись не на шутку, ухватила госпожу Харчмайер за брючину и рванула на себя. Обе женщины грянулись оземь как подкошенные.

На снимке репортера Грачмана, поймавшего объективом эту сцену, запечатлелась лишь могучая спина в соседстве с двумя к этой спине не относящимися короткими ножками, что не проясняло случившегося. Когда обе матроны очутились на земле, у зрителей вырвался слитный вопль ужаса. Он отвлек Марианну Харчмайер. Она оглянулась и в паническом замешательстве увидела дражайшую матушку поверженной. Сначала, на секунду, ее взяло сочувствие к маме, но через секунду взяла себя в руки она сама, вспомнив, что поклялась выиграть (кровь из носа). Однако момент был упущен! Фанни Тюльмайер финишировала, ее поздравляли, фотографировали, а господин Харчмайер увенчал ее венком из еловых веток и вручил серебряный кубок. Ну и расстроилась же Марианна, что там говорить. (Кстати,

после этого чемпионата между госпожами Харчмайер и Тюльмайер существует легкая, но уже во веки веков неустранимая неприязнь.)

После забега женщин настал черед мужчин. И тут надо пояснить еще одно обстоятельство, которое за праздничной суетой и перипетиями женского забега настолько отодвинулось в тень, что на него никто внимания не обращал. Вот какое обстоятельство: господин Харчмайер хоть и расточал улыбки направо и налево, хоть и вручал награды и распевал во всю глотку дуйбольный гимн и еще тряс руку репортеру Грачману, однако все это время в нем кипела дикая злость на Ханси, которую он не мог в себе побороть. И все время шпынял Ханси. Он брюзжал, что сгорает со стыда из-за Ханси, что Ханси самый выдающийся пентюх и слизняк во всей округе, что у Ханси даже цветной подвески для дула нет, что ему до любого примерного и спортивного малого как до луны и что, наконец, Ханси позор здешних мест. Тут и в Ханси мало-помалу стала подниматься дикая злость. А поскольку отвечать отцу Ханси побаивался — господин Харчмайер раздавал затрещины часто и с удовольствием,— то злость в Ханси разрасталась. Никогда в жизни его еще так не распирало от злости. От такой дикой злости у него даже дыхание перехватило. Он стоял на старте, между господином пастором и Губертом Лисмайером. Злился он не только на отца. Он злился на всех верхнедуйбержцев, и на свою заляпанную навозом пену, и на свое дуло — на весь белый свет. Ему хотелось лишь одного: вернуться домой, забиться в самый темный угол и выть, кусая кулаки.

Господин учитель крикнул: «На старт, внимание, марш!» Затем свистнул. Ханси со всей яростью нажал пусковую клавишу дула и яростно погнался за своей пеной. Господин пастор, Лисмайер, Губерт и все остальные верхнедуйбержцы просто глазам своим не верили! (Они же не подозревали, что его гнала вперед злость.) Ханси обогнал всех до единого! Финишировал он с огромным отрывом.

Господин Харчмайер добрался до финиша последним. Тем не менее улыбался он от уха до уха. Он бешено гордился сыном. Он считал, что Ханси самый славный малый на всю округу. (Вот как скоро изменяют отцы подчас свои мнения.)

Господин пастор проиграл достойно: он пожал руку Ханси. Лисмайеров Губерт не был столь смиренен. Его бы воля, он был дал Ханси хорошего пинка. Все ж и он протянул Ханси руку. Потому что для него это была единственная возможность попасть в кадр — репортер Грачман не жалел пленки на чемпиона. Но после он сказал детям учителя и Титусу:

— Надул он нас всех, сам поди тренировался втихаря! А еще недотепу из себя корчил, только чтоб мы его всерьез не принимали! Хорош гусь!

Супер-люкс-прием-банкет

В воскресном выпуске «Вестника долин», той самой газеты, где служил господин Грачман, можно было увидеть снимок Ханси. Как он пожимал руку Губерту. На заднем плане просматривался господин пастор. (Но узнать его мог лишь тот, кто запомнил, что футболка в непомерно крупную полоску и клетчатый галстук — форма господина пастора.)

Под фотоснимком была заметка:

Долина Дуя дуется в дуйбол!

Из-за отсутствия снега жители долины реки Дуй изобрели новый вид спорта, которым можно заниматься без снега, вооружась дулом и пеной. На нашем фото победитель деревенского чемпионата (слева) со вторым призером (справа). На заднем плане (без головы) пастор скромной общины, с улыбкой взирающий на охваченных спортивным азартом юных прихожан.

Губерт Лисмайер снимку обрадовался: как-никак вторым призером (справа) был он. Ханси от фото было ни горячо ни холодно. Господина пастора оно возмутило. В конце-то концов он вовсе не «взирал с улыбкой», а тренировался как одержимый и пробился в призеры. Господин пастор сказал господину Харчмайеру:

— Осел этот Грачман!

Харчмайер озадаченно почесал в затылке. Затем позвонил в газету репортеру Грачману. Грачман сказал: в том, что перепутали победителей, он не виноват. Виноват наборщик. А в том, что его репортаж обкорнали, виноват главный редактор. Дуйбол, заявил он, совершенно неинтересная тема.

— Вы тоже так считаете? — спросил господин Харчмайер в трубку и побелел как полотно.

— Что вы, что вы! — завопил Грачман до того пронзительно, что слышно было даже господину пастору, стоящему рядом с Харчмайером.— Я и вас люблю, и вашу игру! Но только,— тут Грачман сделал паузу,— надо подумать о толковой рекламе. В наше время без рекламы ничего путного не сделаешь!

И еще, сказал Грачман, он-то сам работает в незаметной газетенке, на мировые события нисколько не влияющей. Солидные газеты и журналы — вот кому бы написать о Верхнем Дуйберге!

— Но кроме вас в мире прессы я никого не знаю! — запричитал господин Харчмайер. — Даже если их пригласить, разве ж они соизволят приехать!

Грачман и Харчмайер еще долго висели на телефоне. Говорил в основном Грачман, а Харчмайер тряс головой, успевая в редких паузах промямлить: «Н-да, вон оно как, ну, мы тогда, значит...» Прощаясь, он сказал:

— Ладненько, дорогой господин Грачман, заранее благодарю и надеюсь, что вы это для нас сделаете!

— Что этот Грачман для нас сделает? — спросила Марианна.

— Он нам в газетной типографии билеты отпечатает,— сказал господин Харчмайер.

— Автобусные? — спросила Марианна.

— Пригласительные! — сказал господин Харчмайер.

— Куда это он нас приглашает? — не унималась Марианна.

— Не будь дурой,— нахмурился господин Харчмайер,— мы приглашаем всех корреспондентов и всех редакторов изо всех главных газет. Всю прессу созовем!

— Так они и приедут! — хмыкнул Ханси.

— Не каркай! — взорвался господин Харчмайер.

Билеты, что отпечатали по заказу господина Грачмана, были размером со школьную тетрадь. На лицевой стороне зеленая корова с красными рогами выдувала из носа розоватое облачко, которое своим острием упиралось в большой красный шар. Под коровой изящной вязью было выведено:

ВЕРХНИЙ ДУЙБЕРГ — КОЛЫБЕЛЬ ДУЙБОЛА.

И ниже в скобках:

(ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА БЕЗ ЦЕПЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ).

И еще ниже, без скобок:

ВЕРХНИЙ ДУЙБЕРГ ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС НА СУПЕР-ЛЮКС-ПРИЕМ-БАНКЕТЕ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ДУЙБОЛЬНОГО СЕЗОНА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРЕССЫ.

На оборотной стороне сообщалось:

1. Приветствие прибывших журналистов — господин бургомистр.
2. Бык на вертеле и бочковое мартовское пиво у Харчмайера.

3. Молодая дуйбольная поросль под управлением господина учителя исполнит дуйбольный гимн. (Соло на губной гармошке — госпожа учительша.)
4. Старинная фруктовая наливка, копченое сало по-верхнедуйбержски, подовый хлеб.
5. Господин учитель знакомит журналистов с правилами дуйбола. (Имеются различные информационные материалы.)
6. Вручение представителям прессы сувенирных пен и дул.
7. Общий танец, жаркое из свинины и салаты — продолжение приема-банкета.
8. Ночлег в гостинице господина Лисмайера. Номера с душем. (Расходы берет на себя правление общины Верхнего Дуйберга.)

— Ну, уж если это не выгорит... — сказали довольные Харчмайер и Лисмайер, когда на заседании совета общины была зачитана оборотная сторона пригласительного билета, и все прочие члены совета одобряюще закивали. Только крестьянин Рогмайер — он должен был выставить быка на вертеле — сокрушался:

— Деньжищи-то какие уйдут!

— Зато потом туризм все с лихвой окупит! — урезонивал его Тюльмайер.

— Да откуда у меня туристы возьмутся, от сырости? — упорствовал Рогмайер.

— Очень ты, мил человек, узко мыслишь,— вступил в разговор господин учитель. — Во-первых, что лично тебе мешает пускать постояльцев; надо только чердак соответственно обустроить. Во-вторых, отныне в нашем селении вводится въездная пошлина, стало быть, община получит средства, на эти средства мы новую дорогу отгрохаем, и ты больше никогда не будешь застревать в грязи на своем тракторе!

Это и Рогмайера убедило. Новая дорога стоила в его глазах одного упитанного бычка.

На супер-люкс-прием-банкет прессы понаехало видимо-невидимо. На Главной площади яблоку негде было упасть, не то что машину припарковать.

Бык на вертеле источал ароматы, Харчмайер почал уже седьмую бочку пива, журналисты без конца щелкали Ханси и Фанни и брали у них интервью. Под тяжелым взглядом Харчмайера Ханси с опаской долдонил одно и то же:

— Еще бы, еще бы, я ужас как люблю дуйбол, это просто ужас как здорово!

Братья и сестры во прессе были едины в своей оценке: Ханси скромный дуйбольный вундеркинд, сохранивший детскую непосредственность и простодушие.

Ближе к полуночи, когда журналисты поглотили не только всего быка и все пиво, но и вдосталь шнапса, сала и подового хлеба, господин учитель и господин Тюльмайер перешли к вручению памятных сувениров.

Журналисты ликовали, как дети. Они схватили пены с дулами и умчались в яснозвездную ночь гонять пены взад-вперед по всему Верхнему Дуйбергу. Потом им приспичило устроить ночное первенство среди журналистов. Рогмайер, Волмайер и Быкмайер подогнали тракторы к поляне и врубили фары. Ханси все это видел из своего окна. Ночной тарарам, учиненный прессной братией, не давал ему заснуть. Ханси вспомнил журналистку, которая спросила его, когда он шел спать:

— Ну, юный поклонник спорта, король пен, как чувствуем себя в роли лучшего пенодува?

Ханси чувствовал себя гадко. Он отошел от окна, лег на кровать

и закрыл глаза. Но спать не мог. Чрезмерно громкий гогот мужчин и повизгивание женщин звучали жутковато. Ханси было страшно.

Через два дня, под вечер, Верхенбергеры и Низбергеры собирались обратно в город: в школе начинались занятия. Уезжали и два подзадержавшихся газетчика. Один сильно перебрал спиртного и переел жареного на супер-люкс-прием-банкете, после чего долго отсыпался — в оздоровительных целях — на лисмайеровских перинах.

Другой же до того увлекся дуйболом, что оторваться не мог от дула и пены. Не зная усталости, скакал он по долине и установил, что пену можно гонять по слаломной трассе, а еще задувать вверх по склону.

Это неожиданное открытие он сделал благодаря Ханси. Дело было так: наутро после супер-люкс-прием-банкета Ханси, хмурый и невыспавшийся, отправился на большую поляну, где наблюдал за журналистом, который в телячьем восторге носился за пеной. (Все его коллеги еще спали.) Журналист обрадованно сказал Ханси:

— Не ты ли тот юный кудесник, что первенствовал на деревенских игрищах?

Ханси мрачно кивнул.

— Не обучишь ли своей технике?

Ханси покачал головой; не из дерзости, а потому, что никакой техники у него не было.

— Пятьдесят шиллингов в час,— приманивал журналист, он вытащил из бумажника две сотенных купюры и сунул их Ханси под нос.— Одна утренняя тренировка — и они твои!

Ханси снова покачал головой, потому как был он парень из порядочных. Без сомнения, он бы и дальше качал головой, если бы не увидел бегущую к поляне Марианну.

Еще издали она крикнула:

— Ханси, а ну домой живо, у нас свинарник, а не ресторан! Мама велела, чтоб ты шел со всеми убираться!

Ханси еще рано утром осмотрел ресторанный зал и КОТ, воистину, такого свинарника он в жизни не видел. Битые рюмки, опрокинутые пепельницы, обглоданные бычьи мослы, горчичные разводы, лужицы разлитых напитков на полу. У Ханси волосы встали дыбом. Марианна еще раз позвала: «Идем же, Ханси!»

И тут Ханси срочно принял решение. Он схватил две сотенные купюры, буркнул журналисту «спасибо», а сестре сказал:

— Недосуг мне с вами убираться. Не видишь, я господину редактору урок дуйбола даю?!

Рассвирепев, Марианна удалилась ни с чем. Ханси призадумался. «Скажи я ему, жмите, мол, на эту кнопочку и — вперед,— думал Ханси,— так на пятьдесят шиллингов это явно не потянет! Тогда он, чего доброго, денежки обратно потребует, а я — иди колупайся по колено в грязи!»

Тогда-то Ханси изобрел дуйбол-слалом и «альпийскую горку». И еще кучу всякого-разного: что начинают строго с левой ноги, что бежать надо на особый манер — пригнувшись и ссутулившись, что время от времени желательно менять темп.

А поскольку газетчик жаждал брать уроки и после обеда, и на следующий день, Ханси пришлось подстегнуть свою фантазию. Среди прочего он сочинил: дуйбольную закладку, дуйбольный накат, маленький и большой экспресс, плотное ведение пены и резаный поддув, укороченную хватку...

(Лисмайеров Губерт и учительские отпрыски стояли на краю поляны и внимали Ханси с раскрытыми ртами. Они думали, что рассекретили его чемпионские уловки и хитрости!)

За два дня Ханси заработал четыре раза по двести шиллингов, что его, конечно, радовало. Однако кроме шиллингов ему досталась и

одна затрещина. Когда Ханси махал вслед своему отъезжавшему ученику, рядом с ним стоял господин Харчмайер. Он тоже помахал. А потом спросил Ханси:

— Ну, Ханси, теперь у тебя, считай, целый капитал! Что делать-то с ним станешь? Купишь себе что-нибудь этакое?

Ханси кивнул.

— Что же купишь? — полюбопытствовал отец.

— Новые лыжи!— выпалил Ханси. И получил затрещину.

Двое особенных

Изо дня в день шли теперь в Верхний Дуйберг газеты. В каждой сообщалось что-нибудь про местечко и про новый спорт, про Ханси и Фанни. Фанни улыбалась с двух обложек толстых иллюстрированных журналов, Ханси — с трех. И еще в семнадцати газетах было интервью с Ханси. Ханси читал их и сам себе изумлялся; он узнал о себе невероятно много нового, о чем даже не подозревал.

А потом произошло вот что: Ханси сидел на скамейке у входа в ресторан со слезами на глазах и четырьмя красными отметинами на левой щеке. Господин Харчмайер отвесил ему очередную затрещину, потому что Ханси вертел туда-сюда водопроводный кран на стойке бара, зажимая отверстие большим пальцем, и обрызгал господина Харчмайера.

Пока Ханси сидел и размышлял, не разреветься ли ему как следует, подошла Фанни Тюльмайер. Она посмотрела на щеку Ханси и спросила:

— По уху схлопотал?

Ханси кивнул.

— Позволяешь? Ну и дурак! — презрительно фыркнула Фанни.

— Он же намного сильней,— сказал Ханси.

— Да он против тебя ничто! — сказала Фанни.— Ты чемпион, у тебя три цветных фото на обложках плюс семнадцать интервью!

— Ну и что?

— Что, что? Да ничего! — Фанни подсела к Ханси.— Где ж это видано, чтоб чемпион подставлял щеку тому, кто последнее место занял! Лично я себя больше в обиду не даю. Сегодня мама сказала, чтоб я шла заниматься, а я ей заявила: ладно, я позанимаюсь, только потом ни к пене, ни к дулу даже не притронусь! После этого мама об учебе не заикалась!

— Честно?

— Честно! — кивнула Фанни.— Мы с тобой, Ханси, в данный момент ОСОБЕННЫЕ! И мы будем последними идиотами, если этого не используем!

— Мой папа и твоя мама — это, знаешь, не одно и то же,— засомневался Ханси.

— А давай проверим!

Фанни затолкала Ханси обратно в ресторан.

Харчмайер, господин учитель, Тюльмайер и Лисмайер сидели за столом клиентов-завсегдатаев и читали друг другу выдержки из газет.

— Чего он у тебя на дух не переносит? — спросила Фанни тихо.

— Когда пивные бокалы горкой составляют,— сказал Ханси.

— Тогда именно это и сделай!

Ханси зашел за стойку. Фанни притулилась к кофейному автомату. Ханси снял три стеклянных пивных бокала с полки, взял еще три рюмки, поставил их на бокалы. Взял еще три рюмки, поставил сверху. Харчмайер оторвался от газеты, вяло бросил: «Кончай, парень, кокнешь бокальчики!»

Ханси достал еще три бокала. Стеклянная башня выросла уже на метр.

— Немедленно прекрати, кому сказано! — гаркнул Харчмайер. Ханси, как ни в чем не бывало, шарил по полке.

Харчмайер взвился и с поднятой рукой бросился к стойке. Фанни преградила ему дорогу. Она сказала с улыбочкой:

— Скандал в Верхнем Дуйберге! Бургомистр избивает чемпиона!

Харчмайер руку опустил.

— Что это ты мелешь?

— Я-то ничего не мелю,— отозвалась Фанни.— А вот если вы его поколотите, газеты все так и распишут!

Господин Харчмайер развернулся на 180 градусов, подсел к столу и снова углубился в газеты. А Ханси не мог опомниться от изумления.

В это же время в гостинице «Лисмайер» раздался телефонный звонок. Госпожа Лисмайер сняла трубку. На проводе было бюро путешествий «Орлы-бродяги». Три автобуса, набитых отдыхающими, предложили госпоже Лисмайер на ближайшие выходные «Орлы-бродяги». Госпожа Лисмайер была счастлива, и когда через час позвонили из турбюро «Альпийский коготь», она могла с гордостью сказать:

— Сожалею, но весь январь уже расписан, вот в феврале еще местечко нашлось бы!

«Альпийскому когтю» и февраль подходил.

Вскоре все верхнедуйбержцы прослышали об этих звонках, и по деревне пошел гулять слух.

Слух такой: «Отдыхающие едут!»

Неделю спустя Тита Низбергер получила от Марианны Харчмайер письмецо:

«Тита, дорогуша,
жаль, что вас тут сейчас нет; все забито отдыхающими. Тюльмайер открыл пункт проката дул и пен. Но некоторые прихватили пены с собой. Лисмайер из одноместных номеров сделал трехместные, мы число блюд увеличили, а порции мяса уменьшили.

Ханси и Фанни зарабатывают прорву денег — каждый день дают уроки дуйбола. Я могла бы это делать с не меньшим успехом, да никто ко мне в ученики не рвется. Вчера Ханси взял меня ассистенткой, и я битый час вдалбливала одной толстухе, что, когда движешься по косогору вверх, ступни надо выворачивать «елочкой», а туловище максимально наклонять вперед. Десять шиллингов перепало мне от Ханси, тогда как толстуха дала ему пятьдесят. Ко всему в придачу у меня ломит поясницу от долгого показа в скрюченном положении.

И от отца мне теперь вдвойне достается: Ханси он пальцем не трогает — из-за чемпионского звания.

Самой пену погонять некогда, целый день на кухне кручусь да помогаю маме на столы накрывать. В остальном все у меня хорошо.

Будь здорова.

Твоя Марианна Харчмайер».

Тита Низбергер ответила таким письмом:

«Милая Марианна,
большое спасибо за письмецо. У нас тоже все в порядке. В школе скука. Титус ежедневно делает дуйбольную разминку, хочет Ханси в каникулы победить.

Папа сказал, если дела и дальше так пойдут, то в Америку поедем железно. Спортивные магазины заказывают все больше дул.

Были у нас в гостях Верхенбергеры. Сам Верхенбергер наладил выпуск разноцветного пенопласта. Обещал подарить на той неделе

красную пену и сиреневую. У меня как раз сейчас любимый цвет — сиреневый!

Всего тебе доброго и хорошего, до встречи через выходные,

Твоя Тита Низбергер».

Мистер Сэм Промоузглинг

Случилось это в самый обычный день. В среду.

Ни одного отдыхающего из тех, кто заезжает лишь на выходные, не было. Зато было дюжины две нормальных зимних отпускников. Одна дюжина как раз сидела у Харчмайера за предобеденной кружечкой пива, половина другой утюжила дуйбольную поляну, оставшиеся полдюжины с дулом и пеной штурмовали пологий склон горы.

Господин Тюльмайер снял с витрины последнюю глубокую тарелку и водрузил на ее место розовую пену.

САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА — ПЕНА ДЛЯ ИГРЫ В ГОРАХ! — написал он на картонке и укрепил ее на пене. (С недавнего времени в продаже появились слаломные пены и горные — альпийские — пены. Альпийские пены были полые и потому весили еще меньше обычных.)

Верхнедуйбержские ребята сидели в школе, и господин учитель пытался внушить им, что кроме дуйбола надо еще уметь хорошо читать, писать, решать уравнения.

Ханси, которому было задано подсчитать, сколько будут стоить 7,3 *кг* яблок по 12 шиллингов 80 грошей за килограмм, черкал что-то под партой в маленьком блокноте. Он составлял график своих дуйбольных занятий на вторую половину дня:

2—3 госпожа Бум
3 — 4 господин Бум
4 — 5 фройляйн Шпиц
5 — 6 господин Шмальц (трактор с фарами!).

Ханси прикидывал, у кого бы попросить трактор и во сколько обойдется расход аккумуляторов (на горящие фары). Прикидывая, он глядел в окно. Взгляд его блуждал по Главной площади, вокруг фонтана. Вдруг Ханси увидел, как подкатила огромная легковая машина. Длиннющий черный лимузин с переливчато-зеленым ветровым стеклом. Из машины вылезли трое господ, столько же дам, собака и ребенок. У мужчин на головах были тирольские шляпы, на ногах синие джинсы, а их солидные животы обтягивали дубленые полушубки. Дамы были в меховых шубах. Собака была затянута в костюмчик из розоватой пленки — торчала только головка, куцый хвост и лапы. На ребенке были кожаные штаны, курточка, расшитая национальным орнаментом, и лисий треух с лисьим же хвостом. Хотя все окна в классе были закрыты, Ханси расслышал, как одна дама сказала «laaaveli», а один из господ сказал «wooonderful».

Ханси поднял руку.

— Господин учитель, выйти можно — живот схватило!

Господин учитель кивнул, Ханси выполз из класса. Пулей вылетел из ворот пришкольного участка, обогнул здание школы и нос к носу столкнулся с лимузинными господами. «Американцы,— частенько говаривал его отец,— американцы, вот что нам нужно!»

Ханси знал несколько слов по-английски. Он вырос перед лимузинными господами и сказал по-английски, с акцентом:

— Пошли, пошли есть и пить, пошли хорошо есть и пить!

Американцы сначала отказывались. Но собачке в розовопленочном костюмчике Ханси понравился, и когда Ханси распахнул дверь отцовского ресторана, собачка шмыгнула туда первой. Американцы

как привязанные покорно двинулись за ней. Ханси сдал собаку и американцев с рук на руки своему отцу и помчался в школу.

— Долго же ты пропадал,— сказал господин учитель Ханси.

— Живот адски скрутило,— ответил Ханси.

Следующим уроком было чистописание; его Ханси вовсе терпеть не мог. Он то и дело поглядывал в окно. Нацарапав очередную скособоченную букву, он тут же стрелял взглядами в окно. После двенадцатой буквы он увидел, как на Главную площадь въехала еще одна машина. Маленькая замызганная легковушка с табличкой ПРЕССА на лобовом стекле. Из нее вылезли двое мужчин с фотоаппаратами, футлярами, длинными волосами и в кожаных пальто. Они осмотрели черный лимузин спереди, сзади, с боков и понимающе переглянулись. Они заглянули внутрь лимузина и опять переглянулись. Потом стали озираться по сторонам.

— Простите, мне опять надо! — взвыл Ханси и при этом изобразил на лице такое отчаяние, что господину учителю и в голову не пришло, будто Ханси мог лукавить.

— Только живо! — разрешил господин учитель.

И Ханси исчез. Опять через черный ход, через пришкольный участок, вокруг школы, прямо к длинноволосым мужчинам.

— Не могу ли я вам помочь? — спросил он.

— Можешь, сын мой,— сказал один.

— Где мистер Сэм Промоузглинг и его свита? — спросил другой.

— Мы сидим у них на хвосте! — сказал первый.

— Они что, преступники? — насторожился Ханси.

— Миллионеры! — рассмеялся другой.

— Этот мистер Сэм Промоузглинг из тех баснословных богачей, что не сходят со страниц толстых иллюстрированных журналов. Для нас каждый его вздох важен.

— Он в ресторане сидит.

Ханси довел двух мужчин до входа в отцовское заведение, после чего снова вернулся к чистописанию. И одолел еще целых три буквы.

Мистеру Промоузглингу и его семейству в Верхнем Дуйберге понравилось. Они отведали жаркое из свинины и клецки и все нашли «wonderful». После обеда они пожелали, чтобы им продемонстрировали дуйбол. Его они тоже нашли «wonderful». Что до мистера Промоузглинга, то он не прочь был и заночевать в Верхнем Дуйберге, но мисс Промоузглинг всенепременно требовался апартамент из трех комнат и два телевизора. Ничего подобного Лисмайер предложить не мог. Кроме того, Промоузглинги забыли взять с собой собачьи пилюли. А розовой собачке каждый вечер всенепременно требовались одна красная и одна голубая пилюля — чтобы шерсть не лезла.

Вечером мистер Промоузглинг и сопровождающие его лица отбыли из Верхнего Дуйберга. А двое мужчин с фотоаппаратами отщелкали четыре пленки и исписали три блокнота.

— Жалко, он у нас не остался,— грустно сказал господин Лисмайер одному из фотографов.

— Не гневите бога! — возразил ему фотограф. — Старина Сэм через пару часиков будет на вес золота!

— Ну уж,— сказал Харчмайер,— на столько они не наели. Три леди выпили за ужином по чашке чая, а собачке дали полбулочки!

— Никакого соображения! — заметил другой фотокор. — Соль не в том, что едят Промоузглинги, а в том, что будут есть все те, кто любит есть там, где ели Промоузглинги!

— Ага! — сказал Харчмайер. Он направился к себе, взял меню и вписал внизу в пустые графы:

Свинина а-ля Сэм с клецками
Кура по-американски а-ля миллионер

Секрет Промоузглинга
Филе «Черный лимузин».

Госпожа Харчмайер, изучив дополнения, очень удивилась:

— Но, котик, в моей поваренной книге такого нет, я этого не готовлю!

— Да ты это и так каждый день готовишь! — сказал Харчмайер.— В переводе на нормальный язык это значит: жаркое из свинины с клецками, кура с рисом, сосиски с подливой и тресковое филе!

— Но ведь то же самое есть выше! — снова удивилась госпожа Харчмайер.

— И пусть, а внизу написано специально для тех, кто специально приедет, чтобы отведать того же, что кушал рекламный миллионер! — ухмыльнулся господин Харчмайер.

— Но они же взяли только чай с бутербродами! — сказала госпожа Харчмайер.

— Эй, женщина,— сказал с угрозой в голосе господин Харчмайер,— если ты хоть одной живой душе проболтаешься, тебе это выйдет боком!

Госпожа Харчмайер поклялась, что ни одной живой душе не проболтается. Господин Харчмайер уселся за стол для постоянных посетителей и задумался над тем, что Промоузглинги могли пить — вино, шампанское или водку.

— Шампанское лучше всего подойдет,— решил он,— на нем я больше всего заработаю!

По следам Промоузглингов

Прав оказался фотокорреспондент. Мистер Сэм Промоузглинг был на вес золота! Стоило появиться в популярном иллюстрированном журнале БОЛЬШОМУ РЕПОРТАЖУ О БОЛЬШОМ ЧУДАКЕ СЭМЕ, как на Верхний Дуйберг началось нашествие. Господину Харчмайеру от себя как бургомистра пришлось выправить себе же удостоверение транспортного полицейского инспектора, а господина пастора он оформил помощником инспектора.

Штука в том, что неподалеку от Верхнего Дуйберга был крутой поворот, где дорога сужалась. Двустороннее движение там было невозможно. Раньше — даже в самые снежные времена — в Верхний Дуйберг наезжало от силы десяток машин. И десяток машин уезжало. И никаких проблем не возникало, так как одна из отъезжающих машин крайне редко встречалась — именно на этом узком вираже — с одной из приезжающих. Теперь же картина изменилась: сплошной автомобильный поток змеился в гору, в Верхний Дуйберг, а оттуда сползал встречный автопоток. В теснине, на повороте, оба потока бешено засигналили и заревели моторами, пока не замерли. Вскоре гул стоял от Верхнего Дуйберга до самого шоссе, проходящего далеко внизу.

Тогда-то господин пастор встал у верхнего окончания поворота, а господин бургомистр у нижнего. У каждого было по двухцветному сигнальному жезлу. Они отрегулировали на повороте односторонний проезд. Когда пастор показывал зеленую сторону, бургомистр поворачивал свой жезл красной стороной. Пастор пропускал всегда ровно тридцать семь машин, после чего свистел в два пальца и переворачивал жезл красной стороной.

Заслышав пасторский посвист, бургомистр тут же давал зеленый сигнал. Так машины и курсировали, по тридцать семь штук — вниз-вверх. Господин пастор и господин бургомистр с ног валились от та-

кой работы. Управлять дорожным движением без соответствующей сноровки куда утомительнее, чем отпускать пиво или принимать исповеди.

Господин Харчмайер к вечеру до того намаялся, что с трудом выдавил из себя: «Ну и славно, эхма», когда его жена, сияя от счастья, сообщила:

— Котик, что я тебе скажу! Сегодня такое было! Двенадцать бочек пива ушло и триста пар сосисок, да десять тортов, да целая свинья!

В противоположность ресторану магазин «Тюльмайер» был совершенно пуст: витрина, прилавок, стеллажи. Лишь несколько баночек с кремом для обуви на верхней полке.

— Генеральную уборку делаете? — спросил Ханси у Фанни.— Полки очистили, чтоб лучше пыль вытирать было?

Фанни прыснула:

— Что ты несешь! Мы все распродали подчистую. Сперва дула, и пены, и хлебцы под сосиски, и подвески для дул, и бутсы, и сырные булочки, и печенье, и горнолыжные очки, и видовые открытки, а когда они кончились, мы торговали солонками и ластиками. А под самый разбор один типчик даже на корм для цыплят клюнул. Им бы только купить чего-нибудь.

Марианна сказала:

— Сестры Зудмайер себе помощников подыскивают. Они уже не успевают вязать на всех желающих трехпалые рукавицы!

Губерт сказал:

— А нам бы двух горничных нужно. Мама одна не успевает менять постельное белье!

Учительские сыновья сказали:

— Пасторская кухарка ящик красок себе купила и гору чашек. На всех чашках корябает: «Привет из Верхнего Дуйберга». А в старом загоне для коз она отборную рухлядь собрала: скамеечку для дойки, сенные вилы, кадки из-под масла, коровьи колокольца. Говорит, лавку антикварную откроет.

Дети Рогмайера, Волмайера и Быкмайера сказали:

— А мы еще один этаж надстраиваем — квартирантов пускать будем!

В один прекрасный день среди машин, нескончаемой чередой тянущихся к Верхнему Дуйбергу, оказался большой грузовик. Гружен он был внушительного вида деревянным контейнером. Верхнедуйбержцы поджидали грузовик на Главной площади. В деревянном контейнере был упакован памятник, заказанный господином пастором. Памятнику отвели место напротив фонтана, перед школой. Памятник был импозантен и резан из дерева. Поначалу господин Харчмайер держал прицел на самый незамысловатый памятник первому дуйболисту, но потом решил все же, что многофигурный памятник лучше. Тем более у них вообще никакого памятника не было.

Многофигурный памятник состоял из фигуры дуйболиста с дулом и деревянной пеной, майского деревца [1], фигуры доблестного воина, остова рождественской елки и двух цветочных венков. Первый дуйболист стоял в полный рост перед майским деревцем, доблестный воин лежал головой к майскому деревцу, между ним и первым дуйболистом покоилась деревянная пена, перед ней стоял елочный остов. Все это с обеих сторон обрамлялось цветочными вазонами. Верхнедуйбержцы были в восторге.

Те, кому удавалось выкарабкаться из автомобильной пробки и попасть в Верхний Дуйберг, чтобы выучиться дуйболу и кушать там,

[1] Украшенный лентами и венками шест во время праздника весны.

где кушал мистер Сэм Промоузглинг, тоже были в восторге от памятника.

Но, как на зло, в те выходные дни, когда во всем селении царили воодушевление, благолепие, яркое солнце, а на каждый квадратный метр приходилось по три туриста, все невзгоды и начались! Чего ни один человек, кроме Ханси, не заметил.

Дело было в те выходные, когда в деревню снова приезжали Верхенбергеры и Низбергеры. Ханси, который дружил с Карин, поджидал у путевого указателя «мерседес» Верхенбергеров. Ждал он четыре часа и уже трясся от холода, как овечий хвост. Наконец, «мерседес» появился, за ним показался и «БМВ» Низбергеров. Завидев Ханси, Карин на ходу вылезла из машины, что было проще простого, поскольку автокараван продвигался черепашьими темпами.

— Где это вас носило? — сказал Ханси, стуча зубами. — Я чуть концы не отдал!

— Я сама думала, что концы отдам! — простонала Карин. — С шести утра безвылазно в этом дурацком сундуке!

С шести утра прошло более семи часов. А до Верхнего Дуйберга даже черепашьими темпами добираться значительно меньше.

— Загибаешь,— сказал Ханси.

— Не загибаю ни капельки! — воскликнула Карин. — Мы четырнадцать долин из девяноста семи объездили!

— Зачем?

— Затем, что папа и господин Низбергер побывали там во многих магазинах и у многих бургомистров!

— Зачем?

— Затем, что многие магазины и бургомистры обратились к папе и господину Низбергеру!

— Зачем?

— Да затем, что многие магазины и бургомистры тоже хотят закупить у них пены, дула и все прочее!

— Зачем?

— Затем, что там сейчас тоже снега не густо, весь почти сошел. К тому же дуйбол сейчас в большой моде!

Тут уж Ханси перестал спрашивать — «зачем».

Ханси было наплевать, что господа Низбергер и Верхенбергер сбывали свои пены и дула где-то на стороне, но Ханси знал, что его отцу на это далеко не наплевать. Вообще-то надо бы ему все немедленно рассказать, подумал Ханси. Вообще-то плевать я хотел на это с высокой колокольни, подумал Ханси и никому ничего об этом не сказал. Но на другой день все же справился у Карин, сколько пен и дул намечено продать. Карин посмотрела в книге заказов своего отца. Она сказала:

— Очень много, Ханси!

Ханси и Карин долго внимательно изучали книгу заказов. Они установили, что каждая долина заказала по нескольку пен, но одна долина, тридцать седьмая слева, затребовала триста красных пен, двести зеленых и сто синих да еще сотню малышовых пен в горошек. Долина и само местечко в долине назывались Альпийское Колено.

Карин сказала:

— Да, да, теперь припоминаю. Они заказали еще дикое количество дул. Они тоже хотят стать центром дуйбола!

— У них что, не все дома? — спросил Ханси.

Карин пожала плечами.

— Как раз все. А вот снега у них нет, а деньги зарабатывать, небось, тоже хочется!

— Тогда у них скоро такая же петрушка будет, как здесь!

Ханси и Карин сидели в комнате Карин. От дома Карин до деревни — кусок приличный. Тем не менее по узкой просеке перед ста-

ринным деревенским домом парами фланировали отдыхающие. Словно школа для взрослых совершала экскурсию.

Карин посмотрела в окно. Она сказала:

— Тоже ничего хорошего. Может, у нас тогда что-то изменится. Может, все в Альпийское Колено переберутся или разделятся. Половина тут, половина в Альпийском Колене!

— Моего отца тогда удар хватит! — сказал Ханси.— Он ни одного клиента так просто не отдаст!

Чтоб отца удар хватил — это ему совсем не улыбается, думал Ханси, возвращаясь домой.

Еще три дня Ханси мучительно думал, сказать или не сказать отцу про Альпийское Колено. На четвертый день отец завел его в свой бургомистерский кабинет. Там, на письменном столе, лежал большой лист бумаги, расчерченный непонятными линиями.

— Ну-ка взгляни на это,— сказал он гордо.

— А что это? — спросил Ханси.

— План переустройства подъемника,— объяснил Харчмайер.— Пора наши старые подъемники переделывать в спусколифты!

Спусколифты будут опускать в долину дуйболистов, упражняющихся в альпийской горке.

— А не слишком ли дорого обойдется такая перестройка? — осторожно спросил Ханси.

Отец кивнул. Затраты на переоборудование подъемника намного перекроют финансовые средства, которыми располагает совет общины Верхнего Дуйберга.

— Возьму заем в сберкассе,— сказал папа.— Потом, по мере роста доходов, все обратно верну.

Господин Харчмайер, довольный, поглядел в окно.

— Раньше здесь даже на кирмес [1] такого наплыва не было! — сказал он.

Ханси посмотрел на чертеж, на схему спусколифта. Он подумал: все-таки надо ему про Альпийское Колено сказать, не то назанимает денег, а рассчитаться потом не сможет.

Ханси сказал:

— Пап, ты Альпийское Колено знаешь?

— Смехотворная, богом забытая дыра. Глухомань: кроме леса и семи домов — ничего,— презрительно сказал господин Харчмайер.

— Вчера Низбергер и Верхенбергер ездили в Альпийское Колено.

— Что ж они там поделывали? — спросил господин Харчмайер с удивлением, но без тени беспокойства.

— Они у бургомистра были!

— У Штиллеромута? — Господин Харчмайер все еще сохранял спокойствие.

Надо ему это как-то с подходом преподнести, подумал Ханси. Но никакой подход на ум не приходил. И он бухнул:

— Они пены и дула продавали, Альпийское Колено тоже хочет стать центром дуйбола!

Что папа распсихуется, ясно было заранее, но что он ухватит Ханси за свитер и начнет трясти его, как старый половик, на это Ханси не рассчитывал.

Ханси взвыл:

— Ой, папа, пусти! Ай, папочка, честное-пречестное, папулечка, святая правда, уй, па-а-а-па!

Господин Харчмайер отпустил сына. На миг взгляд его подернулся печалью, потом он снял с вешалки тирольскую шляпу с кисточкой, нахлобучил ее на свой квадратный череп и сказал Ханси тихо и хладнокровно:

[1] Ежегодный церковный праздник, сопровождаемый ярмаркой и народными гуляниями.

— Ну, парень, теперь молись, чтоб обошлось без упокойников!

Молиться Ханси не стал, он побежал за отцом. Но так, чтобы тот его не заметил. Это было несложно: господин Харчмайер несся прямиком, не оборачиваясь, бормоча под нос какие-то угрозы, расталкивая отдыхающих, которые попадались на его пути.

Протаранив деревню, он грузно потопал к двум старинным деревенским домам.

Низбергер и Верхенбергер стояли у входа в верхенбергеровский дом. Харчмайер направился к ним. Ханси видел, как трое мужчин скрылись в доме, а потом начался жутчайший ор. Разобрать что-либо было невозможно — все трое надрывали глотки одновременно. Ор достиг такой силы, что Ханси почудилось, будто соломенная крыша заходила ходуном.

Потом внезапно наступила гробовая тишина. На душе у Ханси кошки заскребли — ведь он не молился насчет упокойников. И он принялся торопливо молиться, и молитва его возымела действие. Теперь снова можно было услышать и даже разобрать голоса.

Низбергер говорил:

— Я коммерсант, дорогой вы мой, я продам пену любому, кто пожелает. В конце-то концов, я — пенопроизводитель. Почетный член совета общины — моя побочная функция.

Верхенбергер говорил:

— Точку зрения моего соседа разделяю «от и до»!

Харчмайер говорил:

— Это ваше последнее слово?

Видимо, это было их последнее слово, так как сразу же вслед за этим из старинного деревенского дома, тяжело ступая, вышел господин Харчмайер. Он так саданул кулачищем по висевшему у двери коровьему колокольцу, что он очумело зазвенькал. Тут Харчмайер увидел своего Ханси и прогремел:

— Пошли, парень, здесь нам делать нечего! И чтоб ноги твоей здесь больше не было, понял? Для нас они умерли! Подлецы этакие! У них одно на уме: деньгу заколачивать!

Ханси топал рядом с отцом вниз, в деревню. У него язык чесался спросить отца, что у того самого на уме, кроме заколачивания денег, но он не решался: отец был вне себя от бешенства.

Тем временем Титус Низбергер отписал своей тете Мелании такое письмо:

«Дорогая тетя Мелания,

не чаю, как убраться отсюда, потому что кругом народу больше, чем людей, и потому что папа поругался с Харчмайером из-за того, что Харчмайеру не хочется, чтобы папа делал хорошие деньги. Всем ребятам общаться с нами запретили, больше всего от этого страдает Карин, теперь они с Ханси встречаются тайком. А Тита с Марианной встречаются еще более тайно. Теперь уже тут хорошего мало, не то что раньше. А кто на самом деле виноват, не знаю. Тита говорит, это будто бы все из-за снега, которого нет. А ты как думаешь?

Твой племянник Титус».

Черные щиты из жесткого волокна

В школе, в первый учебный день после каникул, господин учитель произнес небольшую речь, в которой заявил, что отныне Верхний Дуйберг вступает в битву с Альпийским Коленом.

— Ура! — взревел класс.

Губерт сказал:

— Я у отца дробовик попрошу!

Юные Рогмайеры решили вооружиться вилами и точильными брусками, юные Быкмайеры надумали обшить трактор броней, Фанни предложила воевать антикомариными аэрозольными распылителями.

— Тихо, тихо! — пытался перекричать класс господин учитель.— Речь идет совсем не о такой битве! Мы же не дикари! Я имел в виду битву рекламную!

И он призвал ребят сочинять рекламные лозунги, первоклассные рекламные строчки, которые приваживали бы всех в Верхний Дуйберг и отваживали бы от Альпийского Колена.

— Сейчас же и приступайте! — сказал господин учитель. — Каждый рифмованный лозунг засчитывается как классная работа, всем поставлю оценки!

Ученикам раздали по листу отличной бумаги. В процессе лихорадочного творческого поиска Фанни перегрызла свой карандаш напополам.

К концу урока господин учитель собрал все работы.

Вот что сочинил Губерт:

Верхний Дуйберг — могучий циклоп,
Альпийское Колено рядом с ним — клоп!

Вот что сочинила Фанни:

Даю дешевый урок дуйбола.
Фанни Тюльмайер из Верхнего Дола!

Вот что сочинила Марианна:

В нашей деревне
Любой воробей
Умеет ловко
Дуйболить — ей-ей!

Михаэль, сын учителя:

Верхний Дуйберг очень знаменит.
Альпийское Колено
его не заменит!

Мартин, сын учителя:

Здесь скачут по горам
И дуют по долинам.
Проезжий, дуй сюда —
Часочек подари нам!

Быкмайерова Труда:

Играй в дуйбол отныне
Лишь в Дуйбергской долине!

Ханси сочинил:

Без лыж — грустишь!
Без снега — с овчинку небо!
От пены и дула —
Сводит скулы...

Губерт, Михаэль и Быкмайерова Труда получили по пятерке, Фанни получила четверку, потому что написала о себе самой, а не о Верхнем Дуйберге. Мартин получил четверку, потому что его реклама, сказал господин учитель, хороша как для Верхнего Дуйберга, так и для Альпийского Колена. А настоящая реклама такой быть не должна. Марианна получила четверку, так как господина учителя не устраивали «воробьи». Он считал, что воробей — тварь убогая, и как бы кто не подумал, будто в Верхнем Дуйберге вообще нет никакого комфорта.

Ханси получил кол, и господин учитель сказал, что на такую жалкую халтуру ему даже слов жалко.

Изречения Губерта, Михаэля и Труды дети написали очень крупными разноцветными буквами на огромных щитах из жесткого волокна.

Вечером господин Лисмайер погрузил их в свой автофургон, съехал на нем вниз, к шоссейной дороге, и прибил эти щиты к стволам деревьев.

Наутро к гостинице «Лисмайер» подкатил возчик пива на пивном фургоне. Этот колесил по всей округе, объезжая все девяносто семь долин. Господин Лисмайер болтал с пивовозом перед гостиницей, они калякали о том о сем. И вдруг пивовоз сказал:

— Я тут сегодня на шоссейке, внизу, такое видел — без пол-литра не разберешь! Сразу на трех толстых деревьях к стволам здоровые щиты приколочены, как ночь черные!

— Черные как ночь — без букв? — спросил Лисмайер. Пивовоз кивнул и продолжил:

— Но это еще куда ни шло. Самое удивительное, что там же крутился бургомистр Альпийского Колена. С кистью. Неужели, спрашивается, человек не мог себе занятия получше найти, чем малевать на щитах? Да еще в такую холодину?

Пивовоз взглянул на господина Лисмайера, желая понять, не находит ли и господин Лисмайер это странным. Лисмайер не был способен на вразумительный ответ. От ярости он был способен лишь глотать открытым ртом воздух.

— Что с вами? — спросил в испуге пивовоз. — Вам плохо?

Лисмайер проскрежетал:

— Конкурент садится на шею!

Пивовоз внимательно осмотрел шею Лисмайера, но кроме жировой складки толщиной в палец ничего не обнаружил.

Альпийское Колено должно преклониться

Вскоре сражение Верхнего Дуйберга с Альпийским Коленом разгорелось не на шутку. Верхний Дуйберг наседал, Альпийское Колено отбивалось, изредка показывая когти.

Вдоль шоссе уже на каждом дереве висело по щиту. Иногда на щитах можно было прочесть:

АЛЬПИЙСКОЕ КОЛЕНО
ЖЕМЧУЖИНА ВСЕЛЕННОЙ!

Иногда можно было прочесть:

ИГРАЙ В ДУЙБОЛ ОТНЫНЕ
ЛИШЬ В ДУЙБЕРГСКОЙ ДОЛИНЕ!

Но чаще всего щиты сверкали свежей черной краской. Секретные ночные десанты трудились не покладая рук и на совесть. К примеру, за одну только ночь верхнедуйбержцы 14 раз замазывали

АЛЬПИЙСКОЕ КОЛЕНО — РАЙ ДЛЯ СПОРТСМЕНА.

12 раз

СЕГОДНЯ ВСЯ ВЕНА — У АЛЬПИЙСКОГО КОЛЕНА!

и 20 раз

ЛУЧШАЯ ДУЙБОЛЬНАЯ АРЕНА
ЖДЕТ ВАС У АЛЬПИЙСКОГО КОЛЕНА.

Однажды ночью два враждующих дозора столкнулись за перекраской. На другой день как учитель из Верхнего Дуйберга, так и учитель из Альпийского Колена ходили с лиловыми фингалами под глазом.

Но самый напряженный поединок развернулся вокруг трехпалой рукавицы. Уж тут-то, казалось, авторские права сестер Зудмайер были неоспоримы. Но вдруг в Верхний Дуйберг просочилась весть, что две старушки в Альпийском Колене круглыми сутками вяжут дуйбольные рукавицы — по зудмайеровскому образцу.

Так как сестры Зудмайер в свое время не подумали запатентовать трехпалую рукавицу, теперь даже суд был бессилен.

— Была б я мужиком,— сказала Анна Зудмайер.

—...я бы съездила туда и отдубасила этих старых перечниц,— сказала Мария Зудмайер.

— Но тогда надо, чтоб эти две старые перечницы тоже стали мужиками,— сказала Анна.

— ...ведь стань мы мужиками, мы бы не опустились до того, чтобы дубасить старух! — сказала Мария. И обе они тяжело вздохнули. Но мысль о мести их все же не отпускала. И обе они придумали великую месть, которая осуществлялась так: перво-наперво они заманили к себе в дом Тюльмайерова пса. Из всех собак в округе этот кобель обладал самой большой коллекцией самых жирных блох. Они вычесали из его шерсти двенадцать отборных блох-гренадеров и пересадили их в спичечный коробок; потом они дали спичечный коробок и бумажку в сто шиллингов пивовозу. Тот посчитал, что сто шиллингов просто с неба свалились. Ему надо было всего лишь заехать в Альпийское Колено к двум вязальщицам, порыться у них в сундуке с трехпалыми рукавицами, открыть спичечный коробок, а потом сказать:

— Жаль, моего размера нет!

После этого он был свободен.

Пивовоз выполнил задание с блеском. Две блохи перепрыгнули на старух-вязальщиц, одна забралась в кармашек для большого пальца той самой рукавицы, которую день спустя купил бургомистр, а девять других вызвали небольшую, но бурную панику среди постояльцев гостиницы. Будто бы четверо из них — особенные чистоплюи — подхватились и тут же перекочевали в Верхний Дуйберг.

Однако ж столько блох, чтобы выкурить всех гостей Альпийского Колена, у Тюльмайерова пса в наличии не имелось. Совет общины вынужден был с глубокой озабоченностью констатировать: отныне газеты расточали в адрес Альпийского Колена не меньше похвал, чем в адрес Верхнего Дуйберга. Они там тоже провели деревенский чемпионат, и победителями в этом чимпионате стали Флори и Аннамари Лесниц. Близнецы! Газетчики обожают близнецов, поскольку близнецов обожают читатели. Газетчики буквально проходу не давали близнецам. Господин Харчмайер насчитал в общей сложности шестнадцать интервью с близнецами Лесниц плюс четыре фото на обложках. У господина Харчмайера стали сдавать нервы. Его бесили подписи под фотографиями.

В одной газете написали:

ВСЕ ВЗОРЫ ПРИКОВАНЫ К АЛЬПИЙСКОМУ КОЛЕНУ!

В другой:

ЧУДО-БЛИЗНЕЦЫ ИЗ АЛЬПИЙСКОГО КОЛЕНА!

В третьей:

АЛЬПИЙСКОЕ КОЛЕНО НА ГОЛОВУ ВЫШЕ ВСЕХ!

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, было то, чтс Альпийское Колено посетил Сэм Промоузглинг со свитой!

Тут уж Харчмайер, и Лисмайер, и Тюльмайер сказали на совете общины в один голос:

— Борьбу следует ужесточить!

Против борьбы выступил только господин пастор. Он не очень разбирался в расширенном ассортименте блюд и в урезанных порциях мяса, в пустых прилавках и забитых гостиничных номерах. Зато он худо-бедно знал толк в дулах и пенах. И он сказал:

— Откровенно говоря, было бы интересно поглядеть, чего стоят хваленые дуйболисты Альпийского Колена. У нас, чего скрывать, традиции куда более давние! Чего скрывать: мы в состоянии их победить!

— Именно! — с жаром подхватил господин учитель.— Мы же колыбель и цитадель! Мы корифеи!

— В таком случае что нам мешает,— сказал господин пастор,— провести чемпионат страны? И пусть дрожит тогда Альпийское Колено!

— Пастор, ты гений! — воскликнул Харчмайер.

Он бы на радостях облобызал пастора, но пасторов целовать нельзя. К тому же пастор спешил — на церемонию дуйбольного венчания. Дуйбольные венчания стали очень популярны. Венчающиеся под руководством пастора совершали обряд в полном дуйбольном облачении. В руках у невесты — букет из мини-пен, у жениха на плече — дуло. После обряда, если было не очень холодно и ветрено праздник продолжался на воздухе, в новом дуйбобаре, который Харчмайер соорудил у большой поляны. А госпожа учительша наигрывала на губной гармошке:

Два сердца бились в унисон
В одном дуйбольном ритме.

А также:

Вó поле дуйбольном повстречалися
Вó поле дуйбольном повстречалися.

Совет общины направил в Альпийское Колено письмо — заказное — с вызовом на дуйбольный поединок в рамках чемпионата страны. Особенно подчеркивалось, что чемпионат должен состояться в Верхнем Дуйберге.

Альпийское Колено ответило отказом. Тамошние дуйболисты хотели устроить чемпионат на большом косогоре за местной церквушкой. Собственно, они вообще никакого чемпионата не хотели, так как побаивались «дуйбольного самородка из Верхнего Дуйберга» — то бишь Ханси — очень и очень.

Поэтому бургомистр Альпийского Колена написал в совет общины (написал он гораздо больше, ниже дается только самое главное):

«...и не вижу возможным проведение чемпионата страны между двумя лишь населенными пунктами, тогда как первейшая заповедь спорта гласит: в чемпионате страны обязательно участие представителей минимум трех различных населенных пунктов.

Три (цифрой — 3) это закон!

Для любых чемпионатов — страны, Европы, мира.

Либо втроем, либо без нас.

Физкультпривет!

Бургомистр Альпийского Колена».

— Отвертеться хочет,— крякнул с досады Харчмайер.

— Презренный трус,— отрезал Тюльмайер.

— Третий нужен, и точка! — подвел итог Лисмайер.

Харчмайер обзвонил всех соседей. У них хоть и были кое-какие пены и дула, но еще и кой-какой снежок. Так что чемпионат им был даром не нужен. Да и ввязываться в дуэль «Дуйбергская Долина — Альпийское Колено» они не пожелали.

Совет общины пришел в отчаяние!

Как-то поутру Ханси и Фанни стояли на большой поляне. Другие ребята были в школе. Ханси и Фанни отпустили на тренировку. Дабы шлифовать и без того выдающиеся способности. Фанни тренировалась старательно, отвлекаясь лишь на то, чтобы сказать пару ласковых Ханси, который слонялся как неприкаянный. Она упрекала его в полном отсутствии спортивного честолюбия, в том, что он позор нации, и даже заявила, что вскоре, на чемпионате, он станет разочарованием в национальном масштабе.

— Да не будет никакого чемпионата, они же третьего найти не могут! — вяло отбивался Ханси.

— Дурак и не лечишься! — прикрикнула на него Фанни.— Чемпионат будет!

— Бредишь? — Ханси хмыкнул.

— А вот и нет! — крикнула Фанни.— Своими ушами слышала. Они промежду собой шушукались, а завтра всем скажут, и дяде Густаву они уже написали!

Никакого дядю Густава Ханси не знал.

— Дядя Густав — это мой дядя, который сорок лет назад уехал в Новую Зеландию, но он очень привязан к родине и уже давно собирается с детьми и женой сюда — повидаться!

— Ну и что? — спросил Ханси. Он не улавливал, какая тут связь.

— Пока до тебя дойдет, сто лет пройдет! — воскликнула Фанни.— Раз он приедет, он же и будет командой Новой Зеландии! А так как дядя Густав за проведение чемпионата мира в Верхнем Дуйберге, то счет два один в нашу пользу, и этим из Альпийского Колена деваться некуда!

— А этот Густав, дядя новозеландский? Он разве имеет представление о дуйболе?

— Ханси,— сказала Фанни,— ты так ничегошеньки и не понял! Он приедет не выигрывать, а как третий участник!

— А-а,— протянул Ханси. Постепенно вся история прояснялась. Чертыхаясь, он включил дуло и погнал свою пену поперек поля сквозь петляющий частокол флажков.

Верхний Дуйберг готовится к бою

Дядя Густав пообещал. Он заверил, что прибудет с тремя сыновьями, женой и дочкой. А под видом председателя общества «Погонщики пен, Окленд, Новая Зеландия» он проголосовал за проведение чемпионата мира 15 марта в Верхнем Дуйберге. Верхний Дуйберг проголосовал за то же.

Альпийское Колено вынуждено было, волей-неволей и скрипя зубами, дать согласие. (Дядя Густав свалился на них как снег на голову!)

Верхний Дуйберг готовился к бою, а Ханси придумал одну штуку. Он высверлил, а затем вырезал в своей пене конусообразное отверстие. Дыра составляла 5 сантиметров (в диаметре) на 8 сантиметров (в глубину). Когда Ханси наводил воздушную струю точно в эту дырку, то шар делался намного послушнее и проще в управлении и скорость развивал гораздо более высокую. Чтобы никто этот фокус не рассекретил, Ханси придумал еще одну уловку. Он выкрасил выемку шара в ярко-красный цвет, а саму пену разукрасил ярко-красными

пятнами с дырку величиной. Определить, где пятна, а где дырка, было почти невозможно. Ханси и сам с первого взгляда путался.

А пока суд да дело, Тита Низбергер получила от Марианны такое письмо:

«Дорогая Тита,

Послезавтра чемпионат мира. Волнуемся все зверски. У нас даже комитет по выработке правил есть. В него входят один нейтральный бургомистр, два спортивных журналиста и почтальон. Они составили четкий свод правил. Заостренные нагрудники и подвески типа хвостового плавника запрещены, число шипов на каждой ноге — не более двенадцати. Перед забегами дула будут проходить контроль, чтобы исключить возможность надувательства, если кто захочет смухлевать и вмонтирует в дуло более мощный моторчик.

Намечено три старта: забег по пересеченной местности, слалом и альпийская горка. Будут определены победители на отдельных дистанциях и в комбинации. Мужчины и женщины стартуют раздельно. Таким образом, всего чемпионов может быть восемь. Папа заказал восемь кубков. От нас стартуют Ханси, господин пастор и Губерт, Фанни, мама и я. Из команды Альпийского Колена я знаю — по газете — только близнецов. Другие имена не говорят мне ровным счетом ничего. Кто побежит за новозеландцев, пока неизвестно.

Они прибудут сегодня вечером. Завтра вечером ждем радио, телевидение и прессу.

На время мирового первенства здесь повсюду установлены особые цены. На все, что покупается и продается. У нас в ресторане они выросли вдвое.

Ханси в блестящей форме, ничего не скажешь, хоть и тренируется из-под палки.

Наверное, он и вправду гений.

Твоя Марианна Харчмайер».

Жители Верхнего Дуйберга, по выражению господина Харчмайера, «все как один» работали на чемпионат мира. Телефоны трезвонили с раннего утра до позднего вечера: каждую минуту просили то забронировать номер на сутки, то заказать обед для автобусной группы. Журналисты интересовались талонами для прессы на круглосуточное питание и заранее договаривались о сроках возможного интервью с Ханси.

Прибавьте сюда уйму поставщиков, обрывавших телефонные провода. Им не терпелось всучить свой товар потребителю. Они обрабатывали Тюльмайера, внушая, что ему без 100 000 штук красных подвесочных лент либо 20 000 кофейных чашечек с надписью «Съездил в горы — выиграл годы» не обойтись.

Рогмайер, Быкмайер, Волмайер, Козмайер, Свинмайер, а также Курицмайер на одну ночь перед чемпионатом решили перебраться в стойла для скота, а также в курятник. В их комнатах на их хороших кроватях должны были ночевать за хорошие деньги хорошие гости чемпионата мира.

Тюльмайер весь верхний этаж отвел под покои для дяди Густава и его Погонщиков Пен, которые ожидались к вечеру. Входную дверь он украсил гирляндой из еловых лап и красных лент. Под ними висело приветствие:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВЕРХНИЙ ДУЙБЕРГ
ВСЕМ ПОГОНЩИКАМ ПЕН!

Двое репортеров загодя добрались до Верхнего Дуйберга и теперь, сгорая от нетерпения, ждали новозеландскую команду, чтобы первыми запечатлеть ее на пленке и разослать фото по газетам. Так они прождали, сгорая от нетерпения, до полуночи, с ними вместе

ждал и сгорал господин Тюльмайер и весь совет общины. Но Погонщики Пен не объявились.

Тут уж господин Тюльмайер (а с ним вместе поголовно весь Верхний Дуйберг) не на шутку взволновался. Глубокой ночью господин Тюльмайер дозвонился до столичного аэропорта и спросил, не садилась ли в последние несколько часов машина из Австралии, а если нет, не прилетало ли днем рейсовым самолетом из Австралии семейство Тюльмайер из Новой Зеландии. Девушка из аэропорта ответила, что господину Тюльмайеру надо дождаться утра, она вообще о таких вещах знать не знает.

Господин Тюльмайер лишился сна. Он ворочался в постели со спины на живот, с живота на спину. В шесть утра он снова позвонил в аэропорт, но там снова ответила девушка, которая «вообще о таких вещах знать не знает». К восьми служащих в аэропорту значительно прибавилось; господина Тюльмайера отфутболивали из отдела в отдел. Десять раз его пересоединяли. Наконец, он попал в искомое место. Искомое место изрекло:

— Сожалею, господин Тюльмайер, но никакой семьи Тюльмайеров в списке пассажиров, прибывших вчерашним рейсом, не значится.

— И Погонщиков Пен не было? — переспросил господин Тюльмайер.

Некоторое время на том конце молчали. По всей видимости, девушка изучала список, потом она сказала:

— Да, впрочем... да. Шесть мест забронировано Погонщиками Пен. Это известная дуйбольная команда!

У господина Тюльмайера отлегло от сердца.

— Хотя,— прожурчала девушка,— места их пустовали: Погонщики Пен снялись с рейса.

Господину Тюльмайеру опять прилегло к сердцу.

— Вы уверены? — спросил он.

— Более чем! — посуровел девичий голос, и трубку положили.

Во время разговора Харчмайер и Лисмайер нервно переминались с ноги на ногу, стоя подле Тюльмайера. Ему не надо было рассказывать, что он узнал. По лицу можно было догадаться, что ничего хорошего.

— Мы прогорели! — сказал Харчмайер.

— Сгорели дотла! — сказал Лисмайер.— Капитально!

Тюльмайер убито кивнул.

Поникшая троица вышла на Главную площадь, горестно обвела взором празднично убранную площадь, красно-зеленые коровьи флажки, еловые гирлянды над дверью тюльмайеровского дома, перевитый цветами скульптурный ансамбль и широкий, натянутый через всю площадь от церкви до гостиницы транспарант:

ВЕРХНИЙ ДУЙБЕРГ, СТОЛИЦА ЧЕМПИОНАТА МИРА, ПРИВЕТСТВУЕТ СВОИХ ГОСТЕЙ!

Лисмайер подумал о многочисленных наново обтянутых кроватях, которым суждено остаться пустыми, если чемпионат мира будет отменен. А ведь жена его даже по свежему бутону на каждый ночной столик поставила.

Тюльмайер подумал о девятнадцати ящиках с видовыми открытками, которым суждено остаться неотправленными. О двух тысячах кофейных чашечек, расписанных пасторской кухаркой. И еще о семи ларях, набитых подвесками для дул — дополнительный заказ под мировой чемпионат.

Харчмайер подумал в свою очередь о сосисках, лицо его при этом сделалось серым. В подвале ресторана уже не первый день ждали своего часа 1340 пар сосисок. Особо выгодная спецпартия фабрики колбасных изделий. Харчмайер рассчитывал сбыть во время чемпионата мира всю эту прорвищу сосисок. И еще он рассчитывал, что, страстно болея и одновременно поглощая сосиски, никто из го-

стей чемпионата не обратит внимания на странноватый привкус специй. Чем и объяснялась заниженная цена спецпоставки. Харчмайер вздохнул. Другим-то лучше, думал он. Кофейные чашки и кровати могут по крайней мере подождать. От них не убудет. А сосиски начнут дурно пахнуть. Притом вот-вот!

— До небес тухлятиной разить будет! — простонал Харчмайер.

В этот момент мимо потрясенной троицы прошествовал господин Низбергер. С женой и детьми приехал он на мировое первенство, чтобы пережить триумф выпускаемых им дул. Ведь кто бы ни вышел победителем, в руках он будет сжимать настоящее низбергеровское дуло.

Господин Низбергер услышал стенания Харчмайера. Господин Низбергер зла на верхнедуйбержцев не держал. Это они на него держали зло. Он-то как раз охотно ладил бы с ними. Что бы там ни было, клиентами они оставались безупречными, а с безупречными клиентами обходиться следует радушно.

Посему господин Низбергер остановился и спросил:

— Любезный Харчмайер, стряслось что-нибудь, может, я могу как-нибудь помочь?

Харчмайер был до такой степени угнетен убийственной перспективой в виде полного подвала протухших спецсосисок, что начисто забыл, какому врагу изливает душу:

— Новозеландцы не приедут!

— Не может быть! — всплеснул руками Низбергер и слегка побледнел. Пусть у него и не было подвала, забитого спецсосисками. Но чемпионат мира, транслируемый по телевидению, когда все участники орудуют дулами с его, низбергеровской, маркой, в глазах господина Низбергера представлял грандиозную ценность. Ведь на экране часто и подолгу маячило бы его имя и его продукция. Совершенно задаром! (Если учесть, сколько телевидение сдирает за полминуты рекламных врезок, нетрудно догадаться, почему господин Низбергер побледнел, да еще несколько дней назад ему сообщили, будто какой-то электрофабрикант подумывает наладить у себя выпуск дул. Дешевых дул, которые будто бы при том же числе оборотов расходуют значительно меньше энергии.)

Господин Низбергер снова вскричал:

— Не может быть!

Потом взял себя в руки.

— Без них никак нельзя! — сказал он.— Немедленно звоним в Окленд!

— Дорого встанет, однако! — пробормотал Харчмайер. Когда у кого-то подвал начинен спецсосисками, которые вот-вот протухнут, того на экономию тянет.

— Плачу́ я! — сказал Низбергер. (Десять минут связи с Оклендом, Новая Зеландия, обойдутся явно дешевле, нежели самая дешевая телереклама.)

Но до международного разговора дело не дошло. Появилась моторизованная почта — рассыльный Ксавер Калачек на своем мопеде вихрем пронесся между церковью и рестораном и вынесся на Главную площадь. Отдыхающие, поклонники зимнего дуйбола, автобусные экскурсанты, местные жители испуганно шарахались в разные стороны.

Ксавер Калачек на полной скорости подлетел к Тюльмайеру и так резко затормозил, что мопед развернуло. Ксавер Калачек вместе с мопедом рухнул на землю, но, падая, все же успел протянуть Тюльмайеру телеграмму.

— Телеграмма Тюльмайеру из-за океана! — выпалил он, задыхаясь, после чего был погребен мопедом.

Тюльмайер распечатал сложенную и склеенную телеграмму. Низбергер, Харчмайер и Лисмайер с любопытством глядели ему через

плечо. Они тоже читали текст. Их до того разбирало любопытство, усиленное общим нервозным состоянием, что они не только не дали Калачеку на чай, но даже не вытащили его из-под мопеда, чего Калачек по сей день забыть не может. («Потому у них к людям ни грамма уважения, на своей шкуре испытал»,— не раз повторял он впоследствии за рюмочкой.)

Телеграмма из-за океана извещала:

ГОСПОДИНУ ТЮЛЬМАЙЕРУ ЗПТ ВЕРХНИЙ ДУЙБЕРГ ТЧК ПРИБЫТЬ
НЕ МОЖЕМ ТЧК МАЛЬЧИКА СКАРЛАТИНА ТЧК
ДОМАШНИЙ КАРАНТИН СВЯЗИ
ОПАСНОСТЬЮ ЗАРАЖЕНИЯ ТЧК ПРИВЕТЫ ЗПТ ДЯДЯ ГУСТАВ
И ПОГОНЩИКИ ПЕН ТЧК

Телеграмма дрожала в дрожащих руках Тюльмайера. Теперь всем все стало ясно. Теперь ясно стало, что все кончено. Верхнему Дуйбергу теперь хана! (Так по крайней мере казалось Тюльмайеру.)

Но господин Низбергер вытащил телеграмму из пляшущих пальцев Тюльмайера. Он порвал ее на множество мелких клочков и бросил все эти мелкие клочки в урну, стоявшую рядом со скульптурным ансамблем.

— Хм, мужики,— молвил господин Низбергер,— мужики, никакой телеграммы не было!

— То есть как? — обалдело спросил Харчмайер.

— Мужики,— молвил далее господин Низбергер,— телеграммы вообще не было в природе, ни-ко-гда!

— Но она как-никак еще там! — Лисмайер указал на урну.

— А хоть бы и так,— сказал Низбергер тихо, но веско,— мы это забудем, мы этого не видели!

— Но я и сейчас ее вижу,— сказал Тюльмайер.

— Тогда вовсе не гляди в ту сторону! — потребовал Низбергер.— Все вы, трое, должны о телеграмме забыть!

Господин Низбергер откашлялся и сказал:

— Поскольку у меня созрел план!

— Не собрать ли совет общины? — спросил Харчмайер.

Низбергер энергично замотал головой и замахал на него руками. Ему думается, сказал он, это только повредило бы делу. Хоть план его по сути очень славный и очень добрый, но господину пастору и господину учителю он может не показаться.

— У этих, поди, сосиски не пропадают! — выкрикнул Харчмайер.

— То-то и оно! — подхватил господин Низбергер, затем четверо господ проследовали к ресторану и поднялись по лестнице в жилые комнаты семейства Харчмайеров.

Ханси догадывается

Ханси вышел на Главную площадь в тот самый миг, когда Ксавер Калачек рухнул с мопедом на землю. Он помог Ксаверу Калачеку выбраться из-под мопеда, отряхнул грязь с его брюк, а затем уселся на левую чашу для цветов, входящую в многофигурный памятник. Он слышал все, о чем говорили четверо мужчин. Правда, заглянуть Тюльмайеру через плечо он не мог. Поэтому о содержании телеграммы не догадывался. Однако чем-то все это показалось ему подозрительным! А особое подозрение внушало Ханси то, что четверо господ не захотели позвать на разработку плана ни господина пастора, ни господина учителя. Видно, план был уж очень коварный! Но еще более подозрительно, думал Ханси, что четверо господ направились не в ресторан, а в квартиру Харчмайера. Видно, это дьявольски коварный план, который нельзя обсуждать за кружкой пива!

Ханси подошел к урне. Он выгреб из нее все маленькие бумаж-

ные обрывки, какие удалось там обнаружить, сунул их в карман и помчался домой, к себе в комнату. Убрал со стола альбомы с фотографиями горнолыжников, фантики от жевательной резинки с изображением победителей кубка мира в скоростном спуске и разложил перед собой все бумажные клочочки. Некоторые он забраковал: те, что были либо от пакетиков со сладостями, либо от билетов на спусколифт.

Всего набралось более двадцати телеграммных обрывков. Как Ханси ни бился, получалась не нормальная фраза, а что-то невразумительное: ПРИБЫТЬ НЕ ЕМ СТЬЮ РАЖЕНИЯ ГУСТАВ ЩИК ПЕН

Ханси сам себе сказал:

— Какая разница, что там было еще. В любом случае дядя Густав приехать не может; это в свою очередь означает, что иностранной команды нет как нет и, следовательно, чемпионат мира должен быть отменен. Это и ежу ясно.

Ханси негромко присвистнул. Рядом с его комнатой была родительская спальня. Там-то и уединились Харчмайер и компания. Через стенку до Ханси доносилось лишь невнятное бормотание, ни одного слова разобрать было невозможно. Ханси приложил ухо к стене. Теперь отдельные слова прослушивались четко, но смысл по-прежнему не прояснялся. Он услышал: Козмайер, переодеть, одна нога — здесь, другая — там, Курицмайер, попытка не пытка, дочь Свинмайера...

Пока Ханси все еще ломал себе голову над тем, какие такие планы строил его отец в отношении Свинмайера, Курицмайера и Козмайера, мужчины вышли из спальни. В прихожей, перед самой дверью Ханси, они раскланялись и Харчмайер громко крикнул:

— Ханси, Ханси!

Ханси открыл дверь.

— Что случилось? — спросил он.

Он думал, отец хочет посвятить его в свои планы. Не тут-то было. Харчмайер сделал ему втык:

— Ты почему это дома околачиваешься? Делать больше нечего? Сию же секунду на тренировку, сию же секунду, живо, живо!

Ханси так и подмывало выдать отцу прямо в лицо все, что он знает и о чем догадывается, но у него хватило ума промолчать. Он лишь вяло промямлил:

— Ладно, ладно, иду, иду, ага, ага!

У перил Ханси оглянулся, посмотрел на отца голубиным взором и спросил:

— А что... Погонщики Пен уже здесь?

Ханси не сводил глаз с отца, но господин Харчмайер и бровью не повел.

— Сегодня вечером будут здесь!

— А во сколько?

— Много будешь знать, скоро состаришься! — повысил голос Харчмайер.— А ну живо на тренировку!

Спускаясь по лестнице, Ханси пробормотал как бы сам себе, но чтоб слышал отец:

— Хочется верить, они и в самом деле приедут, а то ведь мало ли что случиться может!

— Сию же секунду заткнись! Сию же секунду! — прогремел сверху Харчмайер.— Не то так взгрею, своих не узнаешь!

Ханси тихо улыбнулся и вышел на улицу. Он был на все сто уверен, что его не взгреют. Претендентов на чемпионское звание не бьют! И еще теперь он был на все сто уверен: затевается нечто в высшей степени странное, иначе его отец не завелся бы с пол-оборота.

Тюльмайерова Фанни, разумеется, уже давно крутилась на большой поляне. Она успела пройти трассу альпийской горки — вверх по тягуну, что за кладбищем, и семь раз отмерить размеченную госпо-

дином учителем дистанцию слалома. При этом господин учитель бешено подстегивал ее и фиксировал в тренировочном дневнике время по отрезкам.

— Абсолютный рекорд трассы, Фанни! — нахваливал господин учитель.

Фанни умирала от гордости, пока на поляне не появился Ханси со своей пятнистой пеной и не продемонстрировал такой искрометный слалом, что у Фанни в глазах потемнело. Она с трудом сдерживала слезы.

— Не горюй, Фанни,— утешал ее господин учитель,— Ханси ведь уникальный самородок, с ним никто тягаться не может. Лучше порадуйся, что именно на нас снизошла благодать в лице такого гения!

Что-что, а это Фанни понимала отлично, но легче от этого не было. Скорее наоборот.

Ханси тренировался до обеда. И до того изнывал от скуки, что беспрерывно зевал. Господин учитель дал ему четыре таблетки для восстановления сил. Господин учитель решил, что самородок переутомлен.

В обед, когда госпожа Харчмайер позвала «Хансиидиобедать!», Ханси незаметно улизнул. Обедать он не хотел. Вот уже три дня как он получал высококалорийное питание, специально предназначенное для спортсмена и составленное по рецепту какого-то знаменитого доктора.

Высококалорийный обед спортсмена состоял из одной свеклы, одной моркови-каротели, семи витаминных драже, двух чашек бодрящего напитка, одного лечебного хлебца и одной ложки глюкозы.

Ханси поднимался по тропке к двум старинным деревенским домам. Ему хотелось повидать Титу. Так как Ханси не был до конца уверен, можно ли отныне считать разрыв отношений между Низбергером и отцом, а также строжайший запрет на его дружбу с Титой отмененными, он не пошел в дом, а трижды прокричал кукушкой — это был условный сигнал. Затем он прокрался в старый коровник, где они с Титой обычно встречались, уселся на кормушку и стал ждать.

Пришла Тита, Ханси сдвинулся к краю, Тита села рядом с ним. Она сказала:

— Мог бы и в дом спокойно зайти, нам опять общаться можно. Старики помирились.

— Нормально,— бросил Ханси.

— Нет, давай уж лучше здесь посидим,— сказала Тита раздумчиво,— там и без нас не продохнуть: там Курицмайер с женой, Козмайер со старшим сыном и Свинмайерша с дочкой!

Ханси обалдело уставился на нее. Чтобы простые крестьяне к фабриканту Низбергеру в дом заходили — такого еще не было. Разве что Козмайеров сын корзинку с яйцами заносил или же Свинмайер соломенную крышу старинного деревянного дома подправлял.

— И чем они там занимаются, я не знаю,— продолжала Тита,— они меня просто-напросто выставили. Сказали, чтоб я не отсвечивала. У меня, видите ли, нос не дорос их дела обсуждать!

Тита надула губы и заметила, что ей, промежду прочим, глубоко безразлично, о чем они собирались с отцом говорить.

— А мне, Тита, совсем не безразлично! — воскликнул Ханси.— Чует мое сердце, тут что-то нечисто. И хотелось бы мне знать, что именно.

— У тебя, видать, тоже не все дома! — сказала Тита.

— У меня-то все дома! — ответил Ханси. И рассказал ей про то, что ему удалось невольно подслушать на Главной площади, восстановить по клочкам телеграммы и услышать через стенную перегородку у себя в комнате.

— Допустим. Ну и что же из всего этого следует? —спросила Тита.

— Что дело нечисто! Что тут обманом пахнет!
Тита Ханси не поверила.

Пеперлу нельзя!

В тот самый момент, когда Ханси и Тита сидели рядышком и Ханси делился своими подозрениями, а Тита внушала ему, что все эти подозрения ничего не значат, пока он хотя бы не узнает, кого и в чем следует подозревать, в тот самый момент они услышали, как кто-то плачет. Просто рыдает взахлеб. Они встали, вышли из коровника и в старом сарае, приспособленном господином Низбергером под любительскую столярную мастерскую, обнаружили Козмайерова Пеперла. Этот Пеперл Козмайер сидел на верстаке с зареванным лицом и в соплях. Пеперлу было пять лет. Тита ему симпатизировала — он косил в разные стороны, что встречается чрезвычайно редко.

— Пеперл,— сказала Тита,— чего ревешь?

— Бертль, что ли, врезал? — спросил Ханси.

Бертль — это старший брат Пеперла. Он чаще всего и доводил Пеперла до слез.

— Потому что они меня не принимают, говорят — нельзя! — хлюпал носом Пеперл.

— Чего нельзя, куда не принимают? — спросила Тита.

Пеперл ткнул пальцем в сторону старинного деревенского дома. Постепенно рыдания поутихли, и он смог объяснить:

— Всем жужжалку дали и мячик, а мне ничего не дали!

— Какую еще жужжалку, какой еще мячик! — Тита не могла ничего понять.

Пеперл с жаром затараторил:

— Ну, такая гоняльная машинка и белый мячик. Всем, всем досталось, только мне ничего не дают!

Он утер ладонью слезы с глаз и сопли с носа.

— Говорят, меня сразу по глазам узнают, потом я еще слишком маленький! — Пеперл опять завыл в голос: — Всегда я маленький!

— Кто получил пену и дуло? — спросил Ханси.

Пеперл сказал:

— Курицмайер, и папа, и Бертль, и старшая Свинмайер, и младшая Свинмайер!

— Хм, они что, тоже в дуйболисты записались?

Тита опять ничего не понимала. Пеперл пожал плечами.

— Как все это было, Пеперл? — спросил Ханси.— Когда это они успели заполучить дула и пены?

Пеперл снова ткнул в сторону дома и рассказал, что пену и дуло они получили только-только и сразу прогнали его. Говорят, это не для сопливых.

— Прямо как со мной! — сказала Тита.

— Ну теперь мне веришь? — спросил Ханси.

— А еще они денег за это потом получат! — выкрикнул Пеперл.

— За что деньги получат и от кого? — спросил Ханси.

Пеперл, захлебываясь от слез, изложил, что своими ушами слышал: отец и старший брат получат много денег, если все сделают как надо.

Ханси и Тита вытянули из маленького Пеперла еще массу подробностей. Постепенно сложилась такая картина: утром господин Низбергер с господином Харчмайером заехали к Козмайеру и долго с ним беседовали. После чего господин Козмайер-старший и Козмайер-младший сказали госпоже Козмайер:

— Плевая работенка за этакие деньги! Грех невелик, зато потеха большая! Так что мы согласные!

После этого они спустились к низбергеровскому дому, куда подошли также чета Курицмайеров и госпожа Свинмайер с дочкой Герти. Пеперлу велели сидеть дома, но он прокрался за ними следом. А потом Пеперл увидел, как господин Низбергер и господин Харчмайер раздают всем в комнате дула и пены. Тут Пеперл влетел в комнату и тоже потребовал пену, тогда они его и турнули. Больше Пеперл не знал ничего.

Тита Низбергер была огорошена. У нее в голове не укладывалось, чтобы ее отец просто так, за здорово живешь, раздаривал дула и пены. Ее отец отродясь ничего не раздаривал. В крайнем случае уступал чуть дешевле. С другой стороны, зачем это Курицмайеру, Свинмайерше и Козмайеру дула покупать. Сказал ведь Козмайер своей половине, что он думает заработать, а не потратиться.

— Ханси, что все это значит? — спросила Тита.

— Это мы сейчас и увидим,— сказал Ханси.

Он вытащил Титу из сарая-мастерской и повел ее к старинному деревянному дому.

— Скройся,— тихо приказал Ханси, когда они оказались у дверей деревенского дома.

Тита послушно скрылась. Они проползли на четвереньках под кухонным окном до первого комнатного окна. Ханси осторожно привстал, ровно настолько, чтобы заглянуть в комнату. Но низбергеровская комната была довольно большой. Ханси никого не увидел. Он увидел лишь пирамиду из пен да шесть дул на подоконнике.

— Айда к другому окну,— прошептала Тита,— они наверняка за столом сидят!

Ханси опустился на колени. Они поползли к следующему окну. Ханси снова привстал.

— Видно что-нибудь? — спросила Тита.

Ханси было видно. И не что-нибудь, а даже очень много. Ханси увидел сразу столько, что от изумления как раскрыл рот, так уже и не закрывал его.

— Ну что там? — Тита дернула Ханси за штанину.— Говори же!

Так как добиться ответа от Ханси не удавалось, Тита тоже приподнялась, заглянула в комнату и окаменела. За столом сидели ее отец и господин Харчмайер. Оба оживленно жестикулировали и что-то говорили. Что именно — разобрать было нельзя. А перед столом стояли крестьянин Козмайер и сын его Бертль. Но узнать обоих можно было с великим трудом. На них были джинсы, на них были рубашки в крупную клетку. У Бертля на носу сидели непомерно большие темные очки, а на головы у обоих Козмайеров были напялены ядовито-желтые шапочки с козырьками. Тут к ним подошла госпожа Низбергер, неся две куртки. Одну клетчатую — по моде американских лесорубов, а другую с длинным ворсистым мехом. Бертль влез в длинноворсный мех, Козмайер — в лесорубскую куртку. Но всех перещеголяла госпожа Курицмайер. Она стояла за Бертлем. На белых шпильках, в шелковом платье — голубом в фиолетовый цветочек — и накинутом поверх меховом манто. Голову ее украшала зеленая фетровая шляпа, густо облепленная мелкими искусственными цветами. В довершение всего на груди у нее болтались солнечные очки на золотой цепочке.

Господин Курицмайер и обе Свинмайерши в тот момент видны не были.

Тита прошептала:

— Меховое манто — это тети Мелании манто, она его из Америки привезла. Оно ей разонравилось, и тогда она его маме подарила — для деревни, на холодные дни!

— А другие вещи? — спросил Ханси.

— Все наше барахло,— тихо сказала Тита.— Кое-что мамино, кое-что папино, а что-то и мое. Раньше я любила игры с переодеваниями. На карнавал надевала зеленую шляпу с цветами. Американскую леди изображала, неужто не помнишь? У Харчмайера, на карнавальном балу!

Наконец, в поле зрения Ханси и Титы появились обе Свинмайерши. Старшая и молодая. Видик у них был тот еще, не менее курьезный, чем у госпожи Курицмайер. На молодой была шляпа с синими цветами, а на пожилой — с красными.

Тут как тут снова возникла госпожа Низбергер, держа большую связку теннисных туфель.

— Ух ты! — подскочила Тита.— Это ж все наши теннисные туфли. А вон те, с полосками, дядя Рихард с лета оставил!

Тем временем госпожа Низбергер раздала мужчинам теннисные туфли. (Собственного мужа и Харчмайера она обошла.) Козмайер и Курицмайер, согнувшись в три погибели, натягивали их на ноги.

— Кто же такие туфли посреди зимы носит? — спросил Ханси.

Американцы, видать, их и зимой таскают,— предположила Тита.

— А кто такие дебильные цветочные шляпы носит? — спросил Ханси.

— Ясно, американки! — сказала Тита.

— А джинсы — это тоже как в Штатах? И лесорубская куртка? И очки на золотой цепочке? И желтая кепочка с козырьком — тоже а-ля Америка? — допытывался Ханси.

Тита Низбергер кивнула. Ханси поскреб в затылке. Когда Ханси о чем-нибудь сосредоточенно думал, он всегда чесал в затылке. Не потому, что чесалось, а потому, что господин Харчмайер всегда так делал. (Сыновья перенимают многие забавные привычки своих отцов.) Кстати, господин Харчмайер — в комнате — тоже почесал в затылке.

— Ханси, на кой это Козмайеры, Курицмайеры и Свинмайеры хотят вырядиться под американцев? — спросила Тита.

— Думаю, этого хотят наши папочки! — прошептал Ханси и стремительно юркнул вниз, дернув за собой Титу, так как господин Низбергер внезапно посмотрел в окно.

— Но, Ханси,— сказала Тита, садясь на ледяную жесткую землю,— а им-то зачем это нужно?

— Надо пошевелить извилинами! — буркнул Ханси. Он принялся шевелить извилинами и так скрести в затылке, будто там гнездились полчища вшей. Он даже постанывал от напряженного мыслительного процесса. Тита следила за ним с восхищением. Сама она так здорово шевелить извилинами не умела. (К тому же дико промерзла, сидя на голой земле.)

Минут через десять усиленной мозговой деятельности Ханси вздохнул и сказал:

— Извини, Тита, но и я не могу понять, за каким чертом нашим предкам сдалось, чтобы деревенские превратились в американцев.

Ханси и Тита проползли на четвереньках под окнами обратно и вприпрыжку понеслись к сараю. Оба уже окоченели. В сарае было тепло — ведь это был не обычный сарай, а оборудованный под мастерскую. Господин Низбергер провел сюда центральное отопление.

Пеперл по-прежнему сидел на верстаке и ныл. В нытье Пеперл проявлял недюжинное упорство.

— Ладно, Пеперл, давай кончай! — цыкнула на него Тита. Маленьких плаксивых детей она не выносила.

— А этого я не хочу, не хочу — и все! — тянул Пеперл.

— Чего этого? — спросил Ханси.

Пеперл мощно шмыгнул носом, перебив плач, и сказал:

— Не хочу папу называть дядей Густавом! А они велят!

— Как называть велят? — Тита опять ничегошеньки не понимала.

— Говорят, дядей Густавом зови, а он — Франц! — возмущенно выкрикнул Пеперл.

— Пеперл спятил! — рассмеялась Тита.

— Пеперл не спятил! — сказал Ханси. Он снова поскреб в затылке и спросил:— А у американцев есть какое-то сходство с австралийцами и с новозеландцами?

— Никакого сходства у них нет, просто они такие же, тютелька в тютельку! — ответила Тита. Вдруг она уставилась на Ханси, пробормотала глухо и потрясенно: — Теперь я, кажется, все просекла!

Прибытие Погонщиков Пен

Сидя в сарае, Тита и Ханси в щелочку двери наблюдали, как их отцы вышли из старинного деревенского дома, как Харчмайер пожал Низбергеру руку и зашагал по дороге в долину и как Низбергер свистнул двумя пальцами. Своим свистом он вызывал господина Верхенбергера из другого старинного деревенского дома.

Затем Низбергер поспешил к своей машине, а Верхенбергер — к своей. Затем они укрепили на капотах небольшие белые флажки. На флажках были вышиты кенгуру. Затем Низбергер свистнул еще раз, и тогда двери старинного деревенского дома снова раскрылись и выпустили наружу шесть почти вылитых новозеландцев. Трое мужчин и три женщины — все из себя расфуфыренные, все из себя заграничные, все в крупных зеркальных темных очках.

— Женская команда, ко мне! — позвал господин Верхенбергер.

— Мужская команда, ко мне! — позвал господин Низбергер.

Три женщины под цветочными шляпами плотнее запахнулись в меха и засеменили на шпильках к ближнему авто.

Трое мужчин в козырчатых кепочках застегнули на все пуговицы клетчатые, лохматые куртки и двинулись к другому авто.

Трое господ и три дамы расселись по машинам. Низбергер и Верхенбергер уже включали зажигание, когда из дома вылетела госпожа Низбергер и прокричала истошным голосом:

— А дула и пены кто брать будет! И без багажа нельзя!

Господа Низбергер и Верхенбергер как ошпаренные выскочили из автомобилей и кинулись в дом. Вернулись они с дулами и пенами, а госпожа Низбергер тащила следом чемоданы, саквояжи и самолетные сумочки.

— Во дают! — выдохнула Тита.— И чемодан мой прихватили! И спортивную сумку!

Наконец, чемоданы и саквояжи были рассованы по багажникам. Дула и пены взяли на руки полунатуральные новозеландцы.

— Всего доброго, ни пуха ни пера! — крикнула госпожа Низбергер. Машины тронулись, но не в сторону деревни, а дорогой, ведущей к Нижнему Дуйбергу.

— Куда это они? — удивилась Тита.

— Они сейчас к Нижнему Дуйбергу прокатятся, оттуда вниз к шоссе идет через лес дорога,— уверенно сказал Ханси,— этим путем они и поедут, помяни мое слово!

— С какой же стати им такой крюк делать!

— Эти новозеландцы — они ж не могут со стороны Нижнего Дуйберга объявиться,— пояснил Ханси.— Это бы сразу в глаза бросилось!

Тита поджала губы.

— Как тебе все это нравится? — спросила она.

— Никак мне это не нравится,— твердо сказал Ханси.— Жульничество это!

— Жуликов надо выводить на чистую воду! — воскликнула Тита. (Отец ей это часто говорил.)

— Тогда тебе придется твоего отца на чистую воду вывести.

Тита задумалась.

— Можно я лучше твоего выведу?

— Только попробуй, я тогда твоего на такую чистую воду выведу!..— возмутился Ханси.

— Какой ты все-таки вредина! — возмутилась Тита, но тут же предложила: — Ладно! Давай Верхенбергера вместе на чистую воду выведем!

Поначалу Ханси идея понравилась, но потом, почесав в затылке, он пришел к выводу:

— Если мы на Верхенбергера укажем, они начнут копать и пронюхают, что наши родители с ним заодно!

— Что ж получается: мы никого на чистую воду выводить не будем? — спросила Тита.

Она была разочарована и раздосадована. Ей безумно хотелось вывести кого-нибудь на чистую воду! Ханси никаких эмоций не выразил. Ему все это абсолютно до лампочки, сказал он.

— Чувства справедливости у тебя нет! — горячилась Тита.

Ханси пожал плечами:

— Будет ли это дядя Густав из Новой Зеландии или ряженые нижнедуйбержцы — это что в лоб, что по лбу! Сам дядя Густав собирался приехать вовсе не за победой!

Сказав «а», надо было говорить «б», и он выложил все начистоту: и про свою пену, и про дырку в ней. Тита была сражена наповал.

— Кругом обман! — прошептала она чуть слышно.— Кругом обман!

Она грустно поковыряла в носу и сказала:

— Выходит, никакой ты не вундеркинд? Выходит, ты абсолютно нормальный ребенок!

Ханси с готовностью согласился, что он не вундеркинд, и ко всему заявил: в его глазах лавры самородка, проворнее других носящегося с феном за пенопластовым шаром, гроша ломаного не стоят!

Это Титу Низбергер убедило.

— Ну и что же нам теперь делать? — вопросила она.

— Да ничего! — сказал Ханси.— Нам вообще ничего другого не остается, как делать вид, будто мы ничего не знаем! Сейчас мы спустимся в деревню и будем лицезреть торжественный въезд Погонщиков Пен. А если все верхнедуйбержцы и все приезжие проревут «Дуй-дуй-урра!», и мы проревем вместе со всеми.

Ханси и Тита быстро зашагали под гору, в Верхний Дуйберг. На Главной площади, рядом с памятником, выстроился оркестр пожарников из Среднего Гнездорфа — это такое селенье в соседней долине по левую сторону. Оркестр играл дуйбольный гимн. Господин учитель стоял около оркестрантов. В руке он держал крупный лист очень плотной бумаги.

— Это приветственная речь для новозеландцев. Голову на отсечение! — прыснул Ханси в рукав.

Господа Харчмайер, Тюльмайер, Лисмайер также находились на Главной площади, равно как и туристы, репортеры, гости чемпионата мира. Тюльмайерова Фанни вела наблюдение из тюльмайеровского дома. Сверху, из чердачного оконца, дорога просматривалась до второго поворота, считая от Верхнего Дуйберга. Фанни зорко вглядывалась в даль. Вдруг она замахала красным платком и возопила:

— Я их вижу, я вижу их! Они на повороте!

— Едут! Новозеландцы едут! — загалдели встречающие.

Их горящие любопытством глаза впились в одну точку. Господин учитель встал по стойке «смирно». Пожарная капелла грянула в два

раза громче, репортеры расчехлили фотокамеры, а господин Лисмайер шепнул на ухо господину Харчмайеру:

— Настал наш великий час!

— Только бы не обмишуриться! — шепнул в ответ Харчмайер.

Ханси и Тита с трудом протиснулись сквозь плотную, в семь рядов, толпу зевак. Сначала их не хотели пропускать, но, узнав Ханси, люди, естественно, с готовностью расступались. Понятно, ему пришлось дать двадцать семь автографов. Едва Ханси и Тита оказались в первом ряду, как на Главную площадь въехали «мерседес» и «БМВ». Все захлопали, радостно загудели и дружно проскандировали:

— Спортсменам из Окленда привет! Погонщикам Пен привет! Дуй-дуй-урра! Дуй-дуй-урра!

Репортеры подбежали к машинам. Защелкали фотоаппараты, засверкали вспышки, задние ряды напирали. Началось немыслимое столпотворение. Погонщиков Пен чудом не раздавили. К счастью, в общем гаме никто не расслышал, как ругнулась Свинмайерша:

— Чтоб им всем повылазило, прости господи!

Пожарники наяривали втрое громче прежнего, господин учитель натужно ревел в микрофон приветственную речь. Никто не мог разобрать ни полслова. Репортеры наперебой интервьюировали Погонщиков Пен. Их интересовало, верят ли Погонщики Пен в свою победу, в хорошей ли они форме, чьи шансы, на их взгляд, предпочтительнее — Альпийского Колена или Верхнего Дуйберга — и какого они мнения о Ханси-самородке. Погонщики Пен улыбались за своими огромными очками, глубже надвигали на лоб свои шляпы-клумбы и козырьки и не произносили ни слова.

Тюльмайер, Лисмайер и Низбергер встали перед Погонщиками Пен, а сзади них стояли Харчмайер и Верхенбергер. Они выкрикивали:

— Команда Погонщиков Пен устала после дальней дороги! Ей нужен отдых!

Они стали теснить Погонщиков к убранному еловыми лапами входу тюльмайеровского дома, затолкали Погонщиков внутрь и заперли двери.

— Через две минуты у Харчмайера, в комнате для особых торжеств, начнется пресс-конференция! — объявил Лисмайер.

Всех репортеров как ветром сдуло. Следом за ними в КОТ устремились и туристы-болельщики. Им стало ясно, что Погонщики Пен притомились после длительного перелета и их лучше оставить в покое. Им вдруг нестерпимо захотелось выпить по кружке пива и съесть парочку-другую сосисок. В мгновение ока оба зала у Харчмайера были забиты до отказа. Госпожа Харчмайер спустилась в подвал и принесла три короба спецсосисок. (Между прочим, ни один из гостей не выразил своего неудовольствия от избытка специй. Большинство решило, что это особенно пикантный привкус горчицы.)

Пока же в тюльмайеровском доме произошло легкое недоразумение. Завидев выныривающие из-за поворота машины, Фанни опрометью бросилась вниз и стала поджидать гостей у входа. Когда на пороге дома выросли Погонщики Пен, теснимые членами совета общин, Фанни охватила безграничная радость. Ей так не терпелось узнать дорогого дядю Густава, и его жену, и всех остальных членов семейства! Она бросилась на шею самому большому и внушительному из трех мужчин. Она решила, что этот богатырь в клетчатой лесорубской куртке и есть ее дорогой дядюшка Густав. Так как Фанни весьма энергично набросилась на обладателя клетчатой куртки, у того с носа слетели солнечные очки. И хотя он их тут же водрузил на место, Фанни успела разглядеть, что у него прямо под глазом бородавка — с двумя седыми волосками сверху. У одного лишь Козмайера была такая бородавка. Фанни это страшно удивило.

Но еще больше она удивилась, когда кто-то из новозеландцев спросил:

— Теперича куда?

А когда госпожа Тюльмайер повела новозеландцев наверх, Фанни увидела на икре у одной дамы, той, что в зеленой цветочной шляпке, багровое родимое пятно. Точь-в-точь такое, как у Курицмайерши. После того как новозеландцы расселись в большой гостиной на втором этаже и госпожа Тюльмайер заперла за ними дверь, Фанни прокралась наверх и приложила ухо к этой двери. Она сразу услышала девчачий голосок:

— Мам, туфли жмут до невозможности, на пятке волдырь уже вскочил!

Фанни почудилось, будто бы она тысячу раз слышала этот голос. Спускаясь шаг за шагом по лестнице, Фанни бормотала себе под нос:

— Как же так — у Погонщиков Пен из Окленда голос не отличить от голоса Свинмайеровой дочки?

Фанни пошла на кухню. Она спросила маму насчет бородавки насчет родимого пятна на икре и насчет голоса. Но мама просто остервенела и наорала на Фанни:

— Какого рожна тебе надо, суешь нос куда не следует!

Фанни решила спросить отца. Она надела новую дуйбольно спусколифтовую куртку. Она вышла на улицу, протолкалась сквозь кучки любопытных, которым не хватило места в КОТе у Харчмайера и попыталась просочиться на пресс-конференцию. Но перед КОТом стояла на часах госпожа Харчмайер.

— Ступай-ка отсюда подобру-поздорову! Тебя здесь только не хватало! — сказала Харчмайерша Фанни.

Фанни это очень обидело. Ведь она была ни много ни мало местной чемпионкой и с ней связывали надежды на мировое первенство среди женщин. Она повернулась, успев все же показать язык госпоже Харчмайер, и выбежала из ресторана. Перед дверью она нос к носу столкнулась с Ханси и Титой.

— Что такая смурная? — спросил Ханси.

— Твоя мама меня к папе не пустила, а мне ему надо про Погонщиков Пен одну важную вещь рассказать,— прокричала Фанни на одном дыхании.

Ханси не сдержал улыбки.

— Даже очень важную вещь! — крикнула Фанни.

Тут Ханси не выдержал:

— Слушай, Фанни, я думаю, сейчас о твоей важной вещи никто слышать не захочет!

А Тита добавила:

— Разве что рассказать ее в Альпийском Колене!

Ханси и Тита ушли, а Фанни удивленно глядела им вслед.

Удивительный самородок Ханси ничему не удивляется

Утром, перед открытием чемпионата мира, на Верхний Дуйберг было любо-дорого посмотреть. Огромную серую тучу, казалось бы намертво прибитую к небу, пронизали солнечные лучи, воздух был нежен и терпок, легкий ветерок шевелил бурый травяной покров на размеченных дистанциях. Все было в праздничном наряде. Каждый дом перевит гирляндами В каждом окне и на каждой крыше трепыхались флажки с коровьей эмблемой. Через всю Главную площадь крест-накрест протянулись приветственные транспаранты. Перед церковью застолбили лучшие места два телетрансляционных автобуса.

Рядом припарковалось стадо машин с маленькой табличкой ПРЕССА на ветровом стекле. Станционное здание спусколифта «Долина», еще недавно темно-коричневое, сверкало ярко-красной краской, и по ярко-красным стенам бежала крупная белая строка:

ДУЛА НИЗБЕРГЕРА — ДУЛА ЧЕМПИОНОВ МИРА!

Станция спусколифта «Горы» сияла ослепительно синим цветом. По ослепительно синему желтыми буквами было начертано:

ПЕНЫ ВЕРХЕНБЕРГЕРА — ПЕНЫ ЧЕМПИОНОВ МИРА!

На кухне в трактире «Харчмайер» стояли на плитах семь вместительных чанов с водой, готовых принять спецсосиски.

В гостинице «Лисмайер» не было ни одной свободной койки. Даже кладовка и комнаты для игры в настольный теннис и карты были нашпигованы двухъярусными кроватями. «Матрасный привал» — так окрестил это господин Лисмайер и ввел особую таксу за каждое койкоместо на привале. В связи с чемпионатом мира.

В магазине «Тюльмайер» полки гнулись от обилия дуйбольного снаряжения, сувениров и всевозможных безделушек. Каждую безделушку и каждый сувенир украшала сделанная вручную надпись:

ПРИВЕТ ИЗ ВЕРХНЕГО ДУЙБЕРГА!

Или:

НА ПАМЯТЬ О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА.

(К этому приложили руку сестры Зудмайер и пасторская кухарка. Тогда же у каждой из них на среднем пальце руки вскочило по внушительной кисте — результат многосуточной возни с кистями.)

В своем доме господин учитель, стоя перед зеркалом, разучивал наизусть приветственную речь на открытие чемпионата мира.

В доме пастора господин пастор делал гимнастику. Он рассчитывал занять второе место, хотя бы в альпийской горке.

В доме Тюльмайера шестерка полунатуральных новозеландцев осторожно выглядывала из-за пестрых занавесок на Главную площадь. Один из Погонщиков, тот, что с бородавкой и двумя седыми волосками на ней, вздохнул:

— Я думал, все будет полегче!

В это время по шоссе в сторону Верхнего Дуйберга шла колонна из пяти машин. В первой сидел бургомистр Альпийского Колена. Во второй и третьей машинах разместилась дуйбольная команда Альпийского Колена, а в четвертой и пятой ехали члены совета общины Альпийского Колена с супругами. Все пять машин были увешаны вымпелами. С геральдикой Колена: комбинация из кожаной штанины, колена и вязаных гетр.

А Титус Низбергер сидел в пижаме за маленьким столом в своей маленькой комнате, уминал бутерброд с абрикосовым джемом, запивая его какао, и писал тетушке Мелании такое (весьма пространное) письмо:

«Дорогая тетя Мелания!

Сегодня у нас небывалый день, я уже заранее адски волнуюсь. Места у нас в первом ряду. Обзор шикарный. А на альпийской горке мы будем стоять прямо за заграждением. (Совсем не плохо иметь папу, без которого все как без рук.)

До вчерашнего вечера я желал победы Ханси, но сейчас он явно не в себе — такую околесицу несет... Я его спросил, не волнуется ли он и как с нервишками, а он в ответ рассмеялся этаким злым смехом и заявил:

— Больно надо волноваться! Пусть предки психуют (это он про наших пап), у меня руки не замараны!

Ну не ахинея ли! И Тита, главное, туда же. У меня с ними всякий контакт пропал. А вчера после обеда мне такое приснилось — об-

хохочешься. Прилег я, значит, чтобы почитать, и, видимо, заснул. И снится мне, будто все Погонщики Пен у нас дома собрались. И как это нередко в снах бывает, они вовсе не настоящие Погонщики Пен, а нижнедуйбержцы. Надо ж такому присниться! Мама до слез смеялась, когда я ей об этом рассказал. А Тита не смеялась. Она сказала, что я олух царя небесного. Сама видишь, до чего она в последнее время развредничалась.

Ну, мне пора, а то в десять чемпионат начинается. Жалко пропустить открытие — все так говорят. Кстати, Тита — я с ней пять минут назад в ванной столкнулся — сказала, что она скорей всего на открытие вовсе не явится. Ничего глупее не придумаешь! Лишнее доказательство того, как девчонки далеки от спорта!

Всего хорошего.

Твой племянник Титус.

P. S. И воры, по-видимому, орудуют в округе. Вчера искал на чердаке свою дорожную сумку. Из-за шариковой ручки, она там в боковом отделении лежала. И представь себе: вся наша дорожная поклажа как в воду канула. Вся! Ни одного чемодана на чердаке. Ничего! Я сразу же рассказал об этом папе, а папа сказал, что вор все вещи обязательно вернет. Мой папочка иногда словно не от мира сего!

Еще раз прощаюсь.

Твой племянник Титус.

P. P. S. Ты случайно не знаешь, сколько может быть на свете мужчин с бородавкой под глазом и двумя седыми волосками на ней? Это не мне, это Тюльмайеровой Фанни очень нужно. Она говорит, для нее это жизненно важно. Если ты в курсе, то дай телеграмму, потому что Фанни мне очень нравится.

Еще раз с любовью.

Твой племянник Титус».

Закончив это длинное послание, Титус допил какао и дожевал бутерброд с джемом. Затем он облачился в свой новый послетренировочный дуйбольный костюм и отправился в деревню. Перед этим он еще раз заглянул к сестре, спросил, не пойдет ли она с ним, на что Тита ответила:

— Иди, братец, лесом!..

Титус Низбергер, конечно, заранее предвидел, что внизу, в деревне, будет невообразимая кутерьма, но действительность затмила все его самые смелые предвидения! У Титуса был очень нежный, восприимчивый слух. Пронзительные гудки всегда действовали ему на нервы. А дорога на Верхний Дуйберг являла собой гигантскую автомобильную пробку. Машин в ней было намного больше, чем тогда, когда визит мистера Сэма Промоузглинга привлек сюда толпы его обожателей. Только сегодня господин Харчмайер и господин пастор не регулировали движение. Они возложили эту суровую миссию на Рогмайерова сына и Быкмайерову дочь, а те со своей миссией не справлялись. Да и как они могли с ней справиться, если каждая пядь дороги на Верхний Дуйберг была под колесом. Ни одна машина просто уже въехать в деревню не могла. Так что гости чемпионата мира устроились прямо на радиаторах и багажниках. Узкие просеки, разбегающиеся от деревни, также были забиты транспортом. Рогмайеров сын бросил свой регулировочный пост и что есть духу помчался к Харчмайеру. Он прохрипел:

— Господин Харчмайер, надо домой народ поворачивать, совсем машины ставить некуда!

Но господин Харчмайер принял это известие в штыки:

— Домой никого не отправлять! Сосисок хватит на всех!

— Так машины ставить некуда! — взмолился Рогмайеров сын.

Но Харчмайер уже ничего не слушал. Кто-то позвал его. В это утро он был нарасхват. Он был не только трактирщиком, но еще и

бургомистром, и председателем оргкомитета чемпионата мира, и директором компании «Спусколифт», и отцом Ханси-самородка.

Никуда не денешься — пришлось Рогмайерову сыну вернуться ни с чем на свой пост. А там надсаживали клаксоны те же самые машины, что и полчаса назад. Водители опустили стекла и крыли на чем свет стоит не только друг друга, но и Верхний Дуйберг и несчастного Рогмайерова сына.

— Неслыханное хамство! Никакой организации! В жизни сюда больше не приедем! — ругались они.

Они говорили и кое-что похлеще, такое, от чего и бумага покраснела бы. Громадный автобус перегородил шоссе, перед автобусом стоял руководитель туристской группы и уже битый час возмущался:

— У нас же второй завтрак у Харчмайера заказан! Нам наверх нужно! Бюро путешествий будет жаловаться!

Ханси лежал в своей комнате, в постели. Он не был переутомлен, и лежать в постели ему вовсе не хотелось. Но его заставили. Чтоб он настроился на первый забег чемпионата. А это лучше всего удается в постели, уверяла госпожа учительша. Она сидела возле Ханси и ухаживала за ним. Она массировала ему икроножные мышцы, что было нестерпимо щекотно. Кроме того, каждые две минуты Ханси полагалось принимать через соломинку по глотку питательной смеси. Необходимо было также делать разминку для пальцев. Пальцы надо было растопыривать, сжимать и снова растопыривать. Без этого, уверяла госпожа учительша, он не сможет свободно владеть дулом. «За что мне такое наказание?» — жалел себя Ханси.

— Можно хоть открытие посмотреть? — спросил он.

Госпожа учительша не разрешила. Она сказала:

— Команды выйдут строем на поле только после открытия. Сначала выступает мой муж, затем играют пожарники, потом выступает твой отец, за ним играют пожарники, потом выступает спорторганизатор (почтальон), затем играют пожарники, потом выступает бургомистр Альпийского Колена, опять играют пожарники, и лишь тогда очередь дойдет до вас!

Ханси ничего не оставалось, как лежать в кровати, потягивать через соломинку смесь, разминать пальцы, терпеть массаж и умирать от скуки. Через открытое окно доносилась пожарная медь. Слышно было, как что-то ревели в микрофон его отец и господин учитель, но против кошмарной автомобильной какофонии даже луженая глотка господина Харчмайера была бессильна.

— Ханси, я на минутку! — сказала госпожа учительша и вышла из комнаты.

Этого момента Ханси и ждал. Он выскочил из кровати, быстро натянул брюки, свитер и дал деру. Он хотел сбежать. Он не хотел участвовать в чемпионате мира. Он вообще ничего слышать не хотел — ни о ком и ни о чем. Ни о спецсосисках, ни тем более о пенах, ни об Альпийском Колене, ни тем более о дяде Густаве. Он мечтал выбраться незамеченным из Верхнего Дуйберга, внизу, на шоссе, встретиться с Титой Низбергер и удрать с ней в город. Тита пообещала:

— Поедем к моей тете Мелании! И пробудем там, пока все не закончится! Моя тетя — человек! Она нас поймет!

Ханси, крадучись, спустился по лестнице. Он сунул руку в карман и нащупал плотную пачку денег. Это были его сбережения. То, что он заработал уроками дуйбола. Их должно хватить по крайней мере на неделю, в случае если тетя Мелания их не примет.

Ханси услышал шум спускаемой воды в туалете. Ханси промахнул последние ступеньки и бросился к входной двери. Дверь перед ним распахнулась, и стало нестерпимо светло. Как минимум, де-

сять вспышек полыхнуло одновременно, и, как минимум, десять фотографов щелкнули Ханси в упор. Ханси развернулся, надеясь удрать через черный ход, но рядом с черным ходом была дверь в подвал, и из нее как раз выходила госпожа Харчмайер с коробом, полным спецсосисок. Ханси решил было снова рвануть наверх, а там выпрыгнуть из коридорного оконца. Для него это пара пустяков. Прямо под окнами коридора — сарай. Ханси уже неоднократно прыгал из этого оконца на крышу сарая, а с нее — на землю. Ханси повернулся к лестнице. И на верхней ступеньке увидел госпожу учительшу. Она всплеснула руками:

— Эй, Ханси, где это тебя носит? Что это ты надумал?

И тут Ханси сдался! Он застыл на месте, он дал сфотографировать себя со всех сторон. Госпожа учительша сошла вниз и пристроилась рядом с Ханси, чтобы попасть в кадр. Ханси даже улыбался, как положено, когда тебя снимают. Улыбался сквозь слезы. Он думал о том, что Тита уже давно поджидает его за деревней, у дорожного указателя. В голове у него вертелось: «Тита, я тут, честно, не виноват! Поверь, Тита!»

На Главной площади пожарники выдували последние такты последней фразы дуйбольного марша.

— Пора, Ханси, вперед! — сказала госпожа учительша. Она вывела Ханси из-под слепящих вспышек и через запасный ход затолкала в Комнату для Особых Торжеств.

В КОТе собрались все участники верхнедуйбержского чемпионата мира. Господин пастор, Лисмайер, Фанни, Марианна, Хансина сестра, и госпожа Харчмайер. Госпожа Харчмайер охала и ахала, что она совершенно не в форме. Сосиски, которые она сотнями перетаскивала наверх и готовила, вымотали ей все жилы. Марианна ныла, что она тоже ни рук, ни ног не чует и что только по закону подлости ей могла достаться в напарницы по забегу Фанни Тюльмайер. Лично она, Марианна, каждый день с утра до вечера вкалывала на кухне и в зале.

Ханси было жаль сестру. Он с радостью открыл бы ей свой фокус с дыркой в шаре. Но сейчас дело уже зашло слишком далеко.

В КОТ вошел господин учитель и раздал всем форму участника чемпионата мира. Зеленые костюмы, к ним красные наколенники, красные кроссовки с шипами, красные трехпалые рукавицы и спортивные в красно-зеленую полоску кепочки с козырьком. Госпоже Харчмайер новые штаны оказались чересчур узки, а Марианне ее штаны оказались чересчур велики.

— Сильнейшее сопротивление воздуха, никакой обтекаемости! — громко сетовала она.

Господин учитель и госпожа учительша помогли госпоже Харчмайер напялить на себя штаны, уняли Марианну с ее сопротивлением воздуха, а также утешили Губерта, разнывшегося из-за новой кепочки с козырьком, у которой обтекаемость якобы хуже, чем у старой. А господин пастор призывал всех членов команды собраться как следует и держаться по-товарищески и как одно целое.

— Помните,— сказал он,— не важно, как воздастся за успех каждому в отдельности, важно, чтобы мы боролись храбро, честно и упрочили добрую славу нашего родного уголка, явив пример всему необъятному миру!

Затем господин учитель раздал дула; утром они прошли контроль в оргкомитете чемпионата, который удостоверил их безупречное состояние. Затем господин учитель раздал пены. Их тоже проверили и признали безупречными! На самом-то деле до проверки пен не дошло, ни у кого на это времени не оказалось. На самом-то деле члены комитета лишь бросили беглый взгляд на пены, кучей громоздившиеся друг на друге, и сказали:

— В полном порядке!

Ханси взял свою пену и незаметно ощупал ее. Он облегченно вздохнул, когда обнаружил конусообразное углубление. С Главной площади донесся резкий свист.

— Пора,— сказал господин учитель.

— В затылочек друг другу встали! — скомандовала госпожа учительша.

Колонну повел господин пастор. За ним шла госпожа Харчмайер, далее Марианна, далее Губерт, далее Фанни, Ханси тащился в хвосте. Замыкали колонну господин учитель и его жена (оба надели черные спортивные костюмы, чтобы сразу было видно, что они тренеры).

Мерным шагом, исполненные достоинства, они прошествовали от КОТа через Главную площадь до памятника. Одновременно из тюльмайеровского дома вышли Погонщики Пен в спортивных костюмах желтушного цвета. Все в очках! И у каждого массивные начелюстники.

— А у нас почему таких нет? — шепнула Фанни идущему впереди Губерту.

— Зато у нас наколенники, а у них нету! — прошелестел Губерт.

— Такие намордники не от большого ума! — шепнула Ханси госпожа учительша.— Неудобно, да и лица совсем не видно!

— И слава богу! — буркнул Ханси. Но так тихо, что госпожа учительша ничего не разобрала.

Погонщики Пен шествовали по Главной площади. Они старались шагать в ногу, но это им никак не удавалось.

— Ну и сброд, никакой дисциплины! — не без удовлетворения заметил господин учитель.

Погонщики Пен выстроились в колонну рядом с верхнедуйбержцами.

С противоположной стороны Главной площади, из пасторского дома, где их разместили, появились члены команды Альпийского Колена. В синих спортивных костюмах. Без наколенников и начелюстников. Они выступали парадным шагом. Впереди близнецы Лесниц. За ними еще две пары участников из Альпийского Колена — в небесно-синих костюмах.

Отдыхающие и болельщики, приехавшие на чемпионат мира, устроили восторженную овацию. Они до того бурно аплодировали и выражали свой восторг, что на время даже заглушили какофонию автомобильных сигналов. Телевидение начало прямую трансляцию.

На Главную площадь выполз тонваген, стало светло от вспышек фотокамер — за дело принялись репортеры: спорторганизатор (почтальон) поприветствовал от имени оргкомитета команды-участницы и пожелал всем «тройного дуйбольного ни пуха ни пера» и «тройного дуйболспортивного энтузиазма», а также подчеркнул, что дуйбол призван, помимо чисто спортивной стороны, еще и служить единению народов и наций в братской любви. (Между прочим, господину Тюльмайеру накануне завезли четыре больших картонных ящика с блокнотами. На обложках у блокнотов были фото. Два ящика с портретом Ханси и по ящику — с Фанни и близнецами. Блокноты, разумеется, шли в одну цену, но пока господин почтмейстер толкал свою дуйбольную речь, господин Тюльмайер терзался сомнениями: нельзя ли толкнуть блокноты с фотографией чемпиона мира по двойной цене.)

Как только господин почтмейстер возвестил, что командам следует немедленно перейти на большое поле, а мужчинам приготовиться к первому забегу по пересеченной местности, тут оно и случилось! Один из близнецов (мужского пола) уже давно проявлял сильное беспокойство, мычал что-то угрюмо-угрожающе и при этом не сводил глаз с самого видного Погонщика Пен (мужского пола). У видного Погонщика (мужского пола) был довольно солидный и неестественно острый живот!

Но близнец думал, что здоровяк Погонщик прячет под желтуш-

ной курткой клиновидный нагрудник. Строго-настрого запрещенный нагрудник! Сквозь стиснутые зубы близнец проскрипел:

— Мухлеж! Нечестная игра! Свинство!

Но стоял такой невообразимый гвалт, что его никто не услышал. Даже капитан собственной команды. Тогда он решил удостовериться самолично! Он шагнул из строя — прямиком к самому мощному Погонщику Пен.

— Куда это тебя понесло, Флори? — одернул его капитан, но Флори пропустил эти слова мимо ушей, вплотную приблизился к Погонщику и бросил ему в лицо:

— А что у тебя там под курткой?

Телевизионщики снимали эту сцену с нескрываемым удовольствием, газетчики тоже были рады-радешеньки. Правда, снимать им пришлось со вспышкой, так как огромная серая туча, нависшая над Верхним Дуйбергом, раздулась во все небо и налилась свинцом.

Погонщик Пен, здоровяк с острым животом, вконец растерялся. Он не знал, что ему отвечать близнецу, к тому же Харчмайер запретил всем Погонщикам вступать в любые разговоры. Погонщик Пен счел за благо смолчать и сделал шаг назад. Близнецу это показалось еще более подозрительным!

— Так я и знал! — заверещал он.

И кинулся на здоровяка Погонщика, намереваясь выдрать из-под его куртки запрещенный правилами нагрудник. Погонщик Пен отбивался беззвучно и с остервенением, что, естественно, еще более распалило воображение близнеца. Члены совета общины как Верхнего Дуйберга, так и Альпийского Колена стояли как вкопанные. Верхнедуйбержцы были, понятное дело, куда вкопаннее.

Радиокомментатор, сидя в радиопередвижке, взахлеб тараторил в микрофон:

— Уважаемые дамы и господа, сейчас прямо у меня на глазах, в этот самый момент, происходит нечто, насколько мне известно, программой не предусмотренное! Очевидная накладка! Первый номер команды Альпийского Колена наседает — только не ясно почему — на третьего номера новозеландцев. Новозеландец молча отбивается, проявляя завидные бойцовские качества; лидер Альпийского Колена наскакивает на него, бьет прямой правой в корпус... Но как это понимать, уважаемые дамы и господа, мы же с вами не на чемпионате по боксу? Сейчас я запрошу нашу летучую радиостанцию, узнаю, что там за куча-мала, а пока — студия, дайте связь! — музыкальная пауза.

Радиокомментатор дождался первых тактов музыки, затем выпрыгнул из передвижки и побежал к полю. Телевидение крупным планом показывало схватку между близнецом и Погонщиком Пен.

Телекамеры целились в упор. Харчмайер и бургомистр Альпийского Колена хотели разнять дерущихся, но запутались в густой сети телевизионных кабелей, споткнулись и упали.

Расползшаяся свинцовая туча опустилась еще ниже. И хотя день только начинался, над Верхним Дуйбергом сгустились настоящие сумерки.

Лесниц опрокинул Погонщика Пен на землю, навалился сверху и стал в ярости его обыскивать. Но запрещенный нагрудник не находился. Тогда он окончательно рассвирепел и начал лупить по большому настоящему животу, как по большой настоящей боксерской груше. Зрителей — не считая телезрителей — охватил страх. Но неизмеримо сильнее напугался малютка Пеперл. Малютка Пеперл очень любил своего папу. Малютка Пеперл сперва горько заревел, но, убедившись, что никто не может или не хочет помочь толстопузому Погонщику, он протиснулся к самому ограждению и истошно завопил:

— Папа, папочка, я сейчас, не давай себя в обиду!

Как раз в это время телекомментатор вещал:

— Дамы и господа, видимость здесь постоянно ухудшается, с трудом различаю лица...

...На этих словах Пеперл ловко перескочил через хитросплетение телекабелей, прорвался сквозь бригаду телевизионщиков и прыгнул близнецу Лесниц на спину. Комментатор от телевидения закричал:

— Дамы и господа, несмотря на скверные видимость и освещенность, вы, надеюсь, можете следить за этим поистине уникальным представлением! Видите, как мальчонка, сущая кроха, обхватил голову первого номера Альпийского Колена и тянет ее на себя. Слышно, как Лесниц издает какой-то гортанный звук и падает, падает на лопатки. Ах, дамы и господа, Давид против Голиафа. Причем Давид без умолку выкрикивает — не знаю, слышно ли вам? — он кричит в голос: «Папа, папа!»

Все было в точности так, как живописал телекомментатор. Повергнутый Пеперлом Лесниц лежал на лопатках рядом с Погонщиком Пен, отдуваясь и подвывая. Пеперл сидел в изголовье у Погонщика Пен и жалобно скулил: «Папа, папуся!» По толпе прокатился ропот удивления, в толпе судачили:

— С какой стати этот деревенский карапуз называет папой новозеландца?

И жители Верхнего Дуйберга спрашивали друг друга:

— С какой стати Козмайеров сынишка называет папой новозеландца?

Только Лисмайер, Харчмайер, Тюльмайер и Низбергер ни о чем друг друга не спрашивали. От леденящего страха они закрыли глаза. И потому не смогли увидеть, как Пеперл осторожно снял с отцовского лица солнечные очки, полумаску и тихо спросил:

— Пап, живой?

Зато они отчетливо услышали, как Козмайер простонал в ответ:

— Да, малыш, еще дышу!

И тут же двое других Погонщиков Пен посрывали с лиц всю маскировку, и Курицмайер с Курицмайершей в один голос взревели:

— Ничего себе, легкий заработок! При этаком обхождении!

Курицмайерша подхватила Козмайера под руки, Курицмайер подхватил под ноги, и они унесли его с Главной площади. Трое других Погонщиков Пен последовали за ними. И Пеперл, ясное дело, тоже.

Лица у господина учителя, его жены и у господина пастора побелели как накрахмаленные льняные скатерти.

— Меня увольте! — вскричал господин пастор.

— Воспользовались моей доверчивостью! — воскликнул господин учитель.

— Они лишили меня веры в спорт,— выкрикнула госпожа учительша.

После чего учитель с женой бросились к учительскому дому, а господин пастор — к пасторскому. Они заперли все двери на все засовы и уже больше не показывались.

На Главной площади началась безумная давка. Оператору телевидения отдавили два пальца на ноге, Харчмайеру поставили синяк под глазом. У радиопередвижки помяли крыло, у почтальона пропала шапка, господину Тюльмайеру расколотили вдребезги витрину, у пуделя одного из отдыхающих недосчитались полхвоста, одна дама сломала себе палец.

Меж тем свинцовая туча густо почернела и опустилась ниже обычного. Ханси забрался в скульптурный ансамбль и спрятался за лежащим воином. Рядом стояла Тита. Не дождавшись Ханси, она сама пришла на Главную площадь.

— Что же теперь будет? — спросила она.

— Теперь всему конец! — кисло отозвался Ханси. Но вдруг он осекся и зажмурил глаза. Что-то белое и прохладное лежало на его ресницах.

— Ханси! — заорала Тита.

— Тита! — заорал Ханси.

Они взглянули на небо — его не было видно. Снег валил с небывалой густотой, словно все до единой невыпавшие снежинки собрались в черной туче. В считанные минуты Главная площадь со всем ее коловоротом оказалась под снегом. Заметенные снегом люди напоминали пломбирные брикеты. Снегопад остудил их разгоряченные головы, смягчил гнев и разочарование.

— Снег идет! — вопили люди.

А радиокомментатор сказал в микрофон:

— Последняя новость, которую мы вам можем сообщить: в Верхнем Дуйберге, увы, идет снег!

Ханси и Тита с трудом выбрались из залепленного снегом памятника. Ханси высоко поднял свою пятнистую пену и зашвырнул ее изо всех сил куда подальше. Пена упала в Большой Дуй, и ее унесло течением. Ханси снял с плеча дуло и зашвырнул его туда же. Дуло шмякнулось об воду, коротко побулькало, пуская пузыри, и пошло ко дну.

— Теперь все снова будет хорошо! — сказала Тита.

— Думаешь? — спросил Ханси.

Тита кивнула. Она сказала:

— Во всем, что произошло, виноват только снег! Снег, которого не было!

Ханси почесал в затылке. Как следует почесал. Как следует подумал. И сказал:

— Хочется верить, Тита! Очень хочется! Но лично я не уверен на все сто!

■

ЭДИТ УОРТОН

Слишком ранний рассвет

РАССКАЗ

Перевод с английского и вступление А. СТАРЦЕВА

Вступление

В новейшей литературе США есть несколько памятных произведений, без которых не понять до конца всей силы ущерба, причиненного американской духовной культуре вековым засилием буржуазной идеологии в сфере моральных и эстетических ценностей.

Таков рассказ Эдит Уортон «Слишком ранний рассвет».

«Из всех наций, обитающих на нашей планете... мы, конечно, самая грубая нация...» — пишет Марк Твен в одном из этюдов последних лет, в которых высказал своим соотечественникам некоторые нелестные истины.

Слова Твена могли бы стоять эпиграфом к рассказу Эдит Уортон.

Мы мало знакомы с этой писательницей, между тем ее лучшие произведения по праву принадлежат к американской классике XX века. Будет верным причислить Эдит Уортон к литературному поколению Драйзера; хотя десятью годами и старше его, она поздно стала печататься, и расцвет ее творчества приходится на первую четверть столетия.

При этом важно отметить, что готовившие свой обвинительный акт против «американского образа жизни» Драйзер, Шервуд Андерсон, молодой Синклер Льюис и другие знаменитые «люди 20-х годов» были выходцами из разночинной среды и тем самым во многом отрезаны от «классовых тайн» негласных хозяев Америки.

И здесь в лице Эдит Уортон они обрели такого союзника и «свидетеля обвинения», о котором могли только мечтать.

По рождению, по воспитанию, по связям она принадлежала к именитой американской буржуазии и ступила на страницы журналов как бы прямо из светских гостиных нью-йоркской имущей верхушки.

«Наша литературная аристократка»—назвал ее не без некоторой иронии известный американский историк культуры Вернон Л. Паррингтон. Так в роли grande dame, «барыни» она и прошла свой путь в американской литературе. Однако характеризуя социальную направленность творчества Эдит Уортон, тот же Паррингтон отчетливо говорил о ее «протесте против господства буржуазии». А Синклер Льюис посвящает своего «Бэббита» не кому иному, как этой «литературной аристократке», книги которой он прочитал с великой для себя пользой.

Мир Эдит Уортон определенным образом ограничен, увереннее всего она себя чувствует, изображая среду, в которой сама выросла,— американские имущие классы. В трех наиболее известных ее романах — «Дом веселья» (1905), «Обычай страны» (1913), «Век невинности» (1920) — описана, собственно говоря, повседневная жизнь фешенебельного нью-йоркского общества, его «частные нравы». Но знакомясь с этими

книгами (как и со многим у Эдит Уортон), читатель все больше приходит к выводу, что перед ним не только разносторонне одаренный бытописатель-сатирик и тонкий мастер-психолог, но и немаловажный историк американского общества.

Писательница вспоминала впоследствии, что, начиная свою литературную деятельность, она опасалась, не слишком ли узок отобранный ею «участок жизни», не слишком ли незначительным будет задуманный вклад в отечественную литературу. С восхищением она говорит о Бальзаке, что размах его творческого воображения и мощь интеллекта позволили ему «уловить в свою сеть» «все классы и все ситуации, какие рождала французская социальная жизнь его времени». Однако на самом деле, не помышляя специально о том, Эдит Уортон заполняла своими книгами весьма существенную лакуну в литературной истории США, крупный пробел в ее социально-типологической галерее.

Надо заметить, что вплоть до конца XIX столетия наблюдатели отмечают скудость у американских писателей сколько-нибудь обстоятельных сведений о капиталистической верхушке американского общества. Ее как бы нет. Не последнюю роль, надо думать, играло здесь то, что в условиях американской политической жизни господствующий класс не стремился афишировать себя в качестве такового; владельцы миллионов предпочитали славу «удачников» в «обществе равных возможностей» и долгое время маскировали свое командное положение в стране традиционно-демагогическими рассуждениями об «американской демократии». Замкнутость этих привилегированных групп как в Нью-Йорке, так и в других промышленно-финансовых центрах страны, их закрытость для постороннего глаза также долгое время способствовали сомнениям: да существует ли подлинно в американской республике сложившаяся денежная аристократия?

Книги Эдит Уортон не только положительно отвечали на этот вопрос, но явились своего рода сенсацией, открыв для американских и европейских читателей мир сверхбогатой американской буржуазии, издавна укоренившейся в жизни страны и безгранично уверенной в своем могуществе и превосходстве.

Причем этот мир был показан в книгах Эдит Уортон с такой скрупулезностью, с таким изобилием характерных черт и деталей, что ни малейших сомнений в достоверности ее описания не могло оставаться.

О чувствительности нанесенного ею удара рассказала сама писательница в позднейшем авторском предисловии к своему «Дому веселья». «...Изображение на страницах романа их тесного круга, доселе уверенного в своей неуязвимости, встревожило и раздражило властителей старого Нью-Йорка...— пишет она.— Если бы книга была сочинением аутсайдера, неуча, который может только гадать, что происходит за их высокой стеной, они бы не обратили большого внимания, посмеялись бы, может быть, над его очевидными промахами, а то и совсем не читали бы. Но тут была книга, написанная одним из их круга, и она посягала на их священные уставы, чернила старейшин их клана...»

Но достоверное изображение «частных нравов» американской имущей верхушки не было единственной целью писательницы. Она ставит новый вопрос: возможно ли из тривиальной во всех отношениях жизни этих праздных людей извлечь достаточно значительное моральное содержание (human significance), ради которого художник и предпринимает свой труд. Ибо, как пишет она, «есть в жизни сюжеты настолько ничтожные, что они не дают ничего даже самому пытливому взгляду».

Решение, к которому приходит писательница, заслуживает внимания. Пустая сама по себе жизнь этих «безответственных искателей удовольствия» обретает драматическую значительность, полагает она, если взглянуть на то, что ими загублено, ценой чего они процветают. Истоком порождаемых ими трагедий служит их власть «унижать людей и идеи».

Нельзя не заметить, что сходные размышления лежат в основе позднейших романов Скотта Фицджеральда об «очень богатых людях».

Критика американской имущей верхушки имеет у Эдит Уортон, как правило, моральную (и морально-эстетическую) направленность. В этих границах, однако, она с достаточной ясностью утверждает, что привилегия богатства, власть денег не облекают владельцев миллионов каким-либо правом господствовать в жизни страны, что денежный интерес, внедряемый ими во все сферы их жизненной практики, предопределяет убожество их духовного мира; делает их негативной, разрушительной силой, враждебной всем истинным ценностям общественной и частной морали, искусству, духовной свободе.

Вот почему они смертельно опасны не только для третируемых ими «аутсайдеров», но в определенной ситуации и для каждого в их же среде, кто чуть поднимается над их нравственным уровнем или осмеливается восстать против их круговой поруки. Всецело зависящая от их произвола Лили Барт, героиня «Дома веселья», кончает с собой, одинокая и затравленная, и даже вполне благополучному Ньюленду Арчеру в «Веке невинности» открывается в минуту прозрения, что собравшийся у него за столом цвет нью-йоркского общества, эти безмятежные и столь отлично упитанные дамы и господа,— просто шайка разбойников, безмолвно готовящая «в старой доброй нью-йоркской манере» очередное «убийство без крови».

В качестве летописца американского имущего класса Эдит Уортон различает и постоянно исследует две его основные исторически сложившиеся фракции или прослойки.

В Нью-Йорке, особенно тщательно и в нескольких поколениях ею изученном, они представлены Вашингтон-сквером — «Сен-Жерменским предместьем» старой нью-йоркской буржуазии,— где в почтенных особняках еще сохранились потомки негоциантов колониального времени и первых лет независимости страны, и, с другой стороны,— Пятой авеню, где воздвигла позднее свои дворцы новая плутократия — миллионеры, порожденные «грюндерством» в годы после Гражданской войны. Старые буржуа, отчасти уже перешедшие на положение рантье, отступают, сдают позиции под давлением напористых нуворишей. Ральф Марвел, один из героев романа Эдит Уортон «Обычай страны», пользуясь специально американской терминологией, именует Вашингтон-сквер «резервацией», где отсиживаются «аборигены», обреченные, подобно американским индейцам, на постепенное исчезновение под напором неуклонно теснящих их агрессивных «захватчиков».

Характеризуя взаимоотношения этих двух групп американской буржуазии — «старосветской» и новой,—писательница, вышедшая сама из недр Вашингтон-сквера, охотнее отдает предпочтение хранящим традиции и не лишенным известного внешнего лоска «аборигенам» перед полностью неотесанными «захватчиками». Однако на сильнейших своих страницах она характеризует и тех и других с одинаковой едкостью, как если бы спрашивала не кто из них лучше, а кто отвратительнее.

К таким страницам Эдит Уортон относится и ее «Слишком ранний рассвет» (1924). Это тоже типичный для ее интересов «анатомический срез» жизни американской имущей верхушки; но своей особой тональностью рассказ обязан тому, что писательница сталкивает чванливое филистерство людей «праздного класса» с миром искусства, где их власть «унижать людей и идеи» особенно ей ненавистна.

К таким сопоставлениям охотно прибегал Генри Джеймс, в особенности противополагая неразвитости американской духовной жизни богатство и разнообразие вековой европейской культуры. Однако в «Слишком раннем рассвете» место его изящной символики занимает насыщенная реальным социальным бытом сатира.

Это 40-е годы, прошлого века, начало пресловутого американского собирательства, массового вывоза за океан европейских произведений искусства и создания «престижных» коллекций, которыми позднее так щеголяли американские финансовые магнаты. В данном случае происходит осечка. Посланный в Старый свет за картинами, юный американец — «гадкий утенок» в своей буржуазной среде, не проявляющий склонности стать достойным наследником отцовского бизнеса; в то же время он выделяется нравственной чистотой, чуткостью и непритворным влечением к искусству.

По воле автора молодой путешественник знакомится в ходе европейской поездки с Джоном Рескином, знаменитым английским писателем по вопросам искусства и выдающимся реформатором художественных вкусов своего времени. Рескин, сам еще молодой человек, всего лет на десять старше юного Льюиса Рейси, борясь у себя в Англии с эпигонами академической школы, наносит к этому времени удар по их образцам, итальянским академистам XVII столетия, и открывает для знатоков и любителей итальянского Возрождения огромный мир дорафаэлевской живописи от Джотто до великих мастеров Кватроченто. Захваченный художественными идеалами старшего друга и поддержанный сторонниками Рескина в Англии, художниками-прерафаэлитами — Данте Габриелем Россетти, Мэдоксом Брауном, Холменом Хантом,— молодой американец пренебрегает отцовскими указаниями и везет домой мало еще кому в ту пору известные и мало кем признанные творения Фра Анджелико, Пьеро делла Франческа, Мантеньи, Карпаччо.

Возникает коллизия, затрагивающая по замыслу автора характернейшие черты меркантильно-потребительского отношения американской имущей верхушки к искусству и не лишенная некоторого сумрачного комизма. Старый Рейси бракует привезенные сыном картины как хлам, не имеющий ни престижной, ни рыночной стоимости, в наказание лишает сына наследства и в качестве последней насмешки завещает ему коллекцию.

Далее идет описание безнадежной борьбы, которую ведет Льюис Рейси за признание своих картин в эстетически слепом и глухом провинциально-отсталом Нью-Йорке 50—60-х годов прошлого века (рассказ здесь отчасти основан на действительных фактах из биографии Джеймса Джарвиса, американского знатока раннего итальянского Возрождения, непризнанного и осмеянного в Нью-Йорке и в Бостоне в те же примерно годы, что и молодой Льюис Рейси в рассказе Эдит Уортон).

Завершающий эпизод разыгрывается намного позднее, уже в нынешнем веке, когда никого из тех, кто участвовал в завязке рассказа, давно нет в живых. Мировое признание итальянской дорафаэлевской живописи достигает зенита, и Мантенья или Карпаччо теперь могут стать украшением и гордостью любой самой полной музейной или частной коллекции по обе стороны океана. Отдаленные наследники Льюиса Рейси, чета молодых прожигателей жизни, находят его коллекцию в заброс на чердаке и, узнав о ее истинной ценности, тотчас же обращают картины в наличные доллары и строят на Пятой авеню дорогой особняк.

И эта заключительная трагикомедия написана в характерной холодновато-иронической манере. Но за сдержанными строками, как и во всем предыдущем течении рассказа, слышна не только горечь и боль, но — что не часто встречается у «корректной» Эдит Уортон — прямая, почти неприкрытая ярость.

Часть 1

1

Томительный июльский день пахнул сеном, вербеной и резедой. На столе, на веранде, багрянея под листьями мяты, крупные ягоды спелой клубники плавали в чаше бледно-желтого хрусталя; то была разноцветно сверкавшая многоугольными гранями георгианская чаша с фамильным гербом Рейси, награвированном между львиных голов. Время от времени сидевшие за столом джентльмены, заслышав угрожающий писк, шлепали себя по лбу, по шее или по лысине, но старались делать это не слишком приметно; мистер Холстон Рейси, у которого они были в гостях, ни за что не признал бы, что у него на веранде в Хай-Пойнте хозяйничают москиты.

Клубника была выращена садовником мистера Рейси; георгианская чаша перешла к нему по наследству от прадеда (дед мистера Рейси подписал Декларацию независимости), а веранда была верандой его загородного дома на заливе, расположенного на приличном, не слишком далеком для езды расстоянии от его городского дома на Кэнел-стрит.

— Еще по одному, Коммодор,— сказал мистер Рейси, расправляя батистовый носовой платок размером в добрую скатерть и вытирая концом его дымящийся от испарины лоб.

Мистер Джеймсон Леджли улыбнулся и поднял бокал. Для близких друзей он был «Коммодором», поскольку юные годы провел на флоте и даже участвовал мичманом под командой адмирала Портера в войне 1812 года. Жизнерадостный холостяк, походивший загорелым лицом на тех бронзовых идолов, которых он, надо думать, привозил из далеких плаваний, он и сейчас, оставив давно уже службу, сохранял прежнюю внешность профессионального моряка. В своих белых парусиновых брюках и в кепи с золотым галуном, сверкая белозубой улыбкой, он выглядел заправским капитаном фрегата. И в самом деле он прибыл в гости с Лонг-Айленда водным путем, и его белая стройная яхта стояла сейчас на якоре в бухте за мысом.

Перед домом Холстона Рейси расстилалась лужайка, спускавшаяся под уклон к заливу. Лужайка была гордостью мистера Рейси; каждые две недели траву на лужайке косили, а с весны лужайку утаптывала по-особому подкованная старая белая лошадь. Перед верандой были разбиты три круглые клумбы с геранями, гелиотропом и бенгальскими розами; за ними ходила сама миссис Рейси, надевая при этом перчатки с высокими крагами и укрываясь от солнца под маленьким складным зонтиком с резной ручкой слоновой кости. Дом, перестроенный и расширенный мистером Рейси после женитьбы, был известен в этих краях еще в годы войны американцев за независимость, ибо в нем помещался штаб Бенедикта Арнольда. В кабинете мистера Рейси можно было увидеть современную событиям гравюру с изображением коттеджа колониальных времен. Но едва ли кто опознал бы то скромное обиталище в нынешнем величавом, сложенном из отборного леса и под каменную кладку оштукатуренном здании с угловой башенкой, узкими высокими окнами и стоявшей на скошенных опорах верандой — в «Усадебных пейзажах Америки» Даунинга этот дом фигурировал под смелым наименованием «Тосканская вилла».

По технике исполнения грубоватая старая литография и образцовая гравюра на стали у Даунинга (с пририсованной плакучей ивой на лугу перед домом) столь же далеко отстояли одна от другой, как и сами строения. Мистер Рейси имел основания хвалить своего архитектора.

Он вообще хвалил почти все, с чем был связан узами родства или выгодой. Едва ли кто мог утверждать, что брак с мистером Рейси дал счастье его супруге, но все знали, что он был о ней самого высокого мнения. То же и с дочерьми, Сарой-Энн и Мэри-Аделин, двумя юными копиями лимфатической миссис Рейси. Никто не сказал бы, что им приходилось легко с их жовиальным папашей; сам же он расточал им громогласные похвалы. Но главным объектом самодовольства мистера Рейси был его сын — его Льюис, хотя, по острому слову Джеймсона Леджли, который иной раз позволял себе вольности, если бы Холстону дали возможность спроектировать будущего наследника по своему разумению и вкусу, с его стапелей сошел бы совсем иного класса корабль.

Мистер Рейси был корпулентный могучий мужчина: рост, размах плеч, толщина выражались у него примерно в одинаковых цифрах, так что с какой позиции на него ни взгляни, он казался равно мясистым. Добавим, что каждый квадратный дюйм его тела был так превосходно ухожен, что, если принять в данном случае агрикультурную терминологию, его хотелось сравнить с огромным поместьем, ни один акр которого не остался под паром. Лысина мистера Рейси, грандиозная, как и все в нем, сияла, как если бы ее каждодневно полировали; а в особенно жаркие дни он целиком представлял собой некое ирригационное чудо. Поверхность мистера Рейси была столь обширной и располагалась на столь разных уровнях, что зачарованный зритель не мог оторвать глаз, наблюдая, как каждая струйка пота выбирает себе свое русло. Так, выступая на крепких и свежих кистях его рук, капли пота сливались по пяти направлениям, устремляясь к фалангам пальцев. Что же до лба, и висков, и подступавших под глаза пухлых щек, каждый из этих склонов орошался отдельным потоком, то разливавшимся вширь, то низвергавшимся как водопад. И зрелище это не возбуждало у вас неприятного чувства, поскольку залитая потом поверхность выглядела безукоризненно чистой и розовой, а стекавшие книзу ручейки благоухали дорогим одеколоном и лучшим французским мылом.

Миссис Рейси не была столь огромной и розовой, однако же в своем роде довольно увесистой, и когда облекалась в одно из пышных шелковых платьев из дорогого муара, кутала горло до подбородка в бесчисленных рюшах и блондах и надевала новомодный французский чепец с гроздью лилового винограда, то почти достигала размеров супруга. И вот эта-то пара столь отличной оснастки (как непременно сказал бы при случае Коммодор) умудрилась произвести на свет Льюиса, недомерка, малявку, в детстве сущую крохотку, да и теперь ничуть не более тени, какую отбрасывает человек нормального роста в солнечный полдень.

Льюис сидел, свеся ноги, на перилах веранды и полагал, что гости отца, джентльмены у чаши с пуншем, размышляют как раз об этом.

Роберт Гуззард, банкир, высокий и грузный, уступавший в размерах только мистеру Рейси, откинулся в кресле, поднял свой бокал и приветственно кивнул Льюису:

— За счастливое путешествие!

— Не сиди как воробей на ветке, сынок,— наставительно сказал мистер Рейси, и Льюис, спрыгнув с перил, поклонился мистеру Гуззарду.

— Я задумался,— робко сказал он. Это было его обычное объяснение.

Амброуз Гуззард, младший брат Роберта Гуззарда, мистер Леджли и мистер Дональдсон Кент — все подняли бокалы и приветливо повторили:

— За счастливое путешествие!

Льюис опять поклонился и коснулся губами бокала, о котором совсем позабыл. Из гостей его занимал только Дональдсон Кент,

отцовский кузен. Со своим ястребиным профилем и всегда молчаливый, он легко мог сойти за бесстрашного ветерана Войны за независимость; на самом же деле он жил в постоянной тревоге, не способный ни на малейшее ответственное решение.

Этому благоразумному и осмотрительному господину несколько лет назад выпало неожиданное и поистине незаслуженное им испытание — он должен был взять к себе дочку умершего младшего брата. Джулиус скончался в Италии; впрочем, это его личное дело, не надо было там жить. Но жена его умудрилась скончаться там же еще до него, оставив малолетнюю дочь, и Джулиус указал в завещании, что поручает ее попечению своего почтенного старшего брата Дональдсона Кента, эсквайра, владельца особняка на Лонг-Айленде и конторы на Грейт-Джонс-стрит. Ну знаете, как заметил сам мистер Кент и повторяла следом за ним супруга мистера Кента, он ничем в своей жизни — ни поступком, ни помыслом — не заслужил от неблагодарного Джулиуса, долги которого, кстати сказать, он не раз погашал, этого последнего заключительного подвоха.

Приехала девочка, ей было четырнадцать лет, все нашли, что она некрасива: худа, смугла, малорослa. При крещении она была наречена Беатриче (прискорбное обстоятельство само по себе), а вдобавок эти вздорные иностранцы сумели укоротить Беатриче до еще худшего — Триши. По счастью, она оказалась живой, послушной и услужливой девочкой, а то, что Триши была некрасива — как не раз повторяли Кентам посещавшие их друзья,— было тоже скорее к лучшему. В доме росли два мальчика, Дональд и Билл, и блистай бесприданница красотой, это стало бы вечным поводом для беспокойства; за милости дяди и тети она могла отплатить им самой черной неблагодарностью. Поскольку же Триши дурнушка, такой опасности не было, и они оставались добры к ней без каких-либо задних мыслей — по натуре Кенты были незлыми людьми. А по мере того как шли годы, опекуны полагались все более на свою подопечную; и мистер и миссис Кент с охотой искали опору во всех, кого не боялись или не подозревали в тайных враждебных умыслах.

— Да, в понедельник он едет,— сказал мистер Рейси, энергично кивая Льюису, который, едва пригубив свой пунш, поставил бокал на стол. Кивок означал: «Пей, слюнтяй!» — и Льюис, откинув голову, выпил до дна, чуть при этом не захлебнувшись. Всего только третий бокал, но и такое скромное возлияние было ему не по силам; он заранее знал, что будет сперва возбужден и речист, к вечеру — сумрачен и проснется с головной болью. А Льюису требовалась ясная голова, чтобы думать о Триши Кент.

Сейчас он, конечно, не может жениться на Триши. Ему уже двадцать один год — сегодня как раз исполнилось,— но он все еще в воле отца. Пожалуй, оно и к лучшему, что он уедет в Европу. Разве он не мечтал, не грезил об этом с того самого дня, когда впервые, совсем малышом, загляделся на виды Европы, висевшие по стенам наверху, в коридоре, где так пахло циновками. А потом, когда Триши рассказала ему об Италии, ему еще пуще захотелось там побывать. Ах, поехать туда вдвоем! Она была бы его гидом, его Беатриче! (Триши подарила ему миниатюрного Данте из библиотеки отца, где на гравированном фронтисписе была изображена Беатриче, а сестра его, Мэри-Аделин, которую обучил итальянскому романтический эмигрант из Милана, помогла ему справиться с итальянской грамматикой.)

Поехать сейчас вдвоем вместе с Триши — несбыточная мечта. Но позднее, после женитьбы, они непременно вернутся в Италию, и тогда, может статься, он, Льюис, будет там ее гидом, познакомит ее с красотой и с историей ее родных мест; ведь она же, по сути, знает страну очень слабо: любопытные, но мало что значащие детские впечатления.

Эти мысли воодушевляли его и примиряли с неизбежностью близкой разлуки. Ведь если начистоту, он еще мальчуган, вернется же он настоящим мужчиной — вот так он ей завтра и скажет. Он приедет вполне определившимся человеком; его знание жизни (и сейчас, конечно, немалое!) станет более полным, глубоким; и тогда никто на всем свете не посмеет их разлучить. Льюис внутренне усмехнулся, представив, как мало подействует крик и сарказмы отца на этого прибывшего из Европы закаленного путешественника.

Между тем джентльмены делились курьезными происшествиями, случившимися с ними во время их собственного пребывания в Европе.

Никому из них, правда, в том числе и мистеру Рейси, не довелось так поездить по странам Европы, как это сейчас предстояло юному Льюису. Но братья Гуззарды дважды ездили в Англию по банкирским делам, а смельчак Коммодор после всех своих странствий на Дальнем Востоке умудрился еще побывать в Англии, в Бельгии и во Франции. У всех троих воспоминания еще были довольно свежи, и они возвращались к ним не без удовольствия, хоть и с некоторым неодобрением. «Ах, эти француженки!»— посмеивался Коммодор, показывая свои белоснежные зубы. Но Дональдсон Кент, пустившийся в дальнее путешествие, чтобы провести медовый месяц в Европе, был застигнут в Париже революцией 1830 года, в Италии схватил лихорадку, а в Вене едва избежал ареста, принятый за шпиона обознавшимся полицейским. Единственным светлым пятном в этом долгом кошмаре (после которого он никогда более не отваживался ездить за океан) были овации, которыми его наградили венцы, посчитав его герцогом Веллингтонским, когда он в синем сюртуке своего гида пытался незаметно покинуть гостиницу. «Это был непритворный восторг»,— рассказывал мистер Кент.

— И как только бедный мой брат терпел эту Европу! — говаривал он.— Впрочем, вот вам последствия...— добавлял он обычно, как бы давая понять, что, останься Джулиус в Америке, его дочь не была бы дурнушкой.

— Ну а что до Парижа, милый мой мальчик,— наставительно сказал мистер Кент, обращаясь на сей раз к Льюису,— пуще всего опасайся игорных притонов в этом их Пэлли-Ройле. Ноги моей, конечно, там не было, но и с улицы поглядеть — страх берет.

— Я встречал одного, которого обчистили там до нитки,—подтвердил Роберт Гуззард, а Коммодор, осушавший тем временем десятый бокал, хихикал и, влажно поблескивая глазами, все повторял: «Шлюхи, ах эти шлюхи!..»

— Что касается Вены...— сказал мистер Кент.

— Да и в Лондоне,— вступил Амброуз Гуззард,— шулера на каждом шагу, у них тысяча способов вас обобрать. Только и знают что ловить «желторотых». Это, знаете, кличка у них такая для неискушенного путешественника.

— А в Париже,— сказал мистер Кент,— меня чуть было не вызвали на дуэль.— Он вздохнул сперва с ужасом, а потом с облегчением и устремил взгляд вдоль берега бухты, где в отдалении стоял его мирный дом.

— На дуэль! — захохотал Коммодор.— На дуэли и у нас можно драться; в дни моей юности в Новом Орлеане я дрался не раз.— Матушка Коммодора была по рождению южанкой и, потеряв мужа, вернулась в Луизиану к родителям, так что сынок ее имел немало возможностей приобрести там разнообразнейший светский опыт.— Что же касается девок...— доверительно сказал Коммодор, протягивая хозяину свой опустевший бокал.

— Дамы! — вскричал предостерегающе мистер Кент.

Все встали, Коммодор столь же твердо держался на ногах, как и все остальные. Дверь в гостиную распахнулась, и на пороге пред-

стала хозяйка в шелковом платье с оборками и в парижском чепце, а за ней обе дочки в накрахмаленной кисее и в розовых коротких жакетах. Мистер Рейси горделиво и одобрительно оглядел своих дам.

— Джентльмены,— ровным голосом возвестила хозяйка,— обед на столе, и мы с мистером Рейси просим, чтобы вы оказали нам честь...

— Это вы оказали нам честь, сударыня, столь любезно пригласив нас к себе,— сказал Амброуз Гуззард.

Миссис Рейси присела, гости ответили низким поклоном.

— Предложите руку хозяйке, Гуззард,— сказал мистер Рейси.— Два других джентльмена поведут моих дочерей. Это прощальный обед в тесном кругу семьи. Мэри-Аделин, Сара-Энн!

Оба названных джентльмена церемонно приблизились к девушкам; мистер Кент, будучи членом семьи, вместе с мистером Рейси и Льюисом замыкал небольшую процессию.

Ах, это пиршество! Видение его не раз возникало перед Льюисом Рейси в годы его путешествия. Дома он был малоприметный едок, не жадный и не придирчивый; но там, на чужбине, где ели чеснок, муку из каштанов и страшных бородатых моллюсков, он вспоминал с вожделением тот обеденный стол.

В центре вздымалось многоярусное сооружение из фигурного серебра с эмблемами Рейси — ваза с букетом роз в окружении корзиночек с засахаренным миндалем и мятными леденцами в полосатых обертках. Возле этого настольного украшения теснились лоустофтские блюда[1] с малиной, клубникой и первыми делавэрскими персиками. Далее, если следовать мысленным взором от центра к периферии стола, мы увидим вазы и блюда с домашними булочками, бисквитами, слоеными пирожками с клубничным вареньем, кукурузными пышками прямо из печки; и золотистое масло, недавно из маслобойни, где оно лежало обернутым во влажный миткаль. А вот мы подходим к виргинскому окороку, над которым шефствует сам мистер Рейси, и к находящимся под наблюдением хозяйки перегородчатым блюдам с яичницей на подсушенных ломтиках хлеба и приготовленной на открытом огне пеламидой. Льюис позднее с трудом восстанавливал в памяти, где в этом затейливо-сложном строю было место для ножек индейки с хрустяще поджаренной корочкой, для залитой сметаной измельченной курятины, аккуратно нарезанных помидоров и огурцов, серебряных массивных молочников с желтыми сливками, лимонного желе и «плавучего пирога»,— но все это, ясное дело, стояло готовым к приходу гостей или подавалось на стол во время пиршества. И, конечно, еще нельзя позабыть высокие башни из вафель, колеблющиеся на своем основании, и неизменные спутники их, узконосые кувшины с кленовым сиропом, которые, едва они начинали пустеть, заново наполняла черная Дина.

И как они ели, о, как они ели! Хотя полагалось считать, что дамы лишь чуть прикасаются к пище. У одного только Льюиса эта баснословная снедь лежала нетронутой, пока повелительный жест отца или молящий взгляд Мэри-Аделин не побуждал его нехотя браться за вилку.

Между тем мистер Рейси продолжал разглагольствовать:

— Полагаю, что юноша, до того как он ступит на жизненный путь, должен увидеть свет, сформировать свои взгляды, утвердиться во вкусах. Пусть глянет на прославленные памятники искусства, познакомится с политическим строем других государств, со всеми этими устарелыми обычаями и традициями, бремя которых мы столь доблестно сбросили в нашей стране. Он увидит много такого, что достойно осуждения и сожаления («Ах, эти девочки!...» — напомнил

[1] Лоустофт — высоко ценимый коллекционерами английский фарфор XVIII столетия. *(Здесь и далее прим. перев.)*

о себе Коммодор), и вознесет благодарность всевышнему за то, что родился и вырос в нашей Стране Свободы. Притом,— великодушно заключил мистер Рейси,— потраченное им время пройдет не без пользы.

— Ну а воскресные праздники? — предостерегающе вопросил мистер Кент, и миссис Рейси тотчас откликнулась, адресуясь к своему сыну: — Это то, о чем я говорила.

Мистер Рейси не любил, чтобы его прерывали, и с досады сделался как бы еще корпулентнее. На минуту он словно навис над слушателями, после чего обрушился разом, подобно лавине, и на мистера Кента и на супругу.

— Воскресные праздники! Нашли о чем говорить! Чем, скажите, опасно европейское воскресенье доброму прихожанину нашей епископальной церкви? Все мы ревностные сыны и дщери церкви, не так ли? Полагаю, за этим столом не найдется ни хнычущих методистов, ни безбожников-унитариев. И дамы этого дома не ходят украдкой на проповеди в баптистскую молельню на углу переулка. Верно я говорю или нет? А если я прав, то чего нам бояться папистов? Я не меньше других осуждаю их языческие доктрины, но черт их всех подери, они тоже молятся в церкви. И служба у них настоящая, совсем как у нас. Служат священники в подобающем им облачении, не какие-нибудь прощелыги, будь они прокляты, в драных брюках и сюртуках, толкующие о всевышнем на том же языке, что с друзьями в трактире. Нет, сэр,— возгласил мистер Рейси, наседая на съежившегося мистера Кента,— не церкви опасны в Европе, страшны выгребные ямы.

Миссис Рейси вдруг побледнела. Льюис знал, что состояние санитарных удобств за границей сильно ее беспокоило.— Ночные миазмы,— прошептала она еле слышно.

Но мистер Рейси вернулся к своей основной теме:

— Полагаю, что, если молодой человек решил путешествовать, он должен поездить вволю... в пределах, понятное дело, своих... гм... материальных возможностей. Повидать белый свет. С таким боевым приказом мой сын пускается в плавание, Коммодор! Так давайте же выпьем за то, чтобы приказ мой был полностью выполнен!

Убрав блюдо с виргинским окороком, а точнее с тем, что от него оставалось, черная Дина поставила чашу с пуншем, и хозяин, вооружась разливательной ложкой, стал наполнять пряно благоухающим пламенем стоявшие в ряд на серебряном подносе бокалы. Мужчины все встали, дамы заулыбались, роняя слезы, и последовавшие за тем тосты за здоровье Льюиса и за успех его путешествия оказались столь выразительными, что хозяйка дала поспешный знак дочерям, и под шорох накрахмаленных юбок все три исчезли за дверью.

Льюис успел услышать, как мать пояснила сестрам: — Если папа в таком настроении, это значит, он очень любит нашего милого Льюиса.

2

Невзирая на вынужденные вчерашние возлияния, Льюис поднялся еще до восхода солнца.

Бесшумно открыв ставни, он высунул голову и оглядел лужайку, мокрую от росы; дальше угадывались кусты и темнела под звездным небом вода залива. Голова у него побаливала, но сердце в груди ликовало. Предстоящая радость протрезвила бы и более хмельную голову, чем у него.

Он быстро оделся, стянул цветастое одеяло со своей огромной кровати красного дерева, туго скатал его, взял под мышку и с этой таинственной ношей, не обуваясь, с башмаками в руке, уж приготовился тихо спуститься по скользкой дубовой лестнице, когда тьму внизу в холле вдруг озарил свет зажженной свечи. Замерев, он пере-

гнулся через перила и, к своему изумлению, увидел сестру, Мэри-Аделин. Она была в шляпке, в плаще, но тоже без обуви и шла, как ему показалось, из кладовой. Обе руки у нее были заняты: в правой она держала башмаки и свечу, в левой — прикрытую сверху корзинку.

Брат и сестра вглядывались друг в друга в голубом полумраке. Шедший вверх свет свечи искажал черты девушки, и спустившемуся навстречу ей Льюису показалось, что на лице сестры играет испуганная улыбка.

— Ты-то зачем поднялся? — прошептала она.— Я спешу отнести кое-что этой бедняжке, молодой миссис По; она так тяжко хворает. Надо вернуться, пока мама не пошла в кладовую. Ты не выдашь меня, правда, Льюис?

Льюис жестом показал, что участвует в заговоре, и осторожно отодвинул засов. Оба молчали, пока не отошли подальше от двери. Потом сели на приступке веранды, обулись и торопливо, тоже в полном молчании, прошли через призрачные кусты к калитке, которая вела в переулок.

— А ты куда, Льюис? — спросила сестра, в изумлении глядя на одеяло под мышкой.

— Куда я? — переспросил в замешательстве Льюис и стал рыться в кармане.— Я, конечно, без денег... Ты ведь знаешь, старик ничего не дает... но вот тебе доллар. Если он пригодится для миссис По, буду счастлив... почту́ за большую честь...

— Ах, Льюис... разумеется, он пригодится... и это так мило с твоей стороны. Я куплю им кое-что в лавке... Они мяса совсем не видят. Только то, что я принесу. А у нее ведь чахотка. И обе, и мать и она, так безумно горды...— Мэри-Аделин прослезилась, растроганная помощью Льюиса, а он вздохнул с облегчением: его тайна осталась при нем.

— Предутренний ветерок,— тихо сказал он, чувствуя, как воздух свежеет.

— Да, надо спешить,— заторопилась сестра.— К восходу солнца мне нужно быть дома, чтобы мама не знала...

— А мама не знает, что ты там бываешь, у миссис По?

На полудетском личике девушки выразилось лукавство.— И знает и в то же время не знает. Мы так с ней условились. Мистер По ведь безбожник, а ты знаешь, как на это смотрит отец...

— Понятно,— кивнул ей Льюис.— Теперь нам в разные стороны. Пойду немного поплаваю,— пояснил он небрежно. Потом обернулся и схватил сестру за руку.— Передай ей, сестренка, что третьего дня в Нью-Йорке я слушал мистера По, он читал там стихи...

— Как, Льюис, ты слушал его? Но отец говорил нам, что он богохульник!

— Он поэт, великий поэт. Передай, что я так сказал. Обещаешь, сестренка?

— Не знаю... Мы с ней не ведем разговоров о мистере По.— Девушка смущенно умолкла и пустилась своим путем.

В маленькой бухте, откуда еще так недавно отплывал Коммодор, покачивалась в предутренней зыби неуклюжая шлюпка. Льюис подгреб на ялике, привязал его, перебрался на шлюпку. Порывшись в карманах, он извлек бечеву, парусную иглу и множество других неожиданных и странных предметов. Связав два весла, он укрепил их стоймя между передней банкой и носом и поднял на импровизированной мачте парус из одеяла. После чего закрепил бечеву за конец цветастого паруса и, держа ее левой рукой, взялся правой за руль.

Венера, меланхолично светившая серебром на узкой полоске бледно-зеленого неба, метнула в воды залива сияющий круг, как только утренний бриз надул этот парус любви.

Пройдя две-три мили вниз по заливу, Льюис Рейси спустил свой удивительный парус и пришвартовался в маленькой бухточке. В ту же минуту ивняк, окаймлявший усыпанный галькой берег, таинственно расступился, и Триши Кент заключила его в объятия.

Солнце уже поднималось из низких туч на востоке, поливая их жидким золотом, и по мере того как свет разливался по небу, Венера теряла свой блеск. Но под ивами царствовал водянисто-зеленоватый сумрак, хранивший еще запоздалые шорохи ночи.

— Триши! Триши! — Юноша упал перед ней на колени. Потом он спросил: — Ты уверена, ангел мой, что никто не догадывается?

Девушка рассмеялась, забавно наморщив носик. Она склонила головку к нему на плечо, прижалась к его щеке крутым лбом и завитками волос и, держа его руки в своих, дышала шумно и радостно.

— Думал, совсем не доеду с этим дурацким парусом...— жаловался ей Льюис.— Скоро уже рассветет... только подумать, мне двадцать один вчера стукнуло, а я езжу к тебе в этой шлюпке, оснащенной, как детский кораблик в утином пруду. Как меня это мучает!..

— О чем тужить, милый? Тебе двадцать один год, и ты полный себе хозяин.

— Какой я себе хозяин? Он тоже так говорит, но держит меня как в тисках. Сейчас открыл в лондонском банке счет... Положил десять тысяч долларов на мое имя... Ты слышала, десять тысяч?.. А в кармане у меня нет ни цента. Что с тобой, Триши, милочка?..

Она обвила его шею руками, но сквозь поцелуи он чувствовал вкус ее слез.— Ну что с тобой, Триши? — молил он.

— Я совсем позабыла, что это — наше прощание... Зачем ты напомнил про Лондон?.. Как это жестоко! — корила она его, и в зеленой тьме их убежища ее глаза засверкали, как сверкают звезды перед бурей. Только у Триши глаза излучали такую стихийную ярость.

— Злючка! — засмеялся он, сам не на шутку взволнованный.— Мы прощаемся, верно, но ведь ненадолго. Что два года для нас — пустяки! А домой я вернусь возмужалым, свободным, ни от кого не зависящим и буду просить тебя выйти за меня замуж... Громко, во всеуслышание, пусть знает весь свет... Подумай об этом, милая, и обещай мне быть храброй... и терпеливой, хотя бы ради меня... И я тоже тебе обещаю,— заявил он торжественно.

— Там будут другие девушки, множество, сотни... В этом испорченном Старом свете они так хороши. Дядя Кент говорил, что в Европе дурные нравы, даже в моей бедной Италии.

— Ну а ты остаешься с кузенами, Биллом и Дональдом. Каждый день вместе с ними, с утра и до вечера. Я ведь знаю, он тебе нравится, этот верзила Билл. Ах, будь я шести футов ростом, насколько я был бы спокойнее, оставляя тебя. Ты ведь так непостоянна, дитя,— попытался он пошутить.

— Непостоянна? Это я непостоянна! Ах, Льюис!..

Он увидел, что она сейчас разрыдается. В теории кажется весьма притягательным держать в объятиях проливающую слезы красотку, но на деле это было не так. Льюис чувствовал, что вот-вот разрыдается сам.

— Нет, нет, ты тверда как алмаз, крепче стали. Мы оба такие и такими останемся, не правда ли, сага [1]?

— Да, мы оба такие, саго.— Она вздохнула утешенная.

— И ты будешь писать мне, Триши, длинные-длинные письма. Обещаешь, не правда ли? И не забывай нумеровать их, чтобы я сразу увидел, если вдруг одно пропадет.

— Да, Льюис, а ты обещаешь носить их вот тут, у сердца.

[1] Дорогая, дорогой *(итал.)*.

Не все, разумеется,— добавила она, рассмеявшись,— потому что их будет столько, что у тебя вырастет спереди горб, ты станешь как Пульчинелла. Но хотя бы последнее ты должен носить на груди. Обещаешь?

— Да, да. Обещаю, при условии, конечно, что если в нем ты напишешь, что будешь меня любить,— еще раз попытался он пошутить.

— Ах, конечно, буду тебя любить... В ответ на твою любовь, Льюис... И даже без этого...

Венера погасла в лучах восходящего солнца.

3

Льюис заранее знал, что расставание с Триши не самое тяжкое, что ему предстоит; страшнее беседа с отцом.

От этой прощальной беседы зависело все — и в первую очередь его ближайшие планы на будущее. Сейчас, пробираясь домой по росистой нагретой утренним солнцем траве, он опасливо покосился на отцовские окна и возблагодарил судьбу, что ставни затворены.

Миссис Рейси, бесспорно, была права, полагая, что крепкие выражения, которые мистер Рейси позволял себе за обедом в присутствии дам, означали, что он в добродушнейшем настроении, так сказать «в халате и в шлепанцах». Случалось же это столь редко, что Льюис иной раз задавался нескромным вопросом, как вообще отец соизволил спуститься с Олимпа, чтобы даровать жизнь ему и сестрам.

Льюис отлично знал, что их фамильное состояние — собственность матери, знал он и то, что мать для него готова на все. Что толку в этом! На второй же день после свадьбы мистер Рейси без лишнего шума взялся управлять капиталом жены, выдавая ей на руки более чем скромную сумму и наперед рассчитав все ее личные траты вплоть до почтовых расходов и доллара, который она бросала по праздникам в церковную кружку. Он любил объяснять, что выдает эти деньги исключительно «на булавки»; все расходы по дому он взял на себя, а жене предоставил полное право тратиться «на рюшки и перышки».

— Только на рюшки и перышки, если хочешь меня порадовать, моя дорогая,— говаривал он.— Красота требует надлежащей оправы. Не хочу, чтобы друзья, которых мы позовем обедать, злословили бы, что миссис Рейси опять слегла сегодня с мигренью, а вместо нее за столом сидит наша бедная родственница в альпаковом платье.— И в полном согласии с этим желанием супруга бедная миссис Рейси, полупольщенная, полузапуганная, тратила все, что он ей выдавал, на наряды для себя и для дочек, экономя потом на топливе и на харчах для прислуги.

Мистер Рейси сумел убедить жену, что такой распорядок был единственно правильным; несколько жестким, быть может, но отличным по своим результатам. И когда миссис Рейси касалась этих вопросов в разговорах со своими родными, то всегда со слезами признательности превозносила готовность супруга принять на себя тяжкий труд — управлять ее капиталом. А поскольку ее состояние под началом мистера Рейси действительно приумножалось, то ее практичные братья — довольные, что сбыли заботу с рук, и втайне уверенные, что, дай сестре волю, она пустила бы все свои деньги на глупую филантропию,— оба считали, что все в полном порядке. Только ее старая мать иногда говорила: «Подумать только, что бедная Люси-Энн не смеет сварить себе каши, пока он не отмерит овсянки...» Но говорила она это чуть слышно, ибо было известно, что мистер Рейси владеет чудесным даром узнавать обо всем, что творится у него за спиной,

и может жестоко отомстить престарелой обидчице, которую, впрочем, с придыханием в голосе именовал дорогой своей тещей, не упуская добавить, что, будь ему это дозволено, называл бы ее от души и своей дорогой матушкой.

К Льюису мистер Рейси подходил с той же меркой, что к супруге и дочерям. Он хорошо одевал его, не скупясь нанимал наставников, превозносил до небес — и считал каждый цент, отпущенный ему на личные траты.

Но имелась и некая важная разница, о которой и Льюис и остальные были осведомлены.

Предметом честолюбивых мечтаний мистера Рейси, страстью всей его жизни было основание «династии», и для этой цели он располагал только Льюисом.

Мистер Рейси глубоко почитал родовые имения, право старшего в роде на наследование семейной недвижимости, словом, все, на чем держится поместная аристократия в Англии. Никто громче его не воспевал демократические порядки в Америке, но они отступали в тень перед куда более важной проблемой основания «династии»: этому он отдавал все старания и помыслы.

В итоге, как Льюис не мог не догадываться, теснившиеся в широкой груди мистера Рейси гигантские замыслы сосредоточились на его малорослой недостойной особе. Льюис был собственностью мистера Рейси и воплощением его надежд; этого было довольно, чтобы он высоко ценил сына (ценить — не значит любить, отмечал про себя Льюис).

Особенно ценил мистер Рейси литературные способности Льюиса. Будучи сам не лишен кое-какой образованности, он создал для себя идеал «просвещенного джентльмена», каким и желал видеть сына. Мистер Рейси был бы намного более доволен, если бы Льюис был повиднее физически, сочетал бы духовные интересы со спортивной закалкой (речь идет, разумеется, о тех видах спорта, какие признаны в порядочном обществе); но чего нет, того нет, что поделаешь. Однако, считал мистер Рейси, пока Льюис достаточно молод и способен еще совершенствоваться, двухлетнее заграничное путешествие может иметь самое благотворное действие на его организм; он возвратится домой совсем другим человеком, не только умственно, но и физически. Мистер Рейси сам путешествовал в молодости и отлично помнил, сколь ему это оказалось полезным. И он рисовал себе заманчивую картину, как с парохода сойдет возмужавший, бронзовый от загара, вкусивший независимой жизни Льюис, побывавший в кое-каких переделках, отдавший дань молодости в этих далеких странах и готовый теперь к степенной жизни на родине.

Обо всем этом Льюис легко догадывался; догадывался он и о том, что после двух лет путешествия мистер Рейси, конечно, намерен его женить и тогда же наставить на путь деловой жизни; причем и невесту и поле его будущей деятельности мистер Рейси выберет сам, не подумав спросить его, Льюиса, мнения.

Он хочет осчастливить меня на свой вкус и для собственной пользы, так думал Льюис, когда подходил к столу, где семья собралась для завтрака.

По утрам в эти летние месяцы мистер Рейси выглядел особенно выигрышно. На нем были ослепительно белые парусиновые брюки со штрипками, сапоги лаковой кожи и тончайшего кашемира сюртук; белоснежный шейный платок уходил под пикейный желтовато-кофейный жилет; весь он был ясным и свежим, как это погожее утро, и аппетитным, как стоявшие перед ним на столе сливки и персики.

Против мистера Рейси восседала хозяйка дома, тоже в безукоризненном утреннем туалете, но несколько бледнее обычного, как и подобало родительнице, которой предстояла разлука с единственным сыном. Зато Сара-Энн была розовее обычного и явно старалась, чтобы

разговор за столом не коснулся опоздания сестры. Льюис поздоровался и сел справа от матери.

Мистер Рейси извлек из кармана часы с репетицией, снял их с золотой массивной цепочки и положил рядом со столовым прибором.

— Мэри-Аделин снова опаздывает. Ее брат покидает нас на целых два года, а она не спешит явиться к прощальному завтраку. Я назвал бы это несколько странным.

— Ах, мистер Рейси!..— нерешительно отозвалась миссис Рейси.

— Нахожу это несколько странным,— повторил мистер Рейси.— Впрочем,— добавил он не без едкой иронии,— возможно, господь в своей мудрости наградил меня странной дочерью.

— Боюсь, что у Мэри-Аделин разыгралась мигрень. С утра она просто не могла оторвать головы от подушки,— быстро вмешалась сестра. Мистер Рейси насмешливо поднял брови. Наступила очередь Льюиса.

— Опасаюсь, сэр, что во всем виноват я один...

Миссис Рейси стала еще бледнее, Сара-Энн залилась румянцем, а мистер Рейси откликнулся ворчливо и недоверчиво:— В чем это ты виноват?..

— Разве не из-за меня, сэр, вчера все выпили лишнего...

— Ха-ха-ха! — захохотал мистер Рейси, и гроза миновала.

Он отодвинул стул, улыбнулся и сделал знак Льюису, после чего, оставив дам за столом мыть посуду (в порядочных нью-йоркских домах этот обычай пока еще сохранился), оба, отец и сын, удалились в кабинет мистера Рейси.

Чем занимался его отец, уединяясь в своем кабинете, всегда оставалось загадкой для Льюиса (вернее всего, проверял там счета, может статься, раздумывал, какую еще новую гадость поднести своему семейству). То была небольшая, почти что пустая, угнетающе действовавшая на всех, кто входил в нее, комната, и Льюис, у которого и так замирало сердце каждый раз, как ему приходилось ступать за ее порог, упал духом еще более обычного. «Вот оно!» — сказал он себе.

Мистер Рейси устроился в единственном в комнате кресле.

— Друг мой, лишнего времени у нас нет, но я успею сказать тебе самое главное. Час-другой — и ты начнешь путешествие. Это важный момент в жизни каждого юноши. Твои способности и природные данные, как и материальные средства, предоставленные тебе, позволяют надеяться, что путешествие твое будет успешным и ты вернешься домой настоящим мужчиной...

Пока что ничего неожиданного, Льюис знал все это заранее. Он молча склонил голову, выражая согласие.

— ...Настоящим мужчиной,— повторил мистер Рейси,— готовым занять свое место в жизни нашего общества. Полагаю, что тебе предстоит стать видной фигурой в Нью-Йорке. Денег у нас достаточно,— мистер Рейси откашлялся,— но деньги — не все, хотя ты всегда должен помнить, что это всему — основа. Воспитание, внешний лоск, знание света — вот чего не хватает многим из нашего круга. Что они знают о живописи, о словесном искусстве? Допускаю, наша страна не имела достаточно времени, чтобы создать свою живопись, написать свои книги... Ты что-то хотел сказать? — прервал себя мистер Рейси с фальшивой предупредительностью.

— Нет, нет...— пробормотал Льюис.

— А то мне казалось, ты придаешь слишком много значения потугам этих писак, рифмачей-богохульников. Говорят, у трактирной швали их горячечный бред имеет какой-то успех.

Льюис смутился, поняв, в кого метит отец, но ничего не сказал, и мистер Рейси продолжил свою речь:

— У нас нет своего Байрона... А где Вальтер Скотт? Где Шекспир? То же и в живописи. Где наши Старые мастера? Что говорить, есть художники не без дарования, но лишь современного склада. Шедевры

же были созданы в давние времена, и по большей части мы довольствуемся их копиями... Так вот, милый мальчик, я поделюсь с тобой замыслом, который, уверен, должен тебя порадовать. Я знаю, как ты любишь искусство, и я намерен эту любовь поощрять. Разумеется, место, которое ты займешь в нашем обществе, обязательства джентльмена и богатого человека не позволят тебе добиваться признания в качестве живописца или знаменитого скульптора. Но я вовсе не против того, чтобы ты научился владеть резцом или кистью как любитель, я имею в виду, и на время своего путешествия. Такого рода занятия образуют твой вкус, воспитают верность суждения и помогут тебе в важном деле — собрать для меня коллекцию живописных шедевров, заметь, оригинальных полотен, ни в коем разе не копий. Копии,— подчеркнул свою мысль мистер Рейси,— пусть собирают те, кто менее взыскателен, или те, кто не может себе иного позволить. Да, дорогой мой Льюис, я решил создать галерею, фамильную галерею шедевров, которая будет переходить в нашей семье по наследству. Твоя мать полностью разделяет мой замысел. И ей хочется тоже, чтобы у нас на стенах красовались создания прославленных мастеров-итальянцев. Не знаю, удастся ли нам приобрести Рафаэля, но мы купим Доменикино, Альбано, Карло Дольчи, Гверчино... Карло Маратту, парочку-другую пейзажей Сальватора Розы... Надеюсь, ты понял, что я имею в виду. Мы создадим так фамильную галерею Рейси, и тебе, Льюис, выпала честь заложить основу собрания.— Мистер Рейси умолк и отер стекавший по лбу пот.— Полагаю, что лучшей миссии я не мог для тебя и придумать.

— Разумеется, сэр, еще бы! — вскричал Льюис вне себя от волнения. Ничего подобного он не предвидел, и сердце его колотилось от счастья и гордости. На минуту он позабыл про любовь и про Триши, позабыл обо всем. Он представил себе, как станет бродить среди созданий искусства, которые доселе созерцал лишь в мечтах, и будет не только восторженным их почитателем, о!— а тем счастливцем, которому предоставлено право отобрать иные из них, даже пусть самые малые, и увезти их домой. Он лишь с трудом сознавал, что за счастье ему привалило: волнение, как и раньше случалось, лишило его дара речи.

До него доносилось гудение мистера Рейса, развивавшего в деталях свой план. С обычной обстоятельностью и педантизмом мистер Рейси сообщил, что один из владельцев Лондонского банкирского дома, где для Льюиса будет открыт денежный счет, сам является собирателем живописи, и он согласился снабдить юного путешественника рекомендательными письмами к другим знатокам искусства во Франции и в Италии; так что Льюису будет открыта возможность совершить все намеченные покупки, пользуясь их покровительством и их компетентным советом.

— И чтобы ты чувствовал себя с этими собирателями и знатоками на равной ноге,— продолжал свою речь мистер Рейси,— я предоставил тебе на расходы круглую сумму. Я даю десять тысяч, чтобы ты путешествовал эти два года, ни в чем себе не отказывая. Я кладу дополнительно на твое имя другие пять тысяч...— Он выдержал паузу, после чего продолжал с особой отчетливостью, чтобы сыну врезалось в память каждое слово: — Особо пять тысяч на покупки картин, которые — я прошу твоего внимания — перейдут по наследству сначала к тебе, а далее, будем надеяться, к твоим сыновьям, и внукам, и правнукам, пока будет длиться род Рейси.

Эти заключительные слова как бы имели в виду, что по своей долговечности династия Рейси не уступит и самим египетским фараонам.

Голова Льюиса шла кругом. Подумать, пять тысяч! Даже в долларах это была огромная сумма, ну а на европейские деньги просто неисчислимая... «Напрасно отец заранее отчаивается,— думалось Льюису,— если я кое-что сберегу, откажусь от излишних роскошеств, я

еще удивлю его Рафаэлем. А мама, какая милочка, какой молодец! Вот для чего она постоянно на всем экономила. А я-то считал это скупостью и крохоборством...»

У Льюиса в глазах были слезы, и хотя он молчал, его распирало желание выразить отцу свой восторг и признательность. Он вошел в кабинет, чтобы выслушать проповедь о деньгах, что счет любят, и еще, может быть, назидания о «подходящей женитьбе» (он заранее знал, какую из дочек Гуззарда отец ему прочит в жены). И что же — вместо того ему дают кучу денег, велят ее тратить по-царски и поручают купить великолепную коллекцию живописи.

— Ну, нет,— пробормотал он под нос,— без Корреджо я не вернусь.

— Так что же ты скажешь? — прогудел мистер Рейси.

— Что сказать мне вам, сэр?! — вскричал Льюис и прижался щекой к исполинскому склону под отцовским пикейным жилетом.

В потоке восторга он не упустил молчаливо приметить, что отец не сказал ничего, что шло бы вразрез с его, Льюиса, планами касательно Триши. Может быть, мистер Рейси догадывается об их тайных замыслах, даже мирится с ними? На минуту у Льюиса промелькнуло сомнение: не вернее ли было бы открыться во всем отцу. Впрочем, боги грозны и тогда, когда милостивы и, быть может, в эти минуты особенно опасны для смертных...

Часть II

4

Льюис Рейси стоял на скалистом выступе и зачарованным взглядом смотрел на Монблан.

Царил ослепительный август, но здесь, высоко в горах, воздух был ледяным. Льюис укутался в плащ на теплом меху, который по мановению руки принес ему взятый в европейское путешествие камердинер, ожидавший теперь на почтительном расстоянии внизу. Еще ниже, у поворота горной дороги, стоял элегантный и легкий путевой экипаж, в котором он путешествовал.

Прошел всего год с небольшим с того дня, когда, стоя на палубе уходящего в океан пакетбота, он простился с Нью-Йорком, и надо сказать, что спокойно взиравший сейчас на красоты Монблана молодой человек находил в себе мало общего с тем расплывчатым, не обретшим еще надлежащей формы зеленым юнцом, каким был покидавший Нью-Йорк Льюис Рейси; разве только одно их сближало — в глубинах его существа жил все тот же старинный страх перед Рейси-старшим. Но и этот подспудный страх был теперь изрядно ослаблен разделявшим их расстоянием и протекшим со дня их последней беседы временем; он остался за линией горизонта, застрял, так сказать, на другом конце света и напоминал о себе лишь в минуты, когда в какой-нибудь из европейских банкирских контор клерк вручал Льюису надписанный отцовской рукой аккуратный, с сургучной печатью пакет. Старший Рейси писал сыну редко, когда же писал, то выражал свои чувства натянуто и высокопарно. Взяв в руки перо, мистер Рейси испытывал скованность, и его природная склонность к сарказму терялась в округлых периодах, сочинение которых давалось ему нелегким трудом. Так что в письменном виде эта страшившая Льюиса черта отцовской натуры давала знать о себе разве что в начертании той или иной характерной литеры и еще в нестерпимом педантстве, с которым отец выводил на конверте: «Льюису Рейси, эсквайру».

Не будем настаивать, что молодой человек вымел из памяти все, чему к этому времени истекла годичная давность. Многое он продол-

жал хранить, или, точнее сказать, перенес в память нового Льюиса, которым он ныне стал; например, сердечную склонность к Триши, которую, к его удивлению, не смогли притушить ни слащавые чары английских красавиц, ни миндалевидные очи всех гурий Востока. Не раз, блуждая по улочкам какого-нибудь овеянного преданиями старого города или отдаваясь красе навевавшего томную грусть пейзажа, он бывал поражен, когда вдруг перед ним возникало скуластое, с выпуклым лбом и широко поставленными глазами маленькое смуглое личико Триши; так застывал он в каком-нибудь экзотическом здешнем саду, услышав запах вербены, той самой вербены, что цвела у них дома у самой веранды. Триши была некрасива; его новые впечатления не только не шли вразрез с этим мнением его домашних, но скорее подтверждали его; ее облик не совпадал ни с одним из признанных образцов женского обаяния; и все же, почти позабыв вкус ее поцелуев и эти особые терпкие нотки в ее голоске, он хранил ее образ и в сердце и в разуме не менее прочно, чем прежде. Случалось, не без некоторого чувства досады он мысленно клялся, что вполне в его власти сделать усилие и расстаться с ней навсегда; время, однако, бежало, все оставалось по-прежнему; так таится изображение на дагерротипной пластинке; оно вне вашего взора, но оно — там.

Притом новому Льюису вся эта юношеская влюбленность казалась не столь уже важной. С высоты обретенной им зрелости Триши Кент представлялась теперь скорее милым ребенком, чем путеводной звездой, Беатриче, как ему это чудилось раньше.

Улыбнувшись своей умудренной новой улыбкой, он подумал сейчас, что, как только приедет в Италию, непременно возьмется за большое послание к Триши; он давно уже ей не писал. Льюис начал свое путешествие в Лондоне и провел там около месяца; собрал письма и рекомендации, приобрел экипаж и все нужное для дальнейшей поездки; после чего принялся колесить по стране, посещая старинные города и овеянные преданиями замки, от Эбботсфорда и до Кенилворта, стараясь не пропустить ничего, что заслуживает внимания просвещенного путника. Потом пересек Ла-Манш, высадился в Кале, не спеша докатил до Средиземного моря, снова сел на корабль до Пирея; а затем, преобразившись из туриста в гяура, ушел с головой в новый, сказочный мир.

Надо думать, что именно странствия по Востоку и превратили его в нынешнего Льюиса Рейси. Притягательный и пугающий, романтичный и зачумленный, с соловьями и блохами, исполненный плутовства и поэзии, этот Восток и в блеске своем, и в убожестве оказался совсем иным, нежели тот, что мерещился юному Льюису по прочитанным книгам. Так что же могло в нем остаться от нью-йоркской Кэнел-стрит и лужайки над заливом после базаров Смирны, после Дамаска, Пальмиры, после Акрополя, Митилены и Суниона? Даже москиты, единственно напоминавшее ему здесь о доме, казались иными москитами, вернее всего потому, что кусали его на фоне иного пейзажа. И что значат страхи, посещавшие некогда вас на берегу Гудзона, в Нью-Йорке для того, кто проехал пустыню в арабском бурнусе, кто ложился спать в шатрах из козлиных шкур, отбивался от разбойников на Пелопоннессе, был однажды ограблен проводниками в Баальбеке и многократно обобран таможенными чиновниками в каждой новой стране, куда шел его путь. Мудрено ли, что прежний, оставшийся в прошлом, привыкший к уютной размеренной жизни малыш казался новому Льюису заспиртованным эмбрионом. Даже громы мистера Рейси-старшего представлялись ему не более чем ворчанием далекой грозы, какое порой доносится в летний спокойный вечер. И собственно, почему он должен бояться мистера Рейси, когда его не страшит сам Монблан?

Продолжая взирать как равный на равного на грозную вершину горы, он заметил, что возле его кареты остановился другой экипаж, из

которого с живостью выскочил молодой человек и в сопровождении слуги, несшего его плащ, стал подниматься по склону. Льюис сразу узнал и карету, и ее легконогого молодого владельца — его синий сюртук, развевавшийся шейный платок и шрам на лице, несколько портивший его выразительный, изящно обрисованный рот. Это был англичанин, прибывший вчера в их гостиницу с гидом и камердинером и с таким грузом книг, рисовальных принадлежностей и путевых карт, перед которым собственный багаж Льюиса полностью пасовал.

Льюис сперва с опаской отнесся к новоприбывшему; за обедом тот сидел, погруженный в задумчивость, и, казалось, не замечал ничего, что творится вокруг. По правде сказать, Льюис жаждал с кем-нибудь побеседовать. Переполненный впечатлениями, он не имел для них выхода, не считая скудных записей по вечерам в дневнике, и настоятельно чувствовал, что должен их выразить в форме живого рассказа, или они пропадут, обесцветятся, сольются с рассказами тысяч других. И этот новоприбывший, такой синеглазый — под цвет своего сюртука,— с выразительным ртом и со шрамом, казался ему желательным собеседником. Англичанин, однако, оставался бесчувственным к тайным мечтанием Льюиса, сидел с видом как бы отсутствующим (так казалось самолюбивому Льюису),— подобно тому как античные боги, не желая общаться со смертными, закрывали себя облаками. Покидая столовую, он сухо пожелал доброй ночи. Льюис льстил себя мыслью, что ответил не менее холодно.

Но сегодня все было иначе. Незнакомец подошел, поднял шляпу с великолепной спутанной гривы волос и, приветливо улыбаясь, спросил, не интересуют ли Льюиса, случаем, очертания перистых облаков.

И голос его и улыбка внушали доверие, а взгляд был таким подкупающим, что этот странный вопрос показался Льюису и естественным и уместным. Если он и был удивлен, то лишь самым приятным образом. Покраснев оттого, что ничего в облаках не смыслит, он ответил не мудрствуя:

— Мне кажется, сударь, что меня интересует решительно все на свете.

— Славно сказано! — воскликнул новый знакомый и протянул Льюису руку.

— Но не скрою от вас,— отважно добавил Льюис,— к перистым облакам я специально никогда не приглядывался.

— Почему бы вам не начать? — весело предложил собеседник, на что Льюис ответил столь же веселым согласием.— Стоит только вглядеться попристальней, и рождается интерес,— сказал незнакомец уже более серьезно,— а вы, как мне кажется, принадлежите к тем избранным, кому дан зоркий глаз...— Льюис вспыхнул от удовольствия.— Вы из тех, кто ищет дорогу в Дамаск,— продолжал собеседник.

— Я уже побывал в Дамаске,— воскликнул в ответ Льюис, жаждая поделиться подробностями своего путешествия, и покраснел еще гуще, поняв с опозданием, что о Дамаске речь шла лишь в метафорическом смысле.

— Побывали в Дамаске? Собственной персоной? — просиял молодой англичанин.— Так это не менее интересно — по-своему,— чем строение облаков или мхов. Сейчас,— сказал он, указывая на вершину Монблана,— мне предстоит запечатлеть на бумаге эти зубцы. Рисовальщик я не очень искусный, и вам будет скучно смотреть на мою мазню перед лицом столь великого подлинника. Но, надеюсь, что вечером — мы ведь, кажется, с вами в одном отеле — вы пожертвуете чуточку вашего времени и расскажете мне что-нибудь о своих путешествиях. Отец положил мне в ящик с кистями несколько бутылок старой мадеры, и, быть может, вы согласитесь отобедать со мной,— добавил он все с той же неотразимой улыбкой... После чего расстелил на скале плащ, слуга развязал саквояж с рисовальными принад-

лежностями, и когда Льюис подходил к своему экипажу, его новый знакомый уже полностью углубился в работу.

Мадера оказалась на славу, как и обещал молодой англичанин. Возможно, что именно эта бутылка вина и сообщила некий золотой ореол их беседе; а быть может и так, что красноречие синеглазого собутыльника заставляло Льюиса Рейси, весьма скромного потребителя вин, подносить к губам каждую новую рюмку, словно он пил нектар.

Приняв приглашение к обеду, Льюис втайне рассчитывал, что обрел, наконец, аудиторию для рассказа о своих путешествиях, но когда их встреча закончилась (уже после полуночи), он вдруг обнаружил, что был большей частью внимательным слушателем. Притом не было ощущения, что он не сумел вволю высказаться. Но каждое произнесенное слово подхватывалось собеседником и омывалось в волнах столь живительного воображения, что начинало сверкать подобно пыльному камушку, брошенному в быстро текущий ручей. Внимательно слушая Льюиса, тот умел повернуть рассказ под новым углом, подвести к неожиданным выводам, и будничный, мало чем примечательный факт вдруг превращался в подобие брызжущего огнем ограненного хрусталя. Духовный мир англичанина оказался несметно богатым, оставляя далеко позади и познания, и круг мыслей Льюиса, но его непритворная страсть к общению, радушие и прямота в обращении с младшим товарищем говорили о щедрой готовности делиться своими сокровищами. Нет, не в вине была магия, не бутылка мадеры придала их беседе подобие волшебного сна; вернее будет сказать, что каждая капля мадеры — превосходной старой мадеры, как позднее выяснил Льюис,— была как бы освящена волшебством их беседы.

— Нам обязательно нужно вместе поехать в Италию,— сказал на прощание молодой англичанин,— я хотел бы помочь вам кое-что повнимательнее там рассмотреть.— И в ночной тишине, расставаясь на гостиничной лестнице, они поклялись в вечной дружбе.

5

В Венеции, в неприметной на вид церквушке, почти что часовенке, о которой ни слова не было сказано в туристском путеводителе, у Льюиса Рейси открылись глаза. Когда бы не молодой англичанин, с которым случай свел Льюиса у Монблана, он в жизни не заглянул бы сюда. А не загляни он сюда, чего бы вообще стоило все его путешествие?!

Он долго стоял озадаченный (он мог теперь в этом признаться) тем, что сначала он принял за скованность в позах и жестах изображенных на фресках людей, детски-наивным, как ему показалось в ту пору, тщанием, с каким было выписано их платье, одежда (сколь поиному смотрелись благородные складки на полотнах великих художников, которыми учил восхищаться в своих «Рассуждениях» сэр Джошуа![1]) и простодушным, словно лишенным экспрессии выражением их юных лиц (даже в седобородых старцах присутствовало нечто младенческое). Но вдруг вниманием Льюиса завладело одно лицо на картине — круглощекая скуластая девушка с широко посаженными глазами в узорной, унизанной жемчугом сетке на волосах. Постойте, так это же Триши, в точности Триши Кент! Но кто бы посмел назвать ее теперь некрасивой! На картине она выглядела несравненной принцессой из сказки. И в какой волшебной стране проводила она свои дни! Ее окружали гибкие юноши, круглолицые с капризными губками девушки, румяные старцы, черные до глянца арапы, диковинные птички и кошечки, кролики, щиплющие траву. И все это общество располагалось на золоченых террасах, под розовыми и голубыми ар-

[1] Имеется в виду Джошуа Рейнольдс, знаменитый английский живописец XVIII столетия.

кадами; гирлянды из лавра ниспадали с балконов цвета слоновой кости, купола церквей и минареты вырисовывались на фоне летнего моря. Этот невиданный мир захватил, пленил Льюиса, и он не печалился более ни о благородных одеждах, ни о человеческих ликах, с запечатленными на них преувеличенными страстями, ни о темном как сажа колорите полотен; забыл обо всем, чем готовился восхититься у Сассоферрато и Гвидо Рени, Карло Дольчи, Карраччи, Ло Спаньолетто; забыл даже о рафаэлевом «Преображении», хотя до того твердо знал, что это величайшая картина на свете.

Позднее Льюис ознакомился почти что со всем, что следует видеть и знать изучающим итальянскую живопись. Он посетил Флоренцию, Неаполь и Рим, поехал в Болонью ради эклектической школы, потом направился в Парму, чтобы увидеть Корреджо и Джулио Романо. Но то, что открылось ему в самом начале, осталось волшебным зерном во рту; с этим зернышком он постигал язык птиц, и ему было внятно, что шепчет трава. Иной раз Льюису Рейси казалось, что будь он даже один, без поддержки английского друга, который шел рядом с ним, вдохновлял, пояснял и указывал,— и тогда бы круглолицая маленькая святая Урсула провела бы его со спокойной уверенностью мимо всех, кто осмеливался вступать с ней в соперничество. Она была его ментором, его путеводной звездой. Какими бесцветными, пресными казались ему все эти мадонны в красном и синем, с потупленным взором, после того как он встретил ее вопрощающий девичий взгляд и вгляделся в узор на ее парче. Ему не забыть тот день, когда ради нее он отверг Беатриче Ченчи. Ну а что до толстомясой нагой Магдалины у Карло Дольчи, вылупившейся на зрителя в доброй старой манере, да еще с этой книгой в руках, которую она не читает, фу... он с ней расстался и сам, не прибегая к чарам святой Урсулы...

Да, ему открылось новое царство искусства. И теперь, по милости божией, ему выпала честь открыть это царство другим. Ему, так мало что знавшему и так мало что значащему Льюису Рейси! Подумать, как бы не эта случайная встреча на склонах Монблана, он остался бы прежним, как был. Он содрогнулся, представив себе целый сонм асфальтово-черных монахов, неаполитанских мальчишек в лохмотьях, томных мадонн и розовозадых амуров, которых он вез бы сейчас в багаже в трюме своего пакетбота.

В волнении, владевшем Льюисом, полыхал подлинно апостольский жар. Еще два-три часа, он обнимет Триши, он вернется домой к своим почтенным родителям. Но это не все! Он также провозгласит свой новый завет всем тем, кто погряз в плену устарелых взглядов перед Сальватором Розой и Ло Спаньолетто.

По приезде Льюиса сильнее всего поразили две вещи: родительский дом над бухтой показался ему много меньше, чем он его помнил; а мистер Рейси, напротив, крупнее, чем он ожидал.

Признаться, это было совсем не то, к чему он готовился. Там, в Европе, их вылощенная «Тосканская вилла» казалась ему довольно внушительной даже в сравнении с настоящими итальянскими виллами, послужившими якобы для нее образцом. Казалось же это, наверное, потому, что, проходя по обдуваемым ветром пустым анфиладам, он каждый раз представлял себе, как мягко ступает нога по дорогому ковру и как ярко пылает камин у них дома; он с нежностью вспоминал даже скрип родной половицы.

Тем временем образ родителя как бы усыхал в его памяти. Сколь узки, незрелы казались ему все суждения мистера Рейси. Что за вздор он молол, например, об Эдгаре По, поэте истинном, нет никакого сомнения, хоть Льюис знал теперь строки и более великих поэтов. А мелочное тиранство отца по отношению к матери, к сестрам! А что мистер Рейси знает вообще о людях, книгах, идеях, составляю-

щих ныне духовный мир его сына? А безапелляционность, невежество, с которыми он выносил приговор произведениям искусства!

Правда, в сфере изящной словесности, располагая весьма скромными сведениями (большей частью почерпнутыми из «Получаса с известными авторами» — книги, которую мистер Рейси любил полистать, отдыхая после обеда), он не заявлял особых претензий на эрудированность («Тут я не профессор»,— обычно говаривал мистер Рейси с небрежностью). Но коль скоро речь шла о живописи или скульптуре, он претендовал на авторитетное мнение и бывал докторален: цитировал знатоков, приводил текущие цены и, как показал разговор перед отъездом сына в Европу, имел готовое мнение, кого брать и кого не брать в фамильную коллекцию Рейси.

Льюис не был настроен воинственно. Во-первых, Америка не Европа, во-вторых, со времени европейского путешествия мистера Рейси утекло много воды. Можно ли упрекать мистера Рейси в том, что картины, которыми он восторгался, более не вызывают восторгов, и откуда мистеру Рейси знать, почему так случилось? В годы, когда он был молод, художники, которым сейчас поклоняется Льюис, были почти что неведомы; о них не писали ни критики, ни специалисты-исследователи.

Откуда было знать американскому джентльмену, щедро уплатившему своему итальянскому гиду, чтобы тот познакомил его с признанными вершинами живописи, что в этот самый момент, когда он, восторгаясь, стоит перед Карло Дольчи или Сассоферрато, тут рядом, под пылью и паутиной таятся неведомые шедевры.

Нет, Льюис не имел особых претензий, он почти что жалел отца. А войдя в кабинет и увидев мистера Рейси, сраженного злой подагрой, с укутанной в плед ногой, он с особенной силой почувствовал, что должен проявить снисходительность...

Позже Льюис пытался вспомнить, что же было тому причиной: то ли поза отца — огромное брюхо больного словно вспучилось над диваном, а укутанная нога протянулась подобно горному кряжу,— то ли виной оказался гудящий голос мистера Рейси, раздраженно отчитывавшего супругу и дочек,— только сыну почудилось, что особа отца заполняет собой весь кабинет без остатка.

— А теперь, досточтимые дамы, когда вы насытились поцелуями и объятиями, предоставьте и мне возможность побеседовать с сыном.— Но когда миссис Рейси и сестры в своих пышных нарядах, повинуясь приказу, покинули кабинет, стало, странное дело, еще теснее, и Льюис еще более ощутил себя юным Давидом, вышедшим на бой без пращи.— Отлично, сынок,— прогудел мистер Рейси, багровея и отдуваясь.— Вот ты и вернулся домой. Привез нам кое-какие истории о своих приключениях. И как я могу заключить по поступившим счетам, парочку-другую шедевров для нашей фамильной коллекции.

— Что до шедевров, сэр, вы не ошиблись,— слегка улыбнулся Льюис и с тревогой отметил, что голос его прозвучал как-то тускло, а улыбка далась ценой ощутимых усилий.

— Вот и отлично... Отлично,— одобрил отец, помахивая рукой. Пальцы были лиловыми, как видно, их тоже не пощадила подагра.— Риди сделал, как ему было указано? Я велел все картины отправить на Кэнел-стрит вместе с твоим багажом.

— Разумеется, сэр. Мистер Риди встретил меня с точнейшими указаниями. Он не имеет привычки делать что-то по-своему.

Мистер Рейси взглянул на сына в упор.

— Не знаю, что ты хочешь сказать. Риди делает, как я велю. А если бы делал иначе, я не держал бы его тридцать лет.

Льюис молчал. Отец оглядел его испытующе.

— Ты, кажется, пополнел. Как здоровье? В порядке? Превосходно!.. Отлично!.. Да, чуть не забыл, у нас сегодня обедает Гуззард с обеими доч-

ками. Надеются, я полагаю, увидеть тебя в наимоднейшем парижском жилете и галстуке. Твои сестры мне говорят, что Мальвина стала весьма элегантной девицей,— мистер Рейси слегка хохотнул. «Старшая дочка Гуззарда. Так я и знал»,— подумалось Льюису, и холодок пробежал у него по спине.— Теперь о картинах,— сказал мистер Рейси, заметно воодушевляясь.— Проклятая хворь приковала меня к дивану; лежа здесь, я могу лишь раздумывать о нашей коллекции. Пока доктора не поставят меня крепче на ноги, и я сам не взгляну на полотна, и мы не решим с тобой, как и где их развесить, никто не должен их видеть. Пусть Риди пока что займется их распаковкой. А в будущем месяце мы переедем все в город, и миссис Рейси, бог даст, устроит такой прием, какого в Нью-Йорке не видывали. В честь наших картин и еще одного... гм... заслуживающего внимания события в биографии моего сына.

Льюис откликнулся негромким почтительным хмыканьем. Перед его затуманенным взором возникло задумчивое личико Триши. «Завтра же — к ней»,— решил он, став снова самим собой, как только захлопнулась дверь отцовского кабинета.

6

Обойдя комнату в доме на Кэнел-стрит, где были расставлены распакованные Риди картины, мистер Рейси долго стоял в глубоком молчании.

Он взял с собой только Льюиса, брюзгливо отвергнув боязливые намеки своих дочерей и немую мольбу миссис Рейси, тоже страстно желавшую ехать. Хотя приступ подагры прошел, мистер Рейси все еще находился на положении больного и легко приходил в раздражение; посему миссис Рейси, опасавшаяся больше всего на свете разгневать супруга, прогнала дочерей прочь из комнаты при первых же признаках недовольства мистера Рейси.

Пока Льюис шел по пятам за прихрамывающим родителем, надежда в нем возрастала. Картины были расставлены по столам, по стульям и иные повернуты, чтобы уловить скудный свет, и в полумраке пустынного дома излучали какую-то новую, пленяющую душу красу. Нет, решительно он не ошибся, он должен был привезти именно эти картины!

Мистер Рейси молча стоял посреди комнаты; его лицо, с такой живостью выражавшее недовольство и ярость, было сейчас спокойным, почти неподвижным; Льюис знал эту маску отца, она скрывала замешательство и тревогу. «Что же, не сразу! Здесь надобно время!» — твердил он себе, сдерживая обуревавшее его юное нетерпение.

Мистер Рейси откашлялся, и эхо прокатилось по пустынному дому, после чего обрел речь, и голос его был бесстрастным, как до того его взгляд.

— Меня всегда удивляло,— сказал он раздумчиво,— как далеки от подлинника даже самые лучшие копии. Ты уверен, что это не копии?— вдруг резко спросил он.

— Разумеется, сэр. К тому же...— Льюис чуть не сказал: «Кто же станет писать с них копии?» — но, по счастью, осекся.

— Что значит «к тому же...»?

— К тому же... у меня были опытные советчики.

— Полагаю, что так. Я позволил тебе делать покупки только на этом условии.

Льюис почувствовал, что весь как бы съеживается, словно становится меньше по мере того, как раздувается рядом его отец. Но он взглянул на картины, и красота одарила его животворным лучом.

Брови мистера Рейси зловеще сошлись, но лицо оставалось недвижным — с оттенком сомнения во взоре. Он не спеша огляделся.

— Что же, начнем с Рафаэля,— сказал он.— Было заметно, что он не уверен, на какую картину он должен направить свой взгляд.

— Ну, сэр... В наши дни... Рафаэль... Я ведь писал, что отпущенных денег на это никак не хватит.

Мистер Рейси слегка погрустнел.— И все-таки я надеялся. Вдруг попадется какая-нибудь второстепенная вещь... Что же, начнем тогда с Сассоферрато,— сказал он, справляясь со своим недовольством.

Льюис теперь был спокойнее, даже позволил себе чуть-чуть усмехнуться.— У Сассоферрато сплошь второстепенные вещи. Его больше не ценят как мастера... Его время прошло...

Мистер Рейси застыл, уставившись взором на ближайшее полотно.— Сассоферрато?.. Не ценят?.. Его время прошло?..

— Вот именно, сэр, Сассоферрато не место в подобной коллекции.— Льюису показалось, что он нашел правильный тон: у мистера Рейси застряла кость в горле; теперь ему надо откашляться и избавиться от Сассоферрато.

Еще минута молчания, после чего мистер Рейси, подняв свою трость, указал на небольшую картину. Юная девушка со вздернутым носиком и выпуклым лбом, в расшитой драгоценными украшениями маленькой шапочке была изображена на фоне искусно переплетенных цветов водосбора.

— Карло Дольчи. Манера его, но, признаться, не вижу характерной чувствительности.

— Пьеро делла Франческа! — триумфально объявил Льюис, весь трепеща от волнения.

— Копиист? — Отец строго посмотрел на него.— Значит, копия с Дольчи. Так я и думал.

— Дольчи тут ни при чем. Подлинник великого мастера. Более великого...

Промах был неприятный, мистера Рейси кинуло в жар, но он счел за лучшее подавить раздражение.— Начнем тогда с менее великих,— сказал он медовым голосом.— Покажи Карло Дольчи.

— Здесь нет Карло Дольчи,— ответил Льюис без кровинки в лице.

Он не мог после вспомнить, что услышал в ответ. Помнил только, что долго стоял возле кресла, в котором полулежал обессиливший разом отец, такой же бледный, как он, и дрожащий.

— Да... Подагра... Теперь жди снова приступ... — бормотал мистер Рейси.

— Прошу вас, поедем домой,— умолял его Льюис.— Потом я вам все объясню, обо всем расскажу...

Старик бешено взмахнул тростью.

— Объяснишь мне потом? Расскажешь? Нет, изволь объясниться немедленно!.. Сию же минуту!.. Сын Гуззарда вернулся на прошлой неделе из Рима, привез Рафаэля,— добавил он хриплым голосом. Ему было действительно худо.

Льюис стал объясняться. Позднее ему казалось, что он слышал собственный голос, словно стоял в стороне и был равнодушным свидетелем. Он пытался доказывать то, что, как он полагал, должны были доказать без него и сами картины; приводил довод за доводом, низвергал богов и кумиров возглашал новые имена. Эти новые имена пробудили новую ярость у мистера Рейси.

«Значит, после того как я потратил полжизни,— читалось в его негодующем взоре,— на то, чтобы вытвердить, назвать без запинки какого-нибудь Ло Спаньолетто или Джулио Романо, изволь, начинай все сначала, с азов. Сколько еще надо маяться, ломать свой язык,

пока я сумею с такой же спокойной уверенностью небрежно сказать, подводя гостя к картине: «А вот и мой Джотто. Джотто ди Бондоне».

Но и это еще не все, здесь кроется что-то похуже. Хорошо, он готов попотеть, он запомнит этого Джотто ди Бондоне, но тогда пусть ему гарантируют восхищение, почтительный взгляд. А если ответом будет недоумение, смешки? «Что?.. Как вы назвали его?.. Нельзя ли еще раз?» И так перед каждой картиной в его галерее — в фамильном собрании Рейси! Видение было столь горестным для мистера Рейси, что он поистине мог почитать себя жертвой предательства.

— Боже мой! Как, ты сказал, зовут этого малого? Карпатчер? Не так ли? Приберег его под конец, считаешь главной жемчужиной? Знаешь, лучше бы твой Карпатчер держался своей профессии. Работал, наверное, смазчиком на этих европейских паровых поездах...— мистер Рейси был вне себя, и остроты его были чуточку ниже обычного уровня.— Ну а этот вояка из золота, в розовых латах,— хоть вешай на елку,— этого кто написал? Как ты сказал, Анджелико? Вот тут ты попался, мой мальчик. Никакого Анджелико нет, а есть Анжелика Кауфман, женщина-живописец. И мошенника, вора, который выдал эту мазню за ее полотно, колесовать его надобно, четвертовать, и я его еще четвертую! Если есть на свете закон, он вернет мне все, что уплачено, до последнего медяка, не будь я Холстоном Рейси! Удачно купил, говоришь? Эта картина пяти центов не стоит! Боже мой, да понял ли ты, что я доверил тебе крупные деньги?

— Разумеется, сэр, конечно. И вот я подумал...

— Хотя бы сообщил, написал...

Льюис не мог сказать правду: «Если бы я написал, вы не дали бы мне их купить». Потому он нерешительно мямлил: «Я писал... намекал... Переворот во вкусах, в оценках... новые имена».

— Переворот в оценках? Новые имена? Да откуда ты взял это? Только на прошлой неделе я получил письмо от комиссионеров из Лондона, тех самых, которых я рекомендовал тебе так настоятельно. Они сообщают, что этим летом выставят на продажу полотно Гвидо Рени.

— Комиссионеры!.. Что они смыслят?

— Комиссионеры? Не смыслят? Кто же смыслит тогда? Уж не ты ли? — Мистер Рейси презрительно усмехнулся, белея от бешенства. Льюис, тоже белый как мел, не сдавался.

— Я писал вам, сэр, о своих новых знакомых. Мы вместе были в Италии, потом снова виделись в Англии.

— Да, черт их всех побери. Никому не известные люди вроде художников, которых ты накупил. Я дал тебе список людей и обязал тебя с ними советоваться; я назвал имена художников, которых ты должен купить. Сделал все, послал на готовое. Не оставил ни малейших сомнений.

— Вот и эти картины, я думал, не оставят ни малейших сомнений,— Льюис нерешительно улыбнулся.

— Картины? Не оставят сомнений? Что ты хочешь этим сказать?

— Что картины защитят себя сами. Покажут, что их творцы много выше иных, кто снискал себе шумную славу.

Мистер Рейси зловеще захохотал.

— Много выше иных?.. Чье же это суждение? Надо думать, твоих друзей? Как зовут того малого, с кем ты подружился в Италии, кто искал для тебя картины?

— Джон Рескин,— ответил Льюис.

Хохот мистера Рейси становился все более глумливым.

— Всего-навсего Рескин. Джон Рескин, и все. И готов поучать всех на свете, до господа бога включительно. Кто отец твоего великого Рескина?

— Почтенный лондонский виноторговец.

Смех мистера Рейси вдруг оборвался. Его взгляд выражал теперь крайнее отвращение.

— Розничный?..

— Кажется.

— Тьфу!

— И не только Рескин, отец. Я писал тебе и о других английских друзьях, с которыми я познакомился на обратном пути. Все видели эти картины, и все согласились, что придет такой день, когда они будут стоить огромные деньги.

— Придет день?.. Жаль, они не назвали число, месяц и год. Ты писал о них, помню, Браун, Хант и Росситтер; кажется, я не ошибся. Нигде не встречал их имен. Разве только в торговом справочнике.

— Не Росситтер, отец. Его зовут Данте Россетти.

— Ах, Россетти, прошу прощения. Интересно, чем промышляет отец мистера Данте Россетти? Продает макароны?

Льюис ничего не ответил, и мистер Рейси продолжал свою речь упорно и неуклонно.

— Мои друзья, к кому я направил тебя,— знатоки в вопросах искусства; люди, знающие цену картине; в тысяче безвестных полотен они найдут настоящего Рафаэля. Что же, приехав в Англию, ты не застал их на месте? Или они отказались тебе помочь? Только не лги,— сказал мистер Рейси,— потому что я точно знаю, что сын Холстона Рейси всегда найдет у них должный прием.

— Разумеется, сэр... Они были очень любезны...

— Без сомнения. Но это тебя не устраивало. Ты отверг их советы. Ты решил показать свою прыть перед кучкой невежд, таких же невежд, как и ты. Ты хотел... Да кто тебя знает, чего ты хотел!.. Ты забыл, что выполняешь данное тебе отцом поручение, что я твердо и ясно сказал, что делать и как поступать. И деньги! Великий боже! Все деньги пошли на покупку этих картин? Да никогда не поверю...

Мистер Рейси с трудом поднялся, опираясь на трость; он глядел на сына в упор яростным взглядом.

— Начистоту, Льюис! Деньги потеряны за игорным столом? Все эти Рескины, Росситтеры, Брауны — игроки, шулера, в том нет никакого сомнения. Ты, я думаю, не первый американский мальчишка, попавший к ним в лапы. Что?.. Не играл с ними в карты?.. Значит, женщины, Льюис? Потратил деньги на женщин. Да, господи боже!..— вскричал мистер Рейси, нетвердым шагом ступая навстречу сыну.— Я не ханжа-пуританин и прямо скажу, мне приятнее знать, что деньги ушли на женщин, чем думать, что тебя обвели вокруг пальца как последнего простака и всучили тебе эту дрянь. Да это вырезки из фоксова «Жития мучеников», а не картины для фамильной коллекции! Я тоже был молод. Льюис, где молодость, там и проказы... Начистоту, сэр, смелее! Деньги ушли на женщин?

— Нет.

— Не на женщин,— простонал мистер Рейси.— Деньги ушли на картины... Больше ни слова... Домой... Я еду домой,— он обвел комнату налитыми кровью глазами.— Так вот она, коллекция Рейси! Мишура и скелеты. Ни одной женщины с нормальными женскими формами... Я скажу тебе точно, Льюис, на кого походят твои дурнушки-мадонны. Копия Триши Кент... Ты созвал маляров из всех стран Европы и заказал им ее портрет: только вот зачем — не пойму... Нет, не касайся меня... я сам...— прорычал мистер Рейси, тяжко шагая к выходу. С порога он бросил на сына испепеляющий взгляд.— И для этого ты превысил кредит? Нет, я еду домой один.

7

Мистер Рейси скончался почти через год, но все в Нью-Йорке считали, что его убила эта история с картинами. Назавтра, после

того как он их увидел первый и единственный раз, мистер Рейси призвал своего юриста и переписал завещание. После чего слег с подагрой и так занемог, что никто не счел странным, что Рейси откладывали осенний прием, которым они хотели отметить открытие фамильной коллекции. И никто не докучал им расспросами по этому поводу. Но зато в их отсутствие во всех нью-йоркских гостиных коллекция Рейси была всю зиму предметом оживленных и пикантных бесед.

Кроме мистера Рейси только два человека видели эти картины. Мистеру Кенту их показали, поскольку и сам он бывал когда-то в Италии; вторым, кто их видел, был Риди, экспедитор мистера Рейси, который занимался распаковкой картин. На расспросы родных и знакомых мистера Рейси мистер Риди скромно ответствовал, что единственное, о чем он берется судить в картинах,— это размер: одни бывают побольше, другие поменьше; что эти невелики: «Маловаты, я бы сказал».

Мистер Кент, как стало известно, напрямик изложил свое мнение мистеру Рейси, открыто сказал, что в Италии подобных картин не встречал и, где мог добыть их Льюис, не представляет. На людях он отзывался о картинах уклончиво, и это сходило за дипломатичность, хотя проистекало скорее из робости мистера Кента. «Ничего неподобающего в сюжетах картин я не заметил», — вот и все, что любопытствующим удавалось узнать от него.

Что до Гуззардов, то, как все полагали, мистер Рейси просто боялся узнать их суждение; молодой Джон Гуззард только что привез Рафаэля. Неизбежны были сравнения, причем самого нелестного свойства. Потому мистер Рейси не вел бесед о фамильной коллекции ни с ними, ни с кем другим. А когда огласили его последнюю волю, оказалось, что он завещал все картины Льюису. Деньги, все до последнего цента, завещал дочерям. В большой части семейное достояние принадлежало супруге мистера Рейси, но это ничего не меняло. Как и всю свою жизнь, миссис Рейси точно следовала директивам супруга; среди них было, видимо, также и молчаливое указание тихо почить через полгода после него. После того как ее положили в могилу рядом с мистером Рейси на кладбище Тринити-черч, прочитали ее завещание: оно оказалось составленным в те же самые дни, что и духовная мистера Рейси, и явно им продиктовано. Льюису мать назначала пять тысяч долларов в год; остальное (а ее капитал под управлением мистера Рейси стал одним из крупнейших в Нью-Йорке) оставляла двум дочерям. Одна из них тотчас же вышла замуж за Кента, другая — за Гуззарда. Эта последняя — Сара-Энн (брат ее никогда не жаловал) — не упускала в позднейшие годы иной раз ввернуть в разговоре: «Я никогда не завидовала бедному Льюису, что ему одному достались эти смешные картины. У нас, вы ведь знаете, свой Рафаэль».

Дом стоял на углу Третьей авеню и Десятой улицы. Он перешел к Льюису Рейси от некоего кузена, составившего свое завещание «в старом нью-йоркском духе»: каждый наследник получал свою долю в зависимости от близости родственных уз, связывавших его с завещателем. Район был отдаленным, и дом был запущенным. Но Льюис с женой тотчас же туда переехали. До того они жили в Тарритауне отшельниками.

Их возвращение в Нью-Йорк прошло незамеченным. Льюис женился на Триши через год после смерти отца. Мистер и миссис Кент отнеслись к браку Триши скептически, даже сказали, что их племянница могла бы сделать и лучшую партию. Однако поскольку один из их двух сыновей (с детства к тому же питавший нежные чувства к Триши) оставался пока неженатым, родители здраво решили, что лучше ей выйти за Льюиса, чем оставаться у них и ловить в свои сети Билла.

Пробежали четыре года со времени их женитьбы, и нью-йоркское общество так позабыло о Триши и Льюисе, как если бы с той поры минуло полвека. Да и кто они, собственно? Триши знали как Золушку в доме у Кентов. Льюис действительно — было такое время — должен был унаследовать миллионы Холстона Рейси, но после известной прискорбной истории остался ни с чем.

Молодые Рейси свыклись со своей замкнутой жизнью, и когда Льюис сообщил жене, что к ним перешел по наследству дом дядюшки Эбенезера, Триши всего только чуть подняла глаза от работы; она рукодельничала — украшала вышивкой одеяльце для будущего младенца.

— Нью-йоркский дом дядюшки Эбенезера?

Льюис перевел дыхание.

— Теперь я выставлю наши картины.

— Ах, Льюис! — Она выронила из рук одеяльце.— Ты хочешь туда переехать?

— Ну конечно, это очень просторный дом. А в двух угловых залах я размещу галерею. Отличное освещение! Помнишь, где дядюшка Эбенезер лежал в гробу?

— Ах, Льюис!

Если что утверждало Льюиса Рейси в мысли, что он волевой человек, это «ахи» его жены. Принимая от Триши дань беззаветной покорности, он даже испытывал нечто вроде отцовской тяги повластвовать; но, конечно, без всяких недобрых намерений.

— Там нам будет получше, Триши. Я ведь знаю, ты здесь скучаешь.

Она вспыхнула.

— Я? Я с тобой нигде не скучаю. И там, на Десятой улице, нам тоже будет житься прекрасно. Но нужен ремонт...

Он кивнул озабоченно.

— Да, придется взять деньги взаймы. А не хватит, — добавил он тише,— заложим картины.

У нее навернулись слезы.

— Не надо! Я смогу сэкономить.

Он взял ее за руку, повернулся к ней боком; он знал, что лицо его в профиль выглядит тверже. Он был не уверен, что Триши поняла его замысел, но пока оно, может, и лучше. Льюис стал теперь часто отлучаться в Нью-Йорк, ушел с головой в очень важные планы, корпел над бумагами непонятного содержания; а Триши все эти томительные летние месяцы просидела в Тарритауне, ожидая ребенка.

К концу лета появилась малютка, ее назвали Луизой; а когда ей исполнилось полтора или два месяца, семейство в полном составе переселилось в Нью-Йорк.

«Вот он, желанный час»,— думалось Льюису, когда экипаж, подскакивая на неровностях мостовой, катил по Десятой улице к дому дядюшки Эбенезера.

Лошади стали, он помог выйти жене, нянька несла младенца, все подошли к подъезду.

— Ах, Льюис! — вскричала Триши, и малютка Луиза издала сочувственный вопль.

Над входной дверью дядюшки Эбенезера, респектабельной дверью, ведущей в почтенный дом, красовалась большая вывеска. Золотыми литерами по черному полю на ней было начертано:

ГАЛЕРЕЯ ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА.
Открыта по будним дням от 2 до 4.
Входная плата — 25 центов. Для детей — 10 центов.

Увидев, что жена побледнела, Льюис крепко взял ее за руку.

— Поверь, это единственный способ, чтобы картины получили известность. И я добьюсь этого, несмотря ни на что.— В его голосе послышалось что-то от прежнего Льюиса.

— Хорошо, дорогой. Но ты хочешь пускать всех желающих?.. Даже случайных прохожих?..

— Если мы позовем только наших друзей, ничего не изменится. Они видели эти картины, и мы знаем, что они скажут.

Триши вздохнула, признавая его правоту.

— Ну, а... плата за вход?

— Позднее, если удастся, мы ее упраздним.

— Ах, Льюис, я так тебя понимаю.

Храбро взяв его под руку, она переступила порог под этой ужасной вывеской. Протестовавший младенец вопил в арьергарде.

— Наконец я увижу картины при ярком свете! — воскликнула Триши, входя в вестибюль, и остановилась, чтобы горячо обнять мужа.

— Теперь им отдадут должное! — откликнулся Льюис, осчастливленный поддержкой жены.

Когда, покинув Нью-Йорк, они затворились от мира, Льюис решил не читать ежедневных газет. Триши охотно его поддержала, и они стали жить у себя в Тарритауне, как если бы домик их был наглухо заперт или стоял бы вообще на иной, более счастливой планете.

Однако наутро, в назначенный день вернисажа, Льюис нарушил свое строгое правило и тайно отправился за свежими выпусками главных нью-йоркских газет. Вернувшись, он прошел прямо в детскую, где Триши в этот час обычно купала ребенка. Но он опоздал— купание было закончено, малютка дремала в своей скромной кроватке, а Триши, закрыв руками лицо, сидела одна у камина. Было нетрудно понять, что она обо всем уже знала.

— Полно, Триши, не принимай близко к сердцу,— сказал Льюис нетвердым голосом.

Она подняла залитое слезами лицо.

— Ах, дорогой мой... А я-то уверена, что ты не читаешь газет...

— Сегодня особый день, Триши.

— Конечно, особый. И ты совершенно прав. Какое это имеет значение?

— Никакого решительно. Все, что нам с тобой нужно,— это терпение и немного настойчивости...

На минуту она задумалась. Потом обняла его и склонила головку к нему на плечо.

— Дорогой мой, я все подсчитала, и, поверь, очень старательно. Пусть мы даже сэкономим на топливе, станем топить только в детской, все равно нам не хватит на смотрителя и на швейцара. Ты ведь хочешь, чтобы галерея была открыта все будние дни.

— Я подумал об этом, Триши. Я сам буду смотрителем, и я сам буду швейцаром.

Он посмотрел ей в глаза. Как она это примет? Она побледнела и еле сдержала слезы.

— Ах, как занятно! — сказала она весело.— У тебя будет случай, Льюис, послушать, что они там говорят. Ведь стоит им раз присмотреться к картинам, понять, почувствовать их, и у них появятся преинтересные мнения... Скажи, я права? — Она отвернулась от мужа и подняла из кровати спящую девочку.— А ты как считаешь, малютка?

И Льюису тоже пришлось на минутку отвернуть лицо в сторону.

«Найдется ли во всем нашем городе другая такая женщина?» — спросил он себя. О, нью-йоркское общество сумеет насытиться этим новым скандалом: Льюис Рейси — швейцар и смотритель собственной галереи. Каково будет бедной Триши! Она ведь более чувствительна к грубым насмешкам, чем он, и она не захвачена его апостольским рвением. Каково будет ей терпеть их глумление и шутки? Но Льюис

тут же прогнал свои невеселые мысли. Пробил час! Он докажет им всем, что это великая живопись,— ни о чем другом он не станет сейчас и думать! Ухмылки невежественных газетчиков его не тревожат. В его галерею придут просвещенные, разумные люди. Они увидят, поймут... И он им в этом поможет.

8

Вначале посетителей было достаточно, но голос картин оставался для них невнятен — не помогли и старания Льюиса. Поскольку считалось невиданным, чтобы человек в своем собственном доме показывал картины за деньги, и газеты язвили по этому поводу, то в самые первые дни галерея подверглась набегу охотников до шумных сенсаций. Эти гости вели себя дурно, и однажды, чтобы выставить их, пришлось даже позвать полисмена, который впервые за всю свою профессиональную практику столкнулся с подобной задачей. Вскоре, однако, само название на вывеске — речь ведь шла о «Христианском искусстве» — охладило этот класс посетителей и их сменили другие, тупо-благопристойные. Они с рассеянным видом бродили по залам и, покидая выставку, говорили, что деньги потрачены зря. Позднее и этих не стало — наступил полный спад. От двух и до четырех каждый день Льюис, ежась от холода, сидел, окруженный своими сокровищами, или мерно шагал по пустынным, покинутым залам. Но он не считал сражение проигранным: вот-вот откроется дверь — и войдет посетитель. Тот самый, кого он так ждет.

Был вьюжный февральский денек, и Льюис уже более часа шагал по своей галерее, когда к дому подкатил экипаж. Он спешно распахнул двери; под шуршание шелков вошла Сара-Энн Гуззард, его сестра.

На мгновение Льюис опешил — так случалось в былые дни, когда он представал перед мистером Рейси. Годы замужества и миллионы придали его круглолицей сестре нечто от устрашающей фамильной величественности. Но Льюис встретил отважно ее пустой взгляд.

— Здравствуй, Льюис,— важно молвила миссис Гуззард, но тут же запнулась.

— Здравствуй, Сара-Энн. Рад, что ты пришла взглянуть на картины.

— Я пришла проведать тебя и твою жену...— Она снова запнулась, нервно огладила платье и быстро добавила: — И спросить, долго ли будет тянуться эта комедия?

— Ты имеешь в виду галерею? — усмехнулся невесело Льюис. Покраснев, она молча кивнула.— За последнее время, по правде сказать, зрителей поубавилось.

— Слава всевышнему!

— Но пока будет жив хоть один человек, который захочет взглянуть на мои картины, я буду здесь, чтобы встретить его... Вот как тебя...

Она содрогнулась.

— Льюис, боюсь, ты не вполне представляешь...

— Вполне представляю.

— В чем же дело? Покончи с этим. Или тебе еще мало?

— Болтовни о картинах?

— Болтовни о тебе. Среди родственников. Во всех нью-йоркских гостиных. Ты бросаешь тень на отца.

— Отец сам завещал мне эти картины.

— Да, но не для того, чтобы ты выглядел с ними шутом.

Льюис холодно рассмотрел возражение сестры.

— Ты уверена? А я думаю, для того он их мне и оставил.

— Не черни память покойного! Довольно и того, что ты сделал. Я не знаю, как терпит твоя жена. Ты унижаешь ее.

Льюис сдержанно улыбнулся.

— Унижение ей не впервой. Ее достаточно унижали у Кентов.

Сара-Энн покраснела.

— Я уйду, если ты будешь так со мной разговаривать. Я пришла с согласия мужа.

— Муж позволил тебе навестить брата?

— Он позволил мне обратиться к тебе с деловым предложением.

Льюис изумленно поглядел на сестру. Она залилась еще пущим румянцем, до самых лент своей шелковой шляпки.

— Вы решили купить мою галерею? — спросил он в качестве шутки.

— Разумеется нет, ты нарочно дразнишь меня. Впрочем, на что не пойдешь, когда надо спасать имя Рейси...— Взглянув на картины, она опять содрогнулась.— Так слушай, мы с Джоном согласны удвоить пособие, которое тебе назначила мама. Но с одним непременным условием: ты покончишь с этой затеей. А мерзкую вывеску снимешь сегодня же.

Льюис молчал, как бы взвешивая предложение сестры.

— Я очень признателен, тронут и... удивлен тем, что вы предлагаете. Но прежде чем я скажу «нет», мне хочется тоже внести предложение. Я готов провести вас с Джоном по своей галерее. А увидев картины, я уверен, вы сами поймете...

Теряя свою величавость, миссис Гуззард отпрянула:

— Нет, нет, ни к чему... Я и отсюда их вижу... Да и не берусь быть судьей.

— Ну что же, тогда пойдем в детскую и посмотрим на Триши и девочку.

— Да, конечно,— она подняла на брата растерянный взгляд.— Значит, ты не согласен, Льюис? Подумай еще. Ты ведь сам говоришь, что посетителей нет. К чему же упорствовать?

— Я жду... В любую минуту может прийти настоящий ценитель.

Ничего не добившись, миссис Гуззард пригладила перышки и пошла наверх вслед за братом.

— Мэри-Аделин, ты как попала сюда? — вскричала она, застыв на пороге детской. Триши сидела перед камином с ребенком на руках, а с низкого кресла напротив привстала другая дама, тоже пышно наряженная, но, несмотря на свои шелка и меха, державшаяся с несколько меньшим апломбом, чем миссис Гуззард. Миссис Кент подбежала к Льюису и прижалась к нему пышной щечкой; тем временем Триши поздоровалась с Сарой-Энн.

— Вот уж никак не думала встретить тебя,— заявила сестре миссис Гуззард. Было ясно, что она не посвятила сестру в свой благотворительный замысел и теперь опасалась, что это сделает Льюис.— А я просто так на минутку заехала поглядеть на милую крошку, на ангельчика...— И, громко шурша шелками, она обняла изумленную девочку.

— Я рада тебя здесь увидеть,— простодушно ответила Мэри-Аделин.

— Давно бы заехала, да эти вечные хлопоты. Триши поймет меня. Быть хозяйкой большого дома...

— Разумеется... И вы не побоялись этой ужасной погоды,— пришла к ней на помощь Триши.

Миссис Гуззард слегка подняла густые отцовские брови.

— В карете четверкой погоды не замечаешь. Какой прелестный ребенок! Прелестный! Мэри-Аделин,— строго сказала она,— если ты уже собралась, поедем в моем экипаже.— Но Мэри-Аделин тоже была важной дамой и спокойно встретила взгляд старшей сестры.

— Благодарю, Сара-Энн, карета ждет меня у подъезда,— возразила она. Потерпев вновь фиаско, Сара-Энн удалилась, взяв Льюиса под руку. Но привычка подчиняться сестре взяла верх в душе Мэри-

Аделин. На лице ее появилось детски-робкое выражение, и она поспешно надела свои меха.

— Я напрасно так резко ответила... Ей просто хотелось поехать вместе со мной...— пояснила она поднимавшемуся навстречу ей Льюису, и через две-три минуты он с усмешкой глядел, как обе сестры покатили в карете Гуззардов.

Он вернулся в детскую, где Триши баюкала девочку.

— Тебе не угадать, дорогая, зачем приезжала к нам Сара-Энн. Предложить отступную, чтобы я закрыл галерею.

Триши встретила это сообщение мужа в точности как он того ожидал: она рассмеялась своим воркующим смехом и крепче прижала к груди малютку. Не без некоторого коварства Льюис решил испытать стойкость жены.

— Если мы снимем вывеску, они удвоят наше месячное пособие.

— Никому не дам тронуть вывеску! — вспыхнула Триши.

— Ну а мне? — хмуро спросил он.

Она обернулась с тревогой в глазах.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Дорогая моя... Они знают, что делают... У нас кончились деньги.

Подойдя к ней, он обнял ее и ребенка.

— Ты сражалась, как целая армия храбрецов, но сражение подходит к концу. Расходы оказались крупнее, нежели я ожидал. А денег под залог наших картин банк не даст. К ним боятся даже притронуться.

— Знаю,— откликнулась Триши,— знаю от Мэри-Аделин.

Льюис залился злым румянцем.

— А откуда, черт побери, Мэри-Аделин узнала об этом?

— От мистера Риди, наверное, но не надо сердиться. Она полна добрых чувств. Она не хочет, чтобы ты закрывал галерею, пока ты веришь в нее. Они с Дональдом Кентом предлагают деньги взаймы, и мы сможем еще год продержаться. С этим она и приехала.

Впервые за все эти годы нелегкой борьбы Льюис почувствовал, как в груди у него закипают горячие слезы. Верная Мэри-Аделин! Ему вспомнилось раннее утро в старом доме в Хай-Пойнте, когда Мэри-Аделин с корзинкой в руке спешила украдкой от всех к жене мистера Эдгара По, угасающей от чахотки...

— Милая Мэри-Аделин! Какая умница, молодец! У нас еще целый год...— он умолк и прижался к личику Триши мокрой щекой.— Ну как, дорогая,— сказал он,— что ответим, да или нет?

Он слегка отстранился и посмотрел на нее вопросительно.

Она тихо улыбнулась, и он улыбнулся в ответ.

— Разумеется, да!

9

В пору моего детства — это было полустолетием позднее — изо всех Рейси, столь мощных и столь известных в Нью-Йорке сороковых годов, оставалась в живых одна-единственная старая дама. Как и многие отпрыски горделивых колониальных семейств, Рейси вымерли начисто; о них помнили разве что три-четыре старухи, один или два специалиста по генеалогии да сторож в Тринити-черч, хранитель могил.

Оставались, конечно, кое-какие семейства, соединенные с ними (и между собой) отдаленным родством,— Кенты, Гуззарды, Косби, другие, охотно сообщавшие вам, что один из их пращуров подписал Декларацию независимости, но притом вполне равнодушные к судьбе его прямого потомства. Где же они, куда делись эти старые заслуженные ньюйоркцы, сорившие деньгами и жившие в свое удовольствие? Развеялись горстью праха, позабылись в то же мгновение, как стихли их пиршества и опустели в церквах их почетные скамьи.

Мне имя Рейси запомнилось с детства, потому что последняя представительница их рода, почтенная старая дама, находилась в каком-то

родстве с моей матерью; и в те дни, когда маме казалось, что я буду примерно себя вести (главным образом потому, что на завтра мне было обещано что-нибудь соблазнительное), она брала и меня к старой мисс Алатее.

Алатея жила затворницей в доме, который у нас назывался «домом дядюшки Эбенезера». Когда-то, возможно, его почитали архитектурным шедевром, но сейчас он был лишь чудовищной, хотя и почтенной реликвией канувших в лету времен. Ревматическая мисс Рейси восседала в огромной нетопленной комнате на втором этаже посреди палисандровых этажерок, столиков с бисерными узорами под стеклом на столешницах и портретов бледных, унылых господ в странной одежде. Сама Алатея была грузной угрюмой старухой в видавшем виды чепце из черных кружев и настолько глухой, что временами казалась каким-то обломком позабытого прошлого. Розеттским камнем, ключ к которому безвозвратно утерян.

Даже для мамы, взращенной в уважении к семейным традициям и мгновенно угадывавшей, кого именно мисс Алатея Рейси имеет в виду, когда что-то бубнит о Мэри-Аделин, Саре-Энн или «дядюшке докторе», общение со старухой бывало подчас затруднительным, и тогда мои детские выходки, прерывавшие их беседу, приносили ей облегчение.

И вот как-то, сидя с мамой у мисс Алатеи и рассеянно шаря глазами по комнате, я приметил на стенке среди мертвенно-бледных господ рисованный цветными карандашами портрет темноглазой, с высоким лбом девочки в платье из клетчатой шотландской материи и в украшенных оборками панталончиках. Ухватившись за мамин рукав, я спросил ее, кто эта девочка, и мама сказала: «Луиза Рейси. Умерла от чахотки, бедняжка. Кузина Алатея, сколько было Луизе, когда она умерла?»

Чтобы втолковать Алатее этот простейший вопрос, потребовалось немало стараний. Когда наконец она раскусила, в чем дело, и бог знает чем недовольная пробасила «одиннадцать», мама настолько умаялась, что больше не в силах была продолжать диалог. Обернувшись ко мне с той особой улыбкой, которую мы с ней хранили исключительно друг для друга, она мне сказала: «Бедная девочка должна была унаследовать коллекцию Рейси».

Мамино замечание в ту пору мало что мне разъяснило. К чему относилась ее усмешка, я тоже не понял.

Это давнее происшествие ожило в моей памяти, когда в один из нечастых моих наездов в Нью-Йорк в минувшем году я пришел пообедать к Джону Селвину, моему старинному другу-банкиру, и, прохаживаясь по его отделанной заново библиотеке, вдруг застыл, встал как вкопанный, уставившись на каминную полку.

— Ну и ну! — сказал я, не в силах оторвать глаз от картины.

Мой хозяин расправил плечи, засунул руки в карманы, и лицо его выразило ту притворную скромность, которую принято напускать на себя, когда хвалят что-либо, находящееся в вашем владении.

— Да-да! Макрино д'Альба. Все, что мне удалось ухватить из собрания Рейси.

— Все, что вам удалось ухватить?! Ну я вам скажу!..

— Вы не видели, значит, что там был за Мантенья! А Джотто! А Пьеро делла Франческа! Из лучших делла Франческа, какие вообще есть на свете. Девушка в профиль, с жемчужной сеткой на волосах, на фоне цветов водосбора. Картина вернулась в Европу... Кажется, в Национальную галерею. А маленький Карпаччо!.. Господи боже!.. Упоительнейший святой Георгий... Этот ушел в Калифорнию...

Мой друг опустился в кресло со вздохом голодного человека, которого отогнали от пиршественного стола.— С трудом сколотил на свою... чуть было по миру не пошел,— сообщил он, как бы испытывая при этом некое скудное утешение.

Я рылся тем временем в памяти, пытаясь отыскать верный ключ к его словам о собрании Рейси. Он назвал его так, словно каждому, кто интересуется живописью, оно должно быть отлично известно.

Тут меня озарило, и я словно вновь увидел загадочную усмешку на лице моей мамы.

— Послушайте, это не те ли картины, которые должны были перейти к бедняжке Луизе?

Селвин недоуменно поглядел на меня.— Что еще за бедняжка Луиза? — и не дожидаясь ответа, сказал: — Год назад они были у этой дурехи, у Нетты Косби. Понятное дело, она ни о чем не догадывалась.

Мы вопросительно поглядывали один на другого. Мой друг удивлялся моей малой осведомленности, а я, со своей стороны, старался проникнуть в генеалогию названной им Нетты Косби. Мне это наконец удалось.

— Косби? Вы имеете в виду Нетту Кент, которая вышла за Джима Косби?

— Именно. А Кенты в родстве с Рейси... Потому ей и достались картины...

Мной по-прежнему владели воспоминания.

— Я ведь чуть не женился на ней, когда кончал Гарвард,— сказал я, более адресуясь к себе, нежели к собеседнику.

— И получили бы в жены набитую дуру. Зато в придачу собрание дорафаэлевских итальянцев, одно из прекраснейших в мире.

— Прекраснейших в мире?

— Ну да, вы что, сами не видели? Впрочем, вы не могли его видеть. Сколько лет провели вы в Японии?.. Четыре года, так я и думал. А Нетта нашла картины только этой зимой.

— Что значит — нашла картины?

— На чердаке у старой мисс Рейси. Помните эту старуху, мисс Алатею? Жила на Десятой улице в страшном особняке, когда оба мы были мальчишками. По-моему, состояла в каком-то родстве с вашей матушкой. Так вот, старая дура прожила там добрых полвека, а на чердаке у нее, над самой башкой, лежало все это время на пять миллионов картин. Их, наверно, свалили туда после смерти бедного Рейси, он купил их в Италии бог весть когда. Не знаю, какой это Рейси, в этих Рейси сам черт ногу сломит, а я в родословных никогда не был силен. Знаю только, что всем и каждому Рейси приходились кузенами; возможно, это и было основным их занятием. И нью-йоркский Дом Рейси тоже, думаю, назван в их честь, хоть они его и не строили... Но был среди них один Рейси, молодой человек, о котором я очень хотел бы узнать поподробнее. От Нетты мне перепали кое-какие крупицы — ей-то вообще все равно. Совсем еще юным, только что из колледжа, он поехал в Италию, отец поручил ему купить Старых мастеров для своей галереи; дело было, я думаю, в сороковых годах прошлого века. И он вернулся домой с этими неслыханными, с этими потрясающими картинами... Мальчуган в его возрасте!.. Только подумать!.. А старик лишил сына наследства за то, что тот привез хлам! Оба, и он и жена, умерли уже очень давно. Над ними так потешались после этой истории с картинами. что им пришлось скрыться, уехать куда-то в провинцию, жить там отшельниками. В спальне у Алатеи висели, говорят, их портреты; очень странные люди, не от мира сего. Один и я увидал, когда заезжал последний раз к Нетте; их девочка, единственное дитя, худенькая большелобая девочка. Бог мой, так это же ваша бедняжка Луиза!

Я кивнул.

— В платье из шотландской материи и в панталончиках?

— Да, в этом роде. А после смерти Луизы и обоих ее родителей картины, я так понимаю, достались старой мисс Рейси. В общем, тогда или позже — все равно безумно давно — Алатея их унаследовала вместе с особняком на Десятой улице. А когда и ее час пришел, оказалось,

что за все эти годы старуха не удосужилась подняться хоть раз на чердак и взглянуть на картины.

— Хорошо. Что же дальше?

— Что дальше? Она умирает без завещания, а Нетта Кент... теперь уже Косби — ее ближайшая родственница. Наследство казалось сперва незавидным; Косби нуждались в наличных и решили продать особняк, а картины, мебель и прочее пустить с молотка.

Аукционист объяснил им, что за картины много не выручишь и пускать их в продажу с постельным бельем, коврами и кухонной утварью — значит самим сбивать цену и на то и на это. Картины (их было двадцать пять — тридцать) Косби решили привести в божеский вид и развесить у себя, благо стены пустые. «Сейчас они в паутине,— подумалось Нетте,— но среди них должны быть приличные копии ранних итальянских полотен». Лишних денег, конечно, не было, и Нетта решила: чем тратиться на специалиста, она почистит картины сама. Но едва, засучив рукава своей кофты, она принялась за работу, является всеведущий Некто: вы ведь знаете эти сюжеты, в последний момент возникает именно такой господин. В нашем случае им оказался молчаливый француз, как-то связанный с Лувром. Француз привез Нетте письмо из Парижа, и она позвала его на один из своих идиотских приемов. Доложили о госте, и Нетта подумала: будет недурно, если он увидит ее в рабочем костюме,— вы ведь помните, какие у Нетты прелестные руки. Гость входит в столовую, видит ведро с кипятком, мыльные хлопья и Нетту перед картиной, и он с бешеной силой хватает Нетту за ее прелестные руки — так что оставляет на них черно-лиловый синяк.

— Черт побери! — орет он.— Только не горячей водой!

Мой друг откинулся в кресле со вздохом, в котором ужас и облегчение слились воедино; и мы стали глядеть на бесподобное «Поклонение волхвов».

— Вот почему она мне досталась дешевле. Старый лак почти весь оказался смыт, безвозвратно погублен. По счастью для Нетты, она не успела коснуться других картин. Что вам о них сказать? Нужно видеть собственными глазами. Одну минуту, у меня, кажется, был каталог.

Он стал искать каталог, и я, памятуя, что чуть не женился на Нетте, задал ему вопрос:

— Ну а Нетта, что же, ни одной себе не оставила?

— Почему не оставила? Оставила — только в виде «роллс-ройсов» и жемчужных колье. А их новый особняк на Пятой авеню видели? — Он иронически улыбнулся.— Смешнее всего, что Джим уже твердо решился с ней развестись... Но тут объявились картины...

— Бедняжка Луиза,— пробормотал я.

◆

Критика

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

ПРЕРВАННЫЙ ДИАЛОГ

К творческому портрету Павла Вежинова

Это небольшое эссе — раздумья об искусстве, высоком призвании и долге писателя, о книгах и их судьбах в далеком прошлом и современности.

В течение многих лет меня неизменно привлекает поэтическое творчество древнейшего китайского поэта Цюй Юаня (IV—III вв. до н. э.). Смею напомнить, что с него началось в Китае индивидуальное художественное творчество, возникшее на фольклорной почве. Мне хотелось обнаружить причины зарождения и развития личного начала в поэтических произведениях, понять природу взаимосвязей индивидуальной поэзии с безымянным народным творчеством.

В поэзии Цюй Юаня интересовало меня также соотношение реального и вымышленного, действительного и фантастического. У Цюй Юаня правда жизни всегда рядом с художественной условностью, в органической с ней взаимосвязи. Так, в прославленной элегии «Ли сао» («Скорбь изгнанника») поэт повествует о том, что напоил коня-дракона в озере, где по утрам умывается солнце, привязал вожжи к стволу сказочного дерева Фусан, за которым будто бы прячется солнце, и отправился средь облаков бродить:

И приказал я Феликсу: в полете
Ни днем, ни ночью отдыха не знать
Поднялся ветер, зашумела буря.
И облака приветствовали нас.

(Перевод А. Ахматовой)

Так входим мы в мир древнего поэта... В нем есть все: и отражение его мучений — нравственных и физических,—страдания и горечь, обманутые надежды, одиночество; но есть и обновляющаяся душа, глубокая вера в торжество справедливости и разума. Есть сердце, говорящее с будущим, которое предстает в просторе вселенной, и ветер грядущего шумит над нами. Мы следим за полетом поэтической души, видим крылья исполинских драконов, влекущих Цюй Юаня вперед, на поиски правды, через все препятствия, на простор и волю чувств, на свободу.

Иными словами, стихи Цюй Юаня, объятого смятеньем и скорбью, воссоздают образ человека высоких нравственных качеств, в силу определенных причин политического и общественного характера лишенного возможности в полной мере раскрыть свои способности, редкостное дарование. Цюй Юань ведет нас к соприкосновению с первоистоками и традициями — ведь традиции живут и поныне,— с тайнами человеческого духа, секретами искусства в прошлом и настоящем. С мудростью — этим совпадением истины, добра и красоты.

Я постоянно искал черты сходства в творчестве Цюй Юаня — тысячелетнего этого гиганта — с другими художниками слова, понимая, что искать нужно не столько новое, сколько вечное. Искал тот родник, к которому припадают люди веками. Верю, что чудеса происходят лишь временами, но ради них нужно трудиться всю жизнь на пределе сил своих. В искусстве нет начала и нет конца. И трудно сказать, что идет из прошлого, а что из будущего. Нужно ли говорить, что я принимал во внимание и условия разных эпох, и особенности творчества поэта и прозаика. Всякий художник неповторим, как неповторим каждый мыслящий человек.

Встреча с Павлом Вежиновым и его произведениями явилась для меня истинным вознаграждением. Казалось, само расположение звезд, как говорят на Востоке, способствовало этому.

Был вечер. Чувствовалось приближение Нового года: и в убранном поле, и в низком белом тумане у реки, и в городском парке, где с почерневших ветвей тихо отлетали увядшие листья.

Что, в сущности, знал я о нашем современнике Павле Вежинове? Не скрою, несравненно меньше, чем о древнем китайском поэте Цюй Юане. В литературном справочнике о болгарских писателях я прочел, что Павел Вежинов родился в 1914 году в Софии. Окончил философский факультет Софийского университета. Сотрудничал в прогрессивных периодических изданиях — «Литературное обозрение», «Искусство и критика» и других. В дни Отечественной войны (1944—1945) редактировал армейскую газету «Фронтовак» («Фронтовик»). Из различных изданий, в частности книги «Болгарские повести и рассказы» (т. 2), узнал, что Павел Вежинов — автор сборников рассказов «Немощеная улица» (1938), «Дни и вечера» (1942), повестей «Вторая рота» (1949), «В долине» (1950), романа «Сухая равнина» (1952), посвященного социалистическому строительству в Добрудже.

Узнал также из журнала «Септември» (1969, № 1), что Павел Вежинов — автор фантастических по содержанию четырех новелл «Синие бабочки». В них поднимаются вопросы будущего, нравственности, судьбы творческой личности, развития «прометеевского» начала в роде человеческом, гармонии между рациональным и эмоциональным.

Остальное рассказал мне сам Павел Вежинов в нашей беседе[1], которая, увы, была невозможна в случае с Цюй Юанем.

«Мое детство и юность совпали с первыми годами советской власти в России — наиболее трудным периодом в построении социалистического государства,— начал собеседник.— Болгарский народ, находившийся под гнетом царизма, видел в своих русских братьях пример, надежду на спасение. Успехи Великой Октябрьской социалистической революции помогали борьбе болгарских трудящихся за свое освобождение. Большое влияние на развитие революционного движения в стране, на формирование целого поколения болгарских писателей оказали советская литература и искусство». История литературы свидетельствует, что в Болгарии не один крупный мастер слова формировался под влиянием русских и советских писателей».

«Мы учились,— продолжал Вежинов,— у Чехова и Блока, у Серафимовича и Демьяна Бедного, у Толстого и Шолохова. В те годы советская литература была для нас светом, озаряющим путь в будущее».

Упомянув, что хорошо известно, каким трудным был путь советской литературы в царскую Болгарию, как ей приходилось пробиваться сквозь полицейский и цензурные заслоны, Вежинов сказал, что все-таки книги советских писателей проникали в Болгарию, оказывая революционизирующее влияние на массы.

«Судьба готовила людям моего литературного поколения полулегальное, а порой и нелегальное положение в те годы,— рассказывал далее Вежинов.— У нас не было или почти не было своих литературных газет и журналов. Двери всех известных издательств были для нас плотно закрыты. Не имея другого выхода, мы собирались на конспиративных квартирах, спорили, и спорили до бесконечности. Не думайте, что мы говорили о собственных книгах. На наших боевых знаменах было написано другое: на одних — «Разгром» А. Фадеева (его мы буквально зачитывали до дыр), на других — «День второй» И. Эренбурга. Не все тогда понимали, что это было по существу одно знамя и что вело оно нас к одной цели — формированию нового коммунистического сознания. Особенно много спорили тогда о романах М. Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая целина».

Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, мы не сомневались, что сталь, закаленная Островским, непробиваема и для самых мощных бронебойных снарядов. Мы знали, что нельзя сломить дух Чапаева и Левинсона. Мы верили, что «железный поток» советских людей не только сохранит свои неиссякаемые силы, но и создаст в самый короткий срок то, что уже однажды сумел создать,— стальной щит Родины».

Чтобы собеседнику был понятен мой интерес к его творчеству, я рассказал о своих разысканиях, связанных с творчеством Цюй Юаня. Незадолго до личной встречи с Павлом Вежиновым я с большим интересом читал его книги. Среди первых его произведений, с которыми я познакомился, был роман «Ночью на белых конях»[1]. Книга произвела на меня впечатление многоплановостью и масштабностью постановки нравственных проблем. Это — роман о взаимопонимании между людьми в условиях нашей современной жизни и об одиночестве, о связи поколений, об их соперничестве и сотрудничестве, о человеческой вере и безверии, о силе разума, о вечном и неутолимом стремлении человека к красоте и совершенству... Не рядовой это факт болгарской литературы. Роман «Ночью на белых конях», несомненно, произведение большого общественного звучания.

Из болгарских литературных источников мне было известно, что в годы творческой зрелости Павла Вежинова в его нравственно возвышенную прозу начали проникать элементы художественного вымысла, исполненного изящества и таинственной загадочности. В его новеллах из сборника «Синие бабочки», в повести «Озерный мальчик» и в романе «Гибель «Аякса» мы встречаемся с фантастической обстановкой, с необычайным стечением обстоятельств и необычайной жизнью героев в целом. В таких его произведениях, как повести «Барьер» и «Измерения»[2], «Белый ящер», фантастическое становится словно бы одним из аспектов повествования. Скажем, героиня повести «Барьер»— юная Доротея — долгое время жила мыслью о том, что она не такая, как все остальные люди. Доротея глубоко верила, что способна летать. Желание летать постоянно ее преследовало, не давая покоя. Нет, это не то, что нам порой снится, будто мы летаем. У Доротеи это было наяву. Да, происходило это с ней не во

[1] Замечу, что, коли я верно понял содержание наших с Павлом Вежиновым бесед, оно было впоследствии отображено в различных публикациях писателя. См., в частности, «ИЛ», 1983, № 7. с. 183. *(Здесь и далее прим. авт.)*

[1] Павел Вежинов. Ночью на белых конях. М., «Художественная литература», 1978.

[2] Опубликованы в «ИЛ», 1978, № 1; «ИЛ», 1981, № 2.

сне, а в реальной жизни. Странно это, конечно, и совсем необычно. Но рожденный ходить, человек никогда не расставался с мыслью о полетах. И летал. В сновидениях и наяву.

Давно замечено, что полеты человека во сне связаны с его ростом, быть может не только физическим. Говорят, что человек тогда как бы взрослеет, становится более зрелым. Полеты во сне бывают не только в детские или в юные годы. Наблюдения показывают, что люди продолжают летать в любом возрасте. Полеты наяву поначалу, до изобретения летательных аппаратов, были, пожалуй, привилегией людей наиболее мужественных, если не сказать отчаянных. Похоже, они стремились к высотам, чтобы увидеть нечто необыкновенное — новые горизонты, новые дали. Заманчивые цели поистине делали их одержимыми, вызывали неодолимую страсть, придавали силы. Они жаждали подвига, хотели парить над землей, как вольные птицы.

Размышления на эту тему возникают и в пьесе современного болгарского драматурга Йордана Радичкова «Попытка полета», один из ее персонажей полагает, будто люди произошли от птиц. Человек, считает он,— это разучившаяся летать птица. Временно разучившаяся... Пьесу эту критика оценила как поэтичную, фольклорную по духу. И по замечанию одного из критиков, самому автору тоже нужно было в некотором роде возвыситься, вознестись к просторам неба с бегущими по нему облаками, чтобы передать истинное ощущение чуда полета.

Позволю себе сказать, что весьма странными путями движется иногда человеческая мысль и на первый взгляд неожиданными бывают ассоциации... При чтении произведений Павла Вежинова преследует вас неотвязная мысль: автор убежден в верности своих наблюдений. При этом он часто вопрошает как человек, наделенный даром вопрошать: пока люди вопрошают, они мыслят, они живы. В этом можно видеть постоянное научное самосознание и совершенствование. А наука, как известно,— одно из наиболее системных явлений культуры, человеческой цивилизации. В век науки литература сближается с ней по характеру интересов, по содержанию анализируемых проблем и явлений.

Финал повести «Барьер», как мы знаем, однако, трагичен. Психологический стержень: Доротею обнаружили мертвой на пустыре, довольно далеко от дома, где она жила. Что привело ее к этому? Состояние духа? Похоже, она упала с большой высоты. Каждый шаг в жизни — последний и неповторимый. И человек должен отвечать за него.

Фантастическое, таким образом, приобретает в повести «Барьер» определенные психологические измерения, явно вторгаясь в нынешнюю действительность, в каждодневную жизнь людей, в человеческие взаимоотношения.

Известно, что художники нередко первыми открывали психологические области, которые потом сильней и глубже разрабатывали ученые. Именно здесь, думается, воплотилось творческое кредо Павла Вежинова: точно и выразительно выявить истину, реальность бытия, даже если истина эта не совпадает с симпатиями или антипатиями других, а может быть, и его собственными. Автором, несомненно, руководило стремление полнее раскрыть неординарность характера Доротеи в реальной диалектике жизни.

В его изображении Доротея — человек, пытающийся переступить порог невозможного, сделать то, что людям будто бы и не дано от природы. Павел Вежинов показывает, как убежденность героини придает ей необыкновенную силу воли, движущую ее сознанием, ведущую к заветной цели. Доротее удается преодолеть притяжение, оторваться от земли, вознестись над рутинностью, эгоцентризмом, бездарностью и страхом. Граница, разделяющая реальные возможности человека, и то, как они изображены в романе (художественный прием), отнюдь не превращает межу в пропасть.

Что же это — эксперимент? Не слишком ли рискованный и жестокий? Серьезное испытание почти всегда сопряжено с опасностью. В суровой проверке своих сил и ощущений Доротея — не первая и не последняя, конечно.

И все же едва ли всякий читатель поверит в реальность полета героини. Ведь многое определяется тем, как на это смотреть: с привычной точки зрения полет человека, словно птицы, пожалуй, невероятен, а с непривычной — дерзко взрывает воображение и сложившиеся представления. Но кто знает, не произошло ли это потому, что Доротее было ведомо предвидение или прозрение, способность посмотреть на нашу реальность с высот грядущего,— к этой мысли подводит нас Вежинов.

Вспомним слова доктора Юруковой, которая внимательно следила за всем происходящим с Доротеей: «...это не так уж глупо или страшно, как вы полагаете. Мы все еще не знаем ни всех возможностей человеческого сознания, ни к чему может привести развитие мыслящей материи».

Владимиру Солоухину принадлежит мысль о том, что наука с ее формулами, с ее выкладками, с ее умозаключениями призвана организовывать, так сказать, интеллектуальную сторону человеческого сознания. Поэзия же, как одна из ветвей древа искусств, призвана организовать эмоциональную сторону сознания, ибо, если наука есть память ума, искусство есть память чувств.

И мы замечаем, не можем не замечать, что образ Доротеи трагичен, изнутри разрываем несводимыми противоречиями, ибо в нем противоборствуют различные, если не сказать несовместимые, начала — здравый смысл и неодолимая страстность, жажда деятельности, полета и какая-то роковая обреченность. Фантастическое, с нашей точки зрения, служит писателю средством показа существенных проблем нравственности, исследования духовного мира современника, эмоциональной его природы. Фантастический момент — не изолированное, а скорее органическое явление в зрелом творчестве писателя, придающее особые краски его психологическому проникновению в жизнь человека и общества. Это качество вполне соответствует воззрениям художника-реалиста, его концепции личности в современном обществе.

«Каков ваш взгляд на природу фантастического в художественном творчестве?» — спросил я Павла Вежинова, когда мы облюбовали скамейку в саду и удобно расположились под кроной осеннего клена.

«Корни фантастического,— не спеша заговорил мой собеседник,— по сути заложены в нас самих, хотя мы представляем собой неотделимую часть объективной действительности. Иногда фантастическое является выражением отдельных наших чаяний и надежд, связанных с действительностью. Так постепенно родилось искусство, в котором нашли отражение наши фантастические представления или желания. Фантастическое, как показывает уже само это слово, имеет прямое отношение к человеческому воображению, сущность, роль и значение которого все еще слабо изучены гуманитарными науками. Можно с полным основанием поспорить относительно того, не является ли фантастическое более совершенным способом отражения объективной действительности». Так болгарский прозаик подвел разговор к тому, что фантастическое в сознании людей становится элементом художественного творчества, приемом изображения действительности.

В связи с моим замечанием, что фантастическое, как мы знаем, восходит к отдаленным временам человеческого творчества, в частности в Китае, Павел Вежинов сказал:

«Давнее существование фантастического как художественной формы оправдано прежде всего его реальным присутствием в человеческом сознании. Еще до появления литературы как письменного способа передачи художественных образов фантастическое существовало в устном народном творчестве в виде легенд, сказок, преданий. Я не знаю другого, более совершенного художественного отражения фантастических взглядов людей, нежели народные сказки».

Павел Вежинов пояснил, что он никогда не интересовался чисто научной фантастикой и что фантастическое в его творчестве — лишь видимая, внешняя сторона реальных явлений.

«Меня интересовали проблемы внутреннего мира человека, проблемы жизни человеческого общества. Если писатель вполне сознательно приступает к исследованию некоторых научных проблем, имеющих прямое отношение к жизни человеческой личности или человеческого общества, он должен делать это с исключительной добросовестностью. Но даже и в этом случае о книге следует судить по ее художественной убедительности, а не по силе научных доказательств. Сам я прошел этот трудный путь, когда писал роман «Весы». Искренне надеюсь, что создал не гибрид, а реальную действительность... Ведь механическое соединение научно-технических знаний и фантастики чаще всего приводит к рождению посредственных художественных гибридов».

Позволим себе маленькое отступление, связанное с научно-техническими достижениями нашего века и возможностями искусства сегодня, его ролью. Мы хорошо знаем, что настоящий художник, видя, например, бездумное господство механизмов в современном буржуазном обществе, пытается исследовать феномен технократического сознания, часто не сообразующегося с личностным проявлением человеческой души. И можно ли тончайшие движения души человека, его способность чувствовать, любить, сострадать и скорбеть выразить с помощью арифметических таблиц и схем машинной техники? Способен ли счетно-вычислительный механизм воспринять и выразить величайшие обретения человеческого духа, накопленные в течение многосложного пути его формирования?

Большое сомнение вызывает способность мертвого металла, даже в виде самой совершенной из машин, восхититься хоть на мгновение чудом прекрасного и совершенного — звездой мерцающей, в поднебесной выси, журчаньем горного потока? Способна ли машина из холодного вещества отличить зло от добра, презрение от любви? Увы, компьютер, даже самый современный, может предложить самое большее лишь вариант вложенной в него программы, едва ли он способен стать вровень с художественным творчеством, реалистическим методом, художественным постижением действительности. И какой еще метод, кроме реализма, способен дать писателю такую возможность обнаружить тенденцию развития общественной жизни еще до того, как она воплотилась в объективное явление?

Не возникает сомнения: в основе творчества Павла Вежинова — постижение реальной жизни, а это, как известно, отнюдь не исключает использования элементов фантастического, условного в качестве художественного приема. Напротив, нередко обогащает произведение, случается и весьма щедро. Усиливает смысл истинно художественного, увеличивает силу образного воздействия. Павел Вежинов нашел свой способ соединения начал, казалось бы, противоборствующих — сугубо реального и условного, фантастического, символического. Невероятное, фантастическое в его произведениях воспринимается, быть может, как самое достоверное, правдивое, не менее, чем многое обычное, чем то, что дает знание. Недаром в предисловии к повести «Барьер» Лев Озеров замечает: «Прочерчивая путь писателя от старых рассказов, повестей и романов к нынешним его работам, я не мог бы предположить и угадать такой острой психологической драмы, дерзко и свободно совмещающей условность и реальность письма». Все это плод работы фантазии художника. А «фантазия важнее знания», заметил однажды не без основания Эйнштейн.

Достоевский считал, что фантастическое, вымысел в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до такой степени соприкасаться с реальным, что почти веришь ему. Достоевский, думается, метко сформулировал значение фантастического. Мы знаем, что мифология древних, «фантастический реализм» Гоголя, Булгакова или «магический реализм» Гарсиа Маркеса, научная фантастика — при всех их отличиях и сходстве — художественно оправданны именно благодаря соприкосновению с реальным. Фантастическое начало оттеняет некоторые стороны реального, обнаруживает, философски обобщает, рельефнее выражает и заостряет определенные особенности явлений и образов. Не потому ли, в част-

ности, мир Гоголя, мир Достоевского, Булгакова и Гарсиа Маркеса — не просто вымышленные истории? Нет, мы погружаемся и живем в этих мирах абсолютно реально — с нашими радостями и слезами, с нашими откровениями, находками и гневом.

И потому перед нами возникает художественно выраженная правда жизни, включающая в себя и восприятие нравственной правды. Иными словами, восприятие нравственного начала как внеэстетического — восприятие неполное, обедненное, уходящее от литературы как словесного искусства.

Позволим себе напомнить, что реалистическое постижение человека требует полноты и многомерности его изображения, глубины разработки коллизий. Требует подчинения изображения тезису, предварительно отмеренной позиции, выхода к живой перспективе характера, уважения к бесконечности человека.

Небезынтересно, что во главу угла, к примеру, В. Распутин ставит «правду, которую ты из многих и многих выстрадал как главную». И добавляет: «Без нее писателя не существует». Правда в предельном выявлении эпохи, времени, в образе человека. И требует она полноты, а не субъективной избирательности восприятия, чувства целого, а не предпочтения частного целому. Стремление к полноте одухотворяет подлинное художественное слово. И возникающая на этом пути многозначность несовместима с солирующими прописными истинами, с рецептурным подходом к жизни. Классика демонстрирует эту полноту, призывая задуматься над открытием героя, который, может быть, и «есть целое человечество в лице одного человека» (Белинский о Фаусте). Здесь мы вправе увидеть «этическую кульминацию», когда «открываются многослойные связи человека, народа, человечества в их глубинной и вместе с тем бытовой почвенной органической неразрывности».

Уместно в этой связи привести высказывание Габриэля Гарсиа Маркеса: «Я исхожу из необходимости разрушить демаркационную линию между тем, что казалось реальным, и тем, что казалось фантастическим, ибо в мире, который я старался воплотить, этого барьера не существовало».

А вот мнение ученого Н. И. Пирогова. Задолго до Гарсиа Маркеса он сказал: «Все высокое и прекрасное в нашей жизни, науке и искусстве создано умом с помощью фантазии, и многое — фантазиею при помощи ума. Можно смело утверждать, что ни Коперник, ни Ньютон без помощи фантазии не приобрели бы того значения в науке, которым они пользуются».

В самом деле, немало из того, что теперь считается доказанным, прежде существовало в воображении как нечто ирреальное, фантастическое. Сколько различных дел считались невозможными, пока они не были претворены в жизнь. Разве новая истина в начале ее существования не кажется ересью? По мудрому замечанию поэта, судьба всякой истины такова: сперва она возникает как мечта, может быть даже осмеянная и названная кощунством, а потом уже признается всеми, в том числе и скептиками. «Мечта,— писал А. Франс,— могущественнее реальности. И может ли быть иначе, если сама она высшая реальность? Она душа сущего».

Многовековой опыт литературного творчества, включая новаторские поиски и обретения советской литературы, доказательно свидетельствует, что именно опора на реалистические начала способна породить искусство, изображающее жизнь в неисчерпаемом многообразии, способна уберечь литературный процесс от крайностей — натурализма, модернизма. В этом смысле на реализм как на метод возложена особая миссия в поступательном движении литературного процесса. На каждом этапе развития это высший уровень словесного искусства.

Произведения Павла Вежинова покоятся именнно на прочных основах реалистического метода, базируются не на надклассовом приятии всех ценностей настоящего и прошлого, а прежде всего на оценке их с позиции марксистского понимания места народа в историческом процессе.

Что до фантастического начала в искусстве, то история достоверно свидетельствует, что оно глубоко заложено в природе человека и человечества. В долгом и неровном развитии человеческого сознания постижение законов природы и общества постепенно, через многие стадии, вносит уточнения в видение человеком реального мира. Но и в процессе научного осмысления различных явлений жизни мы нередко находим подтверждения того, что корнями своими фантастическое начало в искусстве неотвратимо возвращает нас в реальный мир. Именно такой вывод можно сделать на основании анализа поэтического творчества Цюй Юаня, о чем мы говорили ранее, творчества неисчислимых поколений создателей художественных ценностей в различных странах, в том числе писателей современности Века сменяют друг друга, а доминантой продолжает оставаться реализм. Эта тенденция не только укоренена в прошлом, но и ведет в будущее. Вспомним хотя бы неумирающие народные песни «Шицзина» («Книги песен»), возникшие в далекие времена доисторического Китая.

Нужно ли напоминать о том, сколько раз на протяжении бурной истории современной литературы модернистская критика объявляла реализм мертвым. Реалистический метод художественного творчества, доказавший на протяжении веков свою жизнестойкость, и сегодня развивается, вновь демонстрируя свою неисчерпаемость. Доказывается это и развитием социалистических литератур нашего времени.

Однако вернемся к творчеству Павла Вежинова. Напомним, что главный герой романа «Весы» известный археолог, после падения со строившегося здания частично утратил память. Павел Вежинов с особым проникновением, всесторонне прослеживает в психологическом плане сложный путь возвращения к человеку памяти. Чрезвычайно характерно именно то, что восстановление памяти — как оно изображается автором романа — отнюдь не сводится к чисто физиологическому явлению. Это прежде всего процесс очищения памяти, нравственного очищения человека от всего наносного и недостойного в его жизни, поступ-

ках, поведении. Читая роман, мы с нарастающим вниманием следим за повествованием, как бы присутствуя при «анатомировании чувств». Тем самым читатель словно проникает в душевный мир героя и его создателя в минуты творческого озарения, приближения к истине. Он все более ощущает связь настоящего с прошлым, личного с общим. Иными словами, через жизнь своего персонажа автор показывает вехи мысли и времени, когда личная судьба сопрягается с исторической. Примечательно, что само авторское повествование часто подобно устному рассказу, тронутому писательским воображением, доосмысленному художником.

Не все, впрочем, в творчестве Павла Вежинова воспринимается одинаково. Не все болгарские критики были едины в признании правомерности художественного взгляда писателя. Иногда его осуждали, и не без резона, а часто без видимых доказательств.

Но ушло все наносное, поверхностное, что мешало понять автора, его художественный замысел, творческую задачу. Книги его оценены как живое, волнующее явление духовной жизни наших дней.

Заметим, что за сиюминутным, нынешним у Павла Вежинова всегда выступают пласты исторического. И минувшее это — отнюдь не инертное, застывшее нечто. Оно продолжает жить в душах людей, в памяти народа, оставляя след в сознании, психологии, поведении. И не потому ли читатель невольно поддается обаянию, чарующему воздействию ума, авторской эрудиции и культуры. Он приобщается к мыслям, волнующим человека и человечество: правда, справедливость, сражение за личность и ее свободу. Ибо автор поднял повседневную правду до высот мудрости.

Перечитывая роман Павла Вежинова «Ночью на белых конях», я не однажды вспоминал нашу беседу об идеях и образах его книг. «Смысл создания книги,— говорил он,— заключается именно в том, чтобы читатель сам пришел к выводам автора. Читатель должен стать как бы соучастником, сотворцом книги. Быть может, в чем-то он отойдет от замысла автора, изберет иное толкование, которое более соответствует его мирознанию. И это —немалое благо. Значит, автор пробудил в нем самостоятельную мысль, способность развить сюжет книги, быть может, в чем-то его обогатить, привнести новые краски, оттенки. Радость понимать и развивать — самый прекрасный дар человека. Читатель, проникаясь содержанием книги, утверждает и свое суждение, произносит свое слово — оно может побудить к немедленным действиям, поступкам. Слово, без которого невероятна общая мысль, конкретность идеи, ощущение живого человеческого пульса».

Характеризуя образ главного героя романа — академика Урумова, мой собеседник счел необходимым обратить внимание на то, что Урумов — человек, сполна испытавший горечь жизни. И хотя жизнь его кончается трагично, вопреки всему он отнюдь не сломлен. Слишком развиты у него интеллект и душевная стойкость.

Возникает вопрос: в чем же причина неостановимо нараставших нравственных его сил, несгибаемости духа? Ответы могут быть разными. Но главное — чувство человеческого достоинства. Человек, лишенный достоинства, едва ли вправе вообще называться личностью. Борьба за развитие личности и сохранение человеческого достоинства — трудная и драматическая борьба во имя морального существования каждого человеческого индивидуума.

«Отсюда само собой вытекает и простое следствие: едва ли есть на свете бо́льшее моральное преступление, чем посягательство на человеческую личность»,— сказал в этой связи Павел Вежинов.

«Насколько автобиографичен роман «Ночью на белых конях»?— поинтересовался я тогда.

«В литературном произведении писатель вольно или невольно вкладывает в образы персонажей и какую-то частицу себя самого. Большим подспорьем при создании романа мне служил собственный жизненный опыт. И все же, строго говоря, в моем романе нет автобиографических моментов. Какое-то внутреннее чувство заставляло меня не писать непосредственно о себе. Но в то же время в нем не может не быть некоторого биографического сходства».

В последние годы мне нередко приходилось встречать в болгарской литературной критике высокие оценки романа «Ночью на белых конях». Авторы статей, насколько я мог понять, были едины в том, что это один из самых значительных романов в болгарской прозе последних лет.

В статье «В духовном мире современника» Боян Ничев писал, что Павел Вежинов, очевидно, долго и по-своему созревал для этой книги. Не только потому, что она вобрала в себя нравственно-философские проблемы, рассыпанные в его прежних произведениях, но и потому, что они обрели своеобразный, притом зрелый, романный синтез. Когда речь заходит о повествовательной многоплановости романа, следует оговориться: ее ни в коем случае нельзя понимать лишь как сюжетно-фабульное развертывание повествования. Роман дает нам и более сложное толкование литературной многоплановости, это некое многоступенчатое, многослойное изображение внутренней жизни человека. Книга передает сложность человеческого характера, отношение героя к основным нравственным вопросам нашего времени, к вечным проблемам человеческого бытия.

У автора романа, пишет далее Ничев,— собственное жизненное окружение, из которого он черпает наблюдения. Это — интеллигенция, несущая в себе проблемы и атмосферу современного социалистического города. Но именно такие романы, как «Ночью на белых конях», трудно оценить одной фразой или характеризовать по тематическим признакам. «Ночью на белых конях» — произведение о человеческой взаимности и одиночестве в условиях современной жизни, о человеческой вере и неверии, силе разума и его ограниченности, неутолимой и вечной мечте человека о красоте и совершенстве, о несправедливости и обидной тленности, которая ставит предел временами человеческому порыву. Книга эта и о смерти, понимаемой как одна из величайших проблем жизни, о горьком зачастую познании времени, окружающей среды... Предубежденность обычно не рождается ограниченностью нашего ума: мы неохотно

верим тому, что выходит за пределы нашего кругозора. Академик Урумов лишь к концу жизни, пройдя мучительный круг раздумий, постигает неоднозначность измерения времени: «И последними остатками своего гаснущего сознания понял, что все, что случилось с того позднего вечера и до сегодняшнего дня,— было всего лишь бесконечно растянувшимся мгновением самообмана и надежды». Каждому чудится лучшее. Урумов не уставал верить, что мечта умчит его к успеху в науке, к истинному счастью.

Он постиг «...то, что связывает человека с прошлым, ничем не отличается от того, что связывает его с будущим. Обе эти связи одинаково крепки и надежны и — самое главное — одинаково реальны. Одни лишь слепцы верят в то, что только сегодняшний день — настоящий». И. Ракша в статье «Триединство времени»[1] справедливо сравнивает эту мысль Урумова с соответствующим высказыванием героя-рассказчика в повести «Измерения»: «О прошлом можно сказать, что оно, по крайней мере, содержится в нас самих. А будущее? Что оно такое? Существует ли оно реально? В нас или вне нас? А может, оно всего лишь возможная и вероятная проекция нашего настоящего?» К сказанному можно было бы добавить, что существует традиция: настоящее поверять прошлым, чтобы оградить от ошибок и бед будущее.

Нельзя, пожалуй, не согласиться с болгарским критиком Ничевым и в том, что автор романа «Ночью на белых конях» не отличается излишней категоричностью суждений, неуместно сложным акцентированием, преднамеренными выводами. Или как сам автор говорит в одном из рассказов: «У меня все будет точно, хотя и не совсем объяснимо». Но нигде в других произведениях писатель не был столь неистощим в своих поисках и в то же время столь деликатен в выводах. Он предельно сосредоточен на каждой мысли, каждом движении души человеческой — не обидеть бы, не причинить бы душевной боли. Нравственно-философские проблемы у него обычно лирически окрашены: они проходят через живую душу. Такой характер в романе «Ночью на белых конях» носят и нравственные прозрения главного героя, связанные со смутным воспоминанием о прошлом. Так рождается и образ белых коней, всплывший из интимных глубин детского бытия как иллюзия, как нечто призрачное, может быть, представление о пути человека, одинокого и гордого, средь синей ночи жизни. В сущности, здесь лишь лирическое иносказание; настроение и атмосфера, понимание, ощущение порыва и движения значат в нем куда больше, чем то, что можно объяснить логическим путем.

Интересна, замечает Ничев, метафоричная многозначность конфликта, вокруг которого разворачивается роман. Академик Урумов и его сотрудники спорят и обсуждают новую концепцию сущности страшного и таинственного чудовища нашего времени — раковой опухоли. Из многочисленных гипотез, объясняющих этот биологический феномен, Вежинов выбрал именно ту, которая легко перерастает в метафору, бьющую в сердцевину социального зла и болезни нашего времени: подмена высших структур низшими, вторжение низшей структуры на место высшей и ее попытки выдать себя за то, чем на самом деле она не является. Писатель прибег к метафоре, нацелив ее против распространенного явления, известного под названием «преуспевающая посредственность». «Нет ничего труднее, чем преградить путь посредственности,— рассуждает один из главных героев романа на собрании.— Ее, как и вирусы, не задерживают никакие фильтры, не обезвреживают никакие иммунные системы, не поражают никакие антитела. Потому что она не наш враг, а наш друг. Мы ходатайствуем за нее, проталкиваем ее с помощью родных и друзей, из-за нее мы ссоримся с ними и ужасно сердимся, если те нас не слушают и отвергают наших кандидатов». Этим, однако, содержание метафоры далеко не исчерпывается. Автор показал лишь направление пути лечения злокачественной опухоли. Подвел к преддверию и оставил нас у порога. Так вскрывается самый характер художественного мышления Павла Вежинова: он рассчитывает на активное сотрудничество читателя в осмыслении предлагаемого материала. Рассчитывает на сотворчество и доосмысление.

Болгарские литературные критики отмечают также, что обычно новеллистически скупой на страницы и слова Павел Вежинов никогда прежде не был столь художественно разнообразен в подаче материала, как это видно в романе «Ночью на белых конях». В этой книге запечатлено множество событий, лиц, ситуаций, переживаний, человеческих встреч и расставаний. Тут и две смерти, женитьба, автомобильная катастрофа, тут и смена директора, предстоящий визит лауреата Нобелевской премии и ожидаемое крупное открытие долгожданной научной истины. И разворачиваются они на фоне двух любовных историй: одна — обычное чувство юности, не ведающей своей цены, а другая — поздно, в зрелые годы, обретенная близость. Поначалу эти случаи идут один за другим, как малые новеллы в большом повествовательном потоке романа. К примеру, «венгерская новелла» в жизни академика Урумова. В ней есть несколько острых сцен и один женский образ. Однако позднее события эти проявят свое значение в рамках целого произведения. Или другой случай — эпизод его первой встречи с чудом женской красоты во врачебном кабинете отца. Или же — морская повесть о первой в его жизни женщине. Однако все эти сюжеты постепенно приобретают взаимосвязь, перекликаются и даже взаимодействуют.

Смысл необычного, даже несколько удивительного эпизода необыкновенной любви двух старых людей в конце романа выявится на страницах, посвященных поздней любви Урумова к Марии. В книге нет строгого соподчинения случаев и событий, которое мы видим в классическом романе. Однако это и не мозаичная ассоциативность модной прозы. В центре повествования — сердцевина: «академик — юноша», два представителя самых весьма удаленных друг от друга поколений. В этих образах Павел Вежинов воплотил одну из основных проблем своего творчества: отношения между поко-

[1] «ИЛ», 1982, № 9, с. 200.

лениями, борьбу и сотрудничество между ними — весьма серьезный вопрос нашего исторического и духовного развития. В этом обостренном внимании писателя явно просматривается не только присущее ему тонкое социальное чутье, но и глубокая связь с болгарской действительностью. Роман «Ночью на белых конях» обнаруживает специфическую направленность внимания Павла Вежинова на психологические и социально-исторические аспекты проблем, которые неизменно волнуют его. Что же до преемственности поколений, то писатель явно склонен видеть ее как отличительную черту столь желанной и недостигнутой в мире его героев нравственной гармонии.

Вокруг главной сюжетной линии «академик — юноша» вращаются и остальные герои. Все они наделены своими чертами и красками, у каждого собственная судьба, прошлое. Окраска повествования здесь определенно эпическая. Герои несут в себе и личное и родовое прошлое. В романе представлены три рода (Урумовы, Обретеновы, Логафетовы) со своими традициями, историей, родовыми чертами и привычками.

Однако, замечает Ничев в упомянутой нами статье, художника привлекает прежде всего внутренняя, духовная жизнь персонажей, которая широко развернута и выявлена. Особенно это относится к академику Урумову. Его полнокровный, живой образ — среди самых ярких и привлекательных в современной болгарской литературе.

Урумов несет в себе и создает вокруг себя прекрасный и гармоничный духовный мир, сотканный из невидимых, но прочных нитей. Нити эти связывают героя с окружающим миром и в то же время позволяют ему соблюдать необходимую дистанцию. Они тянутся к нескольким основным персонажам, которые словно отражают жажду его души. Юноша — его стремление к будущему, его мечта о непрерывном многообразии в нашей жизни; Мария — его мечта в настоящем, его надежда на то, что он необходим в жизни, необходим не только как носитель идей и опыта, ученый, но нужен и сам он как личность в своей непосредственной человеческой сути. Вежиновский Урумов — одно из победных мгновений в усилиях болгарской прозы, направленных на изображение и утверждение истинного, духовного богатства человека наших дней.

Многомерны размышления Павла Вежинова о сущности и категории морали[1]. Надежда и отчаяние как нравственные категории, говорит он, не имеют альтернативы. Либо надежда, либо распад личности и гибель общества. В основе отчаяния лежит прежде всего страх, доводящий до пароксизма воли. Некоторые западные антропологи, как мы их называем, или социал-психологи, как называют они себя сами, считают, что страх зарождается в глубине человеческого сознания как его онтологическое начало. Отрицательные эмоции исключают элемент созидания, если под созиданием не понимать, конечно, противоестественного, извращенного о нем представления. Они не в состоянии способствовать совершенствованию сознания. И если мы хотим найти точку соприкосновения между надеждой и отчаянием, то следует апеллировать к таким понятиям, как способность испытывать радость от самого факта существования.

«И при всем том страх,— продолжает писатель,— реальное чувство, а потому было бы просто неверно отрицать его как абсолютно ненужную, вредную категорию. Страх — первичное проявление инстинкта самосохранения. Но страх, затуманивая наше сознание, способен довести человека до крайней степени отчаяния, даже до самоубийства. Излишне обостренное чувство страха у человека делает его предметом изучения не только психиатров, но и социологов: на Западе многие люди доходят до отчаяния из-за нищеты, безработицы, безысходности существования. Так называемое «потребительское общество» фактически мертво, ибо оно не оправдывает своего существования и тем самым обрекает себя на гибель».

Павел Вежинов, будучи оптимистом по натуре, искренне верит, что третьей мировой войны вообще может не быть. Но страшный меч еще не раз будет занесен над нашими головами. И если нам удастся избежать войны, напряженность все же сохранится, и трудно предугадать, насколько серьезно будет поражена психика человека: страх перед войной, подобно язве, разъедает человеческие души, как и душу целого общества.

Симптомов заболевания не так уж мало: как иначе можно объяснить зверства, чинившиеся в Бейруте, поступки деятелей, прямо или косвенно несущих ответственность за совершаемые в мире преступления? Имеет ли пределы их бесчеловечность? Возрастает число людей, живущих данной минутой, ибо уверенности в будущем у них нет.

Именно поэтому, утверждает Вежинов, «наша литература должна стать литературой надежды, человеколюбия, действующей как спасительный бальзам на раны души человека». Самой его любимой книгой с юности был «Морской волк» Джека Лондона. Его герою свойственны храбрость, благородные порывы, сила духа. В годы участия в Отечественной войне рядом с ним не оказалось этой книги, но он продолжал хранить ее в сердце. Не случайно, подчеркнул П. Вежинов, произведения Джека Лондона пользуются популярностью у миллионов читателей.

Справедливо в этой связи и замечание болгарского писателя, что в СССР не без основания не переводят произведений литературы запредельного отчаяния или пропагандирующих жестокость, насилие и бесчеловечность, подобно романам Флеминга о Джеймсе Бонде. И хотя мы отнюдь не пуритане, нам претят книги, погружающие читателя в глубины пороков и извращений, грубого секса. Мы, писатели, стремимся побуждать читателей вступать в поединок с силами зла, стараемся укреплять их дух. Наш собрат Павел Вежинов — рядом с нами в этой борьбе в защиту истинного гуманизма и просвещения, всего того, что противостоит родоплеменной, феодальной (а позже и национальной) замкнутости и открывает путь общению народов.

Болгарское литературоведение отмечает, что тема духовной и нравственной красоты

[1] См. «ИЛ», 1983, № 5, с. 217.

нашего современника убедительно воплощена в целой галерее вежиновских женских образов. Красивые, независимые, гордые женщины, с достоинством несущие на своих плечах бремя жизни и нелегкий материнский жребий, достойно представлены в романе «Ночью на белых конях». Насколько они внешне различны, настолько духовно схожи, близки. Болгарская литература вообще особенно богата привлекательными и содержательными, нравственно глубокими, художественно яркими женскими характерами. Красота человека, образно представленная в беллетристике, в большой степени раскрыта именно в них. И в эту традицию Павел Вежинов внес весомый вклад. Но сделал он это по-своему, в духе своей поэтики и в присущем лишь ему литературном стиле — не в одном-единственном женском образе. Характерные черты социального прототипа в его героинях не только не размыты, а скорее напротив, выражены полнокровно и весьма оригинально. Не забыт автором и национальный колорит созданного им женского типа и всего духовно утонченного, нравственно чистого мира положительных героев книги.

Порой кажется, что образы эти исполнены особой романтики... Романтика с большой буквы уже как бы и не в моде, но, сколько бы мы ни стеснялись высоких слов, в душе нашей, в глубине нашего сознания романтика жива, неистребима, как неистребимо чувство прекрасного, извечное стремление к справедливости, к совершенствованию жизни и самих себя. Недаром же мы так бесконечно дорожим каждой пушкинской строкой, испытываем потрясение, любуясь Сикстинской мадонной. «Мы не можем обойтись без романтики,— писал В. И. Ленин.— Лучше избыток ее, чем недостаток. Мы всегда симпатизировали революционным романтикам, даже когда были несогласны с ними»[1]

Напомним в этой связи, что литературный критик В. Гусев, например, считает повесть «Барьер» произведением романтическим, хотя с этим не все согласны. А Л. Озеров решительно утверждает: «Я берусь доказать, если потребуется, что произведение Вежинова в такой же степени, если не в большей, реалистично». Думается, что в немалой мере спор здесь не по существу, а о терминологии. Впрочем, суждения могут быть различны у различных исследователей Не все здесь поддается однозначным дефинициям.

Если говорить о главной мысли романа «Ночью на белых конях», то ее, как представляется, выражает ответ академика Урумова на вопрос, какова самая серьезная проблема, вставшая перед современным человечеством: «Преодолеть разделение мира... Добиться того, чтобы человечество стало единым. Наша планета слишком тесна для того, чтобы на ней жило два человечества. Это угрожает ей гибелью». Роман по сути своей оптимистичен. Он вселяет надежду, надежду на то, что человеческий гений и благоразумие восторжествуют. Иными словами, Павел Вежинов утверждает, что будущее принадлежит пониманию между людьми и народами, пониманию, а не устрашению, не угрозам. Именно взаимопонимание и доверие могут сохранить сосуществование «антимиров» и международную безопасность, сохранить жизнь на земле. Именно об этом речь...

В книгах Вежинова мы встречаемся не только с цельными психологическими образами, но и с характерами многомерными, противоречивыми, страдающими. На редкость тонко ощущает художник человеческую индивидуальность, обнаруживая все новые грани душевных движений, нравственного обновления человека. Даже самая малая деталь у него приобретает глубину и перспективу.

Писатель предлагает нам не прямой жест-слово, а интересное путешествие из мира внешнего в мир внутренний, постижение состояния духа, характера, судьбы, приоткрывая ее тайну, изображая силу, слабость, порок, страсть, одержимость. И во всем здесь художника ведут обстоятельства, предложенные реальностью, самой жизнью. Во всем ощущается интеллектуальная атмосфера, эмоциональная свобода. При этом Вежинов не приемлет интуитивных наивностей, всякого рода мистики, хотя и признает, что в жизни встречаются необыкновенные или пока необъяснимые явления, и элемент фантастики входит, как уже говорилось, в систему его художественных средств.

Развитие творческой индивидуальности Павла Вежинова ознаменовалось философским углублением содержания его произведений, поисками новых путей в подходе к проблеме времени и человеческой жизни, традиций и будущего: писатель приходит к мысли о том, что полноценное духовное развитие человека и народа невозможно без глубокого уважения к вечным, животворящим силам культуры, к нравственному наследию, к национальным традициям, к духовным ценностям, которые передаются из поколения в поколение. Он как бы говорит нам: восхищаясь могучей чинарой, поклонитесь ее корням.

Еще одна неотъемлемая черта произведений Павла Вежинова — их высокая гражданственность, пронизывающая прежде всего поздние его произведения, такие как «Барьер», «Измерения», «Ночью на белых конях», «Звезды над нами» и другие. Современная жизнь с ее сложностями и противоречивостью все настойчивее вовлекает художника в круг жгучих проблем, возникающих перед человеком и человечеством. При этом писатель всегда утверждает: достоин и красив тот, кто отличается чистотой стремлений, кто гуманен, живет жизнью народа. Таковы нравственные принципы Павла Вежинова, гражданская и философская его позиция.

В ходе разговора я заметил писателю, что с каждым новым произведением, как мне кажется, он все настойчивее стремится проникнуть в человеческое сознание (что заметно по роману «Весы»), словно пытаясь установить: насколько человек контролирует свое поведение и насколько оно — плод ускользающих из-под контроля подсознательных пластов человеческой психики, что прежде всего определяет поведение личности?

[1] «Ленинский сборник», т. 37, с. 212.

Павел Вежинов счел вопрос правомерным, хотя и не совсем согласился с терминологией, сказав, что если внимательно читать «Весы», то, вероятно, можно увидеть, что в авторском тексте никогда не употребляется понятие «подсознание». И это не случайно. Человеческое сознание следует рассматривать как нечто цельное и единое, хотя оно и не изоморфно, не монолитно. Мы помним, что, утратив событийную память, герой романа «Весы», говоря словами автора, постепенно восстанавливает свой естественный мир путем аналитического проникновения в самого себя и приходит к той первичной положительной эмоции, которую мы в наиболее общем плане отождествляем с самой жизнью и по отношению к которой разум является вторичным. Но вершина человеческого сознания — человеческий разум. Правда, нет уверенности, что эта «вершина» — высшее достижение природы, хотя так принято считать. Но развитое человеческое сознание, несомненно, обладает одним качеством, так называемым самосознанием, то есть способностью человека оценивать смысл и цели своих действий. Это качество в комплексе с другими принято называть душевным миром.

«Переживания,— продолжал Павел Вежинов,— наполняют душевный мир человека. Сила, глубина, значительность переживаемого либо приближают нас к тому состоянию, которое мы привыкли называть словом «счастье», либо отдаляют нас от него. Есть люди, которые носят ощущение счастья в себе или утратили эту способность навсегда. Не следует недооценивать значение и такого понятия, как «благосостояние». На практике оно означает прежде всего удовлетворение нужд и потребностей человека. Это, конечно, очень важно. Но, не будучи связано с удовлетворением и духовных потребностей, оно рискует превратиться в свою противоположность. Нельзя сказать, что на этой грешной земле самые счастливые — люди богатые и сытые. Гораздо счастливее те, у кого есть силы и возможности идти к высокой цели. Движение к цели приносит больше удовлетворения, чем ее достижение».

«Итак, вопрос в том,— говорил Вежинов,— насколько человек может контролировать свое поведение. Очевидно, легче контролировать то, что сложилось под влиянием общественной среды и общественного воспитания. Пожалуй, этими качествами особенно часто манипулируют. Но они возникли не на пустом месте. Как известно, личность обладает и наследственными генетическими свойствами, которые формировались не днями, не годами, а веками и тысячелетиями. Они труднее поддаются изучению и очень часто остаются непонятными до конца, главным образом потому, что проявляются редко и порой совершенно неожиданно, а до той поры таятся в глубинах человеческого сознания. Думается, не стоит абстрактно говорить о доминанте человеческого поведения. Все зависит от того, о каком человеке идет речь, когда, при каких обстоятельствах. Можно представить себе сознание живого человека не как категорию, идею, не как кристалл, даже не как некую структуру. Оно скорее представляется рекой, текущей откуда-то из далекого далека. Река течет в берегах, которые, конечно, определяют ее, но не всегда и не в одинаковой степени. Иначе она превратилась бы просто в канал. Это было бы лучше для общества, но человек утратил бы свое богатство как личность. А как известно, бывают грозы, идут проливные дожди, река выходит из берегов... Что сможет ее тогда обуздать?..»

Наша беседа с Павлом Вежиновым охватила и такой круг вопросов: становится ли человек со временем умнее, интеллигентнее? какие перемены произошли в эмоциональной сфере человеческой личности?

По мнению Вежинова, человек сегодня бесспорно умнее, чем был вчера. Это определяется образованием, бóльшим объемом знаний, тем, что он занимается разными видами практической деятельности, требующими гораздо большего умственного напряжения. Но вряд ли он стал интеллигентнее. Почему делаются различия между этими двумя понятиями? Первое связано с функциональными качествами человеческого мозга, которые поддаются тренировке и совершенствованию. А интеллигентность — это скорее отражение всего духовного мира человека, его воображения, главным образом его интуиции, его творческих способностей. Уму присуща прежде всего четкая логика и постоянство логических связей и выводов. Интеллигентный же человек больше склонен к свободным комбинациям понятий и представлений. Вот почему у него больше развито чувство юмора, одно из самых характерных признаков природной интеллигентности. Он легче улавливает малозаметные связи между явлениями и нюансами человеческих отношений. И в конечном счете легче приходит к большим обобщениям и важным для науки открытиям. К такому типу ученых относится, например, Эйнштейн, которому, как он сам говорил, еще в школьные годы пришли в голову некоторые основные положения теории относительности.

«Можно лишь сожалеть,— продолжал Вежинов,— что нынешняя система образования (да и система образования в целом) обращает главное внимание на заучивание при передаче новых знаний. Заученное — это лишь наполовину усвоенное, это полузнание; главное — проникнуть в сущность изучаемого, включить его в систему ассоциативного мышления. Зубрежка мешает думать, свободно искать и открывать истину. Недаром главной целью древнегреческих гимназий было развитие интеллектуальных способностей учеников. Вот почему сила интеллекта древнегреческих философов до сих пор поражает наши мысли и воображение.

А какие изменения произошли в эмоциональной сфере человеческой личности? Трудный вопрос. Если судить по классикам мировой литературы, то некогда чувства и страсти были гораздо более сильными, бурными, являясь основным мотивом человеческого поведения. Не случайно «Илиада» начинается известной строкой: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына». Чувства и страсти движут героями Шекспира, Стендаля, Достоевского. Но, с другой стороны, философия и идеи Возрождения были в основном рационалистическими. В совре-

менном мире, называемом «веком научно-технической революции», «атомной эрой», «электронной эрой» и даже «космической эрой», чувства словно бы уступают завоеваниям разума. К сожалению, люди все больше привыкают считать эти открытия чем-то решающим для будущего человечества, не отдавая себе ясного отчета в опасности, которую их применение может таить в себе. Речь идет даже не о последствиях атомной войны, не о разрушении окружающей среды или истощении природных ресурсов. Речь идет о чем-то, пожалуй, не менее страшном — об угрозе обесчеловечивания человека, обезличивания личности. Там, где современная цивилизация становится все более утилитарной и прагматичной, она приглушает и даже подавляет эмоциональные побуждения, унифицирует человеческие характеры. Это и заставляет наше социалистическое общество так твердо и настойчиво выдвигать лозунг борьбы «за всесторонне развитую человеческую личность». На практике это означает прежде всего гармонию между рациональным и эмоциональным в человеке, раскрытие всего богатства человеческой души, творческое отношение к труду».

Естественно, здесь возник вопрос: в чем же выражается гармония между человеком и природой, каким образом достичь ее? Исторический момент, в который мы живем, кажется Павлу Вежинову кульминацией трагического противоречия между человеком и природой. Много говорится о разрушении природы, о хищнической эксплуатации природных ресурсов. И все люди вроде бы понимают, что так не может продолжаться вечно. Если представить в каком-то материализованном виде верховный разум, то он, наверное, взорвался бы, потрясенный слепотой человека.

Много пишут и говорят о неисчерпаемых источниках термоядерной энергии. Или о расселении человечества в космическом пространстве. Но даже если это осуществится, основные проблемы останутся. Как мы, люди, приспособимся к жизни в среде, не приспособленной для обитания? Природа существовала миллионы лет как неделимое целое, состоящее из автономных частей. Можем ли вырвать одно звено из этой цепи и предоставить ему существовать самому по себе? Вряд ли. Не стоит подвергать себя риску, используя подобную возможность, потому что неизвестно, что нас ждет там — вырождение или безумие. Человек, продолжал писатель, должен осознать себя не хозяином или эксплуататором природы, а звеном в ее вечном развитии. Легко сказать, но безмерно трудно этого добиться. Каким путем пойти? Не назад к природе, конечно,— это невозможно. А вперед к природе, вместе с природой, используя и развивая ее бесконечные жизненные силы. В новом обществе, без классов и непримиримых конфликтов, это, вероятно, окажется возможным.

Коснувшись вопроса о том, в чем он видит различие между мужчиной и женщиной в их отношении к человеку, природе и миру (быть может, в образе Доротеи помимо прочего воплощено в какой-то мере и отношение женщины к миру, в основе которого — любовь во всех ее проявлениях), Вежинов отметил, что женщина, пожалуй, представляется более совершенным созданием природы, больше отвечает основным требованиям жизни. Дать человеку жизнь и защищать ее — это нечто несравненно большее, чем превращать его в пушечное мясо.

Мы знаем, что на страницах книг болгарского прозаика «встречается порой какой-нибудь котенок со своим кошачьим пониманием людей, в котором очень много человеческого. В «Голубом камне» есть страшная сцена, когда обезумевший от ярости человек набрасывается на лошадь с бессмысленной жестокостью, в «Весах» символом спасительной любви становится возвращение собаки Пинки»[1]. И мне хотелось узнать, что думает писатель об отношениях человека к животным.

«Отношение к животным,— сказал Павел Вежинов, — один из важных аспектов проблемы взаимоотношений человека и природы. Каждое животное имеет право на существование, и в существовании каждого есть свой смысл. Нельзя считать животных, даже насекомых, совершенно бессознательными существами. Инстинкт не есть нечто, изначально данное природой. Это тоже опыт, какой-то разум, какой-то автоматизм, заключенный в генетическом коде вида. Человек также не лишен некоторых полезных инстинктов, без которых он вряд ли мог бы появиться на свет. У некоторых видов животных, например пчел и муравьев, организация коллективной жизни весьма совершенна. И хотя трудно назвать ее «общественной», она гарантирует их общность и их существование. У некоторых видов животных взаимная помощь между особями просто удивительна и доходит до самопожертвования. Не следует недооценивать и их эмоциональную жизнь, их чувства. Почти рядом с моим окном,— привел в этой связи пример Павел Вежинов,— есть гнездо голубей, в котором они выводят птенцов. Их взаимная привязанность, их любовь (почему бы и нет?), их самоотверженная забота о птенцах вызывают у меня удивление, если не сказать более сильного слова. Разве я мог бы убить этих птиц? Скорее я переломал бы руки тому, кто посягнул бы на них»...

Речь зашла о повести «Измерения», я вспомнил, что там говорится о невозможности человека познать себя до конца: «Это... гораздо более невозможно, чем взлететь птицей в небеса. Что, наверное, когда-нибудь и случится, потому что это в границах человеческих возможностей». И мне хотелось знать, какие мысли о потенциале человека писатель намеревался выразить здесь.

«Эти слова,— ответил Вежинов,— скорее художественная гипербола, но, вероятно, недалек день, когда человек наконец разгадает тайну явления, называемого гравитацией. По мнению физиков, она бесконечно мала, но преодолеть ее можно лишь с помощью сверхмощной энергии. Очевидно, это так, однако все ли знает наука об энергии? А что, если тому, что именуется жизнью, присуща своя, неизвестная нам энергия? Иначе как объяснить, что пшеничное зерно преодолевает не только гравитацию, но и огромную массу, которая давит на него?

[1] См. «Беседу с Павлом Вежиновым», «ИЛ», 1983, № 7.

Научно установлено: живая материя непрерывно нарушает важные законы физики. И вполне допустимо, что в этом отношении она не исчерпала всех своих возможностей».

В высшей степени интересны духовно-нравственные искания Павла Вежинова — художника активного, остро ощущающего дыхание времени. Писатель исходит из того, что литература, являясь фактом искусства, обладает также и качествами объективной науки о духовном мире человека, то есть «науки отображения действительности». Вежинов обозначает точки соприкосновения теории науки и теории искусства, считая, что литература может иметь общие цели с такими науками, как социология, философия, психология, даже экология — молодая, но весьма перспективная наука. (Заметим в этой связи, что Эйнштейн утверждал: истина, чуждая гармоническим законам искусства, не может считаться таковой. Ему же принадлежат слова о том, что в научном мышлении всегда присутствует элемент поэзии.)

Художническая деятельность Павла Вежинова — путь к самопостижению. Вместе с тем он верил, что литература должна быть рассчитана прежде всего на читателя. Все остальное — ложь и позерство. Тем самым художник утверждал, что книга как произведение искусства может стать выражением духовной общности людей. Прочитанные книги нередко остаются с людьми навсегда, сопровождая их всю жизнь. Приобщение читателей к миру художника, достоверно и ярко отображающего жизнь, порождает чувство внутреннего единства, способствует духовному возвышению человека над каждодневным бытием. Мы знаем: талантливая книга никогда не стареет.

Но вот извечный вопрос: не подвергается ли фантаст больше других писателей опасности быть опровергнутым будущим? В ответ писатель утверждал, что самое печальное — быть опровергнутым настоящим. Он был убежден: любая глубокая борозда в настоящем не может не оставить заметный след в будущем. Авторитет Герберта Уэллса или Рэя Брэдбери едва ли пострадал от того, что на Марсе нет ни людей, ни даже букашек. Примерно так же обстоит дело и в науке, хотя она постоянно опровергает свои постулаты. Те, кто ставит великие вехи на пути развития наук, вряд ли рассчитывают на бессмертие. Но, как бы ни менялось человечество и его цивилизации, имена Аристотеля, Ньютона, Дарвина вошли в историю навечно.

Под высокими звездами слагаются и высокие судьбы. Едва ли разумно уверять себя и других, что все таланты и дарования заменимы. Несомненно и творческое долголетие писателей. Павел Вежинов не выпадает из времени, ибо к нему шли и продолжают идти люди за мудростью и утешением. И никто с пустыми руками не уходил.

Истинный художник — не профессия, но сама судьба. Павел Вежинов красив человеческой своей сутью, творческим озарением, проницательной мудростью таланта. И каждая встреча с ним и его книгами — настоящая радость.

Память — самая изумительная и трагическая способность человека. Мы способны лишь помнить, но никогда уже не сможем повторить наши встречи с Павлом Вежиновым — писателя, увы, уже нет среди нас. О нем можно сказать, что он не дослушал песен, не испытал в полной мере любви близких, не успел пройти до конца короткий свой путь земной. Но творческое его наследие остается людям и будет служить живым родником мысли и вдохновения.

Уже с первых страниц произведений Павла Вежинова безошибочно ощущается его дыхание, узнается глубоко личная, доверительная и вместе с тем психологически острая авторская интонация. Созданные творческим воображением художника образы воспринимаются как реально существующие. Им веришь. С ними трудно расстаться. В них воплощены прекрасные черты облика нашего современника.

Диалог читателей с автором, обобщившим время, продолжается. У них, как и у каждого нового поколения, своя мера, свои требования и к жизни и к искусству. Тем зорче, тем мудрее должен быть нынче художник. В этом — живая и нерасторжимая людская причастность к творческому миру нашего современника Павла Вежинова.

◆

М. КОРЕНЕВА

«...ВЫИГРАТЬ БУДУЩЕЕ»

О творчестве Денизы Левертов

Дениза Левертов вошла в американскую поэзию в конце 50-х годов. С тех пор увидело свет свыше десяти ее поэтических сборников, опубликованы две книги прозы, где собраны эссе, рецензии, выступления, воспоминания, рассказы, выпущен в ее переводе томик стихов французского поэта Гильвика.

Но начала она писать гораздо раньше. В 1946 году в Англии, где она родилась и выросла, вышла первая книга ее стихов — «Двойное отражение». Дебют не прошел незамеченным, хотя сама поэтесса впоследствии называла эти ранние стихи слишком отвлеченными. Они были, однако, не лишены достоинств, поскольку Кеннет Рексрот, известный американский поэт и критик, счел возможным включить несколько стихотворений Левертов в подготовленную им антологию «Новые британские поэты», выпущенную два года спустя. Так состоялось знакомство американского читателя с поэтессой. Сама она в том же 1948 году переехала в Соединенные Штаты. Следующий ее авторский сборник появился спустя десять лет. За это время она и сложилась как поэт — поэт именно американский.

Важную роль в духовном становлении Левертов как художника сыграла объединившаяся вокруг колледжа Черной горы группа поэтов. Среди них — Чарльз Олсон, Роберт Данкан, Роберт Крили. В разное время вместе с ними публиковались также Уильям Карлос Уильямс, Джек Керуак, Аллен Гинзберг, Гэри Снайдер и другие Собственно говоря, деятельность этой группы не ограничивалась одной лишь литературой, а охватывала разные сферы творчества, выражая недовольство ситуацией, сложившейся в американском искусстве. Поначалу ее участники стремились к свободному от академической рутины, основанному на эксперименте преподаванию гуманитарных наук. Но затем их внимание сосредоточилось на проблемах и перспективах развития современного искусства и взаимодействия его видов.

Выдвинутые «поэтами Черной горы» творческие принципы оказались созвучны поэтической индивидуальности Левертов. Правда, это не было ни четко сформулированной программой, ни тем более поэтическим манифестом. Чуть ли не каждый из членов группы толковал эти принципы по-своему, выделяя то, что наиболее соответствовало его художническим устремлениям. И все же нечто объединяло эту пеструю по составу, бурлящую массу. Вкратце их основные требования можно суммировать так: обращение к повседневной действительности, непосредственность наблюдения и переживания, естественность интонации, связь ритмики с дыханием. Разумеется, столь расплывчатая программа не привела к созданию поэтической школы или направления. Неудивительно, что под такой «крышей» собрались и те, для кого главным были формальные поиски, и те, кто стремился к глубинному поэтическому освоению современной жизни.

Денизой Левертов эти общие положения не были восприняты как некий свод правил, требующий неукоснительного соблюдения. Впоследствии поэтесса предостерегала от чрезмерно буквального, узкого понимания этих принципов, какое обнаружилось в творчестве многих молодых поэтов 60—70-х годов. Ряд моментов она пересмотрела, существенно откорректировав их с позиций зрелого поэтического опыта. В частности, Левертов говорила, что из художественного мира поэта недопустимо изгонять фантазию, что пристальное внимание к окружающей жизни необходимо сочетать с полетом воображения, без которого нет поэзии, со строгим эстетическим отбором, исключающим воспроизведение действительности как хаотического нагромождения случайностей.

Для Левертов воображение — или, если воспользоваться одним из ее любимых слов, «магия» — не «дополняет жизнь», а является способом существования жизни в поэзии. Недаром в произведениях Левертов понятия «стихотворение» или «поэтическое слово» часто стоят в паре со словами «крыло», «крылатый», вызывая в памяти знаменитое изречение Платона, определившего поэзию как «вещь легкую, крылатую и священную».

Сведение поэзии к безучастному фактографированию, которое выдается за объективность, вызывает у Левертов открытый протест. В статье «Великое достояние» (1970) она, например, пишет: «То, что началось как здоровая реакция, как отказ от бесплодной академической риторики, выродилось в небывалое производство «*заметок*», то есть стихов, повествующих о том, что видено или сделано. Лишенные того энергичного, сочувствующего, вопрошающего духа, который пронизывал даже самые отрывочные стихи Уильямса, эти стихи не вызывают ни чувства сопереживания виденному или сделанному, ни осознания значения этого чувства, они не сообщают того острого ощущения жизни, которое, по словам Уоллеса Стивенса, является одной из главных функций поэзии»[1].

Точно так же, почувствовав, что догматически понятый тезис о соотнесенности строки с долготой дыхания приводит не к желанной раскованности, а, напротив, к удручающей монотонности и однообразию, Левертов подчеркивает, что тут скорее нужно иметь в виду не физическое дыхание, а внутреннее — ритм, рождаемый душевным состоянием говорящего.

Однако уточнения пришли позже. А тогда, в 50-е годы, принципы «поэтов Черной горы» послужили своего рода ориентиром начинающей поэтессе, стремившейся постичь новое для себя окружение — американскую реальность, которая, естественно, вначале воспринималась ею вчуже. Имена Уильяма Карлоса Уильямса и Уоллеса Стивенса упомянуты, разумеется, не случайно. Оба они оказали большое воздействие на развитие поэтического дарования Левертов, в особенности первый из них. В то время, когда они познакомились, поэт находился в расцвете творческих сил, увенчавшемся созданием грандиозной поэмы «Патерсон» и выходом в свет последнего прижизненного сборника «Картины Брейгеля». Мало кто из молодых, да и многих маститых американских поэтов той поры избежал воздействия Уильямса.

Но воздействие, видимо, отнюдь не всегда означает подражание. Левертов никогда никому не подражала. Даже в те далекие годы, даже в самых ранних своих американских стихах. Внутренне она всегда оставалась свободной. Для нее с самого начала был важен собственный голос. В стихах Левертов не найдешь ни перепевов тем, мотивов, образов Уильямса, ни копирования его поэтической интонации, ни стилизаций «под», нередко стоящих на грани пародии. Это скорее перекличка, вернее сказать, созвучие, в котором сохраняется самостоятельность видения.

Связь с поэзией Уильямса нетрудно ощутить в первом же американском сборнике Левертов, красноречиво озаглавленном «Здесь и сейчас» (1957). В этом лаконичном названии, восходящем к уитменовской «Песне о себе»,— квинтэссенция поэтического кредо Уильямса, живо воспринятого поэтессой. Оно предполагает в любом поэтическом произведении, независимо от его формы и жанра, сосредоточение на повседневной жизни с ее неповторимым многообразием и одновременно — непосредственность в передаче жизненных впечатлений.

Включенные в сборник «Здесь и сейчас» стихи — это по преимуществу поэтические миниатюры. Небольшое лирическое стихотворение и в дальнейшем осталось излюбленной формой Левертов, хотя характерное для более поздних книг деление на циклы говорит, по-видимому, о тяготении к крупной форме. Среди них — пусть и не часто — встречаются поэмы. И каждый раз именно этот жанр служит своего рода кульминацией предшествующего периода. Вершиной, взятой перед новым стартом. Таковы «Рассказ дерева об Орфее» (сб. «Вновь начиная с азов», 1970) и «Месса на день св. Фомы Неверующего» (1980), будто вехи, расставленные на рубежах десятилетий. Заметим, однако, что в эволюции Левертов границы различных этапов творчества не имеют четко означенных очертаний. Они словно бы размыты, лишены драматических контрастов.

Развитие Левертов как поэта идет не по пути отрицания и преодоления пройденного, а по пути накопления. Она расширяет и углубляет охват бытия, включая в свой поэтический мир все новые пласты художественно осмысленной действительности.

Исключительное значение имело для Левертов как художника участие в движении протеста, всколыхнувшем Соединенные Штаты в 60-е годы. И в последующее десятилетие в условиях начавшегося спада общественной активности масс Левертов продолжает поднимать голос в защиту распятой свободы Чили и Сальвадора, в защиту жизни, поставленной на грань уничтожения в результате навязанной Соединенными Штатами безумной гонки вооружений. Для нее политическое действие и поэтическое слово — вещи нераздельные. В статьях, выступлениях, письмах поэтесса, исходя прежде всего из собственного опыта, неоднократно подчеркивала, что их связь — одна из примет времени. В ее творчестве социальные мотивы постепенно нарастали и крепли, не затухая и тогда, когда движение протеста с окончанием войны во Вьетнаме явно пошло на убыль и многие вчерашние «протестанты» из «новых левых» заняли удобную позицию молчания.

Однако сборник «Здесь и сейчас», как и последовавшие вскоре книги «По земле к островам» (1958) и «Глаза на затылке» (1960), лишены еще этого широкого взгляда на мир, сосредоточены на непосредственном окружении поэтессы. Включенные в них стихотворения отличаются непринужденностью высказывания, подкупающей естественностью, лишенной и намека на позирование, умением схватить факт в его мимолетном переплетении с индивидуальным переживанием, тонкостью интонационной нюансировки при кажущейся безыскусности. Они рождались словно без мук творчества, связанных с тяжкими раздумьями, как у Роберта Лоуэлла, без кропотливой отделки деталей и тонкой игры рифм и размеров, как у Ричарда Уилбера, без дерзкого вызова, громогласно брошенного «битниками» и обывателю

[1] «ИЛ», 1976, № 10, с. 213.

и сонной академической поэзии. Они словно бы «вылились» сами собой, без какого-либо постороннего, внешнего побуждения, повинуясь лишь собственной потребности быть. Естественность поэтического переживания сразу выделила Левертов среди собратьев по перу, вместе с нею вступавших на поэтическую стезю.

Эта черта не ускользнула от ценителей поэзии. Кеннет Рексрот, одним из первых, как мы знаем, обративший внимание на молодую поэтессу, со всей определенностью утверждал: «Дениза Левертов создала свой собственный стиль, ясный, прозрачный, непосредственный, отмеченный совершенно особым восприятием и чисто женским пониманием действительности. Среди поэтов своего поколения она — самый глубокий, самый деликатный, самый трепетный художник и лучше всех овладевший тонкостями мастерства»[1].

А влиятельный критик и поэт Хейден Каррут в предисловии к составленной им антологии современной американской поэзии вспоминал о том, как, получив неожиданно «...маленькую книжечку стихов, обладавших в пределах своего замысла такой великолепной выразительностью... весь вечер читал и перечитывал их»[2]. Так состоялось его первое знакомство с творчеством Левертов.

В этой характеристике стоит обратить внимание на брошенные как будто вскользь слова «в пределах своего замысла». Они очень важны для понимания ранней поэзии Левертов. Действительно, голос уже найден, отзывчивость на явления окружающей жизни несомненна, как несомненна искренность выражения. Не нарушен и главный принцип — автор готов к восприятию того, что открывает ему взгляд, слух, касание. Но граница обозначена: то, что «в пределах замысла»,— неподдельно и точно, то, что за ними,— еще скрыто, недоступно.

Возьмем хотя бы сборник «Глаза на затылке». Чему посвящены стихотворения, о чем говорят? О прекрасной лагуне, о сборах в дорогу, о привязанности к пропавшей черной с белым кошке. Вот стихотворение о мертвой бабочке — ночью прошел сильный дождь, и утром дорожки сада, трава, кусты оказались усыпаны мертвыми белыми бабочками. Левертов удачно избегает таившейся в разработке темы опасности — не впадает в декламацию по поводу бренности бытия, не выстраивает аллегорию быстротечности земного существования. Чувство ни в чем не насилуется, не форсируется. Оно соразмерно событию. Легкая меланхолическая нотка, вызванная столкновением жизни с гибелью, уравновешивается возможностью разглядеть цвет бабочки и абрис ее крыльев. Этот «естественнонаучный» поворот темы (порхающая бабочка кажется ослепительно белой, мертвая оказывается зеленоватой) вносит в стихи легкий иронический оттенок. Изучать природу можно, лишь когда она мертва, то есть перестала быть сама собою. «В пределах замысла» все выдержано безупречно. Но слишком тонкий взят срез с действительности, и оттого голос автора звучит хотя и искренне, но еще робко.

Предвестие направления, в котором развивалась в дальнейшем поэзия Левертов, можно уловить в стихотворении «Мертвые» (сб. «Глаза на затылке»), основанном на личных воспоминаниях (в годы второй мировой войны она работала медсестрой в военном госпитале). Внимание вновь приковано к простым, подчеркнуто будничным вещам. Подвязать челюсть, заткнуть тампоны, расправить еще не окоченевшие члены — для медсестры в морге это повседневность. Однако сама ординарность, привычность действий — знак чудовищного нарушения естественного порядка. Но стихотворение — не газетная заметка. Ответом на жестокость войны звучит сострадание и скорбь. Они-то и выводят за положенный замыслом предел. Пережитое взрывает узкие рамки сиюминутности, властно вводя в поэзию Левертов тему гражданскую.

Лирик по природе своего дарования, Левертов не замкнулась на сугубо личных переживаниях, хотя все ее стихи окрашены глубоко личным восприятием, личным отношением ко всему, что входит в ее поэтический мир. Она стремительно пошла навстречу этому зову времени, отдав ему нераздельную искренность чувства, силу страсти и темперамент борца. Уже в следующем сборнике, «Лестница Иакова» (1961), гражданская тема, представленная циклом стихов, толчком к созданию которого послужил суд над нацистским преступником Эйхманом, зазвучала в полный голос.

Особый накал приобрела социальная тема в стихах, посвященных Вьетнаму. В отличие от множества произведений молодых американцев, представлявших в 60-е годы в США поэзию протеста, они не стали стихами-однодневками. Для Левертов был важен не политический жест, а сокровенное поэтическое слово, убеждающее точно найденным образом, картиной, тонко переданным переживанием. Оттого так богата эмоциональная палитра ее стихов о Вьетнаме. В них соединились боль и гнев, отвращение к миру, плодящему жестокость, и обессиливающее сознание невольной причастности к нему, сострадание к жертвам и восхищение стойкостью людей, главное оружие которых — любовь и братство.

Первым откликом поэтессы на вьетнамскую трагедию были стихи, помещенные в сборнике «Танец печали» (1967). Широко представлены они и в книгах «Вновь начиная с азов», «Остаться в живых» (1971), «Следы» (1972), «Освобождение праха» (1975). Их воздействие обусловлено выстраданностью чувства, многообразию оттенков которого отвечает тонкая интонационная разработка.

В замедленном, тягучем ритме развертывается стихотворение «Ноготки из Северного Вьетнама» (сб. «Вновь начиная с азов»):

Ноготки, цветы Воскресенья,
что любят мертвые и при свечах
запах их острый,

[1] Цит. по обложке сборника: D. Levertov. The Jacob's Ladder. N. Y. New Directions, 1961.

[2] «The Voice that is Great within Us». N. Y., Bantam Books, Toronto, Lnd., 1971, p. XIX.

словно дым сторожевых костров,
приходят вдыхать...[1]

В совершенно иной тональности строится «Стихотворение на рождество 1972 года, во время террористической бомбежки Северного Вьетнама» (сб. «Освобождение праха»). Бешеная ярость против тех, кто вызвал кровавую трагедию, против множащих ее политиканов, подобных Киссинджеру и Никсону — под какими бы именами они ни выступали, на них лежит печать преступления,— взмывает пронзительной нотой:

Убить
убийц! —

и обрывается горько отрезвляющим —

Вот
до чего их зло.

проникнув в нас, нас
отравило...

Обращение к политической тематике, отклик на острейшие общеамериканские конфликты наших дней во многом определили своеобразие почерка Левертов. Качества, присущие ей как лирику, она сохраняет и доносит в полной мере и в своих политических стихах, рождающихся в пылу непримиримой борьбы.

Но гражданская лирика отражает не только остроту данного момента, является откликом на наболевшие, злободневные проблемы,— она отражает и размышления о характере окружающего мира, построенного на насилии и несправедливости. Однако несовершенство мира не повергает Левертов в отчаяние. В отличие от многих современников, она не ищет выхода в забытьи, добытом каким угодно способом, оплаченном какой угодно ценой, пусть даже распадом собственной личности,— лишь бы не видеть мерзостей окружающего. Для нее характерна строгая, прозрачная ясность мысли: этот мир необходимо изменить. Так возникают в ее поэзии размышления о революционном его преобразовании, рожденные бурлением 60-х годов. С наибольшей полнотой они выразились в поэме «Оставаясь в живых» — центральном произведении сборника «Остаться в живых».

Выбор между революцией и существующей действительностью представлен в поэме как выбор между жизнью и смертью. Эта мысль превращается в один из сквозных мотивов, многократно варьируясь, отзываясь эхом ассоциаций:

Революция или смерть. Революция или
смерть.
Песнь пропели б
колеса, да кончен век дорог
железных, средь облаков скользим, гул—
монотонной константой.
Ты на чьей стороне?
Революции, ясно...
(«Чем отличается ночь
эта от других?»),
и впервые радость и смех не расстреляны
в ней
Жизнь
жаждет жить.
(От жизни
непрожитой умирают).
. . . . . .
Конечно, я избираю
революцию.

Уже начальные слова — «Революция или смерть» — вводят в широкий исторический и современный контекст. Они напоминают и столь же решительный лозунг Американской революции XVIII века: «Дайте мне свободу или смерть» и одновременно лозунг кубинских патриотов: «Родина или смерть!». Во всех случаях «смерть» подчеркивает настоятельность требований, но важна не она. Важна цель, ради которой люди готовы на жертвы, на гибель. Левертов избирает революцию ради «новой жизни», которую и нужно создавать заново, ибо

Новая жизнь —
не старая наизнанку, не тот же кадр
в негативе.

Размышления о судьбах мира органически привели поэтессу к центральному вопросу современности — осознанию возможной гибели всего живого, самой жизни в термоядерной катастрофе. Тема эта неоднократно возникала в сборниках Левертов, но с особой силой прозвучала в самом недавнем — «Свечи в Вавилоне» (1982), где ей посвящен цикл, озаглавленный «Век ужаса».

За долгую историю существования человечества на его долю выпадали разные века. Как известно, «первым был век золотой...», о котором сохранилась благодарная память. Его сменил век железный. В наше время, говорит Левертов, настала пора века ужаса. Развитие этой темы достигает кульминации в поэме «Месса на день св. Фомы Неверующего», написанной в канонической форме католической мессы. Левертов сохраняет в ней традиционную многочастную структуру мессы с характерными для частей названиями. Тема каждой, обозначенная в заглавии, развивается, однако, уже не согласно канону, а в споре с ним, отражая разницу между современным мировосприятием и христианским, как оно воплотилось в мессе.

Герой поэмы — фигура во многом трагическая. Это — современный человек, обуреваемый сомнениями, жаждущий веры в конечное торжество добра и жизни и теряющий силу и веру перед лицом грядущей мировой катастрофы. Спасительной для него оказывается перед натиском смерти лишь неизвестность, смягчающая жестокую правду настоящего. Там, в неизвестности, чуть теплится надежда: быть может, гибель в пламени мирового пожара еще удастся предотвратить. Но кто осуществит это? Вот в чем вопрос.

Христианская традиция на протяжении многих веков внушала страждущему: уповай на всевышнего. Левертов оспаривает и опровергает постулаты религии, показывая, что они больше неприложимы к решению тех проблем, которые встали перед человеком на пороге третьего тысячелетия. Нависшая над человечеством катастрофа угрожает уничтожением не только всему земному, но и всему, что создано человеком, а среди его творений — и сам бог, порождение человеческого духа, пытавшегося постичь законы мироздания. В финале поэмы традиционный образ спасения переосмыслен. Спасителем выступает не высшая мистическая сила, которую молит о заступ-

[1] Стихи приведены в переводе автора статьи. *(Прим. ред.)*

ничестве бессильный перед лицом зла человек, а он сам. Высокую нравственную миссию спасения жизни должно взять на себя человечество, «мы», обыкновенные люди — им единственным под силу предотвратить мировой пожар. Рядом с дрожащим «агнцем божьим» человек может стать колоссом, способным к великому деянию. Все зависит от его убеждений и решимости.

Мы, кто постыдно, с тайной надеждой
ждет, что нас вырвут из огня, блаженство
дадут,
заслуженное уж тем, что мы грезим о
нем.

значит, это мы должны
защитить эту преступно
слабую тварь, мнящую, тыча
мордой, найти у нас молоко? Должны
к ледяному сердцу прижать
бога дрожащего?

Да будет так.
Гряди, комок трепета.
тусклая
звезда.
Попытаем,
все ль еще в силах людских
укрыть тебя
искра
далекого света.

Финал поэмы обретает чеканную торжественность мессы, выражая переход от исполненных смятения и отчаяния начальных глав к спокойствию, которое возникает, когда человек осознает свою высокую миссию.

Социальная тема насыщена в поэме философским содержанием. Его раскрытию способствует в немалой степени избранная Левертов форма. Вместе с тем развернутый в поэме спор о судьбах человечества обостряется благодаря соединению поэтического канона с приемами свободного стиха. Левертов сочетает традиционное с новаторским, и возникает дополнительная цепь ассоциаций, перекличек, реминисценций, углубляющих содержание поэмы.

Хотелось бы отметить, что в этой поэме стих Левертов стал в известной мере более классичным, хотя и сохранил свободу верлибра. Ритм сделался более упругим, определеннее выявилась связь между строками строфы, четче обозначилась строфика. Структура в целом приобрела бо́льшую законченность и строгость.

Эмоциональное богатство, проявившееся в произведениях Левертов, насыщенных гражданским пафосом, характерно для всего ее поэтического мира, определяя во многом силу его художественного воздействия. Взволнованность поэтической речи отличает и интимную лирику Левертов, и ее стихи о природе.

Собственно, между теми и другими у нее нет и не может быть грани. Так, в «Стихах любви» («Жизнь в лесу») очень личное чувство дано через образы интимно воспринятой природы.

Что ты мне даешь —
невероятного солнца
свет, затопивший
изумленные деревья.
Ветку
дней, дрожащую
в лапках птицы.

Других
радостей вкус
мне знаком, горек настой
их — все ж я их искала.

Но ты —
ты мне даешь

в полночи тела — дня
золотого
сиянье,
меж покровов во тьме —
осеннего полдня тепло.

А в стихотворении «Плащ» («Вновь начиная с азов») источником творчества становится не только любовь, но и собственная жизнь поэтессы:

А я так сразу
вышла нагая,

вдыхая
свою жизнь,
выдыхая стихи...

Как уже говорилось, Левертов видит источник прекрасного в многообразии жизни. Но разлитое в мире зло не позволяет погрузиться безраздельно в блаженное созерцание красоты. В столкновении с действительностью возникает извечная гамлетовская дилемма: покориться судьбе, предав забвению страдания мира, или противостоять злу. Дениза Левертов принимает вызов — все свои душевные силы она отдает борьбе. В ее «Речи на антивоенном митинге 22 марта 1980 г.» («Свечи в Вавилоне») прозвучал страстный призыв защитить жизнь на земле:

Мы должны решиться выиграть
не войну а будущее,
в котором мы сможем жить.

«Выиграть не войну, а будущее» — вот что стало ныне жизненным и поэтическим кредо Левертов. Глубоко сознавая катастрофичность открывшихся перед человечеством перспектив, она отвечает не всплеском отчаяния, а стихами, в которых заключена надежда.

◆

Р. ХЛОДОВСКИЙ

РИМ В МИРЕ ГОГОЛЯ

Уходящий год, как известно, был объявлен по решению ООН годом Гоголя. В связи со 175-летием со дня рождения великого русского писателя в Институте мировой литературы имени А. М. Горького состоялась научная конференция. В основу предлагаемой читателю статьи советского литературоведа Р. Хлодовского лег прочитанный на ней доклад.

— Встретили ли вы сейчас у Гоголя то, что можно назвать «абсолютным шедевром»?

— «Рим»! Когда я перечитывал его, меня удивило, что раньше он мне не нравился, я как-то даже пробегал его, не вчитываясь, а теперь просто был поражен.

Валентин Катаев
(Из интервью)

«Рим» — рассказ, жанрово определенный Гоголем как «отрывок»,— читают действительно не так уж часто. Между тем для понимания Гоголя «Рим» существен. В нем подведены важные итоги и намечена большая историческая идея. Имея в виду «отрывок» и называя его «превосходной статьей», П. В. Анненков вспоминал в очерке «Гоголь в Риме летом 1841 года»: «Под воззрение свое на Рим Гоголь начинал подводить в эту эпоху и свои суждения вообще о предметах нравственного свойства, свой образ мыслей и, наконец, жизнь свою».

Последние замечания особенно примечательны. Анненков вспоминал о Гоголе, уже прочитав «Рим» и воспринимая зрелого, классического Гоголя сквозь призму этого отрывка. Примечательно также и то, что, заговорив о «Риме», Анненков сразу сбивается на Рим — вечный город, на Рим-Град. В мире Гоголя этот Рим занимал огромное место. Едва оправившись от придавившего его известия о гибели Пушкина, Гоголь писал В. А. Жуковскому: «Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось. Я проснулся опять на родине и пожалел только, что поэтическая часть этого сна,— вы, да три-четыре оставивших вечную радость воспоминания в душе моей,— не перешли в действительность... О, Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни, и как печально было мое пробуждение! Что бы за жизнь моя была после этого в Петербурге; но как будто с целью всемогущая рука промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях, о всем и весь впился в ее роскошные красы. Она заменила мне все... Я весел; душа моя светла. Тружусь и спешу всеми силами совершить труд мой. Жизни, жизни! еще бы жизни! Я ничего еще не сделал...»

В Риме было сделано много. Там написаны первый том «Мертвых душ» и «Шинель»; в Риме были коренным образом переработаны «Тарас Бульба» и «Портрет»; в Риме получили окончательную редакцию «Женитьба» и «Ревизор». Вскоре после того, как осенью 1841 года Гоголь приехал из Италии в Россию, Белинский написал об авторе «Мертвых душ»: «Он совершенно отрешился от малороссийского элемента и стал русским национальным поэтом во всем пространстве этого слова».

«Важное значение города Рима в жизни Гоголя,— справедливо отметил Анненков,— еще не вполне исследовано».

Слова о Риме-родине не были у Гоголя случайной, сгоряча брошенной фразой. Он повторял их часто и настойчиво. В апреле 1838 года Гоголь признавался М. П. Балабиной: «...когда я увидел наконец во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет».

Вечный, классический Рим как бы прародина русского, необычайно русского писателя Гоголя. Чем более русским ощущал себя Гоголь, тем ближе и роднее становился Рим.

В 1840 году Гоголь написал сестре из Вены, прося ее передать привет А. С. Данилевскому и наказать, чтобы тот писал ему почаще. «А вечный адрес мой он знает: Roma».

В устах Гоголя слово «вечный» звучало весомо. Вечный город воспринимался им как вечная родина. Национальному самосознанию Гоголя это никак не противоре-

чило. «О России,— утверждал он,— я могу писать только в Риме. Только там она предстанет мне вся, во всей своей громаде».

Понимаю, что эти гоголевские слова могут показаться несколько неожиданными. Читатель вправе спросить: почему, почему только в Риме?

Попробую ответить. Хотя знаю, что это весьма непросто. Однако сделать вид, будто в мире Гоголя никакого Рима реально не существовало, было бы вряд ли правильно, да и просто неразумно. «Поглядите на меня в Риме,— приглашает всех нас, а отнюдь не одного лишь П. А. Плетнева великий русский писатель,— поглядите на меня в Риме, и вы много во мне поймете того, чему, может быть, многие дали название бессмысленной странности».

Тема Рима или, точнее, Италии появилась в творчестве Гоголя рано. Первое опубликованное им произведение называлось «Италия» (март 1829 года). Это было стихотворение, написанное неуклюжими октавами и изобиловавшее банальностями заурядного романтизма. Его можно было бы счесть не слишком удачной пробой пера или даже случайной опиской. Возможно, так оно и было. Между тем тема Италии в творчестве Гоголя нарастала. В заключительных строках «Записок сумасшедшего» в голос измученного санитарами Поприщина властно ворвался глас великого писателя, который некоторое время спустя примется за поэму о мертвых душах: «Дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой — Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына!»

Это очень гоголевские строки. Они по-гоголевски пронзительные и по-гоголевски пророческие. Под таинственный звук струны в тумане Италия и русские избы в мире Гоголя соприкоснулись, и их казалось бы непредвиденное соприкосновение освятилось единственным для всякого русского человека словом «матушка». Это — факт, и для нашей литературы факт этот весьма знаменателен. В «Записках сумасшедшего», скажет Белинский, «такая бездна поэзии, такая философия...».

При всей своей видимой неожиданности тема Италии и пока еще неназванного Рима зазвучала в заключительных аккордах гоголевских «Арабесок» вовсе не вдруг, а очень естественно, органично и, более того, вполне закономерно.

Не стану анализировать гоголевские тексты первой половины 30-х годов, а просто сошлюсь на выводы одной, как мне кажется, яркой книги. «... Идея *возвращения* в детство, к истокам, в цельный мир прекрасного,— пишет Игорь Золотусский,— это идея всей прозы Гоголя этих лет и идея его статей, помещенных в «Арабесках». И всюду бесцветный север и гармонический (и яркий) юг противопоставляются друг другу. И в «Тарасе Бульбе» (косвенно), и в «Старосветских помещиках» (открыто), и в повестях «Арабесок»... На это есть намек в «Портрете», где укором Чарткову становится картина, привезенная из Италии. Об этом говорит и порыв Поприщина, переносящегося из Петербурга на юг Европы»[1].

Строго говоря, последняя фраза не вполне точна. Гоголевская тройка мчит Поприщина с юга на север к русским избам, к давно уже поджидающей его матушке. На последней странице «Арабесок» напророчен последний путь Гоголя в Россию. Однако в главном Золотусский прав. В «Арабесках» содержались важные предсказания, которые действительно настойчиво указывали на юг, на Италию. Древние не зря называли поэтов «vates». Поэты — пророки, потому что, осознавая себя, они осознают судьбу воплотившегося в них слова. В первой трети XIX века судьба только что возникшей русской национальной поэзии вплелась в историческую судьбу русского народа. В истории человечества бывают моменты, когда подлинно реальным оказывается идеальное. В истории Европы — и в этом ее трагическое величие — такого рода моментов было не так уж мало. Гоголь понимал это как никто другой в современной ему России.

В 1834 году он обнародовал в «Арабесках» «Несколько слов о Пушкине». Глава начиналась словами: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте». Сказано это было смело, оригинально, но в 1834 году никого уже, по-видимому, ошеломить не могло. В начале века национальное самосознание формировалось в России стремительно и революционно. Однако то, что двумя фразами дальше скажет о пока еще живом тридцатилетнем Пушкине двадцатилетний Гоголь, не может не поразить даже теперь. Гоголь пишет: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа; это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

Говоря о Пушкине, Гоголь говорит не о гениальной, невиданной, всех изумлявшей поэзии, а о *человеке*, о гениальном русском человеке, свободном и гармоничном, о человеке-артисте, как его назовет потом Виссарион Белинский и независимо от него Александр Блок. Эта черта очень русская, национально, классически русская — и в то же время необычайно итальянская, национально итальянская, классически ренессансная. Именно в Италии эпохи Возрождения европейский человек впервые осознал себя самодовлеющей индивидуальностью, внутренне свободным человеком-творцом. Это стало одной из причин, почему на рубеже XV и XVI веков «в Италии наступил невиданный расцвет искусства, который явился как бы отблеском классической древности и которого никогда уже больше не удавалось достигнуть» [2].

[1] Игорь Золотусский. Гоголь. М., 1979, с. 164.

[2] К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, издание второе, т. 20, с. 346.

В наше время отрицание художественных абсолютов становится делом обычным. Вероятно, в этом есть своя закономерность. Но покорно принимать ее не хочется. Гоголь счел бы отрицание художественной абсолютности искусства Высокого Ренессанса еще большим абсурдом, нежели поприщинское «мартобря 86 числа». Идеальный человек представал перед ним вживе. Молодой Гоголь встречался с ним, разговаривал, жадно ловил его советы и подсказки и даже был с эстетическим абсолютом на дружеской ноге. Идеальным русским человеком для Гоголя был уникальный, но тем не менее вполне реальный, очень живой, веселый Александр Сергеевич, жену которого он как-то второпях назвал Надеждой Николаевной. «Несколько слов о Пушкине» многое проясняют во всем Гоголе, а значит, и то, почему в его мире такое большое место занял вечный, классический Рим. Пушкин и Италия, «златая Италия», в мире Гоголя постоянно соприкасаются.

Ощущение русскости побуждало Гоголя тянуться к идеальному человеку. Поначалу казалось, что дорасти до Пушкина вполне возможно. Ободряло само присутствие Пушкина и его поддержка. В несколько загадочной записи «1834» Гоголь клялся своему, как тогда казалось, гармоническому гению: «Я совершу... Я совершу. Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны».

В 1834 году был начат «Ревизор». Однако именно успех этой сатирической комедии убедил Гоголя в том, что произведение он создал, может быть, и замечательное, но совсем не пушкинское. Это повергло его почти что в отчаянье. Он обиделся на всех, даже на Пушкина и бросился назад — на Запад.

В Италию Гоголь добирался кружным, но, как он скажет потом, единственно правильным путем. Прежде чем отправиться в Рим, Гоголь побывал в Германии, в Швейцарии, в Париже, куда он, по его словам, заехал, сам того не желая. «Я попал в Париж почти нечаянно. В Италии холера, в Швейцарии холодно. На меня напала хандра, да притом и доктор требовал для моей болезни перемены места».

Париж Гоголю был ни к чему. «Париж город хорош для того,— писал он Н. Я. Прокоповичу,— кто именно едет для Парижа, чтобы погрузиться во всю его жизнь... Жизнь политическая, жизнь вовсе противоположная смиренной художнической, не может понравиться таким счастливцам праздным, как мы с тобой».

Гоголь шутит со своим школьным приятелем и шутливо, по-школьнически, примеривается к пушкинскому Моцарту. Он не подозревает, что через два дня Пушкин сядет в сани и поедет на Черную речку стреляться с Дантесом. Пушкин пока еще жив, и затеянный в России роман пишется у Гоголя легко и весело. «Мертвые текут живо,— сообщает он Жуковскому,— свежее и бодрее, чем в Веве».

Весть о гибели Пушкина застала Гоголя в Париже. Она потрясла и перевернула весь его мир. Россия без Пушкина на какое-то время перестала для Гоголя быть Россией. Пушкин обернулся мечтой, национальной грезой России. Расстояние до гармонически развитого русского человека стало опять огромным, но в преодолимости его Гоголь не сомневался. Весной 1837 года он уехал из Парижа в Рим, в частности и потому, что твердо верил в историческую, а главное — эстетическую осуществимость русской национальной мечты об истинно прекрасном, идеальном человеке. Задуманный в духе «Ревизора» многоплановый сатирический роман стал превращаться в Италии в величаво текущую эпопею, в русскую национальную поэму. В Риме завязывалась главная, сквозная тема классической русской литературы XIX столетия, тема воскресения, *возрождения в человеке человека*. Происходило это не без участия итальянской национальной классики — литературы и искусства Высокого Ренессанса. Поездка Гоголя в Рим оказалась для судеб европейской культуры не менее эпохальной, нежели итальянское путешествие Гёте.

Первые впечатления от Рима были глубокими и, несмотря ни на что, праздничными и радостными. Гоголю вдруг показалось, будто он перенесся в прекрасный мир юности, причем не величавой юности всей европейской культуры, а своей собственной, нежинской, украинской. Город Рим представился Миргородом. «Мне кажется,— писал Гоголь из Рима одному из своих приятелей по нежинской гимназии,— что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платье мелом, старинные подсвечники и лампы в виде церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений. Здесь все остановилось на одном месте и далее нейдет».

На первый взгляд это тоже может показаться шокирующе неожиданным. В 30-е годы XIX века папский Рим Григория XVI был едва ли не самым консервативным и, более того, самым реакционным государством Западной Европы. Тем не менее мы очень бы ошиблись, предположив, будто в Риме Гоголя восхитил общественно-политический застой и клерикальное мракобесие. Гоголь не любил, да и просто не умел пользоваться понятиями современной ему публицистики. Однако, когда сегодня вчитываешься в письма Гоголя из Рима и в отрывок «Рим», становится совершенно ясно, что в казалось бы остановившейся жизни Вечного города автор «Тараса Бульбы» и «Старосветских помещиков» увидел не застой теократического государства, а устойчивость жизненных основ, которые требовались в XIX веке для того, чтобы строить классическое здание национальной русской литературы, соизмеримое с по-ренессансному гармоничным пушкинским идеалом истинно прекрасного человека. Анненков не просто во многом верно оценил отрывок «Рим», но и поставил его в контекст жизни и творчества Гоголя конца 30-х — начала 40-х годов. «Влияние Италии и особенно Рима,— отмечает он,— начинает все более усиливаться и проявляется отвращением к европейской цивилизации, наклонностью к художественному уединению со-

средоточенностью мысли, поиском за крепким основанием, которое могло бы держать дух в напряженном довольстве одним самим собой».

П. В. Анненков выражается по-гегельянски. Если перевести его слова на обычный русский язык, то получится, что Гоголь приехал в Италию, дабы отыскать в Риме основы, на которых русская национальная культура, как это уже случилось в эпоху Возрождения с национальной культурой Италии, могла бы обрести необходимую ей свободу и вместе с ней идеальную форму для воплощения национального самосознания русского слова и русского народа.

Передавая одну из своих римских бесед с Гоголем, Анненков пишет: «Вот,— сказал он раз,— начали бояться у нас европейской неурядицы — пролетариата... думают, как из мужиков сделать немецких фермеров... А к чему это?.. Можно ли разделять мужика с землею?.. Какое же тут пролетарство? Вы ведь подумайте, что мужик наш плачет от радости, увидав землю свою; некоторые ложатся и целуют ее как любовницу. Это что-нибудь да значит?.. Об этом-то и надо поразмыслить...» Вообще он был убежден тогда, что русский мир составляет отдельную сферу, имеющую свои законы, о которых в Европе не имеют понятия. Как теперь смотрю на него, когда он высказывал эти мысли своим протяжным, медленно текущим голосом, *исполненным силы и выражения*. Это был совсем другой Гоголь, чем тот, которого я оставил недавно в Париже... *Все в нем установилось, определилось и выработалось*» (курсив мой.—*Р. Х.*). «...Взлелеянный уединением Рима, он весь предался творчеству и перестал читать и заботиться о том, что делается в остальной Европе... В Риме он только перечитывал любимые места из Данте, Илиады Гнедича и стихотворений Пушкина...»

С Анненковым не во всем можно согласиться: Гоголь в Риме не отделял Россию от Запада, а наоборот, включал при нем и в нем рождавшуюся национальную русскую культуру в гуманистическую культуру Европы, которую он всегда рассматривал как единую, органически развивающуюся историческую целостность. В Риме он читал не только Данте и Гомера, но и многих современных ему западноевропейских писателей, в частности Диккенса. Однако самое главное в «римском» Гоголе Анненков если не до конца понял, то во всяком случае почувствовал и угадал. В Риме Гоголь делал великое русское дело, считая его делом европейским и в известном смысле всемирным, всечеловеческим. Вот почему он так резко, может быть даже излишне резко, противопоставил якобы остановившуюся жизнь Вечного города стремительным изменениям враждебного человеку капиталистического «прогресса», с которым столкнулся в Западной Европе и который навсегда отвратил его от уже не революционного, а очень буржуазного Парижа. Вот почему он так болезненно остро отреагировал на статью Белинского «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души», в которой замечательный и высоко ценимый Гоголем критик заметил, что в гоголевском отрывке, где «есть удивительно яркие и верные картины действительности», «есть и косые взгляды на Париж и близорукие взгляды на Рим».

Последние слова Белинского особенно задели Гоголя. «Он хочет,— писал Гоголь С. П. Шевыреву,— чтобы римский князь имел тот же взгляд на Париж и французов, какой имеет Белинский. Я бы был виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж. Потому что и я, хотя могу столкнуться в художественном чутье, но вообще не могу быть одного мнения с моим героем. Я принадлежу к живой и современной нации, а он к отжившей».

О Париже Гоголь действительно судил и непримиримее и строже, чем молодой князь из «Рима», но с изображенным в отрызке итальянцем у Гоголя было немало общего. Гоголь недаром наделил итальянского князя «живой душой». Только тогда, когда в молодом князе «развернулась его живая итальянская природа, дремавшая под скучным надзором аббата», душа его отозвалась на «сильное политическое движение в журналах», начатое Июльской революцией 1830 года, и у него возникло «желание побывать в заальпийской, в настоящей Европе»: «Вечное ее движение и блеск заманчиво мелькали вдали. Там была новость, противоположность ветхости итальянской, там начиналось XIX столетие, европейская жизнь».

Гоголь показывает блестящий, бурлящий город глазами очарованного молодого итальянца, и авторское отношение к Парижу выдает лишь стиль, лишь риторика анафористически выстроенных периодов: «Он зевал перед светлыми, легкими продавщами, только что вступившими в свою весну... Он зевал и перед книжной лавкой, где, как пауки, темнели на слоновой бумаге черные виньетки... Он зевал и перед машиной, которая одна занимала весь магазин... Он зевал пред лавками... Он зевал и на широких бульварах...» Бурление западноевропейской столицы на поверку оказалось бессодержательной суетой, засасывающей и съедающей живого человека. Даже светские львы обернулись «парижскими крокодилами». В гоголевском отрывке наметились некоторые бальзаковские темы, в частности столь важная для почти всей западноевропейской литературы XIX века тема утраты иллюзий. «Во многом он разочаровался,— говорит Гоголь об итальянском князе.— Тот же Париж, вечно влекущий к себе иностранцев... уже показался ему много, много не тем, чем был прежде».

Несомненно, философия истории Гоголя (а такая философия у Гоголя была, и не случайно Анненков в 1846 году увидел у него «лицо философа») грешила ничем не прикрытым идеализмом. Негодования Белинского по поводу «Рима» понять не сложно. Тем не менее упрекать Гоголя за его глухоту к социально-утопическим идеям Фурье и усматривать один лишь философский идеализм в художественной картине великого русского мастера было бы по меньшей мере несправедливо. Вспомним хотя бы, как воспринял послереволюционный буржуазный Париж уже не воспитанный малограмотным аббатом итальянский князь.

янский князь, а высокообразованный, умнейший А. И. Герцен. Кроме того, не надо забывать и о том, что намеренно тенденциозное изображение суетного и пустого бурления Парижа понадобилось поэту Гоголю не ради глумливого осмеяния «француза», а для художественного противопоставления жизни мнимой и мертвой жизни классического искусства, а также — и это главное — для выявления роли национальной русской культуры в европейской жизни XIX столетия. Отрывок «Рим» — произведение, по-гоголевски пророческое. В нем рассказано не только об утрате романтических иллюзий, но и о возрождении великих гуманистических идеалов. Разойдясь с Белинским, Гоголь во многом сошелся с Герценом, основоположником «русского социализма». И в этом не было ничего особенно странного.

Вернемся, однако, к итальянскому князю.

Разочаровавшись в Париже, князь уехал домой, в Рим. Маршрут его повторяет маршрут Гоголя. Возвращение князя описано в отрывке подробно. Чем ближе к Риму, тем больше сливается «живая итальянская природа» князя с воскресшей душой русского поэта. Возвращение князя в Рим превращается в возвращение Гоголя на свою вторую духовную родину, туда, где обретает он опять Россию Пушкина, Россию идеального, истинно прекрасного человека.

Тщательно, я сказал бы даже концептуально-тщательно (а потому и несколько схематично) описывает Гоголь Рим, увиденный молодым князем. Сходство героя и автора превращается почти в тождество. Теперь уже итальянец, исконный уроженец Рима, уподобляется русскому поэту. Гоголь пишет о князе: «...он уединился совершенно, принялся рассматривать Рим и сделался в этом отношении подобен иностранцу, который сначала бывает поражен мелочной, неблестящей его наружностью, испятнанными, темными домами, и с недоумением вопрошает, попадая из переулка в переулок: «где же огромный древний Рим?» — и потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулков начинает выдвигаться древний Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой потемневшей колонной».

Миргород превращается в Град, в Рим-город.

Уподобив открывающего для себя Рим итальянского князя иностранцу, Гоголь вместе с тем отделил его от праздных иностранных туристов, в том числе и русских, которых сам он всегда сторонился и глубоко презирал: «Но не так, как иностранец, преданный одному Титу Ливию и Тациту, бегущий мимо всего, к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма срыть весь новый город,— нет, он находил все равно прекрасным: мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могучий средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век с толпящимся новым народонаселением».

И снова взволнованный голос уже не князя, а самого автора выдает стиль, та же риторика анафористически выстроенных периодов. Но смысл ее уже прямо противоположен тому, который несли в себе гоголевские анафоры, возникавшие на страницах, посвященных Парижу. Вместо «он зевал...» настойчиво повторяется «ему нравилось...»: «Ему нравилось это чудное их слияние в одно, эти признаки людной столицы и пустыни вместе... живой крик рыбного продавца у портика, лимонадчик с воздушной, украшенной зеленью лавчонкой перед Пантеоном. Ему нравилась самая невзрачность улиц темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок на домах, идиллия среди города... Ему нравились эти беспрерывные внезапности, неожиданности, поражающие в Риме».

Гоголь не только увидел, как в Риме соприкоснулись две великие европейские идеи, языческая и христианская, и как от их взаимопроникновений родилось величайшее классическое искусство Ренессанса, но он непосредственно воспринял гуманистическую культуру итальянского Возрождения как все еще живое явление европейской действительности, прикосновение к которому жизненно необходимо русскому художнику, «ибо высоко возвышает искусство человека, придавая благородство и красоту чудную движеньям души».

Только что вернувшийся из Швейцарии в Италию Гоголь писал М. П. Балабиной, делясь с ней чувствами, охватившими его при второй встрече с Римом: «...я был так полон в это время, и мне казалось, что я в таком многолюдном обществе, что я припоминал только, чего бы не забыть, и тот же час отправился делать визиты всем своим друзьям. Был у Колисея, и мне казалось, что он меня узнал, потому что он, по своему обыкновению, был величественно мил и на этот раз особенно разговорчив. Я чувствовал, что во мне рождались такие прекрасные чувства! стало быть он со мной говорил. Потом я отправился к Петру и ко всем другим, и мне казалось, они все сделались на этот раз гораздо более со мной разговорчивы».

Мы очень многое потеряем, если увидим в этом только литературные метафоры и гоголевские преувеличения. Надо верить Гоголю. Надо верить русскому гению. А не то мы утратим самые важные ориентиры и очень многого не поймем. Во всяком случае, в столь важном для всех нас мире Гоголя.

Когда в отрывке «Рим» Гоголь принимается описывать искусство ренессансно-барочного Рима, окончательно перестаешь понимать, о ком он, собственно, говорит, о молодом итальянском князе или же о себе самом, о русском писателе, дописывающем «Мертвые души», переделывающем «Портрет» и гармонизирующем драматургическую целостность «Ревизора»: «И чем далее вглубь уходили улицы, тем чаще росли дворцы и архитектурные созданья Браманта, Борромини, Сангалло, Делапорта, Виньола, Бонаротти — и понял он, наконец, ясно, что только здесь, только в Италии, слышно присутствие архитек-

туры и строгое ее величие, как художества».

Гоголь досконально знал, понимал и ощущал Рим, как никто другой в современной ему Европе, и, вероятно, именно потому, что он был глубоко русским поэтом. Умная и хорошо понимавшая Гоголя А. О. Смирнова-Россет свидетельствует: «Николаю Васильевичу Рим, как художнику, говорил особенным языком. Это сильно чувствуется в его отрывках о «Риме». St. Beuve встретил его на пароходе, когда после смерти Иосифа Виельгорского они ехали в Марсель... St. Beuve говорил, что ни один путешественник не делал таких точных и вместе оригинальных наблюдений».

Стендаля Сент-Бёв знал. Из гоголевской заметки «Путешествие Александры Осиповны», как это убедительно показал откомментировавший заметку С. Н. Дурылин, могли бы получиться несравненные «Прогулки по Риму». Если Гоголь не стал состязаться с французским писателем, то произошло это прежде всего потому, что даже в Риме Гоголя волновали мысли не о Риме как таковом, а о России. Когда в 1837 году М. П. Погодин усиленно звал Гоголя вернуться на родину и даже, кажется, высказывал сомнение в искренности гоголевского патриотизма, Гоголь ему ответил: «Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусством и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могучие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны?»

Это было написано до опубликования в погодинском «Москвитянине» отрывка «Рим». Однако и после того, как «Рим» был опубликован, Гоголь мог бы повторить сказанное им в 1837 году Погодину.

Гоголь приехал в Рим несравненно более подготовленным к восприятию Вечного города, чем главный герой его отрывка. Некогда широко распространенное мнение, будто Гоголю «недоставало образования» — одна из типично гоголевских мистификаций, жертвой которой стал и сын прославленного русского историка А. Н. Карамзин. Именно потому, что, еще будучи в России, Гоголь вживался в искусство итальянского Возрождения, он сумел взглянуть на Рафаэля, Тициана, Микеланджело совсем свежим взглядом, заново открыть их непреходящую ценность и увидеть в высококлассических произведениях итальянского гения не только титаническую, ренессансную силу, но и несокрушимую жизненную опору, которая потребовалась ему тогда, когда он принялся пробуждать, казалось бы, мертвые российские души.

После того как молодой итальянский князь из гоголевского отрывка увидел и заново открыл для себя величавую, нетленную красоту классического Рима, ему захотелось разгадать его загадку, понять смысл и значение Вечного города в жизни современной обуржуазившейся и опошлившейся Европы. Герою «Рима» предстояло подняться до автора.

Мало-помалу итальянского князя перестала удовлетворять «жизнь в созерцаньях природы, искусств и древностей»: «Среди сей жизни почувствовал он, более нежели когда-либо, желание проникнуть поглубже историю Италии, доселе ему известную эпизодами, отрывками; без нее казалось ему неполно настоящее, и он жадно принялся за архивы, летописи и записки».

Какие именно записки и летописи прочел князь, в отрывке не сказано. Но зная, что читал и советовал читать Гоголь, представить это все-таки можно. Составленный Гоголем перечень авторов (назначение его пока не вполне ясно) начинают итальянские имена: Тирабоски, Вазари, Ланци, Гвиччардини, Муратори, Макьявелли. Все это — имена историков. Все они занимались историей культуры итальянского Возрождения. Особенно примечательно занесение в этот список имени Лодовико Антонио Муратори. С его имени начинается и итальянский раздел составленной Гоголем (видимо, в 1834 году) «Библиографии средних веков». «Из сочинений, относящихся к общей истории Италии,— писал молодой Гоголь,— более всего замечательны два сочинения Муратори «Scriptores rerum Italicorum» и «Antiquitates Italicae medii aevi», раскрывающие ясно существование городов и республик в средние века».

Трудно сказать, как и в какой мере полно познакомился двадцатилетний Гоголь с латинскими сочинениями замечательного итальянского историка-просветителя первой половины XVIII века и собранными им многочисленными документами и хрониками. Строить какие-либо предположения, когда дело касается Гоголя,— занятие в высшей мере рискованное. Как бы то ни было, не подлежит сомнению одно: основное, самое главное, то, что принципиально и выгодно отличало Лодовико Муратори не только от Вольтера, но и от большинства западноевропейских просветителей, создатель «Тараса Бульбы» осознал поразительно правильно. По свидетельству Смирновой-Россет, Гоголь как-то сказал ей: «Историю еще не писали так, чтобы живо обрисовался народ или личности. Вот один Муратори понял, как описать народ, у него одного слышится связь, весь быт его народа, его связь с землей, на которой он живет».

У молодого князя из отрывка «Рим», несомненно, было больше возможностей, чем у Гоголя, изучить собранные Муратори хроники, а также прочитать сочинения Макьявелли, Гвиччардини, Тирабоски. Читал он, кажется, много, усердно и внимательно. Во всяком случае, ему удалось довольно верно схватить суть, гуманистический смысл той яркой, весьма противоречивой отнюдь не идиллической эпохи, которую назовут потом итальянским Возрождением. Князь «был поражен величием и блеском минувшей эпохи Италии. Его изумляло такое быстрое *разнообразное развитие человека* на таком тесном углу земли, таким сильным движеньем всех сил. Он видел, как здесь *кипел человек*... целый ряд великих людей, столкнувшихся в одно и

то же время; лира, циркуль, меч и палитра; храмы, воздвигающиеся среди браней и волнений; вражда, кровавая месть, великодушные черты и кучи романтических происшествий частной жизни среди политического, общественного вихря и чудная связь между ними: такое изумляющее раскрытие всех сторон жизни политической и частной, *такое пробуждение* в столь тесном объеме *всех элементов человека*, совершавшихся в других местах только частями и на больших пространствах!» (курсив мой.— *Р. Х.)*

В сопоставлении с богатой, процветающей ренессансной Италией XV — XVI вв. экономически отсталая, захолустная Италия первой половины XIX века показалась молодому князю особенно жалкой, и это его искренне печалило. «...Неужели,— думал он,— не воскреснет никогда ее слава? Неужели нет средств возвратить минувший блеск ее?»

На некоторое время князь мысленно вернулся к пылким мечтам университетской юности, когда под влиянием революции во Франции поверил в возможность общественно-политического возрождения Италии, в идеалы Рисорджименто (в 20 — 30-е годы XIX века «это было любимой мыслью молодежи»). Однако опыт, приобретенный им в послереволюционном Париже, не пропал даром. Князь понял, «как близорука была молодежь», а главное, «как близоруки бывают политики, упрекающие народ в беспечности и лени» и на этом основании полагающие, будто они могут вершить судьбами мира, не оглядываясь на народ, на его слово и на его идеалы.

Герой отрывка и автор постепенно сближаются, и большие исторические надежды русского поэта начинают одушевлять почти уже по-европейски «омертвевшего», разуверившегося в Риме итальянского князя. «...Утешительная, величественная мысль приходила сама к нему в душу, и чуял он другим, высшим чутьем, что не умерла Италия, что слышится ее неотразимое вечное владычество над всем миром, что вечно веет над нею ее великий гений, уже в самом начале завязавший в груди ее судьбу Европы...»

Молодого князя укрепляла в таких его мыслях вовсе не одна лишь итальянская музыка, которая в XIX веке по-прежнему звучала «и на берегах Сены, Невы, Темзы, Москвы, Средиземного, Черного моря, в стенах Алжира, и на отдаленных, еще недавно диких, островах», нет, его воодушевлял теперь уже совсем по-гоголевски увиденный Вечный город, в котором малороссийский Миргород влился в ренессансно-барочный Римгород. Молодой итальянский князь думает о значении Рима для современного мира, и его мысли воспринимаются уже как мысли национального русского поэта, увидавшего на монументальном полотне Александра Иванова не «Появление Мессии» (так называл картину сам художник), а *явление Христа народу* и именно поэтому предугадавшего, что русской классической литературе предстоит величественно завершить историческое развитие европейской гуманистической культуры, зародившееся в XIV—XV веках в недрах ренессансной Италии. Князь думает: «И самое это чудное собрание отживших миров, и прелесть соединенья их с вечно цветущей природой — всё существует для того, чтобы будить мир, чтоб жителю Севера, как сквозь сон, представлялся иногда этот Юг, чтоб мечта о нем вырывала его из среды хладной жизни, преданной занятиям, очерствляющим душу,— вырывала бы его оттуда, блеснув ему нежданно уносящею вдаль перспективой, колизейскою ночью при луне, прекрасно умирающей Венецией, невидимым небесным блеском и теплыми поцелуями чудесного воздуха,— *чтобы хоть раз в жизни был он прекрасным человеком...»* (курсив мой.— *Р. Х.).*

Герой отрывка не только снова соединяется с автором, но и отходит в его тень. На первом плане высвечивается сам Гоголь, тот Гоголь, которого трагическая гибель прекрасного русского человека Пушкина надолго приковала к Риму, который обрел в классическом Риме необходимые ему нравственно-эстетические и вместе с тем актуально жизненные устои и который именно поэтому уверовал в Риме в великое историческое будущее национальной русской культуры, русского народа, всей России.

Рассказывая о тех уроках, которые извлек герой отрывка «Рим» из добросовестного изучения собранных Муратори итальянских средневековых хроник, Гоголь замечает: «Итог всего этого был тот, что он старался узнавать более и более свой народ».

В казалось бы захолустном, папском Риме пред князем и перед теперь уже неотделимым от него русским поэтом предстал народ, о котором трудно сказать, какой это народ — народ древней, прекрасной Италии или же народ великой, еще не раскрывшейся России. Герой «Рима» увидел «народ, в котором живет чувство собственного достоинства... il popolo, а не чернь», который «носит в своей природе прямые начала времен первоначальных квиритов», в котором «все как-то согласовалось с важностью Рима», «живой, не торопящийся народ, живописно и покойно расхаживающий по улицам, закинув полуплащ или набросив себе на плечо куртку, без тягостного выраженья в лицах, которое так поражало его на синих блузах и на всем народонаселении Парижа». И вместе с тем герою гоголевского отрывка открылась «стихия народа сильного, непочатого, для которого как будто бы готовилось какое-то поприще впереди».

Видя в народе уже не простонародье, не низменную чернь, а «il popolo», Гоголь как бы смотрит на народ глазами Петрарки или Микеланджело и не только потому, что он народ по-ренессансному идеализирует, но также и потому, что он как-то очень по-возрожденчески смотрит на народ сквозь призму идеального, «универсального человека», сквозь призму изобразительного искусства и поэзии. Говоря о впечатлениях обогащенного чтениями Муратори молодого князя, Гоголь пишет: «...женщины казались подобными зданьям в Италии: они или дворцы, или лачужки... Он ими наслаждался, как наслаждался в прекрасной поэме стихами, выбившимися из ряда других и насылавшими свежительную дрожь

на душу». Художественно чуткий Аполлон Григорьев не зря усмотрел в героине «Рима» Аннунциате «создание могущественной кисти мастеров древней Италии». Описанная в начале отрывка величавая, спокойная красавица превращается посреди ликующего римского карнавала в истинно прекрасную женщину из народа, в Аннунциату, увиденную глазами молодого итальянского князя, уже разглядевшего в итальянском народе «il popolo» и по-ренессансному отождествившего себя с тем самым народом, которого приобщение к подлинной красоте превратило в художника, в творца: «Всё, что рассыпалось и блистает поодиночке в красавицах мира, всё это собралось сюда вместе. Взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего недостает в груди и бюстах прочих красавиц. Пред ее густыми блистающими волосами показались бы жидкими и мутными все другие волосы. Ее руки были для того, чтобы всякого *обратить в художника*... Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить. Тут не нужно было иметь какой-нибудь особенный вкус; тут все вкусы должны были сойтись, все должны были повергнуться ниц: и верующий, и неверующий упали бы пред ней, как пред внезапным появленьем божества. Он видел, как весь народ, сколько его там ни было, загляделся на нее, как женщины выразили невольное изумленье на своих лицах, смешанное с наслажденьем, и повторяли: «О, bella!»; как *всё, что ни было, казалось, превратилось в художника и смотрело пристально на одну ее*» (курсив мой.— *Р. Х.*).

В ренессансно-барочном, классическом Риме великий русский поэт Гоголь окончательно понял, что всякое истинно национальное искусство народно, что оно порождено народом и принадлежит народу. «Полная красота,— скажет он в «Риме»,— дана для того в мир, чтобы всякий ее увидал, чтобы идею о ней сохранял вечно в своем сердце. Если бы она была просто прекрасна, а не такое верховное совершенство, она бы имела право принадлежать одному, ее бы мог он унести в пустыню, скрыть от мира. Но *красота полная должна быть видима всем*. Разве великолепный храм строит архитектор в тесном переулке? Нет, он ставит его на открытой площади, чтобы человек со всех сторон мог оглянуть его и подивиться ему» (курсив мой.— *Р. Х.*).

Однако Гоголь не был бы Гоголем, то есть национально русским классическим писателем, если бы остался на уровне ренессансной поэзии или даже изобразительного искусства классического итальянского Возрождения. В идеализированном по-ренессансному итальянском «Popolo» он разглядел не только потомков квиритов, но и вполне реальный народ современного ему живого Рима и сумел изобразить его с такой реалистической поэтичностью, до которой не поднимались ни поразивший Гёте Карло Гольдони, ни восхищавший Гоголя и в то время еще неизвестный не только в Европе, но и в самой Италии Джузеппе Джоакино Белли [1].

В поисках Аннунциаты князь добрался до Затибрия, поднялся на холм и оказался на площадке подле церкви Сан-Пьетро ин Монторио, откуда открывается прекрасный вид на весь город: «...здесь князь взглянул на Рим и остановился: пред ним в чудной сияющей панораме предстал вечный город... Боже! какой вид! Князь, объятый им, позабыл и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и всё, что ни есть на свете».

Князь позабыл об Аннунциате только потому, что, созерцая Рим, он ее по-настоящему обрел. Красавица Аннунциата — это и есть подлинный Рим, его бессмертная народная душа.

«Рим» только назван «отрывком». На самом деле это произведение, обладающее классической, ренессансной законченностью.

Вчитавшись в «Рим» и взглянув на Вечный и вечно живой город глазами уже не князя, а русского поэта, понимаешь, почему в Риме Гоголем овладела жажда гармонии и совершенства и почему именно там, работая над «Мертвыми душами» и перерабатывая «Тараса Бульбу» и «Портрет», он сумел удовлетворить эту свою жажду. О влиянии Рима, ренессансного Рима, на стиль классической прозы Гоголя писал еще в 1842 году С. П. Шевырев. Перед всеми тогдашними критиками Гоголя у него было то несомненное преимущество, что он видел Гоголя в Риме. Некоторые из его наблюдений замечательны. Но не буду умножать цитаты. Не стану также перечислять итальянские и собственно римские реалии, сохранившиеся в текстах «Мертвых душ», «Портрета» и даже «Шинели». Это делалось и, видимо, еще будет делаться. Тема эта совсем особая. Отмечу только одно соответствие, существующее между первыми строками отрывка «Рим» и заключительными строками первого тома поэмы:

«Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскрывши черные, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она целым потоком блеска: таковы очи у альбанки Аннунциаты».

«Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?.. Русь, куда же несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, посторанваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Явление Аннунциаты предвещало не только открытие вечно живого Рима — оно предвещало открытие народной России.

[1] О творческих связях Гоголя и Белли см. подробнее в «ИЛ», 1984, № 7, с. 163—165.

◆

ПРАВДА ЖИЗНИ И ПРАВДА ИСКУССТВА

В современных условиях возрастает значение сотрудничества братских социалистических стран в области культуры. Деятели культуры и искусства выступают все более сплоченно как на международной арене, так и осуществляя в художественной теории и практике принципы социалистического искусства.

Широкий резонанс в социалистических странах вызвали материалы Июньского (1983) пленума Центрального Комитета КПСС, рассмотревшего актуальные вопросы идеологической, массово-политической работы партии.

В наше время, когда идет глобальная борьба двух идеологий — социалистической и буржуазной,— культура и искусство все более превращаются в важнейшее средство борьбы за сознание широких масс, за укрепление в нем убежденности в преимуществах социалистических идеалов человеческого общежития.

Об этом свидетельствует, в частности, серия статей, опубликованных в журнале чехословацких кинематографистов «Филм а доба» («Кино и время») в конце прошлого и в нынешнем году. В этих статьях содержатся важные теоретические положения и практические выводы, цель которых — обеспечить активное участие кинематографистов в воплощении в жизнь решений XIV съезда Коммунистической партии Чехословакии, разработавшего и конкретизировавшего как ближайшие, так и долгосрочные цели культурной политики партии, направленной на строительство и совершенствование общества развитого социализма.

Размышляя о задачах, которые ставит перед собой журнал, предоставивший свои страницы как теоретикам и критикам, так и кинематографистам-практикам, его главный редактор В. Колар в статье «Несколько мыслей по поводу фестиваля чешских и словацких фильмов» (1984, № 4) отметил, что авторы опубликованных материалов, как правило, стремятся выяснить, насколько кинематографическое искусство отвечает требованиям политики партии по формированию сознания широких масс, участвующих в воплощении в жизнь планов поистине исторического характера.

И. Леви свое выступление («Итоги и перспективы», 1984, № 7) посвящает оценке достижений и нерешенных проблем в развитии художественного кинематографа Чехословакии в 1983 году, дает подробную характеристику основных тематических направлений национальной кинопродукции последних двух лет, особое внимание уделяя при этом фильмам современной тематики.

В этот период появились фильмы, авторы которых демонстрируют серьезный творческий подход к материалу, желание высказаться по важным современным проблемам.

«Правда,— отмечает И. Леви,— большинство удачных фильмов тематически связано с событиями далекого и недавнего прошлого. Без сомнения, стремление придать актуальный характер историческому сюжету является тем диалектическим звеном, которое связывает прошлое с настоящим. Единственно верный путь — в процессе современной оценки отдельных исторических лиц и событий отдавать предпочтение тому, что является наиболее динамичным и вдохновляющим для нашего времени».

Не случайно именно такие фильмы стали основными лауреатами национального кинофестиваля, проходившего в начале 1984 года в Банска Бистрице. Это, например, лента старейшего мастера чехословацкого кино Отакара Вавры «Странствия Яна Амоса» — рассказ о жизненном пути выдающегося чешского мыслителя-гуманиста и педагога XVII века Яна Амоса Коменского. О революционных событиях 1848 года повествует картина режиссера Яро-

слава Соукупа «Дыхание страха». Образ молодого Клемента Готвальда воссоздан в фильме режиссера Мартина Тяпака «Зрелая молодость». Молодой режиссер Иржи Свобода в своей картине «Крах хутора Бергхоф» рассказал о трудном, полном драматических столкновений послевоенном времени. Широкий отклик вызвали фильмы, созданные чехословацкими кинематографистами совместно с советскими мастерами кино (фильм «Песни не должны умирать» — рассказ о талантливом певце Народного театра Йозефе Навратиле, который много лет прожил в Грузии) и с индийскими кинематографистами (картина режиссера Иржи Секвенса «Жаркая осень с запахом манго» — повествование о членах группы, снимающей фильм о жизни Джавахарлала Неру).

Следует отметить, что все эти картины выпущены киностудией «Баррандов», художественное руководство которой стремится обеспечить появление картин, утверждающих общественную ценность и роль киноискусства. Именно об этом и идет речь в статье художественного руководителя киностудии И. Плахи «Художник и современность» (1984, № 6), содержащей основные положения его выступления на ежегодной творческой конференции работников киностудии.

Высказанные в статье мысли — своего рода итог размышлений ее автора о самом характере современной социалистической культуры и искусства, вытекающем из марксистско-ленинского положения о том, что искусство выполняет свое общественное назначение лишь в том случае, если активно влияет как на индивидуальное, так и на общественное сознание.

В статье утверждается один из основных принципов социалистического искусства, тесными узами связанного с развитием общества и национальной культуры, с общим подходом мастеров культуры различных социалистических стран к целям и задачам творческого труда:

«В то время как искусство Запада чаще исследует проблемы, не связанные с показом социально-политической действительности, в национальных культурах социалистических стран, наоборот, разрабатывается социальная, общественно значимая тематика. И хотя в искусстве отдельных социалистических стран может уделяться внимание разным проблемам социального, психологического, этического и другого характера — все это проблемы, проистекающие из общих основных тенденций их общественного развития».

Высказанное положение может показаться само собой разумеющимся. Но практика строительства социалистической культуры, развития социалистического искусства показывает, что есть истины хотя и бесспорные, но требующие постоянного повторения — особенно в ситуации, когда борьба за человеческое сознание становится главным фронтом борьбы между социализмом и капитализмом, когда наш идеологический противник пытается нарушить единство братских стран, «размыть» основные критерии, определяющие характер социалистического искусства. Порой это удавалось, и некоторые идейно незакаленные художники создавали произведения, вступавшие в конфликт с магистральным направлением социалистического искусства. И. Плахи указывает на то, что

«это проистекает также из не уясненных до конца отношений между художником и действительностью. Речь идет не о том, насколько конкретный художник непосредственно вовлечен в политическую или общественную деятельность, но о том, готов ли он рассматривать свое искусство как составную часть общественной практики. Художник, если он хочет быть таковым, должен уметь, сохраняя черты своей творческой индивидуальности, отражать особенности общественного развития... Речь идет о том, чтобы художник рассматривал свое творчество как часть процесса общественного развития, чувствовал личную ответственность за это развитие, а не стоял над действительностью или в стороне от нее.

Именно о последствиях подобных установок говорил в своем докладе на Июньском (1983) пленуме ЦК КПСС тов. К. У. Черненко: «Встречаемся мы и с примерами, когда автор либо теряется перед сложными проблемами, либо пытается щегольнуть «нестандартным» их толкованием, а в итоге получается искажение нашей действительности».

Важнейшей для практики социалистического искусства является, как известно, проблема правдивости художественного произведения. Речь идет о том, что в произведении искусства, в его героях читатель, зритель должны узнавать реальные проблемы своей жизни, черты современного человека, того, кто в обычной, повседневной жизни утверждает положительные идеалы, на которых базируется наше мировоззрение.

«Сейчас,— пишет И. Плахи,— можно сказать, что проблема правдивости художественного произведения тесно связана именно с объективным показом действительности, который не должен быть лишь оттиском с нее, но осмыслением ее конкретным творческим субъектом. Условием правдивости художественного произведения является личный взгляд художника, предполагающий глубокое знание им диалектических особенностей реальной действительности, его внутреннюю убежденность в закономерности и правильности исторического развития...»

С проблемой правдивости И. Плахи связывает и проблему критической направленности:

«Используя специфические средства художественной выразительности, автор указывает, что тормозит дальнейшее продвижение вперед, что изжило себя и отрицательно сказывается на общественном развитии. Как правдивость художественного произведения, так и его критическая направленность основывается на диалектическом рассмотрении проблем, конфликтов, взаимоотношений между личностью и обществом. Иными словами, критический взгляд предполагает исследование проблем в социальном контексте».

Правдивость произведения искусства подразумевает раскрытие противоречий действительности. При этом художник должен следовать принципиальной линии, предполагающей отсутствие одностороннего, предвзятого взгляда на окружающую жизнь.

И. Плахи называет ряд тем, получивших отражение в кино Чехословакии последнего периода. Хотя фильмы на современную тему занимают сейчас заметное место в ежегодной кинопродукции, некоторые их создатели встречаются с проблемами, на которые порой не могут дать ясный и правильный ответ.

«Например,— указывает И. Плахи,— одной из наиболее часто затрагиваемых нами тем, так же как в литературе и драматургии, является потребительское отношение к жизни. Чаще всего эта тема предстает с позиций осуждения пережитков прошлого или влияния западного образа жизни. Но ведь это явление может быть связано и с реальным развитием социалистической общественной системы. Расширение производства товаров широкого потребления является одним из условий удовлетворения человеческих потребностей при социализме. И потому неверно было бы осуждать стремление к материальным благам как таковое, призывая к отказу от них. Речь должна идти о том, что с этими благами необходимо обращаться разумно, что они не должны заслонять стремление к духовному совершенствованию».

Эта проблема представляется автору статьи особенно важной, поскольку многие фильмы на современную тему рассчитаны на молодежную аудиторию, которая, как пишет И. Плахи, «нередко бывает политически и нравственно незрелой».

Как современные фильмы показывают взаимоотношения между старшим и молодым поколениями? Этой теме в статье тоже уделено значительное внимание:

«Хотя сейчас имеют место некоторые черты конфликта в отношениях между отцами и детьми, связанные, например, с известной категоричностью, прямолинейностью, свойственными многим молодым, их готовностью к риску, с их неприятием лжи и т. д., нельзя все же эти черты современного молодого поколения рассматривать схематично, вне связи со временем, с историческими условиями.

Ясно, что конфликт поколений тридцать лет назад выглядел иначе в сравнении с нашим временем. Сейчас конфликт поколений чаще всего сводится к тенденции безоговорочно восхищаться молодыми, которые в своих взаимоотношениях со старшими выступают в качестве носителей общественного прогресса, а люди старшего поколения, наоборот, предстают приверженцами потребительского отношения к жизни, стерильного мышления и конформизма. Другой крайностью являются на экране ситуации, когда молодой человек стремится идти своим путем, но потом, как бы осознав невозможность этого, отказывается от поставленной цели — так сказать, «умнеет»...

Необходимо подчеркнуть, что обращение к подобным схемам является ошибочным и даже опасным. Любой конфликт, в том числе и конфликт поколений, необходимо исследовать в контексте конкретной социальной и общественной обстановки. В условиях социализма противоречия не носят антагонистического характера, более того, возникающая при их разрешении напряженность способна быть движущей силой общественного развития. Поэтому нельзя, следуя конъюнктуре, преувеличивать достоинства старшего или младшего поколений, необходимо анализировать сам процесс общественного развития, находящий выражение в конкретных делах, проблемах и поисках каждого нового поколения».

Волнует автора статьи и проблема влияния киноискусства на зрителя. Он указывает, что зрительский успех фильма обязательно связан с тем, насколько соответствуют реальности его проблематика, заложенный в нем конфликт и образы героев:

«Одно из средств привлечь внимание зрителей к идейно сложному художественному произведению — преодолеть поверхностное изображение проблем общественного развития, показав выкристаллизовавшиеся актуальные конфликты. При этом речь должна идти не об искусственном сталкивании диаметрально противоположных точек зрения и истин, но о том, чтобы в глазах зрителя конфликты представали жизненно достоверными и соответствовали реальным противоречиям общественного развития».

Конечно, сформулированные автором статьи творческие задачи, стоящие перед мастерами кино, создающими фильмы на современную тему, могут быть успешно решены лишь при условии следования марксистско-ленинским методологическим принципам в вопросах культуры и искусства при социализме.

«Смысл художественного познания действительности,— заключает И. Плахи,— в показе связи между реальной действительностью и ее отражением в лучших произведениях искусства. То, что художественное произведение открывает, делая предметом «своей» действительности, так или иначе возвращается обратно, становясь фактом общественного развития. Все дело в том, чтобы этот закономерный процесс происходил во имя позитивных социалистических идеалов».

В. ИВАНОВ

◆

Публицистика

ИРИНА МЛЕЧИНА

В ПРОТИВОБОРСТВЕ ИДЕЙ

Заметки о духовной ситуации на Западе

Вторая половина 70-х — начало 80-х годов ознаменовались резким обострением идеологической борьбы на международной арене, углублением и расширением ее фронта. В сфере культуры на центральное место сегодня выдвигаются вопросы войны и мира, заметно воздействуя на умонастроения, позиции и деятельность творческой интеллигенции. Уже миновало время, когда иные писатели кокетливо говорили о «бессилии литературы», ее неспособности влиять на события в мире. Литература, по выражению известного писателя ГДР Германа Канта, не отвечает за положение дел в мире, но она отвечает за то, что́ мы об этом положении думаем.

На протяжении всего нашего бурного столетия писательское слово неутомимо сражалось за мир, призывая к солидарности всех, кому дорого будущее планеты. Борьба за мир была и остается борьбой в защиту культуры, в защиту поэзии, если воспользоваться знаменитой формулой Бехера.

Поистине необозримым оказался бы список писателей, для которых борьба против войны была и остается важнейшей темой, сферой творческой и общественной деятельности.

В антивоенном движении, достигшем огромного размаха и ставшем влиятельной силой современности, ныне активно участвуют и те писатели, которые на пороге 60—70-х годов охотно рассуждали о «риторическом бессилии» «литературы протеста». Достаточно упомянуть международные писательские форумы последних лет в Софии, Берлине, Западном Берлине, Кёльне, Гааге, чтобы вызвать в памяти имена многочисленных литераторов разных стран, страстно выступающих за сохранение мира.

Но достаточно в то же время напомнить и о той реакции, которую вызвали эти форумы в буржуазной прессе, о той травле, которой подверглись многие их участники, чтобы во всей остроте предстала борьба, ведущаяся сегодня вокруг этих кардинальных вопросов. Характерным примером может служить кампания клеветы, обрушившаяся некоторое время назад на бывшего председателя Союза писателей ФРГ Б. Энгельмана, автора известных у нас остроразоблачительных книг: «Отель «Бильдерберг», «Большой федеральный крест за заслуги», «Спустившаяся петля» и др. Яростная реакция на активную деятельность Энгельмана по установлению контактов с социалистическими странами стала красноречивым выражением резких противоречий в культурной сфере западных стран, свидетельством развернутой на Западе кампании против политического «инакомыслия», против передовой интеллигенции и ее стремления к миру.

Проявилась в этом и другая весьма характерная тенденция. Речь идет о попытках возложить равную ответственность за нарастающую опасность ядерной войны на обе «сверхдержавы», на США и СССР. Идея «равной ответственности» охотно подхватывается буржуазной пропагандой, десятилетиями разрабатывающей тезис о «советской военной угрозе», и оказывает влияние на довольно широкие круги западной интеллигенции.

Нередко эта теория проявляется в идеях «евроцентризма», украшенного внешними признаками объективности (мол, виноваты обе стороны, а мы, европейцы,— жертвы). Такого рода идеи предстают, например, в романе западногерманского писателя Г. Цверенца «Бункер» (1983).

Перед нами очередная политическая антиутопия, действие которой отнесено на нынешний, 1984, год. К этому времени, по мысли автора, «равновесие стра-

ха» полностью нарушается. Стараясь защитить свои территории от разрушения, США и Советский Союз «сговариваются» — такова преамбула,— что театром военных действий будет Центральная Европа.

«В циничной шахматной игре супердержав», как ее представляет себе автор, оба германских государства оказываются жертвами, «атомными пешками». Правительство ФРГ во главе с канцлером скрывается в разветвленной системе бункеров. Там предоставлено место и ряду лиц, необходимых для поддержания «немецкого порядка»,— юристам, военным и т. д. Среди них бывший пресс-секретарь ведомства федерального канцлера. Ему придана функция интеллектуального придворного шута и поставщика чтива. Канцлер с упоением читает Ницше и «В стальных грозах» Юнгера. Наблюдая на своих мониторах, как распадаются в пыль города, высокопоставленные обитатели бункера испытывают уже не столько чувство страха и безнадежности, сколько своего рода страсть к гибели, обретающую форму извращенной «эстетики ужаса». Массовая гибель воспринимается как «последний и высший экстаз», за которым наступает «эра всеобщего молчания». Западногерманская критика расценила роман Цверенца как не свободную от бульварного элемента сатиру на соотечественников, кокетничающих прорицаниями катастрофы. Однако нельзя не видеть, что в нем находит выражение и распространенная идея «равной ответственности сверхдержав», обрекающих на гибель Европу.

Иные авторы склонны и вовсе толковать любое обострение международной ситуации как «происки Москвы». Это особенно характерно для чрезвычайно развившегося в 70—80-е годы жанра политического детектива, активно использующего тему «советской военной угрозы». Роман японского автора Масанори Накамура «Операция «Возвращение» начинается с эпизода, вводящего читателя прямо в «суть дела». Мирный пейзаж озера Ванзее, любимого места отдыха жителей Западного Берлина, вдруг омрачается зловещим видением: на тихой водной глади появляется целая армада оливково-зеленых амфибий, доставивших на живописное побережье... советских морских пехотинцев. В мгновение ока они захватывают штаб-квартиры американских, английских и французских союзных войск, занимают военный аэродром Темпельхоф. Это нападение, оказывается,— часть давнего плана оккупации ФРГ войсками стран Варшавского договора. «Грандиозная» мысль автора, бывшего представителя японской авиакомпании в Гамбурге, требует размаха, и поэтому дальнейшие события развертываются в еще более стремительном темпе. Но у сочинителя помимо литературных амбиций есть еще и политологические: он подсказывает заинтересованным европейским государствам, как «уцелеть» и, несмотря на «экспансионистские устремления Советов», избежать «атомного уничтожения».

Многочисленные опусы подобного рода, настойчиво внедряющие в сознание читателей мысль о «советской угрозе», выполняют четкую идеологическую функцию. Она состоит не в последнюю очередь в формировании легко усваиваемой системы политических установок, утверждении определенных морально-этических представлений и социальных ориентаций, призванных укреплять буржуазный миропорядок как единственно верный и достойный.

Важнейшей чертой общественной и духовной жизни на Западе стало сегодня углубление поляризации, усиление противоречий, выразившееся, с одной стороны, в росте неоконсервативных, реакционных настроений, с другой — в поисках демократических, альтернативных решений, в протесте против политического ретроградства, в активизации массового антивоенного движения.

Еще в первой половине 70-х годов многие западные критики заговорили о конце «эры политизации» и «интеллектуального бунта» как определяющем факторе культурной жизни. В 1974 году в Баварской академии изящных искусств в Мюнхене состоялся конгресс, пышно озаглавленный «Смена тенденций?». Суть этой формулы изложил один реакционный критик в сочинении, изданном в том же году в Штутгарте: «За короткое время фронты неожиданно переменились. Ветер подул с другой стороны. Соскальзывание мира влево, казавшееся неудержимым, кончилось. Перед консервативными силами открылись возможности, о которых они еще год назад не смели мечтать...»

За минувшее десятилетие реакционные круги приложили немало старания, чтобы вопросительный знак, еще выдававший некоторую неуверенность устроителей мюнхенского конгресса, оказался менее необходимым. На пороге 80-х годов особенно явно обнаружило себя стремление неоконсервативных сил добиться большего влияния на все сферы политической, социальной, духовной жизни Запада. Усиление кризисных процессов в политическом механизме буржуазного государства, тупиковая ситуация, в которой оказались различные формы современного буржуазного либерализма, способствовали распространению консервативных идей.

Политическим выражением этого процесса стала позиция американской администрации, взявшей курс на дальнейшее наращивание ядерных вооружений, на обострение международной напряженности. Начало нынешнего десятилетия ознаменовалось поворотом сил мирового империализма к открытой конфронтации с силами мира и социализма.

В сфере эстетической «смена тенденций» сопровождалась отказом от концепций контркультуры, включавших элементы протеста против утвердившегося буржуазного искусства, различных форм общественного и политического истеблишмента. Более того, контркультура, которая, как утверждают теоретики неоконсерватизма (например, американец Д. Белл), превратилась в «господствую-

щую культуру»; интеллигенцию, так называемый оппозиционно настроенный «новый класс», провозгласили чуть ли не «главным врагом». Причиной всех кризисных ситуаций и неразрешимых противоречий капитализма объявляются «нивелировка ценностей» и прежде всего марксистское «учение о равенстве людей». Активнейшая дискредитация оппозиционного искусства, попытки причислить к контркультуре террористические акции левых экстремистов, а заодно и сексуальную революцию, и наркоманию, и отказ от принятых в буржуазном обществе норм поведения сочетаются с моральной риторикой, пропагандой разного рода реакционных теорий, призванных способствовать укреплению «закона и порядка», служить «нравственному обоснованию» капитализма и стабилизации его традиционных «ценностей» и устоев.

В советской критике уже не раз отмечался программный антикоммунизм неоконсервативного движения, выражающийся на разных уровнях — от политического, публицистически-пропагандистского до философского. Атаки на коммунистические идеи являются непременным элементом всех неоконсервативных построений.

Ф. Й. Штраус, баварский премьер-министр и лидер ХСС, призывает положить конец «революционному перевороту» в сфере культуры ФРГ и «снова научиться вести борьбу за ценности и традиции западного мира». Высказываясь о состоянии музыкального театра и оперного искусства в ФРГ, он, по словам газеты «Франкфуртер рундшау», выступил с филиппикой «против всего, что кажется ему революционным, ненормальным, враждебным»; высказывания такого рода, пронизанные ненавистью к «левым», сплелись в «букет, пригодный для длительного ведения избирательных кампаний».

Глубочайшее неприятие контркультуры и «нового класса», интеллигенции, предстающих как воплощение «зла», стало основой для выпадов против прогрессивных деятелей культуры, оппозиционно настроенных художников, которых то обвиняют в симпатиях к терроризму, то объявляют «агентами красных». Примером может служить упоминавшаяся уже кампания против Б. Энгельмана. Неоднократно становились объектом подобных нападок и некоторые другие прогрессивные западногерманские писатели. «Поощрение терроризма» было приписано некоторым деятелям культуры Италии, в частности писателю Леонарду Шаше. Те же обвинения предъявлялись американскому писателю Э. Л. Доктороу за его роман «Рэгтайм».

Усилия реакции направлены, таким образом, на то, чтобы запугать и изолировать демократически настроенных писателей, журналистов, деятелей театра и кино, вызвать к ним ненависть среди обывателей, представить их как «врагов свободного мира», «духовных зачинщиков терроризма». Это один из важнейших аспектов деятельности неоконсерваторов в сфере культурной политики.

Прогрессивные и либеральные деятели культуры ФРГ с ужасом констатируют сегодня, что в этой стране стало возможно то, что считалось невозможным на протяжении последних полутора-двух десятилетий. Интеллектуальный спор заменяется регламентацией, оскорблениями и подозрительностью, все ощутимее становится атмосфера враждебности к интеллигенции, знакомая по 50-м годам — времени крайнего обострения конфликта между «духом и властью», символом которого явилось выступление канцлера Эрхарда, обозвавшего прогрессивных писателей «шавками» и «невеждами».

Как замечает публицист О. Нойман, все это поразительным образом напоминает печальные времена, когда передовая немецкая интеллигенция оказалась объектом ожесточенной травли со стороны нацистского режима, вызывает в памяти поджигательские геббельсовские речи о «ферментах распада» и «разложившемся искусстве», за которыми следовало сожжение книг — предвестник сожжения людей.

Все заметнее становится в последнее время грубое давление на критически мыслящих редакторов и журналистов, занятых в прессе, на телевидении и радио. По недавнему признанию еженедельника «Шпигель», от них требуют «ножниц в голове», то есть «самоцензуры», следования жестким нормам, направленным на то, чтобы выхолостить социальный смысл радио- и телепередач, лишить их политической остроты.

«Всюду в редакциях процветает запугивание.— констатирует журнал.— Неудобных тележурналистов систематически оттесняют, а непокорных заставляют умолкнуть». Важные политические проблемы, связанные с движением борцов за мир, с размещением американских ядерных ракет, с разрушением окружающей среды, слежкой за гражданами ФРГ с помощью компьютеров и другие, «отодвигаются в сторону», ибо противоречат интересам правящих кругов, нынешней боннской политике. «Ни один из крупных политических и общественных спорных вопросов последнего времени не освещался на телевидении компетентно, с надлежащей основательностью и глубиной»,—продолжает «Шпигель», подчеркивая, что это одно из выражений «изменившегося климата». Сходные признания можно найти и в крупном еженедельнике «Цайт», который говорит о «новом расцвете слежки и ханжества», о «грязной охоте» на «духовных преступников».

Одним из способов усовершенствования контроля над сферой культуры, к которому стремятся неоконсервативные круги, является дальнейшее усиление власти крупного капитала, «приватизация» культурных учреждений и системы образования. Это резко сокращает возможности контроля со стороны передовой общественности, которую оттесняют от участия в выработке общих концепций и направлений развития культурной жизни.

Внимание западногерманской прессы привлек недавно доклад некоего профес-

сора Штайнбаха, прочитанный перед членами одного гейдельбергского клуба. Это была яростная атака против всех, кого причисляют к либеральной общественности ФРГ,— шла ли речь о писателях, издателях или других деятелях культуры. Вполне в духе национал-социализма профессор говорил о том, что гитлеризм был прямым следствием «варварства версальских договоров», то есть пытался оживить дремучие, скомпрометированные историей реакционные догмы. Все чаще в публичных выступлениях правых публицистов разного толка, поддерживаемых и направляемых различными реакционными организациями и фондами, вроде «фонда Конрада Аденауэра», звучат призывы к «оздоровлению духовной жизни в ФРГ», к «обеззараживанию интеллектуальной среды».

В некоторых произведениях и в общественных дискуссиях ФРГ можно теперь встретить высказывания о необходимости возврата к утерянному «чувству национальной принадлежности». За этой зыбкой формулой четко просматриваются попытки разжечь националистические настроения, против которых так отчаянно боролась на протяжении всех послевоенных десятилетий прогрессивная западногерманская литература. В произведениях крупнейших писателей этой страны сказано немало горьких и беспощадных слов, осуждающих националистическое высокомерие, от которого недалеко до притязаний на мировое господство и идеологии реванша. Сегодня из темы «национальной идентичности» активно пытаются извлечь капитал крайне правые силы, превращая это понятие в объект пропагандистских фальсификаций, снова насаждая идеи национальной исключительности и расового превосходства. Сюда включаются и активизировавшиеся в последнее время попытки подвести некий «исторический фундамент» под идею «единства немецкой нации», «единства немецкой культуры».

Нынешние умонастроения выражаются и в том, что пора фашизма рассматривается как время «устойчивых связей и традиций», Гитлер — как национальный лидер, при котором был «порядок», как строитель дорог, хранитель таких важных ценностей, как семейный очаг. Не осмысленное полностью, не проанализированное прошлое предстает как стабильное «доброе старое время», окрашивается в ностальгически-розовые тона.

В этой ситуации из прошлого, в том числе и более отдаленного, извлекаются «образцы для подражания», модели «ненарушенной», «здоровой» жизни, с помощью которых удобно контролировать и предотвращать социальные конфликты. В качестве такого «образца» бывший президент ФРГ К. Карстенс пропагандировал кайзеровское средневековье, фигуру Генриха Льва, известного своими походами против славян. Ф. Й. Штраус предлагает в том же качестве «самого значительного короля Баварии» Людвига I, который, по его словам, ему гораздо ближе, нежели первый демократический премьер-министр Баварии К. Эйснер. Людвиг I прославился, как известно, полицейским режимом, постоянными гонениями на оппозиционеров; избранных законным путем депутатов он заточал в темницы и отдавал приказы расправляться с непокорными студентами как врагами государства.

Атака на демократическую общественность, как и лозунги «нравственного возрождения», борьбы против «распродажи ценностей», за «национальную идентичность» становится выражением воинствующего антикоммунизма, сближающего некоторые слои неоконсервативного движения в ФРГ, Италии, Франции с неофашизмом. Это проявляется не только в идее необходимости репрессий против оппозиционных социальных движений, но и на философском уровне. Многие высказывания французских «новых философов», за короткое время оказавших столь мощное влияние на состояние умов в этой стране, да и на всем Западе, поразительным образом совпадают не только с умозаключениями их ближайших европейских соседей — западногерманских «новых правых», но и с идеологией национал-социализма в более широком смысле.

В 1981 году в ФРГ вышла антология «Непреходящее наследие — альтернативы принципу равенства». Это сборник эссе, в котором участвуют теоретики неоконсерватизма из Франции, Швейцарии, Италии и ФРГ. Представители французской духовной элиты объединились здесь с «вечно вчерашними», как зовут в ФРГ реваншистов, старых и новых нацистов, тех, кто не сделал выводов из прошлого. Опасное ядро во внешне вполне респектабельной оболочке раскрывается довольно быстро. Авторы более всего озабочены аргументацией в пользу главного тезиса — об обусловленном природой неравенстве людей, определяющем иерархические порядки в обществе. В томе осуществляются попытки обосновать борьбу против эгалитаризма, скомпрометировать либерально-демократическую и социалистическую традиции. Снова подхватывается национал-социалистское расовое учение, поставленное здесь на своеобразный «наднациональный» фундамент. Временами дух национал-социализма проступает в почти незавуалированной форме — например, в рассуждениях о необходимости «снижения плодовитости» людей с «неполноценным наследственным кодом» или об «обусловленных наследственностью различиях в умственных способностях у людей разных рас». Что касается излагаемых на страницах книги мыслей об искусстве и приводимых названий картин, то они, по словам рецензента еженедельника «Цайт», могли бы быть взяты из каталога гитлеровских времен.

Почти одновременно с выходом этой книги один из ее авторов — публицист А. Молер, первый лауреат премии Аденауэра (1967),— выступил по радио с прямой поддержкой французских «новых философов». Его выступление вызвало бурю протестов, возмущенных писем, откликов в прессе, главная мысль которых

сводилась к тому, что упомянутая радиопередача содержала «прославление и героизацию коллаборационизма французских фашистов с национал-социализмом», «изложение фашистских, антидемократических взглядов с сочувствием и симпатией».

Фигура Молера, как и его деятельность, весьма характерна для сегодняшнего климата не только в ФРГ, но и в других странах Запада. В 1980 году он выпустил книгу «Осмысление прошлого», которая, вопреки названию, не только не способствовала подлинному осмыслению фашистского прошлого, но, напротив, всячески его затуманивала. Молер призывал «консервативно мыслящих немцев» не «игнорировать кампанию ревизии истории», которую начала «уже годы назад небольшая группа англосаксонских авторов». Он сочувственно пересказывает основные тезисы этих авторов, подвергающих «радикальному сомнению семизначные цифры жертв нацистских концлагерей и предлагающих цифры «уточняющие» — шестизначные.

Да, сегодня в ФРГ не модно говорить правду о фашистском прошлом. Кто вспоминает о нацистских концлагерях, тому угрожает прослыть «загрязнителями собственного гнезда», замечает еженедельник «Цайт». Всякого, кто продолжает настаивать, пытаются запугать, заставить умолкнуть.

Ссылаясь на некие данные Института современной истории в Мюнхене, Молер солидаризируется с мнением все тех же псевдоэкспертов об «отсутствии газовых камер в фашистских концлагерях». Особенно сочувственно он упоминает изыскания французского «исследователя» Фориссона, одержимого идеей, будто ни в Освенциме, ни в других лагерях уничтожения не было газовых камер, будто все это лишь плод вымысла недобросовестных клеветников. Столь же тепло Молер говорит о книге В. Штеглиха «Миф об Освенциме» (1979), название которой уже красноречиво свидетельствует о ее фальсифицирующем содержании. К тому же он авторитетно намекает, что некие содержащиеся в тайне досье разоблачают «как миф» и фашистскую бомбардировку Герники.

В упомянутом радиоэссе автор рассказывает, как он пригласил молодого француза, поклонника Гитлера, в парижскую «Синематек», на знаменитый фильм нацистских времен «Триумф воли» Лени Рифеншталь, которую так ценил фюрер. Уходя, его спутник затягивает фашистскую песню о Хорсте Весселе. На улице их окружает множество высокорослых мужчин, «похожих на платяные шкафы». Они спрашивают: «Это вы пели песню о Хорсте Весселе?» Автор уже думает, что сейчас их начнут бить, и осматривается, как бы убежать. Но «шкафы» вдруг радостно восклицают: «Пойдемте с нами — мы все воевали в немецкой форме в России!» «Так, благодаря случаю, я попал в своего рода «фашистский интернационал», ибо скоро выяснилось, что в этом кругу были не только французы из добровольческого легиона или войск СС. Там были испанцы из «Голубой дивизии», итальянцы, бельгийцы, голландцы, скандинавы из дивизии «Викинг». И там же были молодые люди, которым не довелось воевать и которые теперь жадно вслушивались в рассказы старших. Были здесь и девицы, которым нравились эти мужчины и этот «тон товарищества»... Все они демонстрировали свою солидарность с теми, кто, подобно им, добровольно сражался за то же дело. Они говорили: «Нам нечего стыдиться — мы не совершили никаких преступлений».

Так сплетаются в единый «клубок змей» недобитые фашисты и их пособники из стран Западной Европы, сегодняшние «консервативно мыслящие немцы» и их французские коллеги, военные преступники и неонацисты образца 80-х годов.

Именно на этом фоне пышно вздымается так называемая «гитлеровская волна», усиленно культивируемая средствами массовой информации. Несколько лет подряд западногерманский еженедельник «Штерн» скупал документы, именуемые «дневниками Гитлера», чтобы весной минувшего года возвестить о «сенсации века». Но она оказалась большим обманом — бывший корреспондент журнала Хайдеман приобрел шестьдесят «томов» за девять с лишним миллионов марок, а написал эти «тома» штутгартский торговец К. Куйау, занимавшийся продажей фальшивых документов, униформ и прочих военизированных реалий третьего рейха. Для семейного альбома он сфотографировался в эсэсовской форме со свастикой на рукаве — и в годовщину скандала «Штерн» презентует своим читателям эту фотографию.

В те же дни, когда была начата публикация мнимых дневников, другой иллюстрированный еженедельник — «Квик», боясь отстать от конкурента, срочно дал в номер свой материал о фюрере: «Гитлер и его секретарша». Читателей извещали, что в следующем номере их ожидает «сокровище, которое до сих пор не было открыто»: «Тайные записи» Кристы Шрёдер (секретарши Гитлера в те времена) о периоде с 1933 по 1945 год. Чтобы заполучить это «сокровище», в больницу, где тогда лежала Шрёдер, была послана Генриетта фон Ширах, бывшая супруга рейхсюгендфюрера Бальдура фон Шираха, каковая и предложила больной пятьдесят тысяч марок наличными и перевод из палаты третьего класса в первый. Та отказалась. И все же «Квик» опубликовал вторую серию материалов о «приватной стороне жизни Гитлера» с многочисленными цитатами из Шрёдер. Третья серия не появилась, несмотря на анонс: «Ближайшие сотрудники Гитлера рассказывают...» Шрёдер через адвоката заявила, что в пору работы с фюрером записей не вела и не сообщала «Квику» того, что цитируется от ее имени. «Квик» об этом ни словом не обмолвился, зато на титульном листе было провозглашено о другом событии: «Великий блеф в «Штерне».

Характерны здесь не только проявившиеся в очередной раз нравы буржуаз-

ной прессы, но прежде всего сознательное насаждение и сознательная эксплуатация интереса к фигуре и деяниям фашистского фюрера.

Западногерманский писатель Эрих Куби, автор разоблачительных антифашистских и антимилитаристских произведений, откликнулся на историю с «дневниками» книгой «Дело «Штерна» и его последствия», где он говорит об активном пособничестве «пронацистским тенденциям» в ФРГ, о «гитлеромании». Одну из причин «процветания друзей нацизма» Куби видит в «политическом невежестве», насаждаемом в стране, а также в наступлении «стратегов рынка», которые преподносят народу Гитлера «как деликатес».

Сегодня пользуются особой популярностью псевдонаучные «труды», авторы которых в лупу рассматривают каждый жест и каждое слово Гитлера. Бесчисленные сочинения «гитлеровской волны» сосредоточены на изучении его интимных привычек, сексуальной жизни и т. д.

Обращает на себя внимание поразительный антиисторизм многих сочинений, претендующих на научное освещение самого феномена фашизма. Например, в книге А. Плака «Сколько еще раз будет побежден Гитлер» (1982) история фюрера, фашизма и второй мировой войны рассматривается преимущественно под углом зрения модифицированных фрейдистских концепций. В ней утверждается, в частности, что Гитлер пришел к власти потому, что немцы — «нравственно замученный, фрустрированный народ». Подавление влечений повинно в том, что немцы приняли Гитлера с распростертыми объятиями, и лишь «сексуальная свобода» избавит их от этого проклятия.

Впрочем, наживаются на этом интересе не только в ФРГ. Фюрер становится героем фильмов, романов, пьес, мюзиклов, эстрадных представлений и в других странах. Еще прежде чем «Штерн» вовлекся в скандальную историю с фальшивыми дневниками, американский автор Ричард Хьюго опубликовал роман «Дневники Гитлера», в котором некоему американскому издателю за десять миллионов долларов предлагают записи фюрера, содержащие как интимные детали его жизни, так и некие политические разоблачения, способные полностью нарушить стабильность послевоенного мира. Почти одновременно подхватил ту же тему и известный английский автор Лен Дейтон в романе «Подлежит ликвидации», где детективное действие также разворачивается вокруг обнаружившихся спустя три с половиной десятилетия после войны дневников фашистского фюрера. В 1982 году в Дюссельдорфе состоялась премьера спектакля о Гитлере по пьесе английского автора Тейлора «Хорошо ли, плохо ли» (в английском оригинале ее название — «Good»)— до этого пьеса успешно «делала кассу» в Лондоне. Большим успехом пользуется вновь демонстрируемый на западных экранах американский фильм 60-х годов «Продюсеры» (первоначальное немецкое название «Весна для Гитлера»), в котором третий рейх предстает как «танцевальное обозрение»: в ритме пулеметной очереди маршируют молодчики в эсэсовских мундирах, танцуют, выстраиваясь в форме свастики, гёрлз из «Союза германских девушек», а на переднем плане поет аранжированную под блюз нацистскую песню сам фюрер.

Культ Гитлера, общее поправение, рост неонацизма — явления одного порядка. Чем как не подобным изменением духовного и политического климата можно объяснить своеобразный ренессанс Ницше или такой факт культурной жизни ФРГ, как присуждение в 1982 году одной из самых почетных литературных премий Эрнсту Юнгеру, писателю крайне консервативных, антидемократических убеждений, чье раннее творчество сыграло немалую роль в духовной мобилизации целых поколений немцев на осуществление захватнических планов фашизма.

Нельзя не упомянуть в этом ряду и сознательно культивируемый интерес к псевдоискусству третьего рейха, попытки реабилитировать скомпрометированные историей имена. Некоторое время назад западногерманская пресса возвестила о предстоящем возвращении из-за океана шести с лишним тысяч картин, рисунков, скульптур, созданных нацистскими художниками и конфискованных в 1945 году американцами. Сейчас эта коллекция «произведений немецкого искусства с фронтов второй мировой войны», украшающая пентагоновские кабинеты и помещения конгресса, должна быть возвращена ФРГ как «жест дружбы и доверия». Как отмечает автор одной из статей, «некоторым любителям в США будет грустно расстаться с этими картинами», принадлежащими кисти «избранных художников» из нацистского «подразделения изобразительного искусства», находившегося под особым покровительством Гитлера и подчинявшегося непосредственно верховному командованию вермахта. В своих произведениях они «увековечили» сцены «фронтовой жизни» в полном соответствии с «художественным вкусом их высшего полководца». Характерно, что значительная часть этих «творений» демонстрировалась в США на передвижных выставках, в университетах и музеях. Как ни жаль нынешним владельцам расстаться с нацистскими картинами, они готовы принести жертву, чтобы молодежь ФРГ увидела «документы немецкой истории».

Говоря о духовной ситуации на Западе, необходимо выделить другую ее важную черту, которую влиятельный западногерманский философ Юрген Хабермас охарактеризовал как «тотальную критику разума». Духом мистицизма и иррационализма проникнут, например, упоминавшийся уже коллективный труд «новых правых» «Непреходящее наследие». Множество иррационалистических течений и концепций современности сливается в отрицании Просвещения и просветительской традиции.

Огромным спросом пользуются сегодня в ФРГ антропософские идеи Рудольфа Штайнера. Двадцать тысяч граждан ФРГ с членскими билетами «антропософского общества» составляют лишь ядро этого движения; на каждого из членов, по подсчетам журнала «Шпигель», приходится по крайней мере пятьдесят «симпатизантов». Впрочем, отнюдь не все поклонники этого учения полностью осведомлены об «оккультно-фосфоресцирующем творчестве» его основоположника. Мистические основы штайнеровского учения несомненны — идеи антропософии противятся рационализму и традициям разума. Именно потому они столь привлекательны сегодня для многих на Западе. Характерно, что немалое число ученых в сфере естественных наук, не говоря уже о философах, склонны разделять эти концепции и стремятся принадлежать к «первому классу антропософского общества», к его высшей ступени, объединяющей «надежно спиритуализованных» членов. Сторонников Штайнера можно найти и в научных учреждениях, и в университетах, и среди художников и писателей. В круг антропософских построений активно вовлекается имя Гёте, провозглашаемого отцом этого учения. Из Гёте метафизически извлекается и спекулятивно обыгрывается «мифическое», «магическое», размышления о «восточной мудрости». В тигеле штайнеровского учения сплавились элементы алхимии и христианской мистики, масонства, индуизма и буддизма, древние мифы и выводы идеалистической философии. Не удивительно, что сегодня, на фоне общего кризиса буржуазного сознания, подобные идеи некритически, более того, восторженно воспринимаются весьма широкими слоями западной интеллигенции.

Полнейшее разочарование в том пути, каким пошла западная цивилизация, сомнения в целесообразности научно-технических открытий, вообще глубокая подозрительность по отношению к разуму, науке, объявляемой чуть ли не первопричиной сегодняшних тупиковых ситуаций, страх перед ядерной катастрофой — все это нередко заставляет честных художников умолкнуть в отчаянии, других — обратиться к поискам решений за пределами рационалистического толкования и осмысления мира. Такое ощущение предстоящего крушения, настроение «конца времен» побудило, например, известного западногерманского писателя В. Хильдесхаймера публично заявить в апреле 1984 года, что отныне он перестает писать, сраженный отчаянием, в какое привело его нынешнее состояние мира и угроза катастрофы. Зная этого писателя, зная его творчество, проникнутое гуманистическими идеями, можно точно сказать, что это не кокетство, не спекулятивное желание привлечь к себе внимание — это искреннее чувство разочарования, приведшее к отказу от творчества.

Многих представителей западной интеллигенции ощущение «конца времен» уводит от реальных проблем, от социального протеста, толкает в объятия мистицизма, заставляет искать избавления в «спиритуалистской энергии». Взрослые образованные люди целыми группами едут на конгрессы шаманов, заполняют любой зал, где выступает какой-нибудь невежественный лекарь, собирают травы в полнолуние, прочесывают древние мифы в поисках утерянного знания, погружаются в транс, чтобы в глубинах подсознания отыскать ответы, которые им никто не может дать.

Духовный кризис, одним из проявлений которого становится подобная переориентация на иррационалистические взгляды, на тотальный уход в мистику, порождает и стремление искать спасения в различных формах восточной религии, разнообразных культах, у беззастенчивых гуру, обирающих своих последователей. «Измученные страхом перед бомбой, опасностью экологической катастрофы, мы испытываем глубокое сомнение... в нашей жизненной мудрости. С романтической тоской смотрим мы на чужие культуры, на счастливых дикарей, изучаем индийскую мудрость и интеллектуально прозябаем,— пишет западногерманский публицист и критик Грайнер.— Мы следим с настойчивым любопытством за энтологическими отчетами, словно от шаманов к нам придет спасение. Критика европейского наследия, рационализма и Просвещения идет к новому кульминационному пункту».

На фоне усиления подобных настроений, как и общего роста неоконсервативных тенденций, обращает на себя внимание дальнейшая экспансия массовой культуры. Несмотря на программный антидемократизм, неоконсервативное движение вынуждено опираться преимущественно на массовую культуру как в силу присущих ей охранительных, апологетических по отношению к буржуазному строю идей, так и потому, что мало кто из крупных художников современности поставил себя на службу неоконсервативной идеологии. Стремление навязать обществу ненависть к «контркультуре», к «левому бунту», к политизированной атмосфере 60-х — все это очень удобно для распространения «успокаивающего» или «будирующего» искусства с его ностальгическими или эскепистскими мотивами, религиозно-мистическими или «звездными» сюжетами.

Особый расцвет массовой культуры связан и с другими факторами общественно-политического и духовного развития западного общества. Одним из таких факторов является дальнейшая концентрация и монополизация издательского дела, а также резкое сокращение государственных субсидий на культурные нужды едва ли не во всех развитых капиталистических странах. Сегодня в западногерманской прессе можно все чаще встретить материалы под заголовками типа: «Конец литературы?», «Прощай, читающая нация?» и т. д. Автор одной из таких статей, озабоченный антидемократическими мерами по сокращению расходов на культурные нужды (в результате которых иные издательства не выдерживают конкуренции и становятся банкро-

тами, закрываются библиотеки, прекращают свое существование экспериментальные и критические книжные серии), символически завершает свои невеселые размышления словами Жан-Поля: «Без книг испорченный мир стал бы потерянным миром»...

Сокращение ассигнований заставляет издателей ориентироваться лишь на потенциальные бестселлеры, на книжную продукцию, способную гарантировать кассовый успех. Необходимо отметить в этой связи и активизировавшуюся в 70—80-е годы культурную экспансию США, имеющую весьма пагубные последствия для развития литературы и искусства многих стран, ибо в результате возрастает доля массовой культуры в их общем культурном балансе. Можно было бы привести в этой связи высказывания западной прессы о «засилии больших голливудских кинокомпаний и их филиалов», против которых «европейское кино уже давно оказалось на потерянном посту»: все то, что не соответствует стереотипам индустрии развлечений, «беспощадно оттесняется на обочину».

Особенно заметно, что сегодня, на фоне повышения авторитета реализма в мировой литературе, массовая литература активно эксплуатирует его завоевания, используя в определенных идеологических целях его важнейшие черты, прежде всего интерес к острым общественным проблемам. Но какие ценности предлагаются при этом читателю в качестве жизненных ориентиров? Здесь возникает целый спектр вариантов, которые, однако, обнаруживают удивительное внутреннее единство, проистекающее из устойчивости приданной им функции — утверждения буржуазного образа жизни, закрепления его норм в сознании читателя как единственно достойных, внедрения конформистского мышления, внушения страха перед коммунизмом, компрометации социалистических идей.

Одним из факторов последнего десятилетия, оказывающих влияние на идеологическую борьбу и в то же время являющихся ее выражением, стало формирование новых, альтернативных массовых движений протеста, включающих, наряду с борцами за мир, также «экологистов», «зеленых», участников движения за равноправие женщин и другие группы, выступающие с гражданскими инициативами разного рода. Вместе с этими антиимпериалистическими силами нередко выступает передовая интеллигенция Запада. Многие новые течения 80-х годов играют позитивную роль, стимулируя общественные дискуссии о войне и мире, побуждая размышлять об условиях и качестве жизни, о перспективах, о достойном человека существовании. Эти движения становятся весьма значительной силой, противостоящей буржуазным государственным установлениям и в определенной мере политическому курсу реакционных кругов.

Пока новые течения мало отражены в художественной литературе, но есть все основания предполагать, что, как это произошло со студенческим движением 60-х, через какое-то время они мощно повлияют на литературный процесс. Важно увидеть существенные черты этих движений, выражающих стремление широких слоев населения капиталистических стран к лучшему будущему, невозможному без сохранения экологических ресурсов, к миру без войн, к человечным отношениям. Нельзя не отметить, однако, и противоречивость выражаемых ими взглядов. Наряду с общим антиимпериалистическим, антибуржуазным пафосом обращает на себя внимание, в частности, и характерный для некоторых групп антицивилизаторский настрой, основанный на отрицании технического прогресса и нередко ведущий к иррационалистским взглядам и представлениям. В качестве средств достижения более человечного миропорядка предлагаются, например, разные формы коллективных «медитаций», восточных религиозных культов. При этом абстрактный коллективистский пафос парадоксальным образом сочетается порой с крайним индивидуализмом и нарциссизмом. Для некоторых альтернативных течений и групп характерны националистические настроения — явление новое, ибо национализм до сих пор был монополией крайне правых. Эти настроения обретают порой модную «зеленую» окраску: лозунг «назад к природе» сочетается с идеей возврата к семейному очагу, родному уголку земли, к почвенническим представлениям, весьма напоминающим пресловутые идеи «крови и почвы».

Все это касается, однако, лишь отдельных групп — в целом же и движение «экологистов», и женское и особенно антиядерное движение вносят положительные импульсы, становятся серьезным фактором антиимпериалистической борьбы. На этой платформе происходит и их сближение с коммунистами, возглавляющими борьбу прогрессивных сил капиталистических стран против реакции, милитаризма, против опасной политики конфронтации с социализмом, за мир и лучшее будущее.

Так, коммунисты ФРГ ведут большую работу по консолидации сил, выступающих в защиту мира и демократической культуры. Они стремятся к интенсивному и плодотворному диалогу с теми группами и слоями населения, которые протестуют против «поворота вправо» и его последствий в разных сферах жизни. Особую роль играет участие передовых деятелей культуры в движении борцов за мир. К таким давним и активным участникам этого движения, как писатели Ф. И. Дегенхардт, Д. Зюверкрюп, П. Шютт, режиссер М. фон Тротта, присоединились профессор В. Йенс, известный композитор Х. В. Хенце, певица Х. Шварц и другие. «Движение за мир немыслимо без культуры — именно в борьбе за мир многие художники видят возможность выразить свои представления, продемонстрировать свои художественные средства»; в то же время «многие люди через участие в движении за мир находят непосредственный доступ к

культуре...» — к такому выводу пришли участники «круглого стола деятелей культуры», материалы которого были опубликованы газетой «Унзере цайт». Наряду с этим изданием западногерманских коммунистов большой вклад в развитие демократической прогрессивной культуры вносят культурно-политические журналы «Кюрбискерн» и «Тенденцен».

Процесс поляризации в социально-политической, культурной, духовной сферах западных стран становится все очевиднее. В условиях возросшей международной напряженности, нарастающей угрозы ядерной войны столкновение мировоззрений, противоборство прогрессивных и реакционных сил ощутимо характеризует духовную жизнь в капиталистических странах, наглядно подтверждая актуальность ленинской идеи о борьбе двух культур в каждой национальной культуре.

Идеологическая борьба сегодня все более явственно охватывает новые регионы и новые социальные слои, приобретая подлинно глобальный масштаб. Она развертывается вокруг ключевых проблем современности, волнующих все человечество: войны и мира, сохранения жизни на земле и дальнейшего развития человеческой цивилизации. Несомненно, что именно эти важнейшие особенности определяют весь комплекс идеологических процессов современности.

Перед лицом нарастающей военной угрозы активизируются силы сопротивления реакции. Это находит свое выражение в росте антивоенного движения в капиталистических странах, в котором принимают участие прогрессивные деятели культуры, в растущем сопротивлении политике агрессии в разных регионах мира. Важный фактор борьбы против атомной угрозы — консолидация всех сил, участвующих в пропаганде идей мира, свободы, лучшего будущего, противостоящих реакционному курсу империалистических кругов.

АНДРАШ ШИМОНФИ

СОЛДАТЫ СТРАНЫ-ПАРОМА

Фрагменты книги

«Страна-Паром, страна-Паром, страна-Паром: даже в самых своих фантастических снах она только и делала, что сновала, как паром, от одного берега к другому — с Востока на Запад, но охотнее всего в обратном направлении...» — писал в 1905 году, размышляя о судьбах родины, крупнейший венгерский поэт XX столетия Эндре Ади. «Страна-Паром» — символический образ старой Венгрии, страны, по разумению некоторых идеологов прошлого, фатально осужденной безвольно шествовать в фарватере политики сильных мира сего и вынужденной приспосабливаться, дабы выжить, сохранить свое национальное лицо. Природу этого «фатализма» Ади видел четко: она состояла в том, что страной правили «несколько фараонов, которые заставляют миллионы людей влачить мерзкое, скотское существование».

«Солдаты страны-Парома» — так озаглавил свой исторический роман Андраш Шимонфи, один из ярких прозаиков, принадлежащих к поколению «сорокалетних». В Венгерской Народной Республике он уже дважды удостаивался литературной премии имени Аттилы Йожефа. Знаком с ним и советский читатель по публикациям в «Иностранной литературе» и в других изданиях.

В книге «Солдаты страны-Парома» нет вымышленных героев и событий. Она целиком построена на дневниковых записях, воспоминаниях, частных письмах, исторических документах и исследованиях (как отечественных, так и зарубежных, в том числе советских). Стержневую, связующую роль играет биографическая «семейная» линия, выстроенная на дневниках и воспоминаниях, записанных со слов отца писателя — Э. Шимонфи-Тота, в прошлом офицера генштаба хортистской армии, примкнувшего к движению Сопротивления, а также на воспоминаниях его жены, товарищей по службе. Круг действующих здесь лиц является по преимуществу сколком той части офицерского состава старой венгерской армии, которая не только была настроена оппозиционно по отношению к Хорти и его прогерманской политике, но и нередко переходила к практическим действиям.

В книге нашла отражение деятельность антифашистской коалиции Венгерского фронта, объединившего представителей коммунистов, социал-демократов, партии мелких сельских хозяев, а также других сил движения Сопротивления.

Время действия — осень 1944 года, один из наиболее драматических периодов венгерской истории. Советская Армия бьет фашистов уже на территории Венгрии. Хортистский режим в агонии. Терпит крах вся его шовинистическая, мародерская политика, цель которой не опоздать к дележу добычи, обещанной Гитлером, а позднее, когда стало ясно, что авантюристическая игра проиграна, выйти из нее с помощью реакционных сил Запада, сохранив господство имущих. Последняя, уже предсмертная, конвульсия хортистского режима — установление кровавой диктатуры Салаши. В это суровое время лучшие люди венгерской нации продолжают сражаться с фашизмом, делают все, чтобы приблизить час Освобождения.

В публикуемых коротких отрывках из книги А. Шимонфи «Солдаты страны-Парома» — эпизоды этой борьбы, достоверные свидетельства высокого чувства патриотического долга, стойкости духа, готовности к самопожертвованию во имя родины, ее лучшего будущего.

В. ЕЛЬЦОВ-ВАСИЛЬЕВ

— Так что же ты хочешь узнать?

— Все.

— Это все равно что ничего. А что ты уже знаешь?

— Увы, почти ничего.

— Ну что ж, спрашивай!

В комнате отца множество реликвий, напоминающих о его тридцатилетней педагогической деятельности: учебники, словари, ящички с картотекой — бывало, мы целыми неделями питались одним печеньем, чтобы накопить нужное количество картонных коробок — групповые фотографии, безделушки, напоминающие о выпускных экзаменах... Не знаю, слышали ли ученики о его военном прошлом, об участии в Сопротивлении, даже не знаю, вызывал ли он у них интерес. О себе он рассказывать не любил даже своим близ-

© Simonffy András, 1981.

ким. Нас, детей, учил вникать в суть проблем, но при этом сам старался не оказывать влияния на формирование нашего мнения. Отец никогда не пытался «передать по наследству» свои обиды. Мне сейчас столько же, сколько было ему, когда я появился на свет. И вот теперь я прошу его помочь мне разобраться в ходе исторического процесса, понять мир, в который я «попал» в 1941 году.

Все мы наследуем недостатки наших отцов. У нашего поколения были и родители, и воспитатели, и учителя, и секретари, и начальники, и закадычные друзья, и советчики, причем как хорошие, так и дурные, но вот Отцы как будто спрятались от нас.

— Как ты стал профессиональным военным? Как попал в «Людовику»? [1]

ОТЕЦ НАЧИНАЕТ РАССКАЗ: Когда в 1929 году в Дебрецене я сдал экзамены на аттестат зрелости, то еще и не подозревал, что уже в октябре того же года проснусь в стенах «Людовики». Вообще-то я собирался стать инженером, решил поступать в будапештский Политехнический университет [2]. Как ты знаешь, твой дед Гергей Тот был сыном состоятельного крестьянина из-под города Дебрецена, получившим высшее образование. Он избрал для себя карьеру инженера-путейца. Меня тоже привлекала эта профессия, хотя отца своего я едва помнил: он умер, когда мне исполнилось три года. Фамилия же, которая сейчас значится на твоих книгах, принадлежит брату твоей бабки. Он усыновил меня, когда я остался сиротой. Из Политехнического университета вскоре пришло извещение о том, что меня приняли. Тогда мы с твоей бабушкой сели обмозговать это дело и быстро подсчитали: на ту маленькую пенсию, которую она получала от МАВ [3] за умершего мужа, вряд ли можно еще выкроить деньги на оплату моей учебы в Пеште. На отчима я тоже не мог рассчитывать — он был мелким почтовым служащим, получавшим весьма скромную зарплату. Тогда-то мне и посоветовали подать заявление в офицерское училище, там обучение было бесплатным. После его окончания я мог поступить в университет: в то время в армии молодых офицеров, желающих продолжать учебу, откомандировывали в университеты, чтобы подготовить из них военных инженеров. Имея же диплом инженера, я мог потом и уйти из армии.

Вот так все и вышло. На втором курсе я перешел в Военно-техническое училище имени Яноша Бойаи, располагавшееся в Хювешвельди, на отделение инженеров-связистов. Таким образом, в «Людовике» я, к счастью, проучился всего один год. Там мы занимались метанием деревянных гранат, штыковыми атаками, а в училище изучали телефонные устройства, радиопередатчики, телеграфные аппараты, азбуку Морзе.

— А как ты очутился в Генеральном штабе?

— После производства в лейтенанты меня направили в дебреценский батальон связи, о чем я и мечтал. Я просился домой, в Дебрецен. Вначале некоторое время я служил там командиром взвода, потом — командиром роты. Вскоре в штабе батальона узнали, что я хорошо излагаю свои мысли, аккуратно веду записи, содержу в порядке архив, и меня назначили офицером-адъютантом при командире батальона. Через четыре года действительной службы, когда у меня вновь появилась возможность поступить в Политехнический университет, я вдруг получил извещение, в котором мне предписывалось прибыть в Будапешт для сдачи вступительных экзаменов в академию Генерального штаба. Мне тогда исполнилось двадцать шесть, и такая возможность, разумеется, льстила моему самолюбию.

— Об этой академии после войны рассказывали много разного.

— Не вдаваясь в подробности, замечу — это было элитарное учебное заведение с великим множеством преподавателей. Убеждений они придерживались самых разных, но все были в высшей степени интеллигентные, высокообразованные люди, имеющие огромный опыт; специалистов такого уровня, разумеется, не было ни в «Людовике», ни в батальоне связи, где я проходил службу. Лекции нам читали известные юристы-либералы и демократически настроенные лекторы-интеллектуалы; преподаватели-офицеры придерживались, конечно, более консервативных взглядов, но и их нельзя было назвать глупцами.

Помню, к примеру, лекции военного историка Золтана Жедени, который в 1938 году, то есть во время Первого венского соглашения (раздел Чехословакии), говорил нам об историческом праве чехов и словаков на независимое существование. В то же самое время я заметил: из среды преподавателей и слушателей академии в ячейки нилашистов [1] вступают самые ординарные, наименее талантливые серые людишки-карьеристы, которые пытаются опередить остальных, компенсируя отсутствие человеческих и профессиональных достоинств своим узколобым ура-патриотизмом. Это положение имело и обратную силу: чем образованнее был человек — слушатель или преподаватель,— чем более широким кругозором он обладал, тем дальше он старался держаться от «эпохальных» идей нилашизма.

Я тоже старался не заразиться этими идеями. Разумеется, это не означало, что в душе я уже был коммунистом или симпатизировал коммунистам, ведь о социализме я тогда знал лишь то, что слышал от преподавателей академии, прямо скажем, маловато. Правда, я обладал повышенной чувствительностью в отношении нерешенных социальных проблем нашего общества, ведь я хорошо помнил батраков с Халаптаньи, голытьбу из Вамошперчи, нищету крестьян-бедняков, занимавшихся

[1] Так называлось офицерское училище в довоенной Венгрии. *(Прим. перев.)*

[2] В Венгрии все вузы с пятилетним обучением по традиции называются университетами.

[3] Венгерские государственные железные дороги, государственное предприятие в старой Венгрии.

[1] Венгерские фашисты, члены венгерской нацистской партии.

поденщиной, видел их полное гражданское бесправие. Этого было вполне достаточно, чтобы за мной в академии закрепилась слава «левого экстремиста», что в переводе на современный политический лексикон означало «левизну», характерную для правых социал-демократов.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что в хортистской академии Генерального штаба воспитывали социал-демократов?

— Конечно, нет. Но не забывай: эту же академию Генерального штаба на год раньше меня закончили четверо таких замечательных людей, как Дьёрдь Палфи, Лайош Шойом, Кальман Реваи и Иштван Белезнаи. Причем Белезнаи был связистом и тоже учился в хювёшвельдском Военно-техническом училище на курс старше меня. Этих людей вскоре после Освобождения произвели в генералы, они сыграли важную роль в создании Венгерской народной армии.

Разумеется, не такие незаурядные люди определяли лицо академии. Я мог бы привести множество примеров самого противоречивого свойства, учились в академии подлецы-двурушники, эгоисты, думавшие только о своем благополучии, занимавшиеся самоубаюкиванием, духовно нищие люди. Но о них не стоит говорить...

ОТЕЦ ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗ: ...Немецкая оккупация 19 марта[1] пришлась на воскресенье, в тот день мы готовились торжественно отметить пятидесятилетие со дня смерти Лайоша Кошута. По личному приказу Гитлера немцы на территории Венгрии продвинулись только до Тисы. В Дебрецене высадилась рота немецких парашютистов-эсэсовцев, которые захватили городской аэродром и оттуда никуда не выходили. Вероятно, перед ними была поставлена задача — прервать воздушное сообщение, а значит, и связь, осуществлявшуюся воздушным путем. Об оккупации узнали из сообщений радио, приказа мы никакого не получили, поэтому не знали, как нам действовать. Вместо торжественной церемонии я поднял своих людей по тревоге — человек тридцать моих подчиненных, разных по званию штабных работников. Мы вооружились, выставили пулемет у ворот, еще несколько в окнах. И стали ждать оккупантов.

Но никто так и не появился.

— Что же за приказ ты отдал своим подчиненным?

— Я сказал им что-то вроде: «Настоящие венгры знают, в кого им стрелять...» Все мои подчиненные понимали, как им следовало поступить в создавшейся ситуации, но к нам немцы так и не пришли. А те парашютисты-эсэсовцы довольно долго носа не высовывали с аэродрома, мы их в первый раз увидели значительно позже, когда через весь город они, горланя песни, направились в надьердейскую баню.

В тех условиях мой приказ был совершенно правилен, мы ведь не получили никаких указаний о том, что личный состав должен оставаться в казармах, а немецких солдат следует встречать как друзей и т. д. Нам и в голову тогда прийти не могло, что все это делается с ведома и согласия регента.

Вскоре оказалось, что мы совершенно отрезаны от Будапешта. Правда, мы догадывались, что немцы не скоро снимут эту блокаду просто-напросто у них не было достаточно сил для того, чтобы полностью оккупировать территорию Венгрии. Именно поэтому появилась возможность организовать немцам более серьезное сопротивление, чем просто местную стычку, этакую казарменную баталию... Я положил перед командиром нашего корпуса Ференцем Фаркашем служебный устав. И зачитал ему: «...в случае, если то или иное подразделение оказывается отрезанным от основных сил и вышестоящего командования, старший по званию офицер данного подразделения должен взять командование на себя и действовать под свою ответственность так, как это диктуют конкретные условия...»

Я представил себе дело так: в нашем распоряжении два оставшихся к востоку от Тисы корпуса во главе с командирами в Дебрецене — Ференцем Фаркашем и в Коложваре — Лайошем Верешем, а также расположенные на территории между Ужгородом — Мукачево — Берегово, то есть в предгорьях Карпат, хорошо подготовленные и неплохо вооруженные, готовые к бою (позднее во главе их встал Миклош Дальноки) части 1-й венгерской армии. Иначе говоря — двести тысяч солдат В Будапеште накануне немецкой оккупации ломали головы над тем, кого назначить новым командующим этой армии. Потом на этот пост был определен генерал-полковник Надаи. Из-за немецкой блокады по линии Тисы ему, правда, так и не удалось добраться до вверенной ему армии. Таким образом, в создавшейся ситуации либо Ференцу Фаркашу, либо Лайошу Верешу (после того, как они решили бы между собой, кто из них старший в данном звании) следовало взять на себя командование 1-й армией (причем это было не только их правом, но и обязанностью). А командующий армией должен был оказать сопротивление немцам, ведь приказ начальника Генерального штаба из-за немецкой блокады к нему так и не прибыл. Ясно?

Следовательно, был момент, когда в полном соответствии с уставом, присягой, данной регенту как верховному главнокомандующему, любой из этих двух военачальников был просто обязан организовать вооруженное сопротивление гитлеровцам, то есть с востока атаковать их части, пытающиеся оккупировать Венгрию. Поскольку же на северо-восточных склонах Карпат также находились венгерские войска, которые вели с частями Красной Армии бои местного значения, через них можно было бы попытаться установить контакт и вступить в переговоры с командованием ведущих наступление советских подразделений.

На первый взгляд все это звучит довольно неправдоподобно. Но я утверждаю: в тот момент такая возможность существовала, все это приблизило бы день окончания войны. И возможность эта была весьма реальной, ведь мое предложение

[1] 19 марта 1944 г.

поначалу показалось заманчивым и Ференцу Фаркашу. По тогдашним меркам Фаркаш считался офицером либеральных взглядов и трезво мыслящим человеком; он понимал: немцы проиграли войну, и война на их стороне может привести Венгрию к катастрофе. Он знал о том, что вчера вместо празднования юбилея я привел своих людей в состояние боевой готовности и раздал им оружие. И он одобрил мои действия. Однако следующий шаг для него был сопряжен с огромной ответственностью.

Позже Ференц Фаркаш все-таки пошел на попятную, видно испугавшись ответственности. Он решил, что генерал-лейтенант Лайош Вереш, командир коложварского корпуса, старше его в данном звании и поэтому именно он должен принимать решение о действиях 1-й венгерской армии.

Однако я не сдавался. Я убедил Ференца Фаркаша установить связь с Лайошем Верешем. И сам встал к телеграфному аппарату. Через два часа удалось организовать встречу двух генералов на полпути между позициями двух корпусов, в Надьвараде. Я поехал туда вместе с Ференцем Фаркашем. Вереш тоже привез с собой офицера Генерального штаба. Мы очень быстро обо всем договорились. Лайош Вереш взялся за решение этой задачи; Ференцу Фаркашу он поручил взять командование над «бесхозными» частями 1-й венгерской армии, сам же стал готовить еще неразвернутые части, расположенные в Затисье и Трансильвании, среди них 1-ю ньередьхазскую кавалерийскую бригаду, чтобы повернуть их против немцев.

Возвратившись в Дебрецен, Ференц Фаркаш тут же связался с генералом Белой Ленделом, командиром одной из дивизий, находившейся в предгорьях Карпат, которому он, как своему подчиненному, отдал приказ в течение 24 часов ввиду возможных чрезвычайных событий собрать всех старших офицеров частей, входящих в 1-ю армию.

Словом, конкретное распоряжение было отдано. Однако план наш все-таки не был осуществлен, он просто-напросто бесславно провалился, и поэтому о нем впоследствии никто не вспоминал. А вот почему так получилось, стоит поразмыслить и тридцать лет спустя после этих событий.

В случае удачи задуманной нами операции могла бы возникнуть принципиально новая стратегическая ситуация: группа армий под командованием генерала Петрова, наносившая основной удар на территории Польши, могла без всяких боев прорваться через Карпаты и к концу марта или началу апреля 1944 года подойти вплотную к Будапешту. Поэтому-то я и берусь утверждать: осуществление нашего плана имело бы далеко идущие последствия с точки зрения дальнейшего хода военных действий...

ОТЕЦ ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗ: Итак, в жизни нашего штаба корпуса решающий момент наступил 13 октября 1944 года. Мы еще не знали о подписанном 11 октября временном перемирии, однако догадывались, что стоим на пороге важнейших событий. Мы получили телеграмму начальника Генерального штаба венгерской армии Яноша Вёрёша, в которой нам предписывалось направиться в Будапешт, чтобы принять командование над воинскими частями столичного гарнизона...

Мы стали так называемой приближенной гвардией, члены которой не только были готовы, но и давно вынашивали планы перехода страны на сторону антигитлеровской коалиции или во всяком случае полного разрыва с немцами. По приказу Я. Вёрёша мы двинулись в столицу на рассвете 16 октября, большинство направилось на север от Тисы по еще безопасному мишкольцскому шоссе, я же — через Дебрецен; там по-прежнему жила моя мать, и я хотел заскочить к ней, повидать ее, а потом продолжить свой путь (остальные из-за близости линии фронта поехали на север: советские войска были уже в районе Тисы, под Сольноком). Однако арестовали меня не русские, а немцы в городе Дебрецене. Меня отвели в немецкую комендатуру Дебрецена, словно пленного офицера. Дело в том, что уже прозвучало первое обращение Хорти к венгерскому народу, о котором, находясь в дороге, я, разумеется, ничего не знал. Немецкая городская комендатура располагалась в это время в здании главного почтамта на Рыночной улице. В качестве визитной карточки этого заведения у ее ворот на деревьях висели два трупа, на груди у них были прикреплены таблички с надписью: «ПАРТИЗАН».

Правда, через несколько часов меня выпустили, ведь выяснилось, что мы «по-прежнему союзники», но уже под водительством Салаши...

Я смог продолжать свой путь в Будапешт. Но с какими чувствами!

В Пеште в нас, конечно, уже не было никакой нужды, более того... Как уже говорилось, тогда я получил первую «пощечину». Ференц Фаркаш, с которым мы 19 марта анализировали возможности перехода на сторону русских, сразу же предложил свои услуги Салаши, и через несколько дней этот «вождь» нилашистского движения назначил Фаркаша уполномоченным правительства по эвакуации...

Персонал нашего штаба корпуса, оставшийся без войск и без дела, перевели в монастырь Сион, расположенный на горе Шаш, а оттуда — в помещение института спорта.

Вероятно, будет не лишним повторить: мы знали, для чего нас вызывают в Будапешт, но

1) нас неожиданно — в день «переселения», когда в столицу прибыли только офицеры корпуса,— застигло обращение регента;

2) мы совершенно не были подготовлены к нилашистскому путчу; я отчетливо сознавал, что подобное развитие событий разъединит, практически уничтожит «особо доверенную гвардию».

Теперь представь себе: утром я отправился в дорогу в качестве одного из тех офицеров, которые должны были возглавить выход Венгрии из войны на стороне Германии; после обеда несколько часов провел в плену у немцев, на рассвете следующего дня прибываю в столицу во вре-

мя смуты, когда власть переходит к сторонникам Салаши: ясно было, что за один день все мои планы и надежды развеялись, как дым. Что можно было предпринять в данной ситуации?

ИЗ ДНЕВНИКА ШИМОНФИ-ТОТА (1946): В 1944 году я был начальником оперативного отдела штаба IV корпуса. Начальником штаба корпуса в то время служил полковник Генерального штаба Дюла Вёрёш, младший брат генерала Яноша Вёрёша. Именно Янош Вёрёш, готовясь перейти на сторону советских войск, решил перевести штаб нашего корпуса в Будапешт, чтобы создать в столице комендатуру из преданных ему и регенту людей. 13 октября мы находились в Маромошсигете, где и получили приказ о передислокации в Будапешт, но мы прибыли в столицу уже тогда, когда путч Салаши увенчался успехом. Начальника штаба корпуса Дюлу Вёрёша арестовали. Меня же назначили командиром штаба одной совершенно разбитой, обескровленной дивизии, она находилась где-то между Дунаем и Тисой; таким образом я считал естественным, что личность моя вызывала доверие у людей, которые были недовольны Салаши и его приспешниками.

Поэтому я не очень-то удивился, когда спустя пять дней после путча меня разыскал майор Генерального штаба Арпад Лайтош и прямо спросил, готов ли я участвовать в нелегальном движении Сопротивления. Я утвердительно ответил на его вопрос, и на следующий день он свел меня с Иштваном Тотом, капитаном Генерального штаба, который являлся связником между организацией военных и так называемым Венгерским фронтом. В первых числах ноября меня информировали о том, что на заранее подготовленном для этой цели самолете представители Венгерского фронта намереваются перелететь в Москву, а поскольку существует настоятельная необходимость в том, чтобы вместе с гражданскими политиками туда направился бы представитель военных, мне предложили взяться за выполнение этой задачи. И я согласился.

2 ноября советские войска были уже в Шарокшаре. Начиная с 3 ноября на одной нелегальной квартире на улице Кечкемети я неоднократно встречался с ведущими политиками действующего в подполье Венгерского фронта. У большинства из нас было ощущение, что освобождение Будапешта — вопрос ближайших дней. Дата нашего вылета была назначена на 13 ноября, но 11 ноября я выразил пожелание перед полетом встретиться с руководителем нашего движения. Было условлено, что 12 ноября меня отведут к Золтану Тильди, между собой активные участники Сопротивления называли его подпольной кличкой — «дядя Лайош». Где находится его убежище, никто не знал, прятал его священник, чей приход располагался на улице Пожони. Рано утром в воскресенье 12 ноября у меня была назначена с ним встреча, после чего мы по одному, тщательно соблюдая правила конспирации, окольными путями осторожно добрались до реального училища, расположенного на улице Изабеллы, где в квартире на третьем этаже скрывался Золтан Тильди. Он подробно объяснил мне цель нашей поездки в Москву. Прежде всего мы должны были довести до сведения советского правительства, что салашистский путч, несмотря на легкость, с которой он внешне увенчался успехом, отнюдь не отражает надежды и чаяния венгерского народа, что организован он был под диктовку немецких фашистов, большинство же венгерского народа поддерживает Венгерский фронт, в состав которого входят три антифашистские партии: партия мелких хозяев, социал-демократическая партия и коммунистическая партия. Необходимо также информировать советское руководство о настроениях, царящих в данное время в венгерской армии, о движении Сопротивления, которое получает широкое распространение в среде офицерства. Следует также договориться с советскими руководителями, что после освобождения Будапешта Советский Союз признает действующий сейчас нелегально Венгерский фронт в качестве законного правительства Венгрии, единственного выразителя политической воли венгерских народных масс.

Все, о чем говорил мне в воскресенье 12 ноября Золтан Тильди, было сформулировано в виде меморандума Венгерского фронта, который и должна была отвезти в Москву наша делегация для передачи советским компетентным лицам.

Во время нашего разговора зашла речь и о технической стороне нашего перелета, и тогда Иштван Тот сообщил, что пилот, намеченный для выполнения этой задачи, угонит самолет с секешфехерварского аэродрома, а члены делегации на следующий день, в понедельник 13 ноября, в восемь часов утра должны встретиться под Шиофоком, на пустоши Гамаса, на которой оборудован аэродром подскока. В заключение нашего разговора Золтан Тильди, ссылаясь на ситуацию на фронтах и важнейшую роль, которую играют военные в движении Сопротивления, попросил меня возглавить делегацию, состоящую из представителей трех демократических партий. Мы попрощались, и Золтан Тильди заверил меня, что письменные полномочия и переведенный на русский язык текст меморандума Венгерского фронта, подписанные руководителями трех партий, входящих в Венгерский фронт, привезут на аэродром члены нашей делегации.

Почему я, профессиональный военный, не имеющий отношения к деятельности политических партий (более того — левых партий), стал заниматься нелегальной деятельностью? Откуда взялись у меня смелость и решительность, что послужило толчком к решению перелететь в расположение Красной Армии, которую в то время официальная пропаганда называла не иначе как «азиатской ордой»? А ведь я еще рискнул взять в подобное «путешествие» свою молодую жену! А как же присяга, устав, чувство долга, как их понимали тогдашние офицеры, и т. д. и т. п.

Я уже говорил: твоя бабка воспитывала меня на скромную пенсию мужа-железнодорожника и доход от небольшого виноградника, находящегося неподалеку от Деб-

рецена. Военным я тоже стал случайно, вследствие чего, будучи на армейской службе, я все-таки как бы оставался «вне» ее, так и не превратившись в настоящего солдата. В последние мирные годы, которые я провел в Дебрецене, мне удалось использовать эту возможность жить «вне армии»,— к примеру, будучи лейтенантом и старшим лейтенантом, я окончил юридический факультет Дебреценского университета, изучал языки. Именно занятия юриспруденцией обострили во мне чувствительность к социальным проблемам... Кроме того, на хуторе Халапе я имел возможность наблюдать жизнь местных батраков, нищету, в которой влачили жалкое существование местные крестьяне, лесорубы.

Первые два десятилетия после окончания империалистической войны 1914—1918 гг. Венгрию называли страной «трех миллионов нищих»: ужасной была бедность народных масс в нашей наполовину феодальной, наполовину капиталистической стране...

КАРОЙ ВАРКОНИ: ЗАЯВЛЕНИЕ (1959). Я, Карой Варкони, прапорщик запаса, в октябре 1944 года нес воинскую службу в качестве чертежника-картографа в подразделении, которым командовал капитан Генерального штаба Эрнё Шимонфи-Тот. В последние дни октября 1944 года я получил от Эрнё Шимонфи-Тота приказ: объехать к первому ноября линию обороны Будапешта и нанести на карту (масштаб 1: 25000) все обнаруженные опорные пункты обороны, укрепления, точно указать количество и тип огнестрельного оружия, степень готовности и силу оборонительных позиций, месторасположение противотанковых рвов и заграждений. Я выполнил приказ и нанес на 12 карт (все они были подробными картами Будапешта) вышеуказанные данные и передал их в начале ноября Шимонфи, а спустя три дня узнал, что он, захватив с собой изготовленные мною карты, перешел на сторону советских войск.

Могу засвидетельствовать, что за время нашей совместной службы Э. Шимонфи-Тот неоднократно как в личных беседах, так и на офицерских собраниях (и даже в присутствии высокопоставленных немецких офицеров) высказывался против ведущейся войны, называя ее грабительской, бессмысленной, безумной, а для нашего народа — катастрофической. В подтверждение своих слов упомяну об одном случае незадолго до его перехода на сторону Красной Армии. В штабе, который размещался тогда в Будапеште, в женском интернате Нотр-Дам де Сион (ныне студенческое общежитие имени Яноша Араня) в присутствии немецких офицеров группы связи Шимонфи заявил во всеуслышание, что наша страна идет к гибели. Забыв о всякой осторожности, он называл немцев «бездарными подлецами», которые используют территорию Венгрии как арену тяжелых арьергардных боев. Это могут подтвердить офицеры запаса Антал Надьбаканаи и доктор Дьёрдь Тороцкаи.

МЕМОРАНДУМ ВЕНГЕРСКОГО ФРОНТА (20 сентября 1944 года)

1) Венгерская армия прекращает военные действия против вооруженных сил союзных держав и разоружает все немецкие части, находящиеся на территории Венгрии.

2) Венгрия объявляет войну Германии.

3) Одновременно с этим Венгрия направляет делегации в страны антигитлеровской коалиции для заключения перемирия и выработки условий совместной вооруженной борьбы с Германией.

4) Будет образовано коалиционное правительство из представителей политических партий, входящих в Венгерский фронт, и армии.

ОТЕЦ РАССКАЗЫВАЕТ: Приведенная выше цитата взята из первого меморандума Венгерского фронта, направленного правительству. Аналогичным по сути был и тот меморандум, который мне показал Золтан Тильди 12 октября. Поскольку он не назвал мне имен политиков, которые должны были вместе со мной перелететь через линию фронта, а просто сказал, что это будут «лица, правомочные подписать документ, или их уполномоченные», я подумал, что он не назвал мне имена этих людей из соображений конспирации. И это было вполне понятно. Но с течением времени, по мере того как стало всплывать все больше имен тех, кто потенциально мог оказаться моими попутчиками в том полете, я все больше задумывался над этим вопросом. У меня, правда, нет никаких фактов, никаких доказательств, подтверждающих, что все происходило именно так, как я себе сейчас представляю, но истина должна быть где-то здесь, поблизости. Мне кажется, Тильди не назвал мне имен политиков по той простой причине, что сам не знал их, а вовсе не из соображений конспирации... В то время он не мог знать имена политиков (правда, список, очевидно, был составлен заранее) хотя бы потому, что список этот претерпевал постоянные изменения. Поскольку одним из подписавших меморандум был молодой журналист Дюла Каллаи, я прямо спросил у Тильди, не он ли полетит со мной, на что Тильди ответил уклончиво, можно сказать смущенно: мол, окончательное решение на этот счет пока не принято («Может быть, и он»).

— А как вы собирались увести самолет из-под носа у немцев?

ОТЕЦ РАССКАЗЫВАЕТ: Кстати, одна интересная деталь: под моим личным наблюдением в казарме в качестве своего рода заложника находился сын генерала Яноша Вёрёша — капитан Тибор Вёрёш, слушатель военной академии. На меня возложили обязанность лично присматривать за ним... Ну, я тогда и подумал, семь бед — один ответ: раз уж Тибор так испугался, что решился обратиться с просьбой помочь ему бежать, то проще всего взять его с собой в Москву и там передать его в руки его матушки. Ведь сам Янош Вёрёш уже находился там вместе со своей женой. Конечно, я не стал посвящать Тибора в детали, а просто сказал, чтобы в четыре часа утра он был готов. (Получалось, что я даже и приказа не нарушил: Тибор оставался под моим «личным наблюдением».)

На рассвете, в четыре часа утра, мы двинулись в путь на легковой автомашине. В автомобиле мы сидели впятером: шофер Йожеф Рамаз, твоя мама, Йошка Тёрёк, Тибо Вёрёш и я. Как только мы приехали в

Секешфехервар, мы первым делом отвезли Тёрёка на аэродром. Там он сел в специально приготовленный для этой цели самолет и через какое-то время взлетел.

Мы же на автомобиле приблизительно в половине восьмого утра прибыли на вспомогательный аэродром, расположенный на пустоши Гамаса.

Наш отлет был сопряжен с большими трудностями. Во-первых, часа полтора томительного ожидания, во время которого я совершал на автомобиле небольшие «челночные поездки» километров на пять то в одну, то в другую сторону, пытаясь отыскать — и все безрезультатно — машину с политическими деятелями. При этом я старался не привлекать к себе излишнего внимания. Политики давным-давно должны были бы приехать. И вот в небе мы заметили двухмоторный «фокке-вульф», приближающийся со стороны Секешфехервара; самолет сделал несколько кругов над поляной, пошел на посадку и приземлился в полукилометре от нас. Автомобиля же с политиками нет как нет. Что делать? Прямо через поле мы мчимся на автомобиле к севшему «фокке-вульфу». Приземление его, разумеется, привлекло внимание немецких солдат, расположившихся на обочине, а также людей, двигавшихся по шоссе на автомашинах. Многие остановились и стали махать руками. Пропеллеры самолета продолжали вращаться, а Йошка Тёрёк, высунув голову из кабины, тут же оценил ситуацию и заявил, что больше не будет ждать ни минуты, и если мы сейчас же не заберемся в самолет, то он один полетит к русским, так как на секешфехерварском аэродроме, вероятно, уже поняли, что он угнал самолет.

В этот миг у меня в голове мелькнула мысль о том, что при мне нет никаких документов или письменных полномочий, меморандум ведь находился у политиков, в другой машине, правда текст его я знал почти наизусть. После вчерашнего разговора с Тильди я был прекрасно осведомлен обо всем, поэтому решил, что смогу принести больше пользы, перелетев через линию фронта, не дожидаясь политиков. Из двух зол выбирают меньшее: лучше лететь без них, чем совсем не лететь. В считанные минуты мы сели в самолет, и он тут же взлетел...

Когда через несколько месяцев я снова попал в Будапешт, то выяснилось, что автомобиль с политиками из города выехал в назначенный час, в машине находился Иштван Тот; однако в пути автомобиль сломался, поэтому в условное место они прибыли только после одиннадцати.

В самолете помимо Йошки Тёрёка мы увидели штурмана — старшего лейтенанта Миклоша Дайку, который с гордостью поведал нам, что, получив в воскресенье из Будапешта сигнал о вылете, он замазал на самолете опознавательные знаки и теперь мы спокойно можем перелететь линию фронта.

Нашей целью было попасть в штаб командующего 2-м Украинским фронтом, поэтому я попросил взять курс на Сегед, там мы благополучно приземлились. Оттуда комендант города переправил нас на автомашинах в Кечкемет, где о нашем прибытии сразу же телеграфировали в Москву. Через несколько часов был получен ответ, смысл которого состоял в том, чтобы нас отправили как можно скорее. Из Кечкемета через Сегед и Мако нас повезли в небольшую деревню под Арадом-Кувин, где находился штаб Малиновского. На следующий день из-за пурги нас доставили на автомобилях в Бухарест, откуда на четырехмоторном «дугласе» мы вылетели в Москву. Вследствие обнаруженных неисправностей нам пришлось совершить вынужденную посадку в Киеве, и лишь на другой день около полудня мы прибыли в Москву.

В тот же день нас принял генерал-полковник Кузнецов, заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии; ему я подробно рассказал о цели нашего прилета...

...Как раз в эти дни делегация, возглавляемая Габором Фараго и посланная в Москву для выработки условий перемирия (она не смогла уже вернуться домой из-за салашистского путча), была преобразована в Московский венгерский комитет. К этому моменту к ней присоединился также и Бела Миклош, бывший командующий 1-й венгерской армией, а позднее и Янош Вёрёш, который перешел на сторону русских в районе Кечкемета, переодевшись в сутану монаха.

Совершенно случайно меня отвезли к Фараго и его коллегам именно 23 ноября, они тогда размещались в бывшей резиденции японского военного атташе. Я смог сообщить им тут же о существовании Венгерского фронта, о его готовности сформировать правительство, о положении в Будапеште, равно как и о процессе формирования все более набирающей силу организации военного движения Сопротивления, руководство которого как раз за день до этого, как нам стало известно уже позднее, 22 ноября попало в руки Салаши и его приспешников...

А в Будапеште тем временем уже сколачивали виселицы...

РАССКАЗ ПАЛА АЛМАШИ: Утром 22 ноября 1944 года я встретился в кафе «Цепной мост» с Енё Надем. Мы обсуждали возможность использовать в наших целях подразделение VIII корпуса, которым командовал Бела Лендел и который размещался в окрестностях городка Сентендре. Тогда же Енё Надь поручил мне позвонить по телефону Иштвану Белезнаи и приказать ему быть вечером на квартире Вильмоша Тартшаи. Не спрашивая, зачем Пиште Белезнаи надо туда прибыть, я про себя подумал, что его, вероятно, прочат в командиры одного из секторов во время восстания как талантливого, энергичного молодого офицера. В это время шли подготовительные работы к восстанию, а также окончательное увязывание вопросов, связанных с поездкой отправляющейся на следующий день делегации к Малиновскому с письмом Эндре Байчи-Жилинского, адресованным Молотову. Правда, все это предположения, ведь каждый из нас занимался определенным кругом вопросов и во все детали посвящен не был.

Поскольку я хорошо знал Белезнаи, именно я должен был пригласить его на совещание. Я позвонил ему из казармы и сказал: «Пишта, приходи в половине седьмого на

квартиру в доме № 29 по проспекту Андраши, это приказ!» Он пообещал явиться.

Опоздав на несколько минут, я около половины седьмого был на указанном месте. К моему удивлению, дверь подъезда оказалась закрытой, но привратница после моего стука тут же открыла ее, а когда я вошел внутрь, вновь захлопнула у меня за спиной. У меня тогда мелькнула мысль, что я попал в ловушку, поэтому я машинально расстегнул кобуру своего пистолета. Был я в мундире, и на боку у меня висел мой «фроммер». Пароль наш был построен на слове «кино». Я позвонил в дверь, рассчитывая, что меня сейчас спросят о «билете в кино» или что-то в этом роде (теперь уже я точно не помню), но вместо этого услышал: «Кто там?» Затем дверь резко распахнулась, и я оказался лицом к лицу с жандармским ротмистром и еще двумя жандармами, в руках у которых были автоматы. Я решил выхватить пистолет и пристрелить хотя бы одного из них, но понял, что, пока я буду доставать свой «фроммер», они меня изрешетят. Все это промелькнуло у меня в мозгу за какие-то доли секунды.

В подобных ситуациях человек сразу же начинает размышлять над тем, кто же предатель. Поначалу наши подозрения пали на людей, которых вскоре освободили из маргитской тюрьмы. К их числу принадлежит и Пишта Белезнаи.

Однако сразу замечу: его быстрое освобождение имело две причины. Во-первых, за него очень энергично вступился Енё Майор (в то время — командующий бронетанковыми частями), во-вторых, Белезнаи понятия не имел, зачем я приглашаю его в квартиру на проспекте Андраши, где я собирался завербовать его. В июне 1945 года, когда мы встретились с ним в министерстве обороны, он бросился ко мне на шею со словами: «Слава богу, ты тоже уцелел». И стал благодарить меня за то, что он тогда не попал под трибунал салашистов...

РАССКАЗЫВАЕТ ПАЛ АЛМАШИ: Итак, мы очутились в тюрьме на проспекте Маргит, где уже находились задержанные нилашистами сподвижники Хорти, среди них был и командующий II венгерской армией Лайош Вереш Дальноки.

Я сидел в коридоре вместе с Пиштой Белезнаи под охраной жандармов. Внутри следователи-фашисты избивали Енё Надя и Миклоша Макаи. Беднягу Вильмоша Тартшаи также зверски отделали. У меня в архиве есть одно свидетельское показание, до сих пор не знаю, кто это написал: «Землистое, коричневое лицо генерала Яноша Киша побои изменили до неузнаваемости. Только в одном из его глаз светилась добрая, как бы извиняющаяся улыбка, второй — совершенно заплыл после удара. Эти сцены я вспоминаю как кошмарный сон. Генерал-лейтенант, держась за стену, заковылял из комнаты. Идти нормально он не мог: ноги его были изуродованы, руки Енё Надя распухли, стали огромными. Рот — не посередине лица, а сбоку, его удлиняла кровавая полоса. Но горящие глаза этого маленького, хрупкого мужчины твердо и смело смотрели на истязателей. Вильмоша Тартшаи я бы не узнал. Этот красивый, благородной внешности человек постарел на добрых два десятка лет. Волосы у него были растрепаны, подбородок зарос щетиной, взгляд блуждал, глаза слезились. Я знал, в чем дело: палачи подводили ток высокого напряжения к его глазным яблокам. Тартшаи хотел было закурить сигарету, но из изуродованных, распухших пальцев выпадали спички». (Строки эти принадлежат перу известного писателя Ивана Болдижара.—*Прим. А. Шимонфи.)*

О ВИЛЬМОШЕ ТАРТШАИ: Вильмош Тартшаи учился в одной из будапештских гимназий... После экзаменов на аттестат зрелости Вильмош Тартшаи около года провел на военной службе в полку кечкеметских гусар. После развала Австро-Венгрии и революции юноша решил поступить на юридический факультет университета. Однако Вильмош Тартшаи по-прежнему испытывает тягу к военной службе, и вот, проучившись год в университете, молодой человек поступает в «Людовику», а в 1925 году он уже гусарский лейтенант.

После нескольких лет службы в гарнизонах Комарно и Секешфехервара Вильмош Тартшаи с 1930 года начал учиться в академии Генерального штаба. Благодаря незаурядным способностям он не только блестяще занимался в академии, но одновременно закончил два первых курса на экономическом факультете университета, получив удостоверение «дипломированного экономиста»». Окончив академию в 1933 году, Тартшаи продолжил службу в различных частях, а в 1938 году стал начальником материального снабжения, офицером Генерального штаба I корпуса.

Вильмош Тартшаи считал, что венгерская армия должна была защищать только интересы венгерского народа, оставаться независимой от немцев, чтобы Гитлер не увлек за собой в пропасть и нашу страну. Среди офицеров Генерального штаба Тартшаи в отличие от большинства, которое рассуждало «по-немецки», думал «чисто по-венгерски».

С начала второй мировой войны он с большой симпатией следил за героической борьбой польского народа против фашистских захватчиков, открыто осуждал гитлеровскую агрессию в отношении Польши, принимал участие в той теплой встрече, которая была оказана полякам на венгерской земле, где они нашли надежное убежище. Тартшаи сам неоднократно бывал в одном из лагерей польских беженцев, привозил туда одежду и еду для лишившихся родины людей. Помогал он и тем, кто хотел перейти границу, чтобы участвовать в дальнейшей борьбе....

Все чаще Вильмош Тартшаи не соглашался с решениями своих командиров и руководством страны. Он, в частности, открыто осуждал принятие антиеврейских законов и в конце концов решил подать в отставку, ссылаясь на тяжелую болезнь легких, которую перенес в детстве...

Итак, Вильмош Тартшаи в расцвете своих духовных и физических сил ушел в отставку... Оставив армию, он пытался найти себе какую-нибудь гражданскую специальность: опять поступил на экономический факультет университета и успешно закончил его...

Когда после 19 марта 1944 года, то есть после оккупации Венгрии немцами, в стране усилились антифашистские и антинемецкие настроения, когда был создан Венгерский фронт, способный объединить всех людей, готовых к борьбе с гитлеровцами и салашистами, Вильмош Тартшаи в соответствии со своим мировоззрением присоединился к одной из групп патриотически настроенных офицеров...

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА ПАЛА АЛМАШИ: Пришло время, когда и нас вызвали к следователю Радо. В комнате были: устройство для пыток электротоком, другие орудия пыток. Радо громовым голосом начал орать на нас: «Два отпрыска славных фамилий, вошедших в историю Венгрии, как вы могли очутиться в этой коммунистическо-жидовской банде!..» И тому подобное. Орал он действительно весьма театрально, вероятно для того, чтобы подготовить нас к последующему.

Но в этот момент в комнату вошел жандарм и от волнения прямо в нашем присутствии доложил Радо, что каких-то два офицера открыли стрельбу по жандармам, оставленным в засаде на проспекте Андраши в доме № 29, и что один жандарм тяжело ранен, также тяжело ранены и эти два офицера... Это были Янош Мешик и граф Пал Сеченьи, которые, как потом выяснилось, героически погибли в этой схватке. О том, что там произошло, наиболее достоверно поведал участник движения Сопротивления Шандор Шаркёзи.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ШАНДОРА ШАРКЁЗИ: Во второй половине дня 22 ноября первым на квартиру пришел Ласло Гараи — дальний родственник Тартшаи,— он приехал из провинции, его пригласили на случай, если потребуется специалист по радиотехнике, когда начнутся бои. Во время разговора Гараи заявил, что считает необходимым организовать охрану (и защиту) келенфёльдской электростанции и узла связи. Только так можно обеспечить снабжение электроэнергией. Во время нашего разговора раздался звонок, Тартшаи попросил меня пройти в другую комнату к его теще (которая была теткой Ласло Гараи) и там подождать.

На звонок жена Вильмоша Тартшаи пошла открывать. В дверях стоял высокий незнакомый мужчина в гражданском костюме, мы позднее узнали его имя, это был жандармский фельдфебель Пожгаи. «Я ищу Эмануэля Хедьи»,— сказал он.

— Сожалею, но мой свекор умер еще летом,— ответила женщина.

Незнакомец тем временем почти силой проник в квартиру. Едва дверь захлопнулась, как снова раздался звонок. Когда жена Тартшаи открыла дверь, на пороге стоял еще один мужчина, как потом выяснилось — следователь, жандармский капитан Эндре Радо, он сразу же спросил, где находится Вильмош Тартшаи. После этого в квартиру проникло еще 8—10 человек. Мать и жену Тартшаи закрыли в одной комнате, а самого Тартшаи стали избивать.

Около половины седьмого вечера стали прибывать приглашенные на встречу. Одного за другим их ставили в столовой лицом к стене, а во второй маленькой комнате по очереди допрашивали. Ночью все политические руководители, прежде всего Эндре Байчи Жилинский и весь штаб военной организации, также были арестованы... Аресты продолжались и на следующий день...

Несколько зенитчиков, участвовавших в движении Сопротивления, вспоминают об этих событиях: 22 ноября, во второй половине дня, Миклош Шомоди приказал Лайошу Халашу (строительный рабочий, командир отделения, с 1932 года член Коммунистической партии Венгрии, генерал-майор Венгерской народной армии, командир Венгерской рабочей гвардии.— *Прим. Андраша Шимонфи*) вечером отправиться на квартиру Вильмоша Тартшаи, предварительно поговорив с Дьёрдем Палфи. Лайош Халаш встретился с Палфи и рассказал тому, какое задание получил от Миклоша Шомоди.

На всякий случай у Лайоша Халаша были документы на имя капитана-зенитчика, но риск все-таки был большим.

— Если ты раскроешь рот при проверке, все сразу поймут, что ты не офицер,— проговорил Дьёрдь Палфи, а потом продолжил:— Для этой роли лучше подошел бы какой-нибудь офицер запаса.

— Что вы скажете о лейтенанте запаса Яноше Мешике?— спросил Лайош Халаш.

— Годится. Я уже слышал о нем,— ответил Дьёрдь Палфи,— а ты думаешь, он согласится взяться за это дело?

После этого разговора Лайош Халаш вернулся на свою батарею и поговорил с лейтенантом запаса Мешиком, который изъявил готовность пойти на квартиру Вильмоша Тартшаи в назначенный час. Он задал только один вопрос:

— Могу я взять Мальчугана?— Это была кличка Пала Сеченьи.

— Пожалуйста, — ответил Лайош Халаш,— мы ничего не имеем против.

...Пока Сеченьи готовился к поездке, лейтенант Мешик попробовал позвонить по телефону на квартиру Тартшаи. Трубку подняли, но никто долгое время ничего не говорил. На следующий звонок он получил какой-то невразумительный ответ. Офицеры быстро закончили сборы, в кобурах у них были заряженные пистолеты.

Прапорщик Сеченьи зашел в барак, разбудил сержанта Эрнё Пелешкеи и приказал ему одеться. Тот спросонья еле шевелился, в этот момент в помещение заглянул лейтенант Мешик и стал торопить его: «Одевайтесь поживее, в дороге мы вам все объясним!»

Между тем по их приказу дневальный разбудил сержанта Яноша Лиесковски, шофера легковой автомашины, и сообщил ему:

— По приказу господина капитана вы должны подготовить автомашину!

Спустя несколько минут легковая автомашина «татра» с номером АИ-394, закрепленная за начальником батареи, была подготовлена к поездке.

Неподалеку от здания Оперы автомобиль повернул и остановился перед домом № 31, потому что перед домом № 29 уже стояли две автомашины. На улице было тихо. Поодаль, метрах в десяти, стоял еще и автобус. Это показалось странным. Дверь в подъезд была заперта. Но привратница тут же открыла ее и на вопрос: «Здесь живет капитан Вильмош Тартшаи?»— поспешно ответила:

— Да, здесь, на первом этаже, пожалуйста, проходите!

Позднее выяснилось, что жандармы заставили консьержку так говорить.

Дальнейшие события этой ночи я записал со слов 58-летнего торговца, уроженца города Ужгорода Эрнё Пелешкеи, который дал об этом эпизоде письменные показания:

«После разговора с привратницей, расстегнув кобуры, они поднялись по лестнице в квартиру Тартшаи. Первым шел Пелешкеи, за ним следом Пал Сеченьи и, чуточку поотстав, Янош Мешик. Шофер остался внизу, за рулем автомобиля.

Они остановились перед дверью с табличкой «Капитан Вильмош Тартшаи». Эрнё Пелешкеи нажал на кнопку звонка. Дверь приоткрылась, но за ней никого не было видно. Они подождали две-три секунды, потом Пелешкеи сделал шаг вперед. В то же самое мгновение несколько пистолетов уперлись ему в грудь. И тут же кто-то крикнул:

— Руки вверх! Не шевелиться, иначе стреляем!

Сержант поднял руки, и в следующий момент его разоружили.

— Заходите остальные! Именем закона я требую, чтобы вы отдали оружие!— раздалась команда одного из одетых в штатское жардармов.

Стоящий у двери прапорщик Сеченьи, мгновенно оценив ситуацию, отскочил назад выхватил пистолет и несколько раз выстрелил. Один из сыщиков упал, схватившись руками за живот. Жандармы открыли ответный огонь, несколько человек выбежало на лестничную клетку, там начался настоящий бой. Все было окутано пороховым дымом и пылью от штукатурки. Сеченьи, лежа, продолжал стрелять, пока одна из жандармских пуль не перебила ему сонную артерию. Лейтенант Мешик попал еще в одного сыщика, который растянулся у входа в квартиру. Мешик отступал вниз по лестнице.

— Именем закона я приказываю вам сдаться! В противном случае мы перебьем вас на месте,— крикнул ему высокий жандармский прапорщик по фамилии Козма.

— Офицеры жандармам не сдаются!— ответил лейтенант.

Перестрелка продолжалась. Несмотря на неоднократные призывы сложить оружие, лейтенант продолжал отстреливаться, но вскоре он был тяжело ранен в живот; однако. даже согнувшись и прижав руку к животу, продолжал вести огонь.

Сержант Пелешкеи, втащив прапорщика Сеченьи в квартиру и положив его на кушетку, пытался оказать ему помощь. Однако кровь так и хлестала у того из горла. Тяжелораненый лейтенант Мешик вполз в квартиру привратницы, решив до последнего отбиваться от жандармов, но патроны у него кончились. Он потерял сознание.

Получив известие об этом происшествии, Радо схватил со стола свою портупею и выскочил из комнаты. Видимо, помчался в дом № 29. А мы с Белезнаи так и продолжали всю ночь мерзнуть на скамейке в коридоре... Вскоре, когда мимо нас провели Яноша Киша и Эндре Байчи-Жилинского, мы поняли, что это конец. Яноша Киша взяли ночью, а Эндре Байчи-Жилинского— на рассвете.

Теперь мы с Белезнаи превратились для нилашистов всего лишь в мелкую рыбку, ведь в руки им попала «настоящая дичь». Поэтому нас уже не так тщательно обрабатывали на допросах. Однако мы очень скоро узнали, что всех нас ждет военно-полевой суд и что Салаши якобы сказал, что желает видеть на Вермезё по крайней мере шесть виселиц...

— И все-таки кто же вас выдал? Догадываетесь, знаете вы об этом или нет?

— Был такой Микулих... Прежде я этого имени никогда не слышал. И после описываемых событий долгие годы ничего об этом человеке не знал... Начисто забыл о старшем лейтенанте с такой фамилией... Но теперь вспоминаю, что на квартире у Тартшаи, где суетилось множество жандармских чинов, стоял и какой-то человек в штатском, спиной прислонившись к окну, устроившись так, чтобы портьеры скрывали его. Именно он называл наши имена, когда нас вводили в комнату... Мне тогда еще показалось странным, откуда этот тип меня знает, но не было времени особенно размышлять...

В первые дни после ареста меня допрашивал некто Пожгаи, жандармский фельдфебель. Этот человек не был зверем. Более того, когда однажды он допрашивал меня, сидя напротив, я заметил, как он вроде бы незаметно пододвигает ко мне досье, чтобы я смог прочитать, что написано на обложке. А там стояло следующее: «Дело подполковника Пала Алмаши. Свидетели: Иштван Тот и Имре Радвани». (Иштван Тот спустя несколько дней попал в тюрьму.)

Так, может, предатель — Имре Радвани? Ведь его так и не арестовали. Многие об этом стали поговаривать. Дошли эти слухи и до ушей самого Имре Радвани, и тогда он попросил у Яноша Вёрёша (в то время он был министром обороны Временного национального правительства) суда чести. Был созван комитет под председательством генерал-лейтенанта Пала Платти, который тщательно расследовал поведение Имре Радвани; выяснилось, что он совершенно невиновен и никого не предавал...

Тогда кто же?

В один прекрасный день с Запада привезли военного преступника Радо. Его передали нам американцы. Радо поместили в дом № 60 по проспекту Андраши, в тюрьму Комиссии государственной безопасности. Мне пришла повестка, чтобы я как участник Сопротивления вместе со всеми оставшимися в живых участниками движения и их женами явился в назначенный час на проспект Андраши в дом № 60.

Я отправился туда. Там оказались вдовы Эндре Байчи-Жилинского, Вильмоша Тартшаи, а также Кальман Реваи, Йожеф Кёваго... Из камеры привели Эндре Радо, который... Короче, его едва можно было узнать. Одного глаза он лишился при попытке побега из Зальцбургского лагеря. Часовой выстрелил и выбил ему глаз. Его спросили:

— Ну что, Радо, вы узнаете этих людей?

— Да,— ответил тот,— это участники организации Сопротивления и вдовы казненных руководителей заговора.

— Что вы можете им сообщить?

Вот когда я в первый раз услышал имя Микулиха. Радо спокойно рассказал, что Микулих утром 22 ноября был у него и у другого следователя Оренди и сообщил, что среди военных есть участники Сопротивления и что руководители их соберутся сегодня на улице Андраши в доме № 29... Выложил им все...

ИЗ ДНЕВНИКА ПАЛА АЛМАШИ: Спустя три дня после казни Яноша Киша и его товарищей — 11 декабря, в понедельник, во второй половине дня, в тюрьме начался переполох. В это время я находился в одной камере с Реваи и Макаи; приблизительно в половине третьего нас вывели в коридор. Мы догадались: нас вывозят из Будапешта, вокруг которого смыкалось кольцо блокады. Вся вторая половина прошла под знаком томительного ожидания, было уже довольно поздно, когда мы уселись в стоящий перед зданием тюрьмы автобус. В машине должны были везти человек 30—40 заключенных, среди них мы увидели знакомых, но были и «посторонние». Офицеры, солдаты, штатские. Когда автобус был заполнен, несколько солдат вывели Эндре Байчи-Жилинского. Походка, манера держаться остались у него прежними, он грустно улыбнулся, приветствуя нас. Часов в десять вечера мы тронулись в путь на запад. Поехали мы не по Венской автостраде, а по дороге, проложенной между горами Янош и Харш. Шоссе на Вену обстреливала советская артиллерия. Когда мы достигли окрестностей горы Харш, завыли сирены воздушной тревоги. Несколько часов наш автобус простоял на безлюдном шоссе, по обеим его сторонам тянулся лес. Охранявшие нас солдаты были настроены весьма благодушно, позволяли нам разговаривать друг с другом и даже выходить из автобуса. Один из них сообщил «дядюшке Банди», что он из Тарпы. Байчи-Жилинский разговорился с юношей, который вскоре совершенно ясно дал нам понять: если господин депутат направится в лес, солдаты не станут в него стрелять. Мы начали уговаривать Байчи-Жилинского воспользоваться этой возможностью и спасти свою жизнь для будущей Венгрии. Ведь не только он сам, но мы все были уверены: нилашисты его не пощадят, в Шопронкёхиде его ждет верная смерть. Но Байчи-Жилинский оставался неумолим. «Своей смертью я хочу показать стране, что значит быть верным долгу,— заявил он,— Янош Киш и его соратники казнены, я тоже не имею права остаться в живых». Напрасно мы убеждали его, уговаривали, дядюшка Банди твердо решил принести свою жизнь в жертву великому делу. Вскоре прозвучал отбой воздушной тревоги. Возможность побега исчезла. Мы сидели понурив головы, но человек, у которого, казалось, были все основания для уныния, ведь он был таким же существом из плоти и крови, как и мы, и не хотел умирать, именно он взял бразды правления в свои руки. Эндре Байчи-Жилинский затеял спор по вопросам экономики, культуры и политики Венгрии. Среди нас были люди, придерживающиеся различных взглядов по этим вопросам. Дискуссия продолжалась несколько часов, эрудиция, талант Байчи-Жилинского позволяли ему одерживать верх. Я чувствовал себя сидящим на галерке парламента и слушающим его выступление с трибуны Национального собрания. Наконец, когда спорщики выдохлись, он своим приятным баритоном затянул песню: «Я вспахал императорский луг».

— Дядюшка Пали, ваши воспоминания об этом путешествии, вышедшие в 1969 году, кажутся мне самыми человечными и живыми. Кальман Реваи в своем дневнике об этих событиях написал следующее: «Нас провели между двух шеренг конвоиров. Автобусы набили заключенными и охранниками. Байчи-Жилинский, Макаи, Алмаши, братья Коцкаш, Сентмиклоши, Абафи, Д. Маркош, И. Тот и еще множество добрых людей разместились в одном автобусе. Не успев двинуться в путь, мы стали обсуждать вопрос о том, как нам организовать побег дядюшки Банди. Он должен бежать, иначе его непременно казнят. Но сам Эндре Байчи-Жилинский и слышать не хотел об этом. Он решил пожертвовать собой! Он был убежден: эта жертва необходима родине».

А вот как описал этот эпизод Шандор Шаркёзи.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ШАНДОРА ШАРКЁЗИ: В начале декабря на заседании Комитета освободительного восстания Дьёрдь Палфи планировал, что несколько человек из нашей батареи — Лайош Халаш, я и группа солдат — попытаются освободить находившихся в тюрьме на проспекте Маргит руководителей движения Сопротивления.

Был разработан план, по которому две батареи 9 или 10 декабря должны были открыть огонь по площади Сены, чтобы парализовать там движение, после чего группа боевиков собиралась напасть на охрану тюрьмы, освободить заключенных и укрыть их в надежном месте, неподалеку от нашей батареи.

Но существовал и другой вариант, по которому арестованных освобождали во время переезда. Мы знали: их должны отправить в Шопронкёхид по Венскому шоссе.

Палфи планировал (об этом же пишет и Дьёрдь Маркоши в своем произведении «Путешествующая тюрьма».— *Прим. А. Шимонфи),* что завербованный нами шофер в определенном месте остановит автобус якобы для ремонта, в это время и должно было произойти нападение группы боевиков. И автобус как будто бы останавливался в пути, но не на Венском шоссе, а где-то между Будакеси и Жамбеком. К сожалению, наша «разведка» не предполагала такой возможности, поэтому акция сорвалась...

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА ПАЛА АЛМАШИ: Когда в воротах тюрьмы мне удалось обменяться несколькими словами с женой, она намекнула мне, что готовится какой-то план нашего освобождения из тюрьмы. Помню, по дороге в Шопронкёхид было много остановок, вызванных поломками, но вот была ли хотя бы одна из них устроена специально, подстроена, я этого не знаю. Дорога заняла у нас тогда двадцать пять часов, за это время мы довольно долго стояли на месте, но возможность побега представилась Эндре Байчи-Жилинскому лишь тогда, когда ночью мы остановились

лись где-то в районе горы Харш. Потом рассвело, и, наконец, мы, проведя в пути целый день, прибыли во двор шопронкёхидской тюрьмы.

Само присутствие в нашем автобусе дяди Банди говорило о том, что комитет по депутатской неприкосновенности либо уже лишил, либо вскоре собирается лишить Байчи-Жилинского депутатской неприкосновенности и предаст его суду военного трибунала. Что означало верную смерть. Словом, Эндре Байчи-Жилинский прекрасно понимал: ждать снисхождения от нилашистских судей ему не приходится, дни его сочтены. Однако побег он считал недостойным. Его поведение во время долгого пути свидетельствовало о том, что он сознательно идет на эшафот Байчи-Жилинский понимал, что его смерть будет для венгерского народа вечным напоминанием о верности долгу, примером.

Как я уже упоминал, мы двинулись не по Венскому шоссе, а в объезд. Выехали мы часов в девять вечера, прождав несколько часов в коридорах тюрьмы. Наши охранники в замешательстве сновали вверх-вниз, вероятно, была получена информация о том, что Венское шоссе находится под обстрелом советской артиллерии. и никто толком не знал, что предпринять. Даже когда нас погрузили в автобус, нам пришлось еще довольно долго ждать, потому что в Буде как раз была объявлена воздушная тревога. Вот и получилось, что изменился не только наш маршрут, но и время отправления. Наконец, около девяти вечера мы двинулись в путь. Остановились мы между горами Янош и Харш, там опять была объявлена воздушная тревога. Именно тогда этот парень из Тарпы, уроженец того самого избирательного округа, депутатом которого был Эндре Байчи-Жилинский, договорившись с остальными охранниками, дал нам понять: они не станут прицельно стрелять, если дядя Банди попытается бежать в сторону гор, заросших густым лесом. Юноша сказал, что они будут палить только для отвода глаз... Однако Байчи-Жилинский наотрез отказался воспользоваться возможностью, а ведь она была (тем более если, как ты говоришь, шофер автобуса тоже был завербован). У дяди Банди и среди охранников нашлись почитатели, они обращались к нему не иначе как «господин депутат» и были буквально околдованы его словами. Причем эти простые крестьянские парни своим трезвым мужицким умом уже прекрасно осознали, что войну немцы проиграли. Потом нилашисты долго не могли найти палача, который казнил бы Эндре Байчи-Жилинского, а тех нилашистов, которые добровольно согласились повесить бывшего депутата, напоили да еще наврали им, что «этот человек взорвал мост Маргит».

Однако сам дядя Банди ничего не хотел слышать о побеге, хотя мы, узнав о предоставившейся возможности, стали один за другим подходить к нему. Пишта Сентмиклоши, Реваи, я и другие упрашивали его. Но он был непреклонен: «Я не имею права жить. Янош Киш и его соратники казнены, они пожертвовали жизнью во имя родины. Я считаю, что моя смерть принесет больше пользы»,— заявил он тогда.

Здание местной тюрьмы было построено в форме буквы Н, в одном из крыльев его и разместились заключенные, привезенные с проспекта Маргит из Будапешта. Камера дяди Банди была на третьем этаже, по соседству с моей. Но общаться мы с ним смогли только через несколько дней, когда я попал на работу в контору тюрьмы. В бытность мою «писарем» я смог постоянно разговаривать с ним. Он не был сломлен и вел себя так, словно пытался разделить между нами свое духовное и политическое наследство—мировоззрение. Во время прогулок мы каждые десять минут менялись друг с другом местами, чтобы какое-то время по очереди проводить рядом с ним. Вероятно, во время одной из таких прогулок по кругу с Эндре Байчи-Жилинским разговаривал один из заключенных тюрьмы в Кёхиде — Ласло Райк.

23 декабря около семи часов вечера Эндре Байчи-Жилинского отправили в помещение школы, которое временно было превращено в здание суда.

Мы, несколько человек, уже имевшие в «карманах приговоры», в качестве писарей довольно свободно могли передвигаться внутри тюрьмы и поэтому ждали его возвращения с заседания суда в дверях тюремной конторы, расположенной на первом этаже. Мы пытались по его лицу понять, как проходит суд. Однако дядя Банди с непроницаемым выражением лица шагал между своими конвоирами, глядя прямо перед собой.

И мы снова вошли в помещение конторы и начали гадать: вынесен приговор или нет? Если вынесен, каков он? Однако долго ломать голову нам не пришлось, появился старший надзиратель и распорядился, чтобы послали за лютеранским священником.

Так мы узнали, что приговор вынесен. Приговор, о котором мы заранее догадывались, но в который до последнего момента отказывались верить, пока существовала какая-то, пусть слабая надежда. Итак, все же смертная казнь.

И вот уже дядю Банди перевели в камеру смертников. Накануне казни, в последнюю ночь, дядю Банди посетили Кальман Реваи, Миклош Макаи и я, а потом еще несколько человек. Я пробыл у него в камере всего десять минут. Он очень спокойным и твердым голосом призвал нас всегда быть верными идеям, за которые отдали свои жизни Янош Киш и его соратники, за которые и он готов сложить голову во имя свободы и национальной независимости Венгрии. Его спокойствие воистину было поразительным, торжественным. Несколько часов в его камере той ночью пробыл священник по фамилии Бардоши...

На рассвете, когда я шел из своей камеры в контору, то увидел дядю Банди, стоящего под охраной двух солдат лицом к стене с заложенными за спину руками. Взвод солдат должен был сопровождать его к эшафоту.

Казнили Байчи-Жилинского утром 24 декабря 1944 года. Его последними словами были: «Да здравствует Венгрия!» (Это я узнал от врача-заключенного, которого приводили на место казни, чтобы установить факт смерти.)

Перевод с венгерского
С. Фадеева

К нашим иллюстрациям

Амедео Модильяни

К 100-летию со дня рождения

Уроженец Ливорно, в начале века Модильяни одним из первых среди итальянских собратьев отправился в Париж (1906) и с тех пор вновь и вновь возвращался туда. «Только атмосфера Парижа меня вдохновляет, — говорил он.— Это в Париже моя мастерская, мое место работы...»

Модильяни стал не только своим в кругу Матисса, Вламинка, Аполлинера, Кокто, Пикассо, Леже, но именно ему досталась роль героя парижской богемы тех лет, все типичные черты которой сосредоточились в нем как в фокусе. Опыты нового искусства, полуголодная, беспорядочная жизнь, протест против корыстного мира наживы и чистогана, его уродств и зла, его образа мыслей... В письме к другу, художнику Гилья, Амедео писал: «Мы — это мир. Буржуа — это другой мир, далекий от нас... Можем ли мы замкнуться в темный круг их узкой морали?»

Злосчастный, потерянный, один из «прóклятых» художников, Модильяни не был понят. Даже в видавшем виды «Салоне независимых» в 1910 году его «Виолончелист» вызвал шум. «Ню» Модильяни, по свидетельству Жакоба, «чистейшие, но ужасно обнаженные, были скандальны для благомыслящих, подобно «Олимпии» Мане». Из-за них полиция требовала закрытия парижской выставки 1918 г. в галерее Берты Вейль на улице Пигаль.

Парижские друзья, напротив, часто обвиняли его в пристрастии к традиционному, в академизме, приверженности духу итальянских музеев.

Модильяни почти не продавал свои работы. «Пишу в уме три картины в день, — говорил он, — но зачем портить холсты, которых никто не хочет?» Буквально в день его смерти (умер он 36 лет от роду) вокруг его картин возник лихорадочный коммерческий ажиотаж.

Среди всего многообразия философских и литературных интересов выделялась наиболее устойчивая линия в его творчестве — национальная традиция. Вечной любовью Модильяни был Данте. Кто бы ни писал, все вспоминали о том, что он знал наизусть и великолепно читал всю «Божественную комедию». Он любил Петрарку и сиенских мастеров XIV века: Дуччо, Симоне Мартини, а также Боттичелли, Карпаччо, а главное — Пьеро делла Франческа. При этом Модильяни отнюдь не был подражателем. Он воспринимал скорее общие принципы. Как у сиенцев, цвет и линия — у него всегда основа изображения. В музыкальном строе его картин линия «пела» среди совершенства цвета. Процесс работы шел от фона к фигуре.

Модильяни привлекала открытая экспериментам парижская лаборатория. В контексте ее исканий своеобразие его манеры, стиля заявляло о себе с особенной остротой. Но парижские поиски художник пропускал через призму собственных идей. По выражению Гуттузо, Модильяни «одолевала тоска по Симоне Мартини»[1]. Через изящество Мартини Модильяни воспринял японское искусство, которым увлекался Париж. Наряду с другими художниками парижской школы он искал вдохновение и в далеких экзотических искусствах, в негритянской скульптуре. Однако у него нет ни магических заклинаний, ни непосредственности негритянских примитивов. Он и любимого им Сезанна понимал в традиционном итальянском порядке: живопись должна извлекать суть, ядро. Потому можно писать одно и то же. Подобно тому как писал Сезанн гору Сент-Виктуар в свои знаменитые яблоки. В последние годы жизни Модильяни ежедневно писал позировавшую ему Жанну Эбютерн — юную подругу, преданную жену, не сумевшую пережить его кончину: она покончила жизнь самоубийством. В ее мягкой красоте, в совершенном овале лица, в плавном ритме скругленных углов и полукружий художник воплощал свои стилистические символы, в которых видел способ раскрытия эмоциональной наполненности натуры. Одни и те же модели (друзья· Х. Сутин, Л. Зборовский и его жена Анна, Л. Чековска) он находил достаточными для решения поставленных задач. В восприятии жизни, ее трагичности для Модильяни все одинаковы: и его друзья, и он сам в единственном «Автопортрете», написанном в конце жизни, и Жанна, и безымянные модели. Часто портреты известных лиц обращены в безымянные: Люния Чековска— «Синьора с белым воротничком», мадам Дориваль — «Синьора в шляпе» и т. д. Модильяни писал и портреты не просто безвестных людей, но и стоящих на самом низу социальной лестницы: «Горничная», «Ученик», «Цыганка с ребенком», «Деревенский парень», «Нищий». Он ярко представлял тенденцию искусства рубежа XIX—XX вв. к расширению круга явлений, охвата действительности, к проникновению все глубже в социальные пласты, в мир «униженных и оскорбленных».

Если принимать точку зрения общности Модильяни с экспрессионизмом, то, очевидно, лишь в передаче трагического мироощущения, в выборе объекта изображения.

Казалось бы, что может быть парадоксальнее словосочетания «мелодический экспрессионизм»? «Мелодический» и «экспрессионизм» с его эпатажем, жестокостью, крайним уродованием форм ради предельной выразительности Но именно это определение применено в наше время итальянским искусствоведом де Микели к творчеству Модильяни. Он хотел «создать... правду жизни, красоты и искусства» Исходил Модильяни всегда из натуры: «Чтобы работать, мне нужно живое существо...» Натуру художник схватывал легко, мог рисовать быстро, где и как придется, любым огрызком карандаша, на первом попавшемся клочке бумаги. Сохранилось множество былей и небылиц о том, как рисовал он на бумажных салфетках в кабачках Монмартра за чашку кофе или рюмку алкоголя. Но вопреки легендам о Модильяни, творившем якобы в состоянии некоего «озарения», художник следовал продуманным нормативам. Он писал: «Я вижу, что и метод и усидчивость необходимы... Оргаиизуем форму, сохраняя равновесие между бесднами и солнцем. Мы строим мир посредством форм и красок, но лишь мысль — бог этого нового мира».

Ему недостаточно было эксперимента, просто формы, он требовал абсолютной высказанности, искренности, идентифицировал жизнь и искусство. «Он сжег жизнь, чтобы зажечь искусство», — говорили о нем.

Е. ХЕРСОНСКАЯ

[1] Один из основоположников сиенской школы XIV в., чья живопись отличалась особой изысканностью линий и цвета *(прим. автора)*.

Среди книг

Издано в СССР

«ПИСАТЬ — ЗНАЧИТ СТАТЬ БОГОМ...»

Хуан Карлос Онетти. Короткая жизнь. Верфь. Повести и рассказы. Перевод с испанского. Составление и предисловие И. Тертерян. Москва, «Радуга», 1983.

Читая Онетти, задумываешься о том, до чего быстро возникают в нашем сознании стереотипы, мешающие увидеть явление в его истинной сложности. Лет двадцать назад понятие «латиноамериканская проза» обладало живым значением разве что для самых искушенных знатоков, зато как все переменилось с тех пор! Без книг латиноамериканцев теперь никто и не представляет себе современную мировую литературу.

Другое дело, как воспринимается их опыт. Тут господствует известного рода предвзятость. Открывая латиноамериканский роман, мы как бы непроизвольно настраиваемся на совершенно определенную волну. Вот сейчас автор погрузит нас в стихию мифа или притчи и поведет петляющими тропами «магического реализма», заставив уверовать в невероятное и постигать будничное как чудесное. И снова предстанут нам удивительные совмещения жестокости, болезненности и поэзии, соединяющихся столь прочно, что при всех стараниях не провести разграничительных межей. А в гротескных образах повседневности вновь высветлятся некоторые устойчивые и характерные мотивы — насилие и одиночество, распавшиеся людские связи, социальные кризисы, трудные пути революции.

Понятно, чем вызвано подобное представление о сущности латиноамериканского романа. «Смерть Артемио Круса», «Сто лет одиночества» — книги, с которых началось наше увлечение им,— так поразили своей художественной новизной, что память о них по-прежнему окрашивает всю картину. Но ведь она создана не только Фуэнтесом, не только Гарсиа Маркесом, как ни велик и ни ощутим их вклад. Мы ищем приметы общности, а выясняется, что она порой очень приблизительна. В этом легко удостовериться, если вслед за «Осенью патриарха» Гарсиа Маркеса приступить хотя бы к «Выигрышам» Кортасара. Или отправиться вслед за Онетти по улицам изобретенного им города Санта-Мария, еще держа в сознании образ другого города — Мехико, каким он выглядит у Фуэнтеса в «Крае безоблачной ясности».

Разговоры о «литературной школе» всегда чреваты упрощением реальной ситуации: на поверку выходит, что «школа» — это по меньшей мере несколько крупных творческих индивидуальностей, а индивидуальность тем и интересна, что не похожа ни на одну другую. Истина азбучная, но напомнить ее приходится — к этому взывает русская судьба Онетти. Представленный теперь солидным томом в серии «Мастера современной прозы», он как бы дебютирует у нас вторично. Восемь лет назад был издан его сборник «Прощания», и уже эта книга давала почувствовать, что перед нами явление яркое и незаурядное, но имя Онетти не замелькало ни в «обоймах», ни в дискуссиях и спорах о современном латиноамериканском романе. Кстати, в свое время то же самое происходило с Кортасаром: первый его сборник «Другое небо» спокойно лежал в книжных лавках, и лишь после «Выигрышей» пробудился жадный интерес к аргентинскому мастеру.

С Кортасаром у Онетти есть нечто общее: жизнь вдали от родины (Кортасар работал преимущественно в Париже, а Онетти, уругваец по рождению, долгие годы провел в Аргентине и затем в Испании) и пристальное внимание к будням большого города, откуда черпаются сюжеты и конфликты, привлекающие их обоих. На этом, впрочем, сходство заканчивается.

Кортасара нужно читать, ни на минуту не упуская из виду второй, мифологический план и тот иносказательный смысл, который скрыт у него даже, казалось бы, в самой непритязательной зарисовке с натуры. Онетти ничего этого не требует. Он требует другого. Умения распознавать, где кончается фантазия персонажей, постоянно тем и занятых, что они изобретают для себя ненастоящую жизнь, и вступает в свои права жестокая действительность, бесцеремонно обрывая романтические грезы. Способности видеть истинное лицо за всеми этими бесконечно друг друга сменяющими масками.

Он требует неспешности, внимания, иначе легко потерять путеводную нить в этом кружении жизни, происходящем на страницах Онетти, где «ничто не прерывается, ничто не кончается, хотя смена обстоятельств и персонажей сбивает с толку близоруких».

Ощущение непрерывности жизни, а вместе с тем и ее несвободы, какой-то механической повторяемости всего, чем она заполнена,— может быть, главное у Онетти. Оно выражено всей сложной художественной организацией повествования. Здесь непосредственно осуществлен принцип монтажа, родственный кинематографу и ничуть не скрываемый от читателя: в романе «Верфь» главы и обозначены как монтажные куски — «Санта-Мария-I», «Домик-V» и т. п. Здесь все определяется характером ассоциативных сцеплений, специфической ритмикой, раз за разом возвращающей к исходным ситуациям, словно бы, описав круг, действие не разрешилось ничем.

Онетти любит рассказывать истории, о которых всего точнее отозвался он сам, заметив, что «никому-никому не удастся узнать, как и почему» они начались. Принципиальная безначальность и незавершенность любого фрагмента действительности, поскольку она сама представляет собой хаос и абсурд,— давняя и стойкая идея модернистской прозы, к которой Онетти пытались причислить неоднократно. Известные основания для этого были. Онетти — фигура достаточно сложная; нельзя назвать вовсе беспочвенными постоянно звучащие по его адресу упреки в том, что он склонен изображать темные стороны жизни и людей, находящихся в состоянии нравственной деградации. Онетти испытал увлечение экзистенциализмом, и его болезненное влияние порой чувствуется в конфликтных ситуациях да и в самих решениях, предлагаемых уругвайским писателем.

Все так, а тем не менее разговоры об авангардизме Онетти, в сущности, лишь дезориентируют его читателей. Нет ничего более ошибочного, чем распространенное отождествление Онетти с его персонажами.

Как бы ни иронизировал Онетти над собственными принципами (в той же «Верфи» сказано, что его роман, возможно, лишь «безобидная игра, помогающая скоротать зимнюю бессонную ночь, перебирая, перемешивая, комбинируя все эти события, которые никого не интересуют»), описываемые им эпизоды при всей своей кажущейся случайности строго подчинены доминирующим мотивам творчества этого писателя.

А Онетти менее всего хроникер, добросовестно и равнодушно фиксирующий бессвязность бытия Одна из его героинь задумается о том, что «любое событие, выпадающее из обычного хода вещей, могло стать рождением надежды, подтверждением несчастья». И для Онетти это вовсе не пустые слова. «Лицо несчастья» — так назван один из его лучших рассказов — он изучает пристально, даже придирчиво. Но и надежда — пусть обманчивая, пусть наивная — никогда не ичезает из поля его зрения.

Это серьезное препятствие для каждого, кто истолковал бы его произведения как сугубо пессимистические. Внешне для таких толкований более чем достаточно поводов. Через многие рассказы и романы Онетти проходит, в сущности, один и тот же тип героя, проявляющего немалую изобретательность в своих стремлениях защититься от грубой прозы жизни возвышенной мечтой, театральной иллюзией, несбыточными планами, воспоминаниями о редких светлых минутах, как будто нормой не являлось совсем другое: отчужденность, ожесточение, «несчастье». И где-то рядом с таким персонажем неизменно возникает ироничный и трезвый наблюдатель, которому чужды самообманы. Он не обязательно участвует в действии, но ему доверено вести повествование, так что события мы видим пропущенными через восприятие человека, слишком хорошо знающего истинное положение вещей в изображаемом Онетти мире.

Мир этот сумрачен, неприветлив, а нередко просто жесток. Для повествователя наблюдаемая им время от времени «комедия необходимости, не признающей законов», — бунт тех персонажей, которым отданы наши симпатии, их самоотверженное, но безнадежное противоборство антигуманному порядку жизни — совершенно закономерно сменяется «комедией смирения с несчастьем», гораздо более типичной в существующих обстоятельствах, хотя тоже остающейся комедией, и даже граничащей с фарсом. Повествователь поминутно ощущает «дыхание жизни, слишком короткой, чтобы брать на себя обязательства, раскаяться или состариться». Он дорожит только одним ощущением юности, не знающей тех «комедий», которые разыгрываются во взрослом мире. И стремится сохранить в себе хоть что-то от инфантильного «неведенья», пусть Онетти именно его и заставляет убеждаться, что юность не вечна да и сама по себе совсем не так уж безоблачна, как кажется с дистанции лет.

Этот персонаж точно так же поглощен игрой в «другую жизнь», как и герои чей идеализм вызывает у него порой сострадательную, а чаще насмешливую улыбку. Зовут его обычно Хуан Мариа Браузен, и на центральной площади Санта-Марии Онетти воздвиг ему статую — знак признательности горожан человеку, выдумавшему их всех и тот людской муравейник,

где они обитают. Прием этот в литературе не нов, если вспомнить о шести персонажах Пиранделло, занятых в его пьесе поисками автора, да и о построении некоторых романов Фолкнера, где отношения автора и повествователя приобретают ключевое значение для композиции. Но дело не в заимствованиях и не в приемах. Дело в самом типе сознания, воплощаемом Браузеном. Он достаточно узнаваем, и сколько бы ни возникало тут литературных реминисценций (главная из них, несомненно, Парадоксалист «Записок из подполья»), Браузен принадлежит к героям, точнее — антигероям нашего времени.

Его безмерно угнетает неизбежность принять одну из точно определенных всем и каждому социальных ролей: где-то служить, налаживать быт, раствориться в безликой «толпе одиноких». В его рассказе постоянно встречаются признания вроде следующего: «Уже много недель я знаю, что Хуан Мариа Браузен и жизнь его — только пустая форма, являющая миру утраченную суть, тогда как сам он едва существует, кое-как влача жизнь без веры среди людей, часов, улиц, привычных поступков». И, спасаясь от такой судьбы, он — по фабуле «Короткой жизни» всего лишь невезучий сценарист — самозабвенно отдается воображаемому существованию, в котором нетрудно представить самые разные «заполнения» этой «пустой формы».

Есть в этом побуждении что-то мальчишеское, вроде игры в сказочный остров, но в основе своей оно серьезно — как выбор жизненной позиции. Она, эта позиция, интересует Онетти давно, еще с повести «Бездна», которой он начинал в 1939 г. Ее герой тоже старался выключиться из мира реальных событий и, забившись в свой угол, вообразить время в виде капелек, которые можно пересчитать, как монетки: «Я отброшен, а время идет» — мимо, ни к чему не обязывая и ничем не угрожая. Браузен из той же породы. Как и Ларсен, герой «Верфи», где полуразрушенное предприятие и его пахнущая сыростью и пылью контора становятся сценой крайне рискованных афер, понадобившихся не ради корыстных выгод, а лишь с целью «возбуждать и отражать ненависть — это, пожалуй, могло бы составить смысл жизни, стать привычкой, удовольствием».

Воображение, игра, попытка мысленно перевоплотиться в такую роль, какой заведомо не предоставит персонажу Онетти действительность,— вот свойство, общее едва ли не всем его героям. Они движимы одной и той же душевной потребностью, естественной, когда псевдожизнь вытеснила истинное и полноценное бытие. Но как же они несходны в своих поступках, в самих представлениях о том, что бы для них явилось настоящей жизнью. Онетти однажды заметил, что те, о ком он пишет, в совокупности доносят облик поколения, отвергшего обанкротившуюся старую мораль и не нашедшего, чем ее заменить, оказавшегося в ситуации моральной индифферентности. Ну, а если вспомнить глухую девушку и рассказчика из новеллы «Лицо несчастья», самой высокой ценой оплативших пережитое ими упоение настоящим чувством? Если вспомнить еще многих, кто на миг появится в реальной жизни и в фантазиях Браузена? Быть может, столь же справедливо сказать, что в совокупности персонажи Онетти доносят облик совсем иного поколения, бунтующего против окружающей пошлости и бесчувственности, как бунтовали против них повсюду на Западе 60-х годов юные (да и не только юные) искатели подлинной радости взамен механической «нормы» — те, кого назовут «дети-цветы», подразумевая и их духовную чистоту, и их полную беззащитность.

Онетти распознал и осмыслил этот тип всесторонне, хотя понятие «надежда» для писателя связано все же не с ним. Скорее — с доктором Диасом Греем, еще одним давним обитателем Санта-Марии, порой сменяющим Браузена в качестве повествователя. Он — то «воплощение волшебной силы, рыцарственности», к которой не приучены в Санта-Марии. Споря с Ларсеном, он выразит мысль, исключительно важную для понимания Онетти: «Вы говорите... что человек не всегда то, чем представляется. Возможно... ошибка наша в том, что мы то же самое думаем о жизни: что она не есть то, чем представляется. Но это ложь, жизнь — только это, то, что все мы видим и знаем».

Да не покажется этот вывод плоским — доктору Грею он достался непросто, был добыт из долгого общения с жизнью, снова и снова посылавшей ему и вестников «несчастья», и вестников надежды. Можно спорить о том, Монтевидео или Буэнос-Айрес послужили прототипом Санта-Марии, но несомненно, что этот город подчеркнуто типичен — некий среднестатистический сгусток реальности нашего мира.

Мир Онетти — мир сегодняшней жизни, царство анонимности, усредненности, отчуждения, где так легко, подобно Браузену, «увязнуть в жалости и нелюбви, в неоплаченных долгах, в двусмысленной близости, в лживых, вымученных улыбках», и тогда даже самая дикая, жестокая фантазия окажется предпочтительнее гнусных комедий, к которым подобное существование принуждает. И нужно немалое мужество, чтобы истинной признать все же эту, а не выдуманную жизнь.

Объясняя назначение Браузена, Онетти как-то сказал: этот «несчастный бедняк» вдруг постиг, что «писать — значит стать богом», получив возможность движением пера изменять судьбы и творить особый удивительный мир. Но существенно ведь не только дарование, даже самое щедрое, существенны нравственные законы, по которым этот мир будет сотворен. Они дадут о себе знать непременно, сколь бы замысловатой ни оказалась воздвигнутая романистом постройка. Браузену она нужна для того, чтобы скрыться от жизни, Онетти — чтобы понять ее глубоко и объективно, не довольствуясь простым слепком реальности и не обманываясь внешними формами противодействия ее хаосу. Вот отчего не формально, но и по сути роль демиурга принадлежит ему одному.

А. ЗВЕРЕВ

БОРГЕН-НОВЕЛЛИСТ

Юхан Борген. Избранные новеллы. Перевод с норвежского. Составление и предисловие Э. Панкратовой. Москва, «Радуга», 1984.

Юхан Борген ценил жанр новеллы за ее напряженный, стремительный ритм, за игровые возможности, за сходство с живописью и музыкой. «Новелла сравнима с извержением вулкана»,— писал он в одном из своих эссе. Непревзойденным мастером новеллы он считал Чехова, восхищался его беспримерным талантом рассказчика, умеющего очаровательно шутить на грани печали».

И хотя всемирную известность Боргену принесли романы — прежде всего трилогия о Маленьком Лорде[1], новелла занимает в его творчестве особое место. Он дебютировал как новеллист — сборником «Во тьму» (1925), и одну из его последних книг — «В добрый путь» (1974) — тоже составили новеллы.

В «Избранных новеллах» представлены произведения разных лет. В ранних — «Ужасное происшествие», «Ерун и Малыш», «Цыпленок» — запечатлен мир, увиденный глазами ребенка. Детство — не только пора радостных открытий. Часто юные герои Боргена проходят через первые нравственные испытания, сталкиваясь с ханжеством и лицемерием, нетерпимостью, обывательской заземленностью взрослых — родителей, учителей. Как, например, в изящных психологических зарисовках «Жимолость», «Ты хороший парень, Рикард!», «Вмятина».

Детская цельность, непосредственность граничат порой с драматической обостренностью мировосприятия, непримиримостью, а то и жестокостью. Десятилетняя героиня новеллы «Пет и Лисе» после гибели брата замыкается в себе, отгораживается от мира глухой стеной. Безрассудная жажда острых приключений, риска, азарта приводит юных угонщиков автомобилей к преступлению («Рогер-14»).

Детство в новеллах Боргена — это и вечный спасительный источник, затерянный где-то на далеких вершинах, свет, продлевающий короткое северное лето. Воскрешая картины детства, Он и Она спасают друг друга в ледяной пустыне одиночества в новеллах «Ты любовью меня уведи из тенет отзвеневшего детства!..», «Виктория-регия», «Зимнее море».

Герои Боргена очень разные. Одни «прячутся от судьбы в пейзаже с крошечными холмами», ревниво оберегая свой убогий, карликовый мир — мир потребительства и мещанского самодовольства. В нем замкнуты молодожены из новеллы «Медовый месяц» и пожилая чета обывателей, разглагольствующая об искусстве («Нуммерманы»). Хлестко, гротескно, пожалуй несколько прямолинейно, написан «Семейный портрет»: респектабельный буржуа, отмеченный «высшими наградами своей страны», читает в газете сенсационный репортаж о собственной семейной драме — его сын, одурманенный наркотиками, зарезал родную сестру.

Но есть и другой мир — мир «голубых сияющих вершин», к которым стремится «Роберт-60». Обозначенный в трилогии о Маленьком Лорде как «типичный второстепенный персонаж», он вызывает писателя, создавшего его, на своего рода поединок. В романе он — «предприимчивый и обаятельный шарлатан», а в новелле — подлинный герой Сопротивления. И писатель признается в собственном поражении — жизнь героя вышла за пределы авторской фантазии.

В судьбе Роберта и многих других героев Боргена («Письмо от Ива», «Счастье»), так или иначе соприкоснувшихся с войной, как в зеркале отражается судьба самого писателя. «Ведь фантазия, — по словам Боргена, — не парит в пространстве, а имеет корни в испытанном, в пережитом». В годы оккупации Норвегии он разделил судьбу многих своих соотечественников, преследуемых нацистскими властями за активную деятельность в рядах Сопротивления, и был заключен в фашистский концлагерь Грини. Об этих годах «ненависти и борьбы» повествует его публицистический дневник «Дни в Грини» (1945). К теме войны Борген обращается и в романах «Лета нет и не будет» (1944), «Тропа любви» (1946), «Голубая вершина» (1965). И самый незабываемый персонаж Боргена — Маленький Лорд, «этот златокудрый ангел», «баловень судьбы», делает решающий выбор в час испытаний — в борьбе с оккупантами погибает смертью героя.

В произведениях Боргена часто возникает конфликт между ролью, продиктованной извне, и сутью, между «человеком на самом деле», «человеком как он есть» и некой стандартной безымянной маской. Человеческая индивидуальность, «особые приметы» вызывают маниакальную подозрительность у таможенного чиновника, для которого люди — всего лишь владельцы паспортов («Паспорт»). От этих карикатурных чиновников, болтливых пророков-интеллектуалов, корыстных ханжей, разыгрывающих благочестие и любовь к ближнему, пытаются ускользнуть, «потеряться» герои новелл «Моисей», «Письмо от покойного друга», «Кто есть кто», «В добрый путь!», «Декабрьское солнце».

В «Избранных новеллах» — будь то изящные лирические миниатюры, философские притчи или острые сатирические памфлеты — заключена особая скрытая энергия повествования. И в этом — своеобразие таланта Юхана Боргена, замечательного писателя, воспевшего Норвегию — «страну голубых вершин».

КАТАРИНА МУРАДЯН

[1] Юхан Борген. Избранное М., «Прогресс», 1979. На русском языке выходили также радиопьесы Боргена в сборнике: «Скандинавские радиопьесы». М., «Искусство». 1978; сборник новелл «Декабрьское солнце». М., «Известия», 1983; эссе и статьи в сборнике «Писатели Скандинавии о литературе». М., «Радуга», 1982.

Издано за рубежом

В ТЕНЕТАХ «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА»

Dieter Wellershoff. Der Sieger nimmt alles. Köln, Kiepenheur & Witsch, 1983.

Дитер Веллерсхоф. Победитель забирает все. 1983.

Имя западногерманского писателя Дитера Веллерсхофа советскому читателю уже известно[1], хотя, может быть, и в значительно меньшей степени, чем того заслуживает маститый автор шести сборников статей, многочисленных радиопьес, сценариев, рассказов и теперь уже шести романов. Он вошел в литературу в начале 60-х годов как критик и теоретик, создавший хоть и недолговечную, но заметную «кёльнскую школу нового реализма», программным требованием которой была предельная точность, вплоть до мельчайших деталей, в изображении внутреннего и окружающего мира человека, тщательное, скрупулезное, чуть ли не научно выверенное описание психологического механизма его действий и поступков.

В 1983 году увидел свет новый роман Д. Веллерсхофа «Победитель забирает все». Это самая «толстая» книга писателя, но, разумеется, не ее объем причина того, что роман вызвал в Западной Германии такое количество откликов, какого не вызывала ни одна из предыдущих работ Д. Веллерсхофа, в общем-то и раньше не обделенного вниманием критики.

К этой книге автор шел давно и трудно (тем более что, по его собственному признанию, толчком и основой послужила судьба его брата) и считает ее, по крайней мере сейчас, своей Главной книгой.

Роман начинается на детективный манер: в понедельник утром в опустевшей гостинице при уборке в одном из номеров обнаружен труп. Согласно книге регистрации постояльцев, это некий Ульрих Фогтман, лет 50-ти, дипломированный коммерсант из Зигбурга (Рейнская область), родившийся в Ганновере Глубокому анализу его жизни во всех ее сложных взаимосвязях с другими людьми (действующих лиц — перво- и второстепенных, а то и вовсе едва мелькнувших — в книге довольно много) и посвящен роман. Это история восхождения, падения и гибели человека в условиях «экономического чуда», явленного во времена Аденауэра.

Однажды студент Ульрих, еще не имея никаких целей и планов на будущее, не выбрав еще направления в жизни, попробовав изучать сперва философию, потом медицину и забросив и то и другое, попал на доклад на тему «Деньги». Он решает заняться изучением экономических наук, отныне цель его — «делать деньги». Во время студенческих каникул он ради приработка нанимается на одну фабрику средней руки, производящую продовольственные товары. Дочь владельца Элизабет Паттенберг влюбляется в него, и хотя его подруга, югославка Йованка, ждет от него ребенка, он заставляет ее прервать беременность и женится на Элизабет, хладнокровно используя ее как трамплин для взлета «на верхние этажи». Постепенно он становится практически хозяином фабрики, целеустремленно и упорно расширяет и расширяет ее вопреки желанию тестя и шурина Рудольфа, превращая ее в одно из крупных звеньев супермаркета. В стремлении все больше и больше разбогатеть он ввязывается в самые рискованные предприятия. Необходимость завоевывать новые рынки сбыта толкает его на заключение сделок с сомнительными, но многообещающими партнерами Попытки осторожного, дорожащего честью фирмы тестя образумить его ни к чему не приводят: остановиться Фогтман уже не в силах — он не может не двигаться дальше. Одна сделка цепляется за другую, одна удача манит сделать следующий шаг, одно затруднительное положение толкает к другому, и то, что кажется выгодой и спасением, оборачивается новым крахом, а значит, и новыми поисками дальнейшего пути к выходу, на котором блеснувший луч удачи лишь придает силы для новых действий, ввергающих его в новые авантюры.

Аннотация на суперобложке определяет содержание романа как «переплетение общей экономической жизни с существованием каждого в отдельности». И на самом деле: в истории предпринимателя Ульриха Фогтмана и его семьи отражена жизнь Западной Германии с середины 50-х до второй половины кризисных 70-х годов, в которые «пляска вокруг золотого тельца становится пляской смерти».

Гибнет тесть, кончает самоубийством спившийся шурин Рудольф, сам себя заключивший — в знак протеста — в фамильную виллу Паттенбергов, подлежащую, в соответствии с планами Ульриха, сносу, а окружающий ее роскошный парк с вековыми деревьями — и среди них прямо-таки символически олицетворяющим солидность и надежность могучим кедром — выкорчевыванию. Семья Ульриха, естественно, разрушается. Элизабет все более отдаляется от него, не выдержав его мелких и крупных обманов (и в том, как он распоряжается ее капиталом, и то, как обходится с фамильной честью, и попросту его супружеской неверности). Она опускается и утрачивает всякий контакт с сыном Кристофом, предоставленным самому себе. Ульрих же ввязывается в аферу международного масштаба (с целью завоевать как рынок сбыта — ни мало ни много — Африку) и становится жертвой ловкого и увертливого мошенника Оттера, ослепляющего его блеском шикарной жизни, безудержной роскоши и «богиням подобными» женщинами. Поняв, что сделка — блеф, что Оттер скрылся, что воз-

[1] Повести Д. Веллерсхофа «Морской берег в двойном освещении» и «Стихотворение о свободе» опубликованы в «ИЛ», 1978, № 2 и в сборнике «Повести писателей ФРГ». М., «Прогресс», 1982.

любленная — «прикомандированная» Оттером шлюха, что займа не только не получить, но и капиталовложения погибли, Ульрих ночью в гостинице, не в силах позвать на помощь, умирает от инфаркта.

Надо сказать, что тема губительной погони человека за золотым тельцом, причем в плане именно социально-критическом,— не новая в творчестве Д. Веллерсхофа. Предшественниками этой книги писателя были роман «Красота шимпанзе» (1977) и сценарий двухсерийного телефильма «Фантасты» (1979). Но ни в одном из предыдущих произведений Д. Веллерсхофа социальная критика не носила такого безусловного, четкого и яркого характера, причем критика эта направлена именно на систему, при которой человека, раз вступившего на путь самоутверждения и добывания жизненных благ, как топь, засасывает необходимость любыми средствами пробираться, пробиваться дальше, чтобы не быть втоптанным и растоптанным. «Деньги — это универсальная машина, приводящая все другие машины в движение. Это «обмен веществ» общества, его нервная система. Это самое гениальное порождение человеческого мозга» — таково убеждение Ульриха Фогтмана, и с этим убеждением он отправляется в поход за богатством.

Все описания, как всегда у Д. Веллерсхофа (верного принципам своей отошедшей в прошлое «школы нового реализма»), очень подробны, скрупулезно точны. Так, в мельчайших деталях рисуются процессы финансово-экономического характера, банковские операции, биржевые страсти. И при всей научной фундированности всех этих многостраничных пассажей они читаются с неослабевающим интересом — в них тоже есть своя поистине детективная напряженность и захватывающая острота.

Как было отмечено вначале, роман «Победитель забирает все»[1] вызвал множество откликов в западногерманской прессе. Характерны названия статей: «Бальзак немецкой марки?», «Блеск и нищета нашего общества», «Побежденный должен погибнуть», «Побежденный победитель», «Делать деньги — как высшая цель», «Бедный богач из Зигбурга», «Дитер Веллерсхоф сочетает детективный роман с анализом жизни» и т. д. Тема, заданная в двух первых из указанных здесь заголовков, присутствует во многих статьях, где Д. Веллерсхофа называют Бальзаком западногерманского общества. О книге пишут как о «явлении мировой литературы»; в одной рецензии говорится: «Как великие романисты XIX века, Дитер Веллерсхоф пишет, полностью основываясь на точном знании жизни и людей». В другой — роман определяется как «эпос большой выразительной силы и языкового блеска», называется «новой главой в великой литературе». Есть, разумеется, и критические статьи, и критические замечания в статьях, подчеркивающих высокую художественную ценность и социальную значимость романа. К наиболее часто повторяемым минусам романа критики относят его слишком большой объем, чрезмерную детализированность, излишества в описаниях «производственного» процесса (финансовых, банковых, биржевых операций, сложной системы взаимозависимостей в «деловых кругах» и т. п.), хотя другие критики именно в этом видят долговременное (а в одной рецензии сказано даже — «непреходящее») значение этой книги. При всем том даже «критические» критики отмечают драматическую напряженность, которой пронизаны и эти «скучные» отступления, которые, кстати сказать, и не отступления вовсе, а органическая часть романа — романа, выразительно запечатлевшего изнанку и трагические последствия пресловутого «экономического чуда».

Е. КАЦЕВА

[1] Это дословный перевод названия, но как бы его ни переводить, следует не поддаваться соблазну и уйти от переклички с известным заглавием сборника рассказов Хемингуэя «Победитель не получает ничего». Дело в том, что победитель в романе — смерть, и глагол должен быть активным, энергичным: смерть «забирает» все сама, а не кто-то от кого-то что-то «получает».

ЕЩЁ О «БЕСАХ»

Carlo Castellaneta. Ombre. Milano, Rizzoli Editore 1982.
Карло Кастелланета. Тени. 1982.

Книги Карло Кастелланеты привлекают внимание своей злободневностью: почти в каждой из них он затрагивает тот или иной из больных вопросов, стоящих сегодня перед итальянским обществом. Так обстоит дело и с его последним (к моменту, когда пишутся эти строки) романом «Тени», в котором писатель обратился к теме «левого» терроризма.

Историю работы над этим романом Кастелланета вкратце поведал сам: «Я перечитал «Бесов» Достоевского, ища в образе Ставрогина знакомые мне черты, приметы наших нынешних «утренних палачей». Но чем больше я углублялся в тему, знакомясь с текущей публицистикой, материалами следствия и прочими документами, тем яснее мне становилось, что в общей картине заговора разрушителей вырисовываются другие персонажи и другие силы».

Если взглянуть на то, что вышло из-под пера Кастелланеты, имея на памяти «Бесов», то узнаваемого найдется все-таки немало[1]. Здесь, как и там, видим холодное изуверство «придавленных идеей», иезуитскую неразборчивость в средствах, фразерство и расчетливую жестокость, порой выступающую в облике ангелоподобной чистоты. И там и здесь во главу угла поставлен принцип (цитирую Достоевского) «всеобщего разрушения для добрых окончательных целей» (русскими «бесами», нелишне заметить, вынесенный из дальних странствий). Только современные итальянские ставрогины и петры верховенские и тем паче их последователи еще более смутно представляют себе, в чем должны состоять «добрые окончательные цели» Зато жажда всеобщего разрушения в них еще сильнее: мечта о хаосе, о «кровавой бане»

[1] Напомню читателю, что «Бесы» дают объективную картину анархистского движения, хотя сам Достоевский смешивал анархистов с социалистами.

принимает в их головах апокалипсические черты.

Но не будем слишком нажимать на подобия, обратим внимание на «другие персонажи и другие силы», составляющие в романе Кастелланеты — как и в самой итальянской действительности — необходимые элементы донельзя запутанной на первый взгляд картины, каковую являет собой феномен «левого» терроризма.

Они выступают в полицейских мундирах и в форме офицеров воздушно-десантных войск, в цивильном платье работников секретных служб и в полосатых пижамах заключенных-уголовников... и так далее, и так далее. И все это не противники или соперники тех, кто именуют себя «красными мстителями», наоборот, их прямые или косвенные сообщники и пособники.

Конечно, тот факт, что «левый» терроризм играет на руку или даже прямо служит интересам наиболее реакционных кругов в капиталистических странах, что он стал «компонентом системы» (по выражению известного советского критика Ц. Кин), давно уже не составляет секрета. Но одно дело — знать о существовании такого рода связи, опираясь на сухие факты, на логический анализ ситуации, и другое — представить наглядно, как она, эта связь, реализуется в действительности.

В романе есть такая сюжетная линия. Не откуда-нибудь, а прямо из римского Дворца правосудия поступает сигнал, что хорошо было бы ликвидировать известного юриста, судью по должности, коммуниста по партийной принадлежности, вставшего поперек дороги кому-то из сильных мира. Сигнал попадает к некоему адмиралу, возглавляющему неназванный секретный офис, от него к полуофициальному секретному агенту, далее к делу подключаются, со всеми возможными предосторожностями, «международные террористы» неопределенной национальности и какие-то совсем уже темные личности. В конце цепочки возникают «красные мстители», в упор расстреливающие из автоматов судью во имя «пролетарской революции».

Разумеется, далеко не всегда система наведения работает так четко: феномен терроризма (об этом не раз говорится и на страницах романа) был и остается в какой-то мере неуправляемым. Но ведь главное, чего ждут от террористов реакционные круги, на что они их нацеливают,— не убийства отдельных неугодных личностей. Это, так сказать, побочная задача. Основная, стратегическая задача — дестабилизация буржуазной демократии. И выбор конкретных мишеней тут не столь уж важен. Какие бы убийства, взрывы, поджоги и т. д. ни совершали террористы, они тем самым волей или неволей расчищают путь для реакционной диктатуры.

Случаи же, подобные описанному (а они происходят не только в романах, но и в действительности), впечатляют тем, что даже выбор мишеней оказывается продиктованным кем-то из власть имущих. То есть террористы оказываются с головой втянутыми в игру, которую Кастелланета именует «политикой обмена и взаимных услуг» («Мы — вам, вы — нам»). Поистине сатанинский хоровод оживает на страницах его романа: денежные мешки и «красные мстители», полицейские и мафиози, подпольные торговцы оружием и агенты ЦРУ — все как будто собрались на один общий шабаш.

Есть от чего прийти в отчаяние леворадикальным террористам: «система» выглядит непробиваемой. Левиафан (метафора капиталистического общества), сетуют они, все враждебное ему усмиряет и приручает, все чуждое заглатывает, переваривает и обращает себе на пользу. Даже в упор прямо в лоб ему целишь — ан нет, пуля летит в нужную ему, Левиафану, сторону.

Никакой мистики здесь, однако, нет: Левиафан заглатывает и переваривает только то, что ему родственно, гомогенно. Того, что ему действительно враждебно и чуждо, страшится и стремится отторгнуть. «Левый» терроризм потому и оказался у него, так сказать, в брюхе, что не предложил ничего, что было бы достойно зваться реальной альтернативой.

Связь, существующая между «левым» терроризмом и его формальным противником, не является чисто механической: одна шестеренка зацепила другую, другая зацепила следующую и так далее. Тут именно гомогенность — близость на уровне психологии. Кастелланета в меру своих сил раскрывает эту близость в романе.

«Кажется, что ему... доставляет удовольствие командовать, идти на риск, что бросить вызов является для него самоцелью», — так отзывается одна из участниц террористической группы о своем руководителе, выступающем в романе одним из основных персонажей. И впрямь для этого деятеля — в глазах автора олицетворяющего движение, к которому он принадлежит, — «революционная» фразеология является всего лишь фиговым листком, прикрывающим азарт игрока и любителя острых ощущений или холодный расчет «человека действия», для которого убийства, похищения и прочее стали как бы профессией. По сути его мораль — буржуазная мораль успеха; никакой другой он не знает. Он холоден и жёсток даже со своими, даже с женщинами. Деляга Петр Верховенский, пожалуй, выглядел бы сентиментальным слюнтяем рядом с этим человеком. Снять с него личину «революционера» — и перед нами окажется разновидность гангстера американского образца (или супермена с повадками гангстера), в разных ипостасях заполняющего западные кино и телеэкраны, страницы комиксов и т. п.

Не все террористы в романе таковы. Среди рядовых исполнителей встречаются и те, которым не чужда своего рода экзальтация, нечто родственное религиозному, сектантскому чувству [1]. (Схожую разницу в образе мыслей руководителей и рядовых исполнителей находим уже в «Бесах».) Эти, по-своему нищие духом, люди дали себя увлечь на путь, ведущий в сторону, прямо противоположную той, куда зовут лозунги, извлеченные ими из великих книг. Есть ли, например, что-нибудь более противоестественное, более жестокое и более циничное, чем убивать пролетариев (одно такое убий-

[1] Об идеологии «левого» терроризма см. статью К. Мяло. «ИЛ», 1984, № 3.

ство совершается и в романе) только за то, что те являются «частью системы», убивать во имя «пролетарской революции»!

Жаль только, что Кастелланета, судя по некоторым его пассажам, недостаточно четко разграничивает идеологию «левого» терроризма и марксизм. Они принципиально несовместимы, и смешивать их выгодно как раз тем, кто дергает за ниточки, управляя действиями террористов. Таким путем рассчитывают дискредитировать марксизм, приписав ему ответственность за кровавые преступления «красных мстителей».

Чтение романа наводит и на такую мысль. Левиафан в его современном, «позднекапиталистическом» варианте возрождает и всячески поддерживает худшие или, во всяком случае, не лучшие традиции прошлого, еще недавно казавшиеся умершими. Так, в образе действий равно террористов и полицейских дает о себе знать старинная вендетта, месть за своих, зачастую берущая верх над теми или иными принципиальными соображениями («жаждущие скорее вендетты, чем настоящей революции», — говорится о террористах у Кастелланеты). Стоит пролиться первой крови, а дальше рука тянется к спусковому крючку, повинуясь уже не столько рассудку, сколько чувству мести.

Было также не раз замечено, что «левый» терроризм возрождает традицию бригантов, давным-давно уже существовавших только на оперной сцене, где эти живописные злодеи со страшенными усами спокойно, можно сказать, доживали свой век. Бриганты совмещали так называемый «благородный разбой» (патриархальный самосуд) с разбоем просто, без каких бы то ни было оправдательных эпитетов. Но если бриганты нередко пользовались поддержкой крестьян (видевших в них единственных заступников перед угнетателями, хотя в то же время и страдавших от их грабежей), то современные наследники Фра Дьяволо и Антонио Катинеллы полностью изолированы от народа.

А «верхи», в свою очередь, — не возрождают ли они кое в чем нравы иных феодалов XVI века, «прославившихся» коварством и утонченной жестокостью? В самом деле, когда читаешь о тех зловещих кознях, какие в романе Кастелланеты строят облеченные властью персоны, перед глазами встает какой-нибудь Борджиа, плетущий в тиши своего дворца сатанинскую паутину заговоров и интриг, которые кто-то потом оплатит своей кровью.

Это именно те традиции истории, о которых Маркс писал, что они, подобно кошмару, тяготеют над умами живых.

Роману Кастелланеты, пожалуй, недостает ярких, свежих красок, особенно в обрисовке характеров. Но может быть, все дело в том, что круг его персонажей — это «тени», как он сам их называет, люди, живущие иллюзорной, неполноценной жизнью. А какие могут быть претензии к «театру теней» по линии, скажем так, хроматизма? В таком случае живые и свежие краски надо просто искать в другом месте.

Ю. КАГРАМАНОВ

◆

Из месяца в месяц

БАХРЕЙН

КНИГА О ТЕАТРЕ

В маленьком островном государстве Бахрейн, лишь недавно добившемся независимости, любят театр. Молодые театральные коллективы страны успешно выступают как у себя на родине, так и в соседних арабских странах; появились первые пьесы бахрейнских авторов.

Театру и драматургии на Бахрейне посвящена вышедшая там недавно книга писателя и драматурга Касема Амина «Бахрейнский театр. Опыт и перспективы (1925—1975)».

БОЛГАРИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 1984 ГОДА

В этом году высшая награда Болгарии — Димитровская премия — присуждена поэту Евтиму Евтимову за сборники «Пиринские баллады» и «Пирин мой», в которых он воспел один из красивейших краев родной страны. (О творчестве Е. Евтимова «Иностранная литература» поместила эссе Н. Федоренко—1981, № 5.)

Премии удостоен также Л. Станев, прозаик, киносценарист, автор сценария фильма о Г. Димитрове «Предупреждение», который с успехом демонстрировался в Советском Союзе.

«Литературен фронт» сообщает о присуждении ежегодной премии Союза болгарских писателей. Ею отмечены замечательные поэты старшего поколения: Э. Багряна за удивительно сильную, как писала болгарская критика, поэтическую книгу «На берегу времени» и М. Исаев за сборник стихотворений «Звездные мгновенья», полный высокой гражданственности и лиризма. За поэмы, посвященные болгарскому селу, Н. Стайков награжден посмертно.

О преемственности поколений болгарских поэтов свидетельствует присуждение премии молодой поэтессе Е. Иосифовой за сборник «Дом в поле».

В области прозы премии удостоены известные советским читателям и зрителям прозаики и драматурги: Й. Радичков за сборник рассказов «Нежная спираль», С. Стратиев за книгу для детей «Жизнь в небе», а также молодые талантливые прозаики А. Томов за сборник новелл «Элегии о птицах» и П. Андасаров за книгу «Наступают хорошие времена».

Премией Союза писателей также были отмечены книга литературных воспоминаний известного критика Е. Каранфилова и книга И. Цветкова «Взгляд на две литературы», в которой собраны статьи, посвященные крупнейшим представителям болгарской и советской литератур.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПО СЛЕДАМ ДЖОНА БОЙНТОНА ПРИСТЛИ

В сентябре этого года старейшему английскому писа-

Режиссер Тодор Стоянов снял фильм «Вибрация» по сценарию Викенти Маринова. Главный герой фильма Алтамаров выступает против пуска атомной электростанции, на которой приборы показывают повышенную вибрацию. Он убежден в своей правоте и, хотя рискует многим, ставя на карту свой престиж, делает почти невозможное, чтобы добиться своего и предотвратить трагедию. Это фильм, как отмечают критики, о формальном и неформальном отношении к труду, об истинном и показном чувстве долга, о дружеских связях на работе, которые в той или иной степени связывают людей и делают их зависимыми друг от друга, о мере ответственности, о «вибрации души», не желающей идти на компромиссы.

Главную роль, как отмечает пресса, сыграл очень ярко Николай Сотиров.

На снимке: кадр из фильма.

(Журнал «Болгарские фильмы»)

телю, драматургу, романисту, эссеисту, видному общественному деятелю Джону Бойнтону Пристли исполнилось бы 90 лет. Он умер 15 августа, не дожив месяца до своего 90-летия. Британское телевидение отметило юбилей писателя, воссоздав путешествие по Англии, которое Пристли предпринял полвека назад и которое потом легло в основу книги с довольно витиеватым заглавием: «Английское путешествие: сбивчивый, но правдивый рассказ о том, что автор видел, слышал и чувствовал, странствуя по Англии осенью 1933 года».

Вести телесерию было поручено английской писательнице Берил Бейнбридж. На страницах журнала «Листнер» она делится с читателями своими впечатлениями о путешествии:

«Мы повторили путь, который пятьдесят лет назад проделал Пристли: от Саутгемптона до Черного Края, затем от реки Тайн в просторы восточной Англии. Начали мы наши странствия 14 августа, закончили 29 октября. Мне была отведена роль ведущей. Иными словами, я должна была брать интервью у самых разных людей. Я не люблю это слово: оно слишком официально. Да и мои интервью больше походили на разговоры — мы запросто перебивали друг друга, шутили, делились соображениями, конечно, если таковые имелись. Надо, чтобы собеседник чувствовал себя раскованно, в противном случае не услышишь от него ничего искреннего. Разговаривала я с людьми самых разных профессий, социального положения и состояния: крупными промышленниками, архитекторами, университетскими профессорами, музыкантами, епископами, рабочими, в основном безработными, циркачами, актерами и т. д.

Конечно, — продолжает Берил Бейнбридж, — меня не назовешь беспристрастным и уж тем более объективным путешественником. Есть люди, которые живут в настоящем, есть такие, кто уже — в будущем. А есть и третья категория, тех, кто живет в прошлом. Это я. Я душой в том мире, который подчас вызывал негодование Пристли, — в душных от дыма городках, на узких улицах, в бедных кварталах. Вот этой Англии Пристли мне не хватало в нашем сегодняшнем путешествии. Повсюду нас встречали скоростные трассы, современные кварталы, магазины, оборудованные по последнему слову техники, уродливые небоскребы, заводы, оснащенные роботами. Эта Англия мне показалась очень чужой. С бешеной скоростью мы неслись по стране, мелькали города, люди. И вдруг моя Англия, которая виделась мне такой большой во времена моего детства, показалась крохотной страной.

Перед началом серии, — вспоминает Берил Бейнбридж, — Пристли пригласил меня на ленч. Я сказала, что собираюсь в дальнейшем написать книгу очерков об Англии, хотя призналась, что еще не знаю, как справлюсь с этим делом. «Можно мне вам дать совет? — спросил Пристли. — Если не знаете, о чем писать, не стесняйтесь — выдумывайте». Что ж, я воспользуюсь советом мастера».

Известный график Хит Робинсон является иллюстратором многих книг. Недавно из печати вышел сборник этих иллюстраций. Предлагаем одну из них—«Дон Кихот».

(Журнал «Бритиш бук ньюс»)

На снимке: портрет Эндре Ади неизвестного художника.

(Газета «Мадьяр немзет»)

ВЕНГРИЯ

НЕИЗВЕСТНЫЙ РИСУНОК

Газета «Мадьяр немзет» поместила на своих страницах интересное сообщение ученого, филолога, литературоведа Белы Лендьела о том, что в одном из частных собраний найден доныне неизвестный рисунок, изображающий Эндре Ади.

«Так уж случилось, — пишет Бела Лендьел, — что киноленты не сохранили для потомков ни жестов поэта, ни динамизма его выразительного лица. Грампластинки не сберегли своеобразия его голоса, не запечатлели манеры чтения собственных стихов. Нет этих опи аний и в воспоминаниях его друзей и современников.

Не много было графиков, живописцев, скульпторов,— продолжает Лендьел, — которые пытались запечатлеть его лицо, передать неповторимое выражение глаз поэта».

Только недавно появился капитальный труд Ласло Витайоша и Ласло Ороса «Материалы к биографии Эндре Ади», открывающий новые возможности для дальнейшего исследования творчества поэта.

В 1977 году, в год празднования 100-летия со дня рождения Эндре Ади, Литературным музеем имени Шандора Петёфи был издан альбом портретных рисунков, отдельные графические зарисовки печатались также в журналах «Уй ираш». Обнаруженный сейчас в частном собрании ранее неизвестный рисунок, изображающий поэта, является ценным пополнением коллекции.

«К сожалению, об авторе этого рисунка и времени его исполнения, — пишет автор заметки, — ничего не известно. Но можно предположить, что он был сделан в дружеской компании незаметно для Ади, потому что в рисунке нет и следа позирования. Все внимание рисовальщика сосредоточено на больших и выразительных глазах Ади, освещенных глубокой мыслью».

ГДР

ДМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ У ШИЛЛЕРА И У ФОЛЬКЕРА БРАУНА

В мекленбургском театре г. Шверина идет необычный спектакль. В один вечер показывают две пьесы почти с одинаковым названием: неоконченную трагедию Шиллера «Деметриус» и пьесу известного немецкого драматурга Фолькера Брауна (ГДР) «Дмитрий».

Над «Деметриусом» (или «Дмитрием Самозванцем» — под таким заглавием был опубликован отрывок из трагедии на русском языке в переводе Л. Мея) Шиллер работал буквально до последних дней. Идея «самозванства», узурпации власти занимала Шиллера долгие годы. Известно, что он собирался писать пьесу из жизни английского самозванца Варбека, выдававшего себя за сына одного из английских королей. Смерть помешала Шиллеру закончить трагедию «Де-

На снимке: Мартин Зайферт в роли Дмитрия в пьесе Ф. Брауна.

(Журнал «Театер дер цайт»)

метриус», которая, судя по дошедшему до нас тексту, должна была стать значительным в его творчестве произведением.

Замысел Шиллера был настолько интересен, что вскоре после опубликования в 1815 году пьесы, вернее «фрагмента», как стали его называть, появились различные концовки, продолжения, переработки и т. д. Поэтому пьеса Ф. Брауна, написанная более чем через полтора века на эту же тему и с почти таким же названием, была встречена с большим интересом.

Основная задача Ф. Брауна и режиссера спектакля Кристиана Шрота — как можно полнее раскрыть мысли и политические идеи Шиллера, показать связь его с современностью. «Дмитрий» Брауна ни в коей мере не противоречит «Деметриусу» Шиллера. Ф. Браун, хотя и следует плану Шиллера, но, по его словам, «не заканчивает пьесу, а создает новое художественное произведение». Он говорит, что его вдохновляла история Лжедмитрия, которая могла послужить прекрасным поводом «для театрализованного похода против декларируемого принципа незыблемости классового общества».

Слова шиллеровского Деметриуса: «Хочу свободных сделать из рабов» пронизывают обе части спектакля, который, по словам журнала «Театер дер цайт», «обладает известной остротой, элементами комизма, ярким чувством современности». Сам факт постановки подобного спектакля в известной мере отвечает пожеланию Гёте, высказанному им в своих дневниках сразу же после смерти Шиллера: «Если бы пьеса пошла во всех театрах, то это было бы самыми прекрасными поминками, которые Шиллер мог устроить для себя...», и еще раз свидетельствует об интересе к творчеству великого немецкого писателя, 180 лет со дня смерти которого исполняется в будущем году.

ИНДИЯ

ГИБЕЛЬ ЛИТЕРАТОРОВ

Индийская пресса сообщает о событиях в Пенджабе, пограничном штате на северо-западе Индии. Как пишет писатель и журналист К. С. Дуггал, «Индия добилась обеспечения сельскохозяйственными продуктами в значительной мере при помощи Пенджаба. Храбрые и трудолюбивые люди, сикхи, обладают сильно развитым чувством патриотизма. Они были последними, кто сложил оружие перед англичанами, и первыми, кто поднял восстание против них. Волнения, которые сейчас потрясают Пенджаб, — подчеркивает Дуггал, — дело рук экстремистов».

Писатель взволнованно пишет о том, как фракция экстремистов убила Сумита Сингха, редактора известного и популярного в Пенджабе ежемесячного журнала «Прит Лари». Его дед, Гурбакш Сингх, ветеран пенджабской литературы, был одним из основателей Движения писателей Азии и Африки. Отец Сумита — Навтедж Сингх— был большим другом СССР. Его книги переведены на русский и другие языки народов СССР. «Убив Сумита», «убили» и популярный пенджабский журнал «Прит Лари», который также кончил свое существование»,— пишет Дуггал.

Нынешние события в Пенджабе заставляют писателя вспомнить трагедию 1947 года, произошедшую вскоре после завоевания Индией независимости, когда полуостров Индостан был разделен на Пакистан и Индию и Пенджаб был рассечен пополам. Миллионы людей покинули дома и сотни тысяч их погибли по обеим сторонам границы: мусульмане убивали индусов и сикхов в западном Пенджабе, а сикхи и индусы убивали мусульман в восточном. Правительство Индии принимает все меры для подавления экстремистских сил и нормализации положения в штате.

«Пенджабские журналисты и писатели еще оплакивали Сумита Сингха, когда рано утром в своем доме был убит профессор Вишва Натх Тивари, один из талантливейших преподавателей Пенджабского университета, — пишет К. С. Дуггал,— которого Индира Ганди в свое время в знак признания заслуг в изучении пенджабской литературы и языка назначила членом парламента. Он прилагал все усилия, чтобы ситуация в Пенджабе разрешилась за столом переговоров. Эти два ужасных убийства, последовавших одно за другим, потрясли пенджабскую интеллигенцию. Индусы и сикхи связаны в Пенджабе настолько крепко, что невозможно представить существование одних без других», — заключает К. С. Дуггал.

КУБА

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХЕМИНГУЭЯ

Творчество Эрнеста Хемингуэя, несколько лет прожившего на Кубе, пользуется большой любовью читателей, и 85-летие со дня его рождения широко отмечается в стране. В честь этого события реставрирован и снова открыт для посетителей дом-музей писателя, который его вдова, исполняя волю автора «Старика и моря», передала кубинскому народу. В дни празднования работали выставки «Гражданская война в Испании» и «Хемингуэй на Кубе», была проведена встреча за «круглым столом», посвященная творчеству писателя.

В связи с 85-летием со дня рождения Хемингуэя в Гавану был приглашен Пол Смит, председатель «Хемингуэевского общества» в США. Это общество занимается организацией встреч в тех странах, с которыми связаны жизнь и творчество Хемингуэя.

ПОЛЬША

ПАМЯТИ ПОЭТА

Исполнилось девяносто лет со дня рождения выдающегося поэта Юлиана Тувима (1894—1953). Еще своими ранними сборниками он обратил на себя внимание критики удивительной точностью наблюдений, оригинальностью формы, своеобразием языка. Тувим родился в промышленной Лодзи в семье банковского служащего, там окончил гимназию, там стал печататься. В 1916 году он переехал в Варшаву, где началась его активная литературная деятельность. Он становится руководителем многих литературных кабаре, является одним из создателей группы «Скамандр».

Творчество Тувима было настолько ярким, что оно, по словам Ярослава Ивашкевича, означало «начало новой поэтической эры».

Юношеские стихи, полные беззаботности и радости бытия, сменяются стихами, полными едкой иронии; поэт восстает против «страшных мещан» с их «страшной жизнью», «страшными квартирами», он не может понять, почему его отчизна остается мачехой для простых тружеников (сборники «Слова в крови», 1926, «Чернолесье» 1929), главным героем его становится простой человек («К простому человеку», 1929). Все больше и больше Тувим обращается к политической и общественной теме, разоблачению социального бесправия и милитаристских устремлений «санационного» правительства (сборники «Цыганская библия...», 1933, «Пылающая сущность», 1936). Но высшим достижением политической сатиры, реквиемом санационной Польше явилась поэма «Бал в опере», которая была тут же конфискована и увидела свет только после войны.

После нападения фашистской Германии на Польшу Тувиму пришлось эмигрировать, но и в годы эмиграции он страстно выступает против фашизма, создает выдающуюся поэму «Цветы Польши», в которой говорит о своей тоске по далекой Родине, о ее истории, ее людях. Глава из этой поэмы «Молитва» широко распространялась в подполье оккупированной Польши, помогала бороться против захватчиков, призывала к утверждению демократии, свободы и неразрывному союзу с «народом Ста народов» — с Советским Союзом.

В 1946 году Тувим вернулся в Народную Польшу. Его деятельность очень широка, он много времени уделяет воспитанию молодых поэтов, увлеченно занимается переводами русской и советской литературы. Им созданы замечательные переводы «Слова о полку Игореве», стихотворений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Маяковского, Светлова, Пастернака и многих других. Он создал также прекрасный цикл стихотворений для детей.

Девяностолетие поэта было отмечено не только в Польше, но и литературной общественностью других стран.

На малой сцене театра Народовы в Варшаве по пьесе А. Н. Островского поставлен спектакль «Лес». В роли Несчастливцева выступил Кшиштоф Хамец, он же режиссер спектакля. В роли Счастливцева — Ежи Турек.
На снимке: сцена из спектакля. *(Журнал «Театр»)*

САЛЬВАДОР

«Путь к свободе — Сальвадор» — так назвали свой новый документальный фильм кинематографисты Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти. Тема их предыдущей киноленты «Сальвадор — народ победит» — политико - экономическая жизнь страны в период до 1982 года. Новый фильм рассказывает, как и чем живут сегодня люди в освобожденных районах; он посвящен женщинам Сальвадора, которые оказывают посильную помощь и поддержку бойцам революционной армии.
На снимке: кадр из фильма «Путь к свободе — Сальвадор».

(Газета «Ланд ог фольк»)

О МИГЕЛЕ МАРМОЛЕ

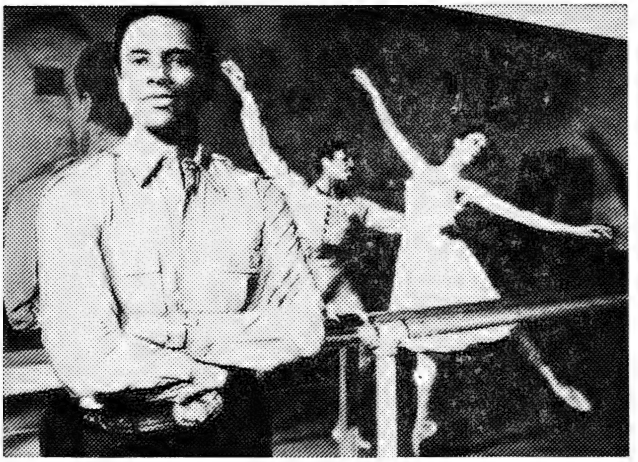
В связи с выходом в издательстве «Каса де лас Америкас» книги сальвадорского поэта Роке Дальтона «Мигель Мармоль. События 1932 года в Сальвадоре» рецензент газеты «Хувентуд ребельде» пишет: «Необычна история ее создания. Замысел книги зародился у Роке Дальтона после публикации материалов о деятельности одного из основателей и руководителей Коммунистической партии Сальвадора Мигеля Мармоля. Живой интерес читателей к легендарной личности старейшего коммуниста и актуальным проблемам национально - освободительного движения в этой стране послужили стимулом для создания книги».

В предисловии к ней Роке Дальтон писал: «Вначале меня увлек замысел романа или беллетризованной документальной книги, основу которой составили бы реальные события жизни Мармоля. Вскоре, однако, я осознал: сегодня повествование о нем необходимо воплотить в произведении иного жанра — строго документального, в котором не может быть художественного вымысла».

США

ИНТЕРЕСНОЕ ИЗДАНИЕ

«Настоящим путеводителем по пролетарской литературе всего мира» назвал Фред Уайтхед, рецензент газеты американских коммунистов «Дейли уорлд» недавно вышедшую в США книгу «Сле-



На снимке: основатель труппы Артур Митчелл и танцовщики Вирджиния Джонсон и Эдди Шеллман.
(Газета «Морнинг стар»)

ды магмы. Аннотированная библиография прогрессивной литературы». Создатель этого почти четырехсотстраничного труда канадский литератор и ученый Ролф Найт дает краткое изложение содержания более чем трех тысяч произведений полутора тысяч авторов из 90 стран. Основной упор в библиографии делается на романы о рабочем классе, написанные в текущем столетии, однако в нее включены и некоторые поэтические сборники, драматические произведения, рассказы, а также несколько документальных материалов, принадлежащих к популярному на Западе жанру «устных историй». Помимо анализа конкретных произведений Найт дает краткие обзоры культурных и политических аспектов развития литературы многих стран.

Касаясь американского раздела, рецензент газеты указывает, что он представлен очень широко. В него включены произведения как классиков — Джека Лондона, Эптона Синклера, так и Джека Конроя, Меридель Лесюр и многих других. В работе освещаются также малоизвестные книги о забастовках текстильщиков на Юге США, горняков Иллинойса. Среди документальных материалов особый интерес вызывают автобиографии Уильяма Фостера, Элизабет Гэрли Флинн, крупных профсоюзных вожаков.

Для полноты картины в конце библиографии дается обзор основных справочных работ по литературам отдельных стран. Рецензент «Дейли уорлд» пишет, что уникальная книга Найта, содержащая интересные комментарии, должна быть в каждой библиотеке США и Канады. А главное, пишет он, эта книга является убедительным опровержением любых сомнений относительного существования собственной культуры рабочего класса.

ЖИЗЕЛЬ — КРЕОЛКА

«Превосходный подарок любителям балета сделал Балетный театр Гарлема, показав премьеру своей «Жизели»,— пишет Кейт Кларк в газете «Морнинг стар». — В репертуаре театра умело сочетаются элементы классического балета и современного танца. «Жизель», бесспорно, одна из выдающихся работ этого театра: образы старой романтической легенды, известной еще со времен средневековья, вплетаются здесь в картины праздника сбора винограда и сахарного тростника в Луизиане XIX века».

Карл Мишел, художник гарлемского театра, и Артур Митчелл, режиссер и основатель труппы, обратились к истории негров Луизианы, живших там еще до Гражданской войны, где бытовала легенда, подобная старой сказке о призраках-девушках, погибавших до обручения.

«Вирджиния Джонсон, исполнительница главной роли,— выдающаяся актриса мирового театра,— считает К. Кларк.— Ее Жизель покоряет очарованием юности, волнением чувства первой любви. Весь спектакль идет на одном дыхании, с первого до последнего акта постоянно держит зрителя в напряжении. Спектакль, несомненно, входит в сокровищницу балетного искусства. Коллектив гарлемского театра дал новую жизнь старому, но не стареющему балету-легенде, обогатив его великолепной актерской игрой»,— такими словами корреспондент заканчивает свою статью.

ФРАНЦИЯ

«ГОСТЕПРИИМСТВО ПО-ФРАНЦУЗСКИ»

Со знаменитым памфлетом Эмиля Золя «Я обвиняю» сравнил новое произведение Тахара Бен Джеллуна критик газеты «Монд» Жак Мёнье. Поводом для написания «Гостеприимства по-французски» (издательство «Сёй») явилась волна убийств рабочих-эмигрантов, выходцев из стран Магриба, прокатившаяся по Франции в 1982—1983 годах. «После гибели Тауфика Уаннэса 9 июля 1983 года в Курнёв я решил взяться за перо, чтобы написать о цивилизации, которую занесло на поворотах. Мне хотелось выразить свой гнев и чувство горечи. Я писал, а североафриканцев продолжали убивать...»

Тахар Бен Джеллун считает главным виновником этого экономический кризис, отсутствие правильной эмиграционной политики.

Самые волнующие главы посвящены «детям предместий», арабам, родившимся во Франции. Когда в октябре 1983 года они совершили тысячекилометровый марш протеста под лозунгом «Перед вами проходит Франция завтрашнего дня», раздавались крики «браво», о них много писала пресса, но затем наступило то молчание, которое вновь подтвердило, что государству противостоит безмолвная масса североафриканцев - эмигрантов, у которых никто не спрашивает их мнения.

Тахар Бен Джеллун, замечает в заключение Ж. Мёнье,— певец рабочего класса «третьего мира» не по расчету, не из жалости, а потому, что убежден: надежда по-прежнему живет в тех, кто, казалось, ее давно потерял.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ

В Братиславе, в Союзе писателей Словакии, состоялось вручение премии имени Павла Орсага Гвездослава, присуждаемой лучшим зарубежным переводчикам и литературоведам, специализирующимся в области словацкой литературы.

Премии им. Гвездослава за 1983 год удостоена советская переводчица Нина Шульгина. Вручал ее председатель ССП Ян Солович.

Как отмечает словацкая газета «Правда», премия присуждена Н. Шульгиной «за высокий художественный уровень ее переводов и активное участие в пропаганде лучших достижений словацкой литературы последних лет».

Присуждение премии Гвездослава отметили также «Руде право», «Смена», «Праца», «Люд» и другие газеты.

Н. Шульгина — автор перевода трилогии Винцента Шикулы «Мастера», романа Петера Ярош «Тысячелетняя пчела», главы которых публиковались на страницах «Иностранной литературы» («Мастера» — 1979, № 4, 5; «Тысячелетняя пчела» — 1981, № 5, 6) и многих других произведений словацкой литературы.

Авторы этого номера

АНАНТА МУРТИ (род. в 1932 г.)

Индийский писатель — прозаик и поэт. Пишет на языке каннада. Автор одиннадцати книг, в том числе двух поэтических сборников, нескольких сборников рассказов и трех романов. Наиболее известен роман «Самскара» предлагаемый вниманию читателей. На языке каннада он вышел в 1967 г. Русский перевод выполнен по английскому изданию (U. R. Anantha Murthy. Samskara. A Rite for a Dead Man. Kannada novel. Delhi. Oxford University Press, 1978.)

САЛГАНИК МАРИАМ ЛЬВОВНА

Советский литературный критик-индолог, переводчик. Автор многих статей по проблемам литератур Азии и Африки. Переводила прозу и поэзию современных писателей Индии, Пакистана, Бангладеш.

ИВ БРУССАР — IVES BROUSSARD (род. в 1937 г.)

Французский поэт. Автор нескольких поэтических циклов и сборников, в том числе «По дороге» («Chemin baisant», 1971), «Близость жилья» («Proximité du gite», 1974), «Перешагни через неумолимость» («Traversée de l'inexorable», 1981). Основатель и главный редактор литературного журнала «Сюд», созданного в 1970 г. в Марселе. При участии И. Бруссара журнал «Сюд» выпустил специальный номер, посвященный многонациональной поэзии СССР (1982, декабрь). Стихи, вошедшие в предлагаемую подборку, взяты из его сборника «Вскормить огонь» («Nourrir le feu», Marseille, Rijois, 1979).

БЕРНАР ДЕЛЬВАЙ — BERNARD DELVAILLE (род. в 1931 г.)

Французский поэт, критик, журналист, литературный директор издательства «Сегерс-Лаффон». Автор многих поэтических сборников: «Блюзы» («Blues», 1951), «Ход жизни» («Train de vie», 1955), «Беспорядок» («Désordre», 1967), «Происшествия» («Faits divers», 1976) и др. Им написаны также ряд монографий и эссе; за книгу «Эссе о Валери Ларбо» («Essai sur Valery Larbaud», 1963) он был отмечен премией Сент-Бёва, за исследование творчества Малларме — премией Анри Мондора (1983). В русском переводе его стихи печатались в книге «Новые голоса» (М., «Прогресс», 1981).

Предлагаемые стихи взяты из книги Б. Дельвая «Стихотворения 1951 — 1981» («Poèmes». Paris, Seghers, 1982).

МАТЬЕ БЕНЕЗЕ — MATHIEU BÉNĘZET (род. в 1946 г.)

Французский поэт, эссеист. Автор более десяти книг, в том числе сборника стихов «История живописи в трех томах» («L'Histoire de la peinture en trois volumes», 1968) с предисловием Луи Арагона, романов «Биографии» («Biographies», 1970), «Пантен, канал Урк» («Pantin, canal de l'Ourcq», 1981) и др. За книгу «Подражание Матье Бенезе» («L'Imitation de Mathieu Bénézet», 1978) он удостоен премии Фенеона.

Публикуемую поэтическую подборку заключает фрагмент поэмы М. Бенезе «Конец человека» («La fin de l'homme». Paris Flammarion, 1979).

КРИСТИНЕ НЁСТЛИНГЕР — CHRISTINE NÖSTLINGER (род. в 1936 г.)

Австрийская писательница; по образованию художник. Лауреат отечественных и зарубежных литературных премий. В числе многих ее книг — повесть «Расписание занятий» («Stundenplan», 1975), роман «Семь восьмых айсберга» («Die sieben Achtel des Eisbergs», 1979), автобиографические книги «Майский жук, лети!» («Maikäfer, flieg!», 1973), «Две недели в мае» («Zwei Wochen in Mai», 1981). К. Нёстлингер написано также много рассказов, сценарии для телевидения и радио.

На русский язык переведены «Долой огуречного короля» (М., «Детская литература», 1976 и 1983), «Лоллипоп» (там же, 1979), «Ильза Янда — лет четырнад-

цать» (М., «Прогресс», 1980), рассказы.
В октябре 1984 г. в Никосии (Кипр) писательнице была вручена медаль Х. К. Андерсена — высшая награда в области мировой литературы для детей и юношества.
Повесть «Дуйбол-привет!» печатается по изданию («Rüb-rüb-hurra!», Wien/— München, Jugend und Volk, 1975).

ФРЕНКЕЛЬ ПАВЕЛ ЛЬВОВИЧ (род. в 1946 г.)

Советский переводчик и критик. В его переводе изданы повести К. Нёстлингер «Долой огуречного короля», «Лоллипоп», печатались рассказы Г. Хольц-Баумерта, В. Шнурре, М. Энде и др. Автор книг, критических очерков «Четыре добрых пера» и статей по зарубежной литературе для детей и юношества.

ЭДИТ УОРТОН — EDITH WHARTON (1862 — 1937)

Американская писательница. Автор многих романов, повестей, рассказов. Первые произведения: сборник рассказов «Бóльшая склонность» («The Greater Inclination», 1899), роман «Долина решений» («The Walley of Decision», 1902). Из последующих ее произведений наиболее известны повесть «Этан Фром» («Ethan Frome», 1911), романы «Дом веселья» («The House of Mirth», 1905), «Обычай страны» («The Custom of the Country», 1913), «Век невинности» («The Age of Innocence», 1920; премия Пулитцера), автобиография «Взгляд в прошлое» («A Backward Glance», 1934). Свои эстетические взгляды писательница изложила в книге статей о художественной литературе («The Writing of Fiction», 1925). В русском переводе вышло «Избранное» Эдит Уортон (Ленинград, «Художественная литература», 1981).
Рассказ «Слишком ранний рассвет» взят из ее книии «Старый Нью-Йорк» («Old New York», 1924).

СТАРЦЕВ АБЕЛЬ ИСААКОВИЧ (род. в 1909 г.)

Советский литературовед, критик, переводчик, доктор филологических наук. Автор книг «Марк Твен и Америка» (1963), «Русские блокноты Джона Рида» (1968, 1977), «От Уитмена до Хемингуэя» (1972, 1981) и многих работ о классической и современной американской литературе. Переводил М. Твена, С. Льюиса, Э. Хемингуэя, Э. По и др.

КОРЕНЕВА МАЙЯ МИХАЙЛОВНА

Советский литературовед и переводчик. Автор работ по американской и английской литературам. В ее переводе вышли роман У. Фолкнера «Непобежденные» (1976), избранная лирика Дилана Томаса (1980), повесть Дж. Шэфера «Каньон» (1983) и др.

ХЛОДОВСКИЙ РУФ ИГОРЕВИЧ (род. в 1923 г.)

Советский филолог, критик, переводчик, кандидат филологических наук. Автор книг: «Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма» (1974), «Декамерон. Поэтика и стиль» (1983) и многих статей об итальянской литературе средних веков, эпохи Возрождения, XVII и XX вв., работ о Пушкине и Льве Толстом, по проблемам теории литературы. В его переводе публиковались новеллы итальянского Возрождения, романы Альберто Моравиа «Презрение», Итало Кальвино «Тропа паучьих гнезд», Нино Палумбо «Заплесневелый хлеб», рассказы современных итальянских писателей.

АНДРАШ ШИМОНФИ — SIMONFFY ANDRÁS (род. в 1941 г.)

Венгерский писатель, дважды лауреат премии имени Аттилы Йожефа. Автор сборников рассказов «Бунт до утра» («Lázadás reggelig», 1965), «Великолепный день» («Egy remek nap», 1973), «Самый большой в мире хлеб» («A világnagy zsiroskenyér», 1977), романа «В чужом городе» («Idegen városban», 1976).

Переводы рассказов А. Шимонфи печатались в «Иностранной литературе» (1980, № 4; 1984, № 7).

В этом номере публикуются фрагменты из его документальной книги «Солдаты страны-Парома» («Kompország katonái». Budapest, Magvetõ Köyvkiadó, 1981).

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

за 1984 год

№ 1 — 12

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Апдайк Джон — Соседи во Христе и др. рассказы (Переводы с английского Игоря Багрова, Ларисы Огульчанской, Нины Бать, Сергея Таска, Евгении Шварц), № 5.

Балцо Юлиус — Желто-восковое яблоко (Повесть. Перевод со словацкого Л. Новогрудской), № 6.

Брезан Юрий — Портрет отца (Роман. Перевод с немецкого И. Щербаковой), № 9.

Буджедра Рашид — Идеальное место для убийства (Роман. Перевод с французского Ирины Волевич), № 10.

Йокаи Анна — Застройщики и др. рассказы (Вступление Л. Васильевой. Переводы с венгерского Л. Васильевой и В. Ельцова-Васильева), № 4.

Карпентьер Алехо — Арфа и тень (Роман. Перевод с испанского Инны Тыняновой. Послесловие Юрия Дашкевича), № 11.

Кёнигсдорф Хельга — Честное слово — больше никогда никаких стихов и др. рассказы (Перевод с немецкого И. Каринцевой), № 8.

Кинг Стивен — Мертвая зона (Роман. Переводы с английского О. Васильева и С. Таска. Вступление А. Зверева). № 1—3.

Клавель Бернар — Человек с Лабрадора (Повесть. Перевод с французского Тамары Ерофеевой), № 1.

Косашу Раду — Нежность как отрицание смерти (Рассказ. Перевод с румынского Михаила Фридмана), № 8.

Костантини Умберто — О богах, человечках и полицейских (Роман. Перевод с испанского Владимира Максимова), № 3.

Кофиньо Мануэль — Дания (Рассказ. Перевод с испанского Ю. Павлова), № 1.

Лидман Ханс — Анне из Троль-фьорда. Чужой (Рассказы. Перевод с шведского и вступление В. Якуба), № 10.

Лисковацкий Рышард — Три письма, одна жизнь и немного истории и др. рассказы (Перевод с польского Д. Шурыгина и М. Игнатова), № 7.

Мукхопаддхай Шубхаш — Мыс, или Болезнь Гансена (Повесть. Перевод с бенгальского В. Коровина), № 2.

Мурти Ананта — Самскара (Повесть. Перевод с английского М. Салганик. Вступление Чингиза Айтматова), № 12.

Мягмар Дэмбээгийн — Человек-облако (Рассказ. Перевод с монгольского Висс. Бильдушкинова), № 3.

Надмид Нанзадын — Таежные гости (Рассказ. Перевод с монгольского Н. Очирова), № 3.

Нёстлингер Кристине — Дуйбол-привет! (Повесть. Перевод с немецкого Павла Френкеля), № 12.

Неделчу Мирча — История походного хлебозавода № 4. (Рассказ. Перевод с румынского Михаила Фридмана), № 8.

Ногерас Луис Рохелио — Цветок для Мауры (Рассказ. Перевод с испанского В. Майорова), № 1.

Перес Дельгадо Николас — Они спустились с гор (Рассказ. Перевод с испанского В. Майорова), № 1.

РАССКАЗЫ КУБИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 1.

РАССКАЗЫ МОНГОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 3.

РАССКАЗЫ РУМЫНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, (Вступление Михаила Фридмана), № 8.

Руссо Энцо — Логово горностаев (Роман. Перевод с итальянского А. Богемской и Л. Вершинина. Вступление Г. Богемского), № 10, 11.

Рэдулеску Дорина — Возвращение (Рассказ. Перевод с румынского Михаила Фридмана), № 8.

Сахни Бхишам — Aham brahma asmi!.. и др. рассказы (Перевод с хинди Л. Кузнецова), № 3.

Стиль Андре — Милый доктор (Роман. Перевод с французского Н. Поповой), № 6.

Тител Сорин — Эти ясные летние дни (Рассказ. Перевод с румынского Михаила Фридмана), № 8.

Феллини Федерико, Гуэрра Тонино — И плывет корабль (Литературный сценарий. Перевод с итальянского Ф. М. Двин. Вступление Георгия Капралова), № 9.

Фуэнтес Карлос — Сожженная вода (Повествовательный квартет. Перевод с испанского М. Былинкиной. Вступление Юрия Дашкевича), № 7.

Цончев Дончо — Человек и др. рассказы (Перевод с болгарского Н. Глен), № 2.

Цэвэгмид Дондогийн — Крик улара. Гнездо ягнятника (Рассказы. Перевод с монгольского Висс. Бильдушкинова), № 3.

Чаула Томмазо ди — Голубая спецовка (Перевод с итальянского Г. Смирнова и Н. Живаго. Послесловие Г. Смирнова), № 5.

Шойинка Воле — Аке, годы детства (Повесть. Вступление В. Иорданского. Перевод с английского Андрея Сергеева), № 4—6.

Эрдэнэ Сэнгийн — Красная смородина. Перевал (Рассказы. Перевод с монгольского Висс. Бильдушкинова), № 3.

СТИХИ

Бенезе Матье — Фрагмент (Перевод с французского И. Кузнецовой), № 12.

Блай Роберт — Девять стихотворений из книги «Человек в черном пальто оглядывается» (Перевод с английского и вступление Михаила Дудина). В поисках американской музы (Перевод с английского А. Зверева), № 10.

Блумберг Эрик — «Как мне минувшей болью отболеть?..» и др. стихи (К 90-летию со дня рождения. Перевод с шведского и вступление Татьяны Бек), № 5.

Бруссар Ив — Архея (Перевод с французского Э. Ананиашвили), «Как много толпящихся слов...» и др. стихи (Перевод с французского А. Жигулина), № 12.

Веладо Освальдо Эскобар — Вот она — моя родина (Перевод с испанского В. Максимова), № 2.

Вутерс Лилиан — Избиение младенцев и др. стихи (Перевод с французского и вступление М. Кудинова), № 3.

Галиндо Давид Эскобар — Кровью сердца (Перевод с испанского О. Островского), № 2.

Голев Владимир — «Что значит этот хаос...» (Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 1.

Дельвай Бернар — Утро и др. стихи (Перевод с французского А. Ревича), № 12.

Динеску Мирча — Ссылка на горошину черного перца и др. стихи (Перевод с румынского Л. Беринского), № 4.

Евтимов Евтим — Участь и др. стихи (Перевод с болгарского Олега Шестинского), № 9.

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ, № 1.

ИЗ МОНГОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление К. Яцковской), № 11.

ИЗ РУМЫНСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление Кирилла Ковальджи), № 4.

ИЗ САЛЬВАДОРСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление Марии Мартинес), № 2.

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление Т. Б.), № 12.

Йорданова Петя — Комната (Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 1.

Кемен Хайме Суарес — Когда идешь навстречу урагану... (Перевод с испанского В. Максимова), № 2.

Мазилеску Вирджил — Рассказ для Штефаны и др. стихи (Перевод с румынского Л. Беринского), № 4.

Милчев Иван — «Отхлынула атаки лава...» и др. стихи (Перевод с болгарского В. Викторова), № 1.

Митчел Адриан — Путеводитель по Англии и др. стихи (Перевод с английского А. Казарновского), № 8.

Неруда Пабло — Стихи разных лет (Перевод с испанского Павла Грушко), № 7.

Опперман Д. Й. — Прибрежные заросли бамбука и др. стихи (Перевод с африкаанс Е. Витковского. Вступление Аполлона Давидсона), № 6.

Радевский Христо — Любимый бульвар (Перевод с болгарского Л. Кондрашенко, Лорины Дымовой), № 1.

Романеску Иоанид — Старики (Перевод с румынского Л. Беринского), № 4.

Рэу Аурел—Путь моего деда, идущего по весне домой (Перевод с румынского Л. Беринского), № 4.

Сореску Марин — Пожива (Перевод с румынского Кирилла Ковальджи), № 4.

Стурзу Корнелиу — Отрочество (Перевод с румынского Л. Беринского), № 4.

Стэнеску Никита — Другая математика (Перевод с румынского Кирилла Ковальджи), № 4.

Цэдэв Дожоогийн — Ритм сердца (Из поэмы. Перевод с монгольского Людмилы Букиной), № 11.

Цэдэндорж Мишигийн — Из книги «Камни родины» (Перевод с монгольского Геннадия Ярославцева), № 11.

Штройбель Манфред — Жеребенок на пастбище и др. стихи (Переводы с немецкого Осипа Спасова и Б. Хлебникова. Вступление Г. Ратгауза), № 5.

Явуухулан Бэгзийн — Халхин-Гол и др. стихи (Переводы с монгольского Владимира Цыбина, Людмилы Букиной), № 11.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Бенчли Питер — Челюсти (Роман. Перевод с английского И. Басавиной. Послесловие А. Мулярчика), № 7, 8.

Борхес Хорхе Луис — Стихи разных лет (Перевод с испанского Бориса Дубина. Вступление И. Тертерян), № 3.

Грейфф Леон де — Стихи (Перевод с испанского и вступление Сергея Гончаренко), № 1.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Белли Джузеппе Джоакино — Добрый совет и др. сонеты (Перевод с итальянского Евгения Солоновича. Вступление Н. Томашевского), № 7.

Вулф Вирджиния — Миссис Дэллоуэй (Роман. Перевод с английского Е. Суриц. Послесловие Е. Гениевой), № 4.

Малларме Стефан — Наказанный паяц и др. стихи (Перевод с французского Романа Дубровкина. Вступление С. Зенкина), № 9.

Масаока Сики — Хайку из книги «Оголенные деревья в зимних горах» и др. стихи (Перевод с японского А. Долина), № 8.

НОВАЯ ЯПОНСКАЯ ПОЭЗИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ЖАНРОВ (Перевод с японского и вступление А. Долина), № 8.

Рембо Артюр — Пьяный корабль (Стихи. Перевод с французского и вступление Д. Самойлова), № 6.

Сайто Мокити — Из книги «Багряное зарево» и др. стихи (Перевод с японского А. Долина), № 8.

Уильямс Уильям Карлос — Рассвет и др. стихи (Перевод с английского Натальи Сидориной), № 2.

Уортон Эдит — Слишком ранний рассвет (Рассказ. Перевод с английского и вступление А. Старцева), № 12.

У Цзао — Восемь стихотворений посвящаю сестричке Юнчан с постоянной думой о ней и др. стихи (Перевод с китайского и вступление М. Басманова), № 10.

КРИТИКА

Балашова С.—Сорок лет спустя в памяти тридцатилетних (По страницам французского романа), № 10.

Беген Эдуард — Политика и поэтика (Вступление Т. Мотылевой. Перевод с французского Е. Мирской), № 4.

Богданов Ю.— Энергия исторической памяти (К 40-летней годовщине Словацкого национального восстания), № 11.

Гулыга Арсений — Миф и современность (О некоторых аспектах литературного процесса), № 2.

Ермонский А.— Воспитание историей (Заметки о пяти польских романах), № 6.

Злобин Г.— Боязнь истории (Страницы современного американского романа), № 3.

Ильина Г.— Мирослав Крлежа и его последний роман, № 7.

Кислинг Вольфганг — Путь в Петрополис (Перевод с немецкого О. Бобровой), № 6.

Книпович Е. — Первый съезд советских литераторов и революционные писатели мира (Заметки на полях стенограммы), № 8.

Коренева М. — «...Выиграть будущее» (О творчестве Денизы Левертов), № 12.

Мотылева Т. — Истоки мужества (О книгах воспоминаний антифашистов ГДР), № 5.

Огнева Елена — Эпоха единения (Заметки о кубинских романах и повестях последних лет), № 1.

Прожогин Н. — Алессандро Мандзони и его роман «Обрученные», № 5.

Прожогина С. — «Пока не сбудутся мечты...» (О творчестве Рашида Буджедры), № 10.

Ряузова Е. — Литература Португалии за десять лет: трудности, достижения, перспективы, № 4.

Стефан Цвейг — последние годы (Вступление В. Девекина), № 6.

Ульрих Майя — Заметки на полях одного критического сборника, № 9.

Федоренко Николай — Прерванный диалог (К творческому портрету Павла Вежинова), № 12.

Хлодовский Р. — Рим в мире Гоголя, № 12.

Юркович Марьян — Шолохов о судьбе человека (Перевод с сербскохорватского Ю. Благина), № 6.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Андре Робер — Дельфы, или Критика сегодня (На коллоквиуме МАЛК. Перевод с французского Марии Зониной), № 2.

Бринк Андре — На разные голоса (Перевод с английского М. Салганик), № 3.

Залыгин Сергей — Размышления по поводу одной старомодной истории, № 5.

Мехта Ситанчу — Значение классики для нашего времени (Перевод с английского М. Салганик), № 3.

Федоренко Николай — Сюжет и жанр (О чувстве истории, о чувстве современности), № 9.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ильинский М. — В творческой лаборатории То Хоая, № 7.

Попова Наталья — Португальская сказка, № 2.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

«Пой смело и трудись над песней вдвое...» **Манлио Тирадо. Росарио Мурильо. Эрнесто Карденаль. Хулио Кортасар.** (Вступление, составление и перевод Т. Коробкиной), № 4.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Тейтельбойм Володя — Пути и надежды Хулио Кортасара (Перевод с испанского Вероники Спасской), № 8.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Кун Агнесса — Из воспоминаний (Вступление И. Зориной), № 2.

Неизвестная страница из жизни Эми Сяо (Публикация подготовлена Н. С. Антоновой), № 4.

О'Риордан Майкл — Вспоминая Брендана Биэна (Перевод с английского Л. Володарской. Вступление А. Саруханян), № 6.

ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕДАЧИ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В ПЕРЕВОДАХ СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (Встреча за «круглым столом» в редакции), № 1.

Любенов Любен — Квадратура круга — перевод нерифмованного стиха, № 10.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Купер Уильям — Два направления в современном английском романе, № 11.

Окай Атуквей — Заметки о современной ганской литературе (Перевод с английского В. Рамзеса), № 5.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Гамарра Пьер — Присутствие и отсутствие Жан-Ришара Блока (К 100-летию со дня рождения Жан-Ришара Блока. Перевод с французского и вступление Л. Завьяловой), № 7.

Петриковская А. — Прометеева искра (К 100-летию со дня рождения Катарины Сусанны Причард), № 3.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Муин Бсису (Интервью подготовила Т. Ротенберг), № 1.

Сепеда Эраклио (Перевод с испанского Т. Коробкиной), № 6.

Юрий Брезан: «Почему я писал об отце», № 9.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Альберти Рафаэль — «Сколь ты немилосердна, о сладкая Испания!» (Перевод с испанского и вступление Хуана Кобо), № 11.

Бурташов Феликс — Апартеид против культуры, культура против апартеида, № 4.

Замойский Л. — Интеллигенция Франции в борьбе идей, № 4.

Иванов В. — Голливуд: развлекательная продукция или культурный империализм?, № 6.

Иванов В. — Правда жизни и правда искусства, № 12.

Красиова Г. — Мотор западногерманского кино, № 2.

Краснова Г. — «Процесс» о тридцати миллионах, № 7.

Матяш Н. — Уроки прошлого и современная испанская литература, № 6.

Николаевская А. — Как защитить homo urbis?, № 7.

ПИСАТЕЛИ ПРОТИВ АПАРТЕИДА. (Хуан Гойтисоло. Хулио Кортасар. Мишель Бютор (Перевод с французского Р. Драгуновой), № 10.

Ротенберг Т. — Война, политика и пресса, № 8.

Ряузова Е. — Культура для масс вместо «массовой культуры», № 8.

Салганик М. — Электронная нирвана, № 7.

Чугунов К. — «За единство воли и мысли писателей Азии и Африки» (Краткий обзор специального номера журнала «Лотос»), № 5.

ПУБЛИЦИСТИКА

Горжени Зденек — «...Все это нужно для революции» (Как Россия стала второй родиной бравого солдата Швейка. Перевод с чешского Елены Галенкиной), № 11.

Вальраф Гюнтер — «БИЛЬД»: в своем репертуаре (Главы из книги. Перевод с немецкого М. Г. Федорова), № 10.

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ МИХАИЛА ШОЛОХОВА (Эужению де Андраде. Фернандо Лопеш Граса. Армандо Каштру. Антонио Модешту Наварру. Антонио Висенте Кампинаш. Луиш Франсишку Ребеллу. Виктор де Са. Бланко Уго Фернандеш. Фернандо Бенту Гомеш. Кошта Феррейра. Тулио Эшпанка), № 4.

Гаррисон Пол — Город в городе. Жизнь под лезвием ножа (Главы из книги. Вступление О. Васильева. Перевод с английского И. Гуровой), № 8.

Дэвидов Майк — В пути (Из американского дневника. Перевод с английского В. Воронина), № 4.

Каграманов Ю.— О носорожьих играх и немного о текущей политике, № 11.

Млечина Ирина — «Премия войны» Хайнцу Г. Конзалику, № 7.

Млечина Ирина — В противоборстве идей (Заметки о духовной ситуации на Западе), № 12.

Мяло Ксения — На путях бунта: от протеста к террору, № 3.

Отан-Лара Клод — Телемафия (Монтаж по книге. Перевод с французского и вступление А. Брагинского), № 7.

Парнов Еремей — Звездное помрачение, № 5.

ПИСАТЕЛИ МИРА ОТВЕЧАЮТ НА ОБРАЩЕНИЕ МИХАИЛА ШОЛОХОВА (Раджентра Авастхи. Хосе Луис Бальркарсель. Филлип Боноски. Алекс Ла Гума. Мухаммед Махди Аль-Джавахири. Эмма Смит. Фаиз Ахмад Фаиз. То Хоай), № 2.

Покровский Никита — Улица цветущих лестниц (Три этюда на темы, имеющие отношение к философии), № 6.

Тодорова Лилия — Перспективный диалог (Культура социалистической Болгарии в борьбе за сотрудничество и взаимопонимание), № 9.

Федоренко Николай — Ташкентская ассамблея (К 25-летию Движения писателей стран Азии и Африки), № 1.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Андреев Веселин — Уходящие в бессмертие (Отрывки из книги «Бригада». Перевод с болгарского и вступление Н. Глен), № 8.

Вайс Петер — Место, для которого я был предназначен (Перевод с немецкого Н. Тишковой), № 10.

Иванов Мирослав — Покушение на Рейнхарда Гейдриха. Свидетельства, факты, документы (Монтаж по книге. Перевод с чешского В. Пархитько. Предисловие Мирослава Иванова), № 5, 6.

К 40-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛГРАДА. Саша Божович. Велибор Глигорич. Радоня Вешович. Иво Андрич. (Перевод с сербскохорватского и вступление Александра Романенко), № 10.

Сикейрос Давид Альфаро — Мозаика жизни (Перевод с испанского М. Былинкиной, Ю. Козлова, В. Ткаченко. Вступление Е. А. Козловой), № 3, 4.

Сименон Жорж — Я диктую (Монтаж по книгам. Перевод с французского Э. Шрайбер. Вступление В. Балахонова), № 1, 2.

Смит Патрик Д.— В поисках русского медведя (Фрагменты книги. Перевод с английского Ю. С. Родман. Вступление Г. Злобина), № 11.

Христозов Николай — Гарнизонное стрельбище (Фрагменты документальной повести. Перевод с болгарского А. Крузенштерна), № 9.

Шимонфи Андраш — Солдаты страны-Парома (Фрагменты книги. Вступление В. Ельцова-Васильева. Перевод с венгерского С. Фадеева), № 12.

АНТИРУБРИКА

Бано Джилани — Ушла (Рассказ. Перевод с урду Владимира Соколова), № 1.

Беристайн Леонард — Откровенный разговор в скалистых горах (Перевод с английского Александра Майкапара), № 8.

Бомаис Ходфрид — Ясновидящий. Париж (Рассказы. Перевод с голландского Игоря Братуся), № 6.

Бранстнер Герхард — Фантастические анекдоты из жизни замечательного изобретателя Франка и его закадычного друга Йошки (Перевод с немецкого Б. Хлебникова). Афоризмы разных лет (Перевод с немецкого Владимира Лебедева), № 10.

Буш Вильгельм — Мудрый филин. Злая собака (Стихи. Перевод с немецкого Бориса Хлебникова), № 3.

Галчиньский Константы Ильдефонс — Скромность (Стихи. Перевод с польского Катарины Мурадян), № 7.

Ганди К. Л.— «Кто утрет их слезы?» (Рассказ. Перевод с хинди М. Салганик), № 5.

Каринти Фридеш — Гость и др. рассказы (Перевод с венгерского Ирины Луговой), № 7.

Коппард А.— Селезень (Рассказ. Перевод с английского Дмитрия Аграчева), № 11.

Крист Рихард — Научный подход к здоровому образу жизни (Рассказ. Перевод с немецкого Елены Кащеевой), № 10.

Ланглесиа Альваро де — Дневник старых шлепанцев и др. рассказы (Перевод с испанского Александра Балжи), № 4

Малерба Луиджи — Серая девушка (Рассказ. Перевод с итальянского Елены Дмитриевой), № 8.

Мёкель Клаус — Всегда к вашим услугам! (Рассказ. Перевод с немецкого В. Сенаторова), № 10.

Мопассан Ги де — Неизвестные страницы (Публикация и перевод Валентина Дмитриева), № 2.

Морье Дафна дю — Эскорт (Рассказ. Перевод с английского Эллы Башировой), № 5.

«НУ И НУ...» — ГОВОРЯТ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ (Рассказы венгерских писателей), № 7.

Паркер Дороти — Перед рассветом (Рассказ. Перевод с английского Евгении Шварц), № 1.

ПОЭТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА. Вильгельм Ткачик. Манфред Штройбель. Клаус Мёкель. Кито Лоренц (Перевод с немецкого Б. Хлебникова), № 10.

Сароян Уильям — Разве сегодня не тот самый день? (Рассказ. Перевод с английского Евгении Шварц), № 6.

Твен Марк — Политическая экономия и др. рассказы (Перевод с английского Людмилы Биндеман), № 3.

Теккерей Уильям Мейкпис — Судья Блекстоун и др. стихи (Перевод с английского Елены Печерской), № 8.

У НАС В ГОСТЯХ ПИСАТЕЛИ ГДР, № 10.

Хейн Пит — Груки (Перевод с датского Норы Киямовой), № 1.

Часар Иштван — Прогулка (Рассказ. Перевод с венгерского Ирины Луговой), № 7.

Шимонфи Андраш — Ждем меня (Рассказ. Перевод с венгерского Ирины Луговой), № 7.

Штраль Руди — Телефонный звонок (Перевод с немецкого Юрия Гинзбурга), № 10.

НАШИ ГОСТИ

Балашова Т.— Бернар Дельвай (Франция), № 12.

Васильева Л.— Дьёрдь Радо (Венгрия), № 5.

Вержховская Г., Чугунова А.— Гэ Баоцюань, Гао Ман (Китайская Народная Республика), № 3.

Киямова Нора — Коре Холт (Норвегия), № 7.

Тарасова М.— Камен Калчев (Болгария), № 11.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Андреев Б., Черняев Е.— Ровесник нового века, № 11.

Ильинский М.— Разговор в мастерской художника, № 2.

М. С.— Дом и мир, № 7.

Нагибин Юрий — Эдгар Дега (К 150-летию со дня рождения), № 6.

Светлов И.— Имре Варга, № 5.

Соколов М.— Хорст Янсен и его «Московская сюита», № 10.

Херсонская Е.— Амедео Модильяни (К 100-летию со дня рождения), № 12.

Шульгин М.— Дух добра и надежды, № 8.

СРЕДИ КНИГ

РУССКАЯ И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЗАРУБЕЖНОМ МИРЕ, № 11.

ИЗДАНО В СССР

Бейлис В.— Выжить или жить? (Атол Фугард. «Здесь живут люди» и другие пьесы), № 4.

Белов Сергей — Социология песни, мифология будней (Тони Моррисон. Песнь Соломона), № 1.

Белов Сергей — Урок мастера (Шервуд Андерсон. Избранное), № 6.

Борисов А.— Кошка для одиноких вечеров (Сильвио Блаттер. А тоска все сильней...), № 10.

Бочаров А.— Продолжение жизни (Тарьей Весос. Великая игра. Птицы. Ледяной замок), № 8.

Вольпе М.— Писатель из народа (Чинуа Ачебе. Стрела бога. Человек из народа), № 2.

Делюсин Л.— Люди и бесы (Человек и его тень. Сборник китайских повестей), № 10.

Жегалов Н.— Повседневное и вечное (Аднан Салим. Тургенев — художник, мыслитель), № 11.

Зверев А.— «Писать — значит стать богом...» (Хуан Карлос Онетти. Короткая жизнь. Верфь. Повести и рассказы), № 12.

Ильинская С.— Греция древняя и новая (Геракл и мы. Современная греческая поэзия), № 5.

Курбатов Валентин — Меч Сирены (Галина Аудерская. Варшавская Сирена), № 8.

Левидова И.— Ирландская мозаика (Фрэнк О'Коннор. Избранное), № 9.

Мяло К.— Лицо под маской (В. Б. Иорданский. Хаос и гармония), № 1.

Мурадян Катарина — Борген-новеллист (Юхан Борген. Избранные новеллы), № 12.

Намора Фернандо — Об искусстве врачевания (Писатель о себе и о своих книгах), № 3.

Пронин Владислав — Опасности воображения (Альфред Дёблин. Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу), № 4.

Саруханян А.— Современность истории (Дженнифер Джонстон. Далеко ли до Вавилона? Старая шутка), № 7.

Солянов А.— Охранная грамота улыбки (Рамон Гомес де ла Серна. Избранное), № 9.

Спаль Александра — Что есть человек? (Эмил Манов. Избранное), № 2.

Спаль Александра — Бесценные уроки (Рольф Флос. Уроки танцев), № 10.

Сухоруков В.— «Поднимаюсь по строчкам-ступеням...» (Трудны сычуаньские тропы. Из китайской поэзии 50-х и 80-х годов), № 6.

Тартаковская Л.— Духовная необходимость (А. И. Мамонов. Пушкин в Японии), № 11.

Фоняков Илья — Кто шагает по дороге (Владимир Минач. Избранное), № 2.

Харитонов М.— Пять поэтов под одной обложкой (Из современной поэзии ФРГ), № 7.

Челышев Е. П.— Отзвук добра (Рагхувир Сахай. Избранное), № 9.

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

А. Г.— Критика цинизма (Петер Слотердайк. Критика цинического разума), № 2.

Анастасьев Н.— Кто-то должен (Колин Маккалоу. Непристойная одержимость), № 9.

Андре Робер — Стендаль сегодня, № 10.

Апт С.— Горькая доля пророчицы (Криста Вольф. Кассандра. Четыре лекции), № 5.

Боске Ален — Что читают сегодня во Франции, № 5.

Вентура Марио — «Диссертация о преступлении» (Жозе Кардозо Пиреш. Баллада о собачьем пляже), № 1.

Ворсанова Т.— Проза Чикайи У Там Си (Чикайя У Там Си. Тараканы. Медузы, или Морская крапива), № 6.

Гаррик Анни — Источник познания (Русская и советская литература во Франции), № 11.

Гэ Баоцюань — На благо нашей дружбы (О переводах русской и советской литературы в Китае), № 11.

Гуарньери Карлос Альберто — О рассказах Кортасара (Хулио Кортасар. Не вовремя), № 7.

Жукова В.— В мире «шоу-бизнеса», № 3.

Злобина Л.— Возвращение Анны (Мари-Клер Блэ. Видения Анны), № 6.

Злобин Г.— Нечаянная радость творчества (Джон Гарднер. Как становятся романистом), № 8.

Иорданский В.— Тень грядущей катастрофы (Надин Гордимер. Народ Джулая), № 7.

Каграманов Ю.— Еще о «бесах» (Карло Кастелланета. Тени), № 12.

Кацева Е.— В тенетах «экономического чуда» (Дитер Веллерсхоф. Победитель забирает все), № 12.

Киямова Нора — Диалог культур (Мартин Наг. Горький в Норвегии), № 8.

Климовский Вадим — Голоса венгерской прозы (Сорок четыре венгерских рассказа), № 5.

Ковач Альберт — Достоевский — при свете дня (Валериу Кристя. Словарь персонажей Достоевского), № 11.

Левидова И.— Тема и вариации (Дэвид Стори. Блудный сын), № 6.

Малевич Олег — Сага об учителе (Зденек Плугарж. В шесть вечера в «Астории»), № 1.

Матяш Н.— «Три песеты минувших времен» и современность (Висенте Сото. Три песеты минувших времен), № 8.

Мендоса Далия — Надломленная свобода (Марио Бенедетти. Надломленная весна), № 5.

Мерль Робер — Три гения русской литературы (О русской и советской литературе во Франции), № 11.

Мехтиев Эльчин — Живой интерес (А. Мюмтаз Идил. Действительность и роман. Советская проза), № 11.

Мотылева Т.— Письма Брехта (Бертольт Брехт. Письма 1913—1956), № 2.

Мотылева Т.— Неожиданный Мартен дю Гар (Роже Мартен дю Гар. Подполковник де Момор), № 9.

Мулярчик А.— Черное и багряное (Элис Уокер. Цвет багряный), № 4.

Николаевская А.—Поэзия Свифта 250 лет спустя (Джонатан Свифт. Полное собрание поэтических сочинений), № 3.

Панкратова Элеонора — Люди и стереотипы. (Кнут Фалдбаккен. Е-18. Свадебное путешествие), № 7.

Попова Н.— Чужестранка (Ан Кюнео. Пора зрелости), № 4.

Риго Бела — Нравы и пощечины (Эндре Фейеш. Ангелоликий. Акош Кертес. Собственный дом с мансардой), № 8.

Сергеев М.— Поиски и блуждания Пита Аттена (Франц-Йозеф Дегенхардт. Бард), № 3.

Смирнов Г.— Неправое правосудие (Рене Реджани. Опрокинутый треугольник), № 10.

Тавареш Родригеш Урбано — Что читают сегодня в Португалии, № 1.

Урнов Д. — Лорд Чарльз (Филип Сноу. Чужой и родной. Портрет Ч. П. Сноу), № 4.

Хасбаатар Ц.— «Выявлять лотосы души...» (Д. Маам. Земля. III книга), № 10.

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ, № 3, 8, 11.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Анкета «Иностранной литературы», № 5.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ, № 1—12.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, № 1—12.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

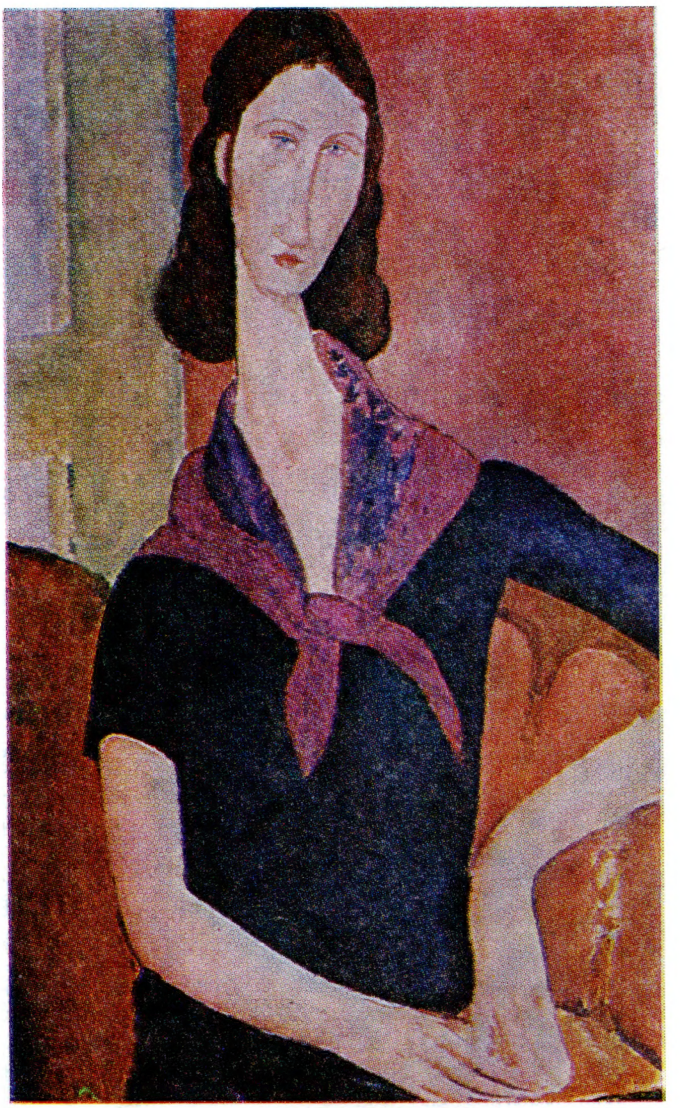
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

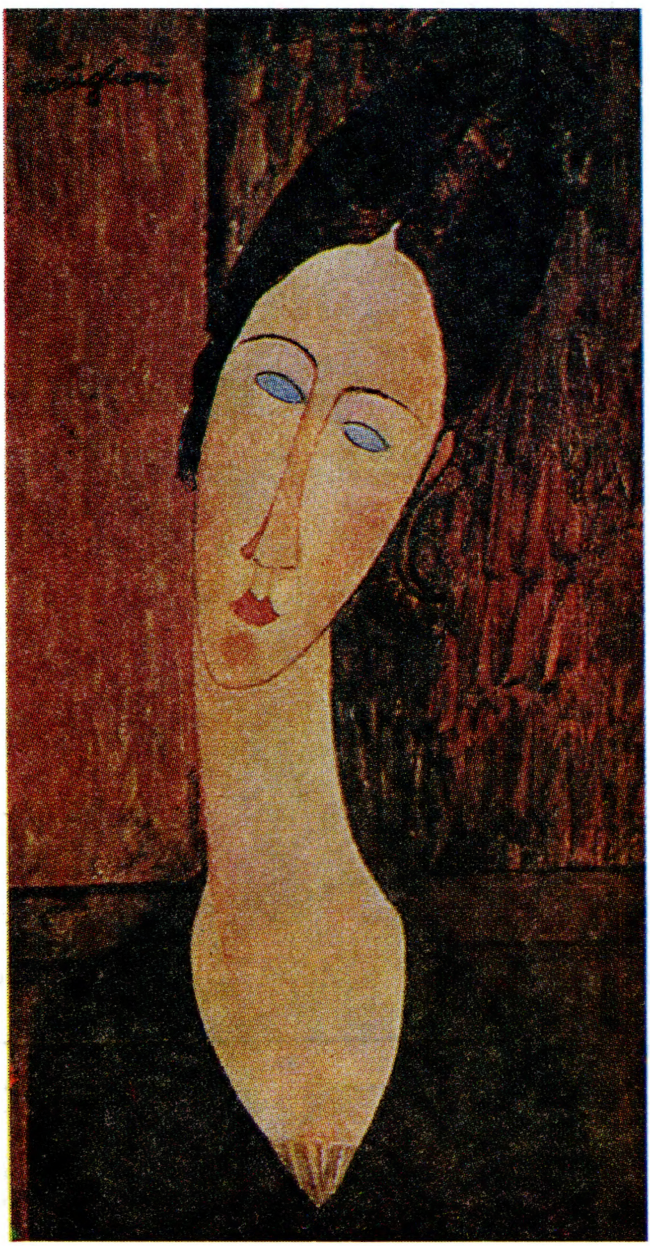
Сдано в набор 01.10.84. Подписано в печать 11.11.84. А 00202. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 26,40

Тираж 372 000 экз. (1-й завод: 1—332 000 экз.) Зак. 3493.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



«Портрет Жанны Эбютерн».

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394